

ISSN 0206-8680

1

КИНОСЦЕНАРИИ

1989

ИЗДАЕТСЯ
С 1973 ГОДА

КИНОСЦЕНАРИИ

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ЖУРНАЛ

Сценарии

- 3 *О. Агишев, Д. Исхаков, Э. Ишмухамедов*
ЗОНА ВНЕ КРИТИКИ
- 42 *К. Занусси*
ЗАЩИТНЫЕ ЦВЕТА
- 64 *К. Лопушанский*
ПОСЕТИТЕЛЬ МУЗЕЯ
- 88 *В. Суворов, В. Балаян*
РАСКИНУЛОСЬ МОРЕ ШИРОКО...
- 99 *И. Лоцилин*
КАРАУЛ
- 122 *Е. Григорьев*
МАЛЬЧИШКИ И ДЕВЧОНКИ
- 145 *Д. Чубинишвили*
ЖЕРТВА
- Из архива мастеров**
- 164 *А. Медведкин*
ДУРЕНЬ ТЫ, ДУРЕНЬ!
- К 90-летию со дня рождения Л. В. Кулешова**
- 170 *Н. Клейман*
ПОДВИГ МАСТЕРА
- Точка зрения**
- 174 *С. Шумаков*
Взрыв
- 183 *А. Трошин*
«Арсенал» тронулся!
- 186 *Г. Закоян*
Авангард. Опыт освобождения
- 190 **Наши авторы**

1

1989

ГОСКИНО СССР
СОЮЗ
КИНЕМАТОГРАФИСТОВ
СССР
МОСКВА 1989

Главный редактор Е. ГРИГОРЬЕВ

Редакционная коллегия:

**О. АГИШЕВ, Ю. АРАБОВ, Е. ГАБРИЛОВИЧ,
В. ГОЛОВАНОВ, О. ГОРБАЧЕВА, А. ЛОКТЕВ (зам. главного редактора),
Б. МЕТАЛЬНИКОВ, В. СОЛОВЬЕВ, В. СЫТИН,
В. ТРУНИН, В. ЧЕРНЫХ, С. ШУМАКОВ
Ответственный секретарь Н. РЮРИКОВА**

**Технический редактор Л. МАРКОВА
Корректор И. АВETИCOBA**

Рукописи не рецензируются и не возвращаются

© В/О «Союзинформкино»

Сдано в набор 24.11.88. Подписано к печати 28.12.88. А01731
Формат 70×100 1/16. Усл. печ. л. 15,6+0,32. Уч.-изд. л. 21,79
Усл. кр.-отт. 15,92 Печать офсетная. Бумага типограф. «Сыктывкар».
Гарн. таймс. Тираж 62320 экз. Заказ № 3077. Цена 1 р. 20 к.

Всесоюзное объединение «Союзинформкино»
109017, Москва, Б. Ордынка, 43. Тел. 231-11-33.
Адрес редакции: 103006, Москва, Воротниковский пер., д. 12.
Телефон 299-47-74.

Ордена Трудового Красного Знамени Чеховский полиграфический комбинат В/О «Союзполиграфпром»
Государственного комитета СССР по делам издательства, полиграфии и книжной торговли.
142300, г. Чехов Московской области.



**Одельша
АГИШЕВ**



**Джасур
ИСХАКОВ**



**Эльёр
ИШМУХАМЕДОВ**

ЗОНА ВНЕ КРИТИКИ

Первая часть

СВИДАНИЕ

*...Приближался шторм. Вздвигались, нака-
тывались тяжелые пенные буруны, и ревущий
северный ветер рвал их в клочья. Сквозь пе-
лену низких багровых туч размытым крова-
вым пятном скользило закатное солнце.
Очередная волна захлестнула форштевень
и тяжким валом пошла по оседающей, креня-
щейся палубе...*

— Мурад! — позвала жена.

*...И вся металлическая громада палубы
словно мягко провалилась в иной, беззвуч-
ный, полумглистый мир. Свет неба стано-
вился все слабее и слабее. В стороне смутно
затемнел, поплыл бок подводной горы, а под
ним открывалась черная мгла бездны. Глухой
непроницаемый мрак заструился вокруг...*

— Мурад, — мягко повторила жена, — ты слышишь?

Она смотрела на него с тревогой и нежностью, и он, не столько расслышав ее слова, сколько почувствовав эту тревогу, обернулся от вагонного окна.

— Уже поздно. Ложись спать.

Вагон качало. В полумраке двухместного купе смутно различались тело спящего сына на одной из полок и фигура жены в ночной рубашке.

Мурад провел по лицу рукой, словно отгоняя свои видения, встал, нашарил рукой полотенце на полочке.

— Подожди, — шепотом позвала жена. — Я с тобой.

— ...И пусть все тяжелое, черное, тревож-
ное уйдет, уплывет, утечет с этой водой... — шептала она, умывая его лицо левой рукой. — Пусть с нами останется только чистое, свет-
лое, новое! Куф-суф, куф-суф, куф-суф!..

Вагон качнуло, они едва не свалились в темноте туалета.

— Ну вот, — серьезно сказала она. — Те-
перь все будет хорошо. Вот увидишь.

И поцеловала его в мокрые глаза.

Всю ночь поезд шел под дождем, а утром ударило солнце, замелькали полустанки, засеребрились в стороне трубы и башни гигантского комбината, проплыл город...

Потом вдруг замельтешили, замелькали конструкции моста, и за ними сразу, внезапно открылось пространство большой, дымной, мутной речной глади.

Мурад стоял у окна не один. Его десяти-
летний сын прижался носом к стеклу, и Му-
рад что-то объяснял ему — серьезно, под-
робно...

А потом в окна ударила теплая волна и как-то незаметно пошла степь — ровная, с

жухлой травой, с солеными пятнами, с дальними озерцами, с мазарами на буграх, совсем вблизи от полотна возникли фигуры медлительных, спесивых верблюдов.

Отец и сын оживились, заговорили, засмеялись. Мурад рассказывал что-то, сын смеялся, а когда вдруг белый тонконогий жеребенок отчаянно пустился вслед за поездом и сын замаха л руками от радости, улыбнулся и Мурад, улыбнулся, потом погрузился...

Но вот они все трое уже не отрывались от окна, потому что замелькали иные картины: холмы, зеленые полосы, речки, арыки, талы, поля, глинобитные домики в тени листвы. Все трое не отрывались от окна, и просветлел всем своим существом Мурад, притих сын, и смахнула слезинки с уголков глаз Алома. Так они стояли, забыв обо всем, пока поезд мчался в коридоре листвы, заборов, мостов и улиц навстречу наплывающей надписи «Ташкент».

— Дорогой Мураджон! Дорогая наша Аломочка! И ты, Сардорчик! У всех нас, ваших родных и близких, просто нет слов сказать вам, как мы рады вашему приезду!

В уютном, ухоженном дворике брата Аломы, дворике с розами и виноградным шатром, собрались полтора десятка родственников всех возрастов и хозяин дома держал речь:

— Есть замечательная поговорка: нет худа без добра. Мне кажется, именно эта поговорка больше всего подходит к данному случаю... Вспомни, Мураджон: четырнадцать лет с самого дня вашей свадьбы с Аломой вы не были на родной земле!.. Четырнадцать лет!

Гости закивали, запереглядывались, закачали головами. Вступил второй оратор:

— Нет, мы, конечно, не упрекаем тебя. Все знают, где ты был и чем занимался. В суровой службе, в далеком краю ты выполнял свой воинский долг перед нашей Родиной, и мы хорошо понимали, сколько сил и времени отнимает у тебя это нелегкое призвание... Понимали, но, честно говоря, очень скучали и беспокоились за вас.

Гости снова закивали, подтверждая сказанное. Взял слово третий родственник. Он говорил негромко, с проникновенными интонациями:

— Если ты помнишь, Мураджон, твои покойные родители завещали нам всем заботиться о тебе... И все эти годы, вспоминая о тебе, я лично чувствовал беспокойство в душе... Да-да, большое беспокойство! Ты был далеко, я не мог ничем поддержать тебя и не выполнил до конца свой долг перед умершими...

Гости притихли. Кто-то прослезился.

— Поэтому я уверен, что ты поймешь меня правильно, Мураджон, и не обидишься, если я скажу честно: я рад, что медицинская комиссия уволила тебя из флота!

— Да что комиссия! — не выдержал Мурад. — Я здоров! На мне пахать можно! Просто нашелся там один... Склифосовский!

— И дай бог ему здоровья, этому Склифосовскому, — подхватил хозяин дома, поднял бокал, и все рассмеялись, чокаясь.

— Я что хочу сказать, Мураджон, — тихо, интимно продолжал он, склонясь к Мураду. — Тебе надо развеяться. Твое настроение мне понятно... Конечно, это не так просто — в тридцать четыре года начать все сначала... Но, слава богу, ты не один!

— И главное, ты — дома, — подхватил еще один из гостей. — Так что отдыхай, не перегружайся, ты это заслужил...

— Спасибо, друзья... — бормотал захмелевший Мурад. — Я постараюсь. Спасибо вам.

Мурад поднялся на лифте, пошел по коридору редакции центральной газеты. Мимо него проходили озабоченные люди с гранками в руках, кто-то спорил, размахивал макетом завтрашней газеты, кто-то курил у лестничной площадки, обсуждал футбольный матч.

Мурад вошел в приемную главного редактора.

Навстречу ему, плотно прикрыв дверь кабинета, вышел сухой человек в массивных очках. Бросил на стол секретарше несколько сырых фотографий, сказал озабоченно:

— Буду минут через сорок. Махкамову передай, что фотографии надо заменить. Пусть подберут что-нибудь повеселей, с улыбкой...

Он взглянул на Мурада.

— От Алима Джураевича? — быстрый умный взгляд словно прощупал Мурада с ног до головы.

— Да... — начал было Мурад, но главный редактор, взяв его за локоть, увлек за собой.

— Пойдемте, там поговорим.

Желтая вода реки несла их по течению. Главный редактор, блаженно прикрыв глаза и чуть шевеля руками, говорил:

— Хотите съездить в Самарканд? Развесьте, посмотрите памятники... Наверное, давно там не были?

— Давно, — улыбнулся Мурад. — Лет двадцать.

Редактор перевернулся на спину, шурясь на солнце.

— Ну, вот и прекрасно... Как вы пишете, мы знаем, читали ваши корреспонденции в «Красной звезде». Так что для вас эта рабо-

та — пустяк. Какой-то международный симпозиум реставраторов.

И он, глубоко загребая, поплыл к берегу. Вытерся, причесался.

— Завтра у них последний день работы. Сделайте колонку строк на сорок и передадите по телефону... Успеете?

— Постараюсь,— ответил Мурад.

Главный редактор взглянул на часы и стал торопливо одеваться.

— А в конце года на пенсию уходит заводом военно-патриотического воспитания... И, я думаю, это место как раз для вас.

— Спасибо.

— На здоровье.— Уже садясь в машину, он добавил:— Да, вот еще что. Советую заскочить в Караташ. У них там интересный эксперимент, так что полюбопытствуйте. В обкоме вам помогут.

Водитель включил зажигание.

— А в Янгиабаде ничего нет?— спросил Мурад.

— В Янгиабаде? — главный внимательно посмотрел на Мурада.— А что в Янгиабаде?

— У меня там дело. Личного порядка.

— Нет проблем! — улыбнулся главный.— В Янгиабад, так в Янгиабад! Это ведь рядом.

И он хлопнул Мурада по мокрой ладони. Машина тронулась, покатила вдоль берега Анхора.

Мурад, как в детстве, закатал кромки мокрых трусов и долго смотрел вслед уходящей «Волге».

— ...Ну вот, видишь, все налаживается. И с твоей работой, и с квартирой. Я же говорила,— Алома поправила ремень дорожной сумки на плече Мурада.

«Объявляется посадка на дополнительный рейс Ташкент — Самарканд,— забубнил ди-намик.— Пассажиров просим пройти...»

Послышались женские голоса, смех, стук каблучков, и мимо Мурада на галерею посадки устремился целый поток женщин. Они были разных возрастов — от двадцати до пятидесяти — но все разнаряжены: в яркие, пестрые, легкие, полуоткрытые и совсем открытые платья, костюмы, в летних шляпах, козыночках на сложных прическах, с сумочками и косметичками, букетами цветов и дамскими кейсами...

— Кто это? — удивленно спросила Алома. Мурад пожал плечами:

— Понятия не имею... Может, какой-то ансамбль?

— Да нет, не похоже... Веселый у тебя будет полет,— засмеялась Алома.— Как в гареме... Ну ладно, иди,— она поцеловала его.— Не забудь позвонить.

— Обязательно,— он махнул рукой и двинулся вслед за женщинами.

Это был, действительно, веселый полет. Пять десятков женщин, полностью занявших салон самолета, оживленно болтали, обмахивались платочками и веерами, пили воду, непринужденно сновали в проходе, нетерпеливо поглядывали в окна.

Единственный мужчина среди них — Мурад — выглядел несколько затравленно.

— Извините,— обратился он к белокурой, пышной соседке,— вы, наверное, какой-нибудь ансамбль?

— Нет, не ансамбль,— улыбнулась соседка.

— А-а,— догадался Мурад,— летите на какой-то слет, да?

— Нет,— снова и не без игривости улыбнулась соседка.— И не на слет.

— Тогда, может, на конкурс? — предложил Мурад.

Соседка засмеялась:

— Опять не угадали. Конкурс мы уже прошли. Еще раньше...

— Тогда кто же вы все?

— Гости,— загадочно отозвалась соседка.

— Гости? Чьи?

— Одного очень хорошего человека,— сообщила соседка.— Хусана Бахрамова.

— Бахрамова? А кто это?

— Вы не знаете дядю Хусана?! — соседка сделала круглые глаза и показала головой.

Внимание, наш самолет пошел на снижение,— объявила стюардесса.— Через несколько минут он приземлится в аэропорту города Самарканда.

По салону прошла волна оживления. Женщины, как по команде, раскрыли свои косметички и кейсы и стали прихорашиваться. Сосредоточенно и взволнованно они подводили глаза, поправляли прически, подкрашивали губы.

Ничего не понимая, Мурад озирался по сторонам.

Когда дверь самолета открылась, вслед за стюардессой на трап вышла первая пассажирка. Она сверкнула глазками, помахала кому-то рукой в длинной шелковой перчатке.

За ней появилась вторая — чуть постарше, с темной вуалеткой на шляпе и ярко накрашенными губами. Она также послала кому-то воздушный поцелуй и стала спускаться по ступенькам. За ней появилось еще одно женское личико, потом еще и еще... Все они искали взглядом кого-то и посылали воздушные поцелуи. И не было ни одного мрачного или просто озабоченного лица — все, как на подбор, улыбались и махали руками...

Последним в дверном проеме показалось лицо Мурада. Он обескураженно и растерянно смотрел вслед этим женщинам.

Они спустились по ступенькам, а на бетонной полосе шли по расстеленному ковру, на котором валялись розы, много роз. Как ба-

бочки, они бежали к невысокому человеку лет шестидесяти, с лысиной вполголовы, отливающей бронзой, с протяжным взглядом маслянистых глаз, бросались ему на шею, отталкивали друг друга, пытаясь первой поцеловать кумира.

Мурад, глядя на это необычное зрелище, застыл на трапе.

Женщины, весело смеясь и щебеча, шли к машинам, которые выстроились прямо на поле. Впереди стояла открытая «Чайка» с переплетенными золотыми кольцами. Чуть в стороне небольшой оркестрик играл попури на темы марша Мендельсона, индийских мелодий и песен Аллы Пугачевой.

Измученный Мурад, спотыкаясь, стал спускаться по трапу.

Какой-то человек сворачивал ковер, и Мурад чуть было не упал, когда из-под его ног упорхнул ковровый конец с текинским узором.

— Извиняюсь! — пропел человек.

Аkkордеон заиграл старинный вальс, и одна из женщин пригласила человека с бронзовой лысиной на тур. Тот танцевал лихо, самозабвенно, отогнув за спиной женщины мизнички.

— Красиво, а? — не без гордости сказал человек с ковром на плече. — Умеют люди жить? — И вдруг запел тонким бляющим голосом: — Сэ-э-эрдце, тэ-эбе не хочется покая-а-а...

Мурад наконец освободился от оцепенения и спросил:

— Это и есть Бахрамов?

— Это? Он самый! — Человек стал укладывать ковер в пикапчик. — Золотой человек! — Он сел на ковер и крикнул весело:

— Поехали! — Пикапчик покотил по бетонному полю аэродрома. — Как хорошо на свете жи-и-ить!..

А танец продолжался. Одна женщина смеялась другую, все хохотали, ветер теребил шары, вуалетки, шелк платьев, гремел оркестрик, ухал барабан... Глазки хозяина сверкали от радости, а на глазах у многих женщин выступили слезы умиления.

Встречающие и провожающие, раскрыв рты от удивления, смотрели на это странное зрелище на поле аэродрома.

Со стороны это выглядело красиво, и Мурад на минуто залюбовался танцующими.

Рядом остановился автобус. Мурад вошел в пустой салон. Двери с шипением закрылись.

— Гуляют... — мрачно сказал водитель, показывая взглядом на веселую компанию. — Деньги некуда девать...

Когда Мурад стоял у стойки выдачи багажа, эскорт автомашин с «Чайкой» во главе с шумом пронесся рядом.

— Вот это юбилей! — не скрывая восхищения, сказал стоявший рядом с Мурадом работник аэропорта. — Всех своих... — он по-

молчал, подбирая выражение помягче, — любимых женщин собрал! Со всех городов! Только Бахрамов может себе такое позволить!

Мурад задумчиво смотрел вслед удаляющейся колонне.

...И снова тяжелая штормовая волна, как исполинский молот, ударила в корпус и с гулом пошла по палубе. Снова ушел вверх, затих рев северного ветра, и немая, беззвучная полумгла сомкнулась вокруг...

Огромное тело атомной подводной лодки стратегического назначения медленно легло на океанский грунт...

Заседание симпозиума по вопросам реставрации памятников архитектуры проходило во дворе медресе Тилля-Кари. Среди старых раскидистых деревьев был установлен стол президиума, на нем стояли бутылки с минеральной водой, микрофоны. Участники симпозиума слушали доклад человека с рыжей бородой и в маленькой бархатной тюбетейке на лысой вытянутой голове.

Впереди сидело человек двадцать — гости из зарубежных стран, искусствоведы, дальше реставраторы — мастера Самарканда.

Из-за жары большинство участников было в хлопчатобумажных финках, а женщины — в просторных свободных блузах и юбках. Только несколько человек в президиуме были одеты в темные костюмы и туго затянуты галстуками.

Мурад сидел во втором ряду с краю, раскрыв на коленях блокнот, записывал речь выступающего.

За столом президиума сидел вальяжный человек в черном костюме. Он улыбался, кивал головой, словно слушая выступающего, но все его внимание было сосредоточено на переводчице из Москвы, сидевшей в первом ряду. Ей было жарко, она обмахивалась веером, полузакрыв глаза, тонкий полог юбки откинулся от ветерка, обнажив стройные ножки.

Мурад слегка улыбнулся, заметив этот чересчур пристальный взгляд. Девушка тоже, словно почувствовала этот взгляд, открыла глаза и поправила юбку. Человек из президиума незаметно улыбнулся ей. Потом склонился назад и сказал что-то человеку, сидящему во втором ряду.

Через секунду к переводчице подошел официант с подносом в руках. В вазочке был лед, он налил в фужер «Боржоми» и ложечкой положил кусочек льда.

Девушка понимающе кивнула головой человеку в президиуме и с удовольствием выпила холодной воды. Потом обернулась к Мураду и взглядом предложила ему выпить.

Мурад тоже с удовольствием выпил, благодарно кивнул ей и снова стал записывать

в блокнот речь человека с рыжей бородой.

Потом Мурад вместе с участниками симпозиума бродил по раскопкам древнего городища Афросиаб. Руководитель археологических изысканий горячо рассказывал о работе, о древнем городище, заражая слушателей своим энтузиазмом.

Тяжелее всего приходилось ответственным работникам, они так и не посмели нарушить непонятный этикет — во все времена года быть одетыми в черные костюмы — и парились под палящим солнцем. Человек из президиума стоял рядом с переводчицей, и та обмахивала его своим веером, а он что-то говорил ей, склонившись к самому уху. Потом все фотографировались на фоне замечательной фрески, открытой совсем недавно.

Фотограф был старой закваски — он долго расставлял гостей, пытаясь добиться симметрии и порядка. Валяжный человек из президиума стоял рядом, но вдруг переводчица поманила Мурада и капризно поставила его рядом с собой. К большому неудовольствию человека в черном костюме девушка положила руку на плечо Мурада.

На фабрике керамических изделий разъяснения давал сам директор предприятия. Он водил гостей по всем цехам: там, где готовилась глина, по формочному цеху, по цеху росписи. Особенное впечатление произвел на гостей огромный двор, где сушились перед обжигом тысячи глиняных ляганов, кос. Целое море красивых расписных изделий. После жара обжиговых печей гости поднялись в прохладу фабричного музея. В стеклянных витринах, на стенах красовались именные работы лучших мастеров фабрики. Здесь были собраны уникальные неповторимые произведения старины. Восторгам гостей не было предела. Классически расписанные блюда соседствовали с современной росписью и рисунком. Переводчица остановилась у большого лягана. По краю шла витиеватая восточная вязь орнамента, в центре была изображена девушка-амазонка. Рядом стоял готовый к прыжку гепард, а девушка натягивала тетиву упругого лука. Рисунок был полон динамики и движения.

— Нравится? — спросил Мурад, подойдя к переводчице.

— Очень, — улыбнулась она.

Чуть сбоку стоял человек в черном костюме. Он услышал этот диалог, обернулся к директору фабрики и что-то сказал на ухо. Тот сначала стал отчаянно качать головой, отказываясь выполнять просьбу влиятельного лица, но потом, после тихого, но грозного предупреждения, закивал головой, не поднимая грустных глаз.

Когда Мурад вместе со всеми возвращался этим же залом, он увидел, что стена, на которой висело прекрасное блюдо, была пуста.

В кабинете директора гостям вручили памятные подарки — небольшие свертки с набором кос и пиал. Человек в черном костюме протянул переводчице большой плоский сверток.

— А это — от меня лично... — сказал он улыбаясь.

По вечернему Самарканду в сопровождении ГАИ ехало несколько автомобилей и автобус.

Включив проблесковый маяк и сирену, машина ГАИ и колонна пронеслись на красный свет, заезжали под запрещающие знаки и, сокращая дорогу, поехали по пологим ступенькам городского парка.

Переводчица весело смеялась, когда «Волга», словно на волнах, подпрыгивала по ступенькам.

— Прелестный вечер! — щебетала она. — Поразительный город! Это — волшебная сказка! Ой, остановите! Остановите! — вдруг закричала она.

Водитель нажал на тормоз. В темной аллее стояла стеклянная коробка тира. Над надписью «Тир» была изображена девушка-амазонка с тугим луком и гепард.

— Какая прелесть! — продолжала переводчица. — Точно, как у меня на блюде. Жалко, тир закрыт...

Человек в черном костюме, высунувшись из дверей, крикнул сержанту ГАИ, который ехал следом на мотоцикле:

— Иди сюда!

Тот подбежал, подобострастно козырнул. Человек в черном костюме тихо отдал распоряжение, и мотоцикл, подняв клубы сизого дыма, рванул по аллеям городского парка.

Автобус и машины остановились у парковой чайханы. Гости выходили из «Икаруса» и всплескивали руками. На резных айванах, украшенных шарами и лентами, разноцветными лампочками, среди ковров и мягких одеял, были расстелены богатые дастарханы — восточные сладости, орешки, изюм, курага, сушеные фрукты, виноград, дыни, арбузы... Все было разделено и разрезано необычно, обязательно с каким-то фокусом. Приложив руки к груди, встречали гостей повара в белых колпаках и халатах. Чуть в стороне поблескивали начищенные самовары, дымился казан с пловом, крутились на вертелах тушки баранов.

На отдельном айване музыканты в национальных костюмах пели и играли. Танцовщица в сладострастном танце кружилась среди гостей.

Жена вальяжного человека — сильно накрашенная, в длинном бархатном платье, полная и важная, стояла, словно монумент. На груди ее поблескивало золотое кольцо необычной формы с растительным орнаментом. В ушах сверкали серьги.

Рыжебородый профессор, замороженно глядя на диадему, подошел к ней. Женщина подозрительно посмотрела на иностранца и поправила на всякий случай вырез платья.

Тот что-то заговорил, показывая пальцем на кольцо, восхищенно цокая языком.

Женщина дипломатично улыбалась, не понимая его.

Она остановила Мурада и сказала:

— Переведите, чего он хочет?

Мурад спросил рыжебородого по-английски. Тот, отчаянно жестикулируя, повторил свою тираду.

— Он говорит, что это кольцо из Кзылтепинскогоклада Кушанских царей. Он видел его в каталоге. Второго такого нет.

— У нас много таких кладов... — улыбаясь одними губами, произнесла женщина-монумент. — Скажите, что ему это только показало.

Рыжебородый недовольно отошел от нее, продолжая что-то говорить.

Подкатил мотоцикл ГАИ, и из коляски вылез заспанный человек. Он залез в глубокий карман и побегал с ключами к тире. Открыл его, включил свет и стал вытирать пыль с прилавка и винтовок. Когда все было готово, человек побежал к гостям и пригласил их.

Первой стреляла переводчица. Ни одна из пуль не достигла цели. Винтовку взял профессор. Он прицелился и тоже не попал ни разу. Вокруг смеялись, кто-то что-то советовал. Когда решил стрелять человек в черном костюме, служащий тира вдруг как-то засуетился и полез под прилавок доставать другую винтовку.

Человек прицелился и выстрелил. Потом второй и третий раз. Пули ложились ровно.

— Хорошо... — произнес Мурад, наблюдавший за стрельбой. — А не хотите пари? — предложил он вдруг.

— Не стоит, Мурад, мушка сточена, — шепнула переводчица.

— А мы пристреляемся, — улыбнулся ей в ответ Мурад. — Ну как, согласны на пари? — Азартный человек! — засмеялся мужчина в черном костюме. — Вы меткий стрелок. — Он подмигнул переводчице: — Особенно по части женских сердец! А?

— Ваши условия? — внимательно разглядывая мушку, спросил Мурад.

Вокруг, не понимая происходящего, стояли гости, недоуменно переговаривались.

— Проигравший исчезнет отсюда! Испарится! — засмеялся человек в черном костюме. — Согласны?

— А если проиграете вы?

— Вряд ли это произойдет, — он снова засмеялся. — Но в случае моего проигрыша — любая кара на ваше усмотрение...

— Ну что ж, начнем...

— По десять выстрелов.

Служащий тира повесил две новые мишени, и начался поединок.

Первые два выстрела ушли у Мурада на пристрелку, но все остальные пули он всаживал одну за другой в десятку.

Служащий тира принес две мишени и стал подсчитывать очки.

Потом виновато взглянул на человека в черном костюме.

— У него больше, — сказал он. — Восемьдесят три очка...

— Надо же! — засмеялся тот. — Ворошиловский стрелок!

— Молодец, Мурад! — рассмеялась переводчица. — Твои условия? Что ему надо сделать?

— Верните ляган на место, туда, где он висел, — произнес Мурад, глядя прямо в глаза человеку.

— Только и всего? — удивленно рассмеялся человек. — Так вот, дружок, за ляган уплачено. — И за ужин, и за этот тир. И за твой аппетит! — и он расхохотался.

— Не вернете? — спросил Мурад.

— Нет!

— Тогда мне придется всадить вот эту пулю, — Мурад медленно стал заряжать винтовку стальной пулей с оперением, — вам в глаз.

Наступило мертвое молчание.

— Хреново ты шутишь, сопляк... — негромко произнес человек в черном костюме.

Мурад молча поднял винтовку.

— Стойте! — закричала переводчица. — Мурад, ради бога! — она бросилась к машине. — Я сейчас, я мигом...

Мурад не опустил винтовку. Человек с ненавистью смотрел на него.

— Вот она! — задыхаясь, сказала переводчица, протягивая Мураду завернутый ляган.

Мурад молча опустил ствол, взял сверток и протянул его директору музея. Потом достал из кармана купюру и бросил ее на прилавок тира.

— Это за мой ужин. Сдачи не надо. Оставьте на другие банкеты, — сказал Мурад и пошел по темной аллее парка.

Мурад шел по ночной улице.

Самарканд в этот час был необычен. Без суетливой толпы многочисленных туристов, без гула автомобилей, город был тих и задумчив. Только негромко журчала вода в арыках, шелестели листья деревьев.

Мурад присел на ступеньки площади Регистан.

Справа поднимались к небу минареты Шир-Дора, слева темнело медресе Улугбека, впереди — Тилля-Кари. Ночной ветерок катал по пустынной площади лист бумаги.

Над головой светился диск луны, неярко виднелись звезды.

Какой-то шаркающий звук долетел до уха Мурада. Он повернул голову и увидел на площади неясную старческую тень с метлой в руке. Тень медленно передвигалась по каменным плитам площади, и этот шаркающий монотонный звук завораживал Мурада.

Послышался неуверенный детский голос: — Жизнь мгновенная... Ветром гонимая, прошла... Мимо, мимо, как облако дыма, прошла... — Невдалеке, на невысоком парапете виднелась фигурка сидящего мальчика, который медленно, по слогам, читал при свете свечи: — Жизнь, мгновенье которой равно мирозданию, Как меж пальцев песок, незаметно прошла...

Еще не успела отзвучать последняя строчка, как послышался рев машин, крики, возгласы, пение. Эскорт автомобилей во главе с «Чайкой» с золотыми кольцами летел по улице, впуская чуткую тишину ночных памятников. Знакомые Мураду лица женщин, смеющихся, поющих, кричащих, промелькнули перед ним. И среди них на мгновение возникло запрокинутое в блаженстве лицо пьяного юбиляра.

Мурад поднялся и пошел по улице. Шел не торопясь, вдыхая прохладный свежий воздух. Над кварталами стояла тишина.

Город еще спал, но уже появились машины, редкие прохожие.

У базара было оживленнее. Подъезжали грузовики с мешками и ящиками. Поскрипывали тележки мальчишек-разносчиков. Из автобусов выходили женщины с тазами, обернутыми в скатерти.

Мурад шел вдоль пустых прилавков.

На него никто не обращал внимания — все были заняты своими делами.

— Постепенно прилавки заполнялись плодами — виноградом, грушами, инжиром, яблоками.

Продавцы, что спали прямо здесь, на базаре, скатывали свои одеяла. Между прилавков бродил человек, окуривая дымом травы искры. Дымилась мангалы, слабо мерцали лампочки.

Мурад остановился в лепешечном ряду. От горячих лепешек шел пар. Мурад вдохнул ароматный запах. Лепешечник протянул кругляк, как солнце, лепешку.

Мурад отломил кусочек и долго вдыхал запах хлеба.

Чья-то рука протянула ему пиалу с чаем. Мурад оглянулся, это был лепешечник. Он улыбнулся, Мурад благодарно кивнул в ответ. Присел рядом на ящик, и они стали пить

чай, заедая горячей лепешкой.

Рядом с ним остановилась машина. Не успел хозяин помидоров выйти из кабины, к нему подскочил перекупщик, полный человек с бегающими глазками. Они стали о чем-то спорить. Перекупщик и грозил, и умолял, и смеялся, и чуть не плакал, пытаясь уговорить несговорчивого парня. Потом, взяв его руку в свою, хлопнул, давая тем самым понять, что сделка состоялась. В конце концов, парень плюнул и махнул рукой. Перекупщик вытащил деньги из внутреннего кармана и стал мусолить бумажки. Видимо, недодал. Парень возмущенно сказал ему что-то, перекупщик льстиво улыбнулся и знаком приказал мальчишкам увезти товар.

Мурад пошел дальше, остановился возле машины, с которой разгружали дыни. Высокий старик, стоявший в кузове, кидал дыни водителю. Тот складывал их горкой на старую кошку. Одна из дынь выпала из рук водителя и разбилась.

— Эй, сынок, — окликнул Мурада старик, — помоги...

Мурад поймал летящую дыню и передал водителю.

Втроем работа пошла веселее.

— Почему дыни, отец? — спросил Мурад.

— Пятьдесят копеек, — нехотя ответил старик.

— А что так дорого?

Настроение у старика было плохое, видимо, с утра он был чем-то раздражен, и вопрос Мурада стал той спичкой, которая подожгла солому его негодования.

— Дорого?! — закричал он. — А по сколько прикажешь продавать, если только что по дороге сюда ГАИ забрало пятьдесят рублей! А этот шкурник, — он показал в сторону водителя грузовика, — взял еще пятьдесят! Да за погрузку-разгрузку! Посчитай, а потом и спрашивай, почему дорого!

— Мы заранее договаривались... — попытался улыбнуться водитель. — Пятьдесят рублей — это еще по-божески...

— По-божески? — закричал старик. — Нет у вас бога! Вот ваш бог! — Он смеял десятки и бросил их под ноги шоферу.

Водитель поднял с земли деньги, расправил их и положил в карман. Потом спокойно сказал:

— Если бы я знал, что так получится, ни за что не повез бы... И не прикидывайся нищим — небось за эти дыни тысячи полторы хапнете?

— Что ты сказал, собака?! — Старик прыгнул на землю и схватил водителя крепкой рукой за ворот рубашки. — Хапну?! Ах ты, мерзавец! Это я хапну! Да я эти проклятые дыни с весны выращиваю! Вот этими руками! Вот этим потом!

Мурад попытался их разнять, но старик оттолкнул его в сторону. И в этот момент

Мурад увидел в его глазах слезы.

— Каждую дыню я холил своими руками... — тяжело дыша, произнес он. — Полгода! Да по нашим законам я давно отдыхать должен! А я хричил, работал! Ночей не досыпал! А тут, как грабители с большой дороги! Там дай пятьдесят, там двести! Да я бы по десять копеек продавал их! — Он обернулся к Мураду и замолчал. Смахнул незаметно слезы, отвернулся, как-то весь сгорбился.

— Извинись... — тихо сказал Мурад парню.

— Что? — глаза у парня сузились. — Ты этот разговор затеял, ты и извиняйся!

Мурад смотрел на водителя пристально и жестко. Парень не выдержал взгляда, опустил глаза.

Старик возился с весами, расставлял гири. Скинул с плеч чапан, на пиджаке блеснула орденская планка.

Водитель подошел к нему, тронул за плечо.

— Извините, отец... — негромко произнес он.

— А ну вас! — отмахнулся не оборачиваясь старик.

Грузовик катил по асфальтированному шоссе. Проплывали деревья, дома. В полях работали школьники, очищали землю от сорняков.

Ехали молча. Водитель не отводил глаз от черной полосы асфальта. Мурад смотрел в окно.

Кабина была обклеена фотографиями из индийских фильмов, вырезками из журналов. Водитель включил на секунду транзистор, но тут же выключил.

— Закуривайте, — пытаюсь нарушить затянувшееся молчание, Мурад протянул пачку сигарет.

— Свои есть, — хмуро произнес водитель, вытащил сигарету и, помедлив, прикурил от зажигалки Мурада.

Машина катила по шоссе.

— Ты про меня, наверное, подумал — что за хапуга... От хорошей жизни я бы ни за что не стал левачить, — произнес водитель. — Сломается что-нибудь — деньги из своего кармана. Запчастей нет... А там механику надо кинуть.

Мурад внимательно слушал его.

— Я как-то подсчитал, — продолжал водитель. — Мы на бензин не нарабатываем! Ты сам видел — из-за десятка труб направили меня в Самарканд. Туда и обратно — сто километров, пятнадцать литров бензина... Вот и взял, дыни подвез, и то польза... Только настроение — на неделю испорчено.

Водитель заметил впереди пункт ГАИ и стал гасить скорость. Зданьце ГАИ было отделано мрамором и стояло в тени дерева.

Старшина жезлом остановил машину,

по-хозяйски показал, куда ее поставить.

Мурад наблюдал, как водитель подошел к милиционеру, заискивающе улыбаясь, стал что-то объяснять ему. Тот с каменным лицом изучал путевые листы, документы водителя. Затем положил во внутренний карман права и строго сказал что-то водителю. Тот развел руками и, виновато улыбаясь, пошел к машине. Сев в кабину, зло стукнул кулаком по панели.

— Что случилось? — спросил Мурад.

— Да техосмотр не прошел, — вздохнул водитель. — Я ему деньги предлагал. Ни в какую. Не беру, говорит, взятки!

— Ну и что теперь?

— Что-то... Маленькая услуга. Куда-то что-то довести... Так что тебе лучше ловить другую машину.

— А далеко это?

— Говорит, двадцать километров. Да и обратно... В общем, пятьдесят — не меньше...

— Я лучше с тобой, — сказал Мурад.

Милиционер сказал что-то мотоциклисту, стоявшему рядом. Тот завел мотоцикл и махнул водителю рукой.

Грузовик поехал за мотоциклом.

Они свернули с большой дороги и покатили по узкому проселку, поднимая пыль.

— Это же незаконно, — сказал Мурад.

Водитель оглянулся на него и вдруг рассмеялся.

— Ты чего смеешься?

— Откуда ты? — сквозь смех спросил его парень.

— Из Ташкента.

— Из Ташкента? — недоверчиво переспросил его водитель.

— Из Ташкента... Правда, лет четырнадцать меня дома не было. Служил я...

— То-то я смотрю, ты будто с луны свалился! — продолжал смеяться водитель.

Грузовик остановился возле дома, у калитки которого был сложен нехитрый скарб — сундуки с горкой одеял, национальный шкафчик с разноцветными стеклами, узлы с одеждой.

Мурад и водитель вышли из кабины.

Возле вещей стояла молодая женщина. Она безучастно смотрела, как, откинув борт, стали закидывать в кузов ее вещи. Взгляд ее застыл от горя и несправедливости. Она не плакала — не осталось слез.

Работали молча, словно не замечая ее. Домочадцы, глядя с презрением, стояли у ворот дома.

Мурад закинул последний узел. Водитель тронул молодую женщину за плечо.

— Пойдемте, — тихо произнес он.

Женщина очнулась, нетвердыми шагами пошла к машине. Потом остановилась, оглянулась на мужа.

Тот сидел на корточках у калитки, закрыв

лицо ладонями. Почувствовал взгляд, поднял лицо.

Женщина закусил губу.

— Чего остановилась?! — грубо крикнула ей свекровь.— Иди, иди!

Молодая женщина хотела что-то сказать, но промолчала.

— Нечего глаза пялить! — закричала свекровь.— Бесстыжая!

Она вдруг вытащила белоснежную простыню и со злостью развернула ее перед всеми.

— Сосватали честь по чести, родителям уважение оказали, а у этой стервы давно ворота нараспашку! — истерично кричала женщина.

Она с треском рвала ткань, ветер подхватывал обрывки, катил их в пыль.

Мурад взял молодую женщину за локоть, помог ей взобраться в кузов.

— Потаскуха! — кричала свекровь.— Шлюха проклятая! Не было еще такого позора в нашем доме!

— Хватит орать,— сказал водитель.

— А тебя не спрашивают! — закричал вдруг старик, видимо, глава семейства.— Не твоего ума дело!

Мурад сел в кабину, и машина тронулась.

Одна из невесток стала подметать вдоль дороги, поднимая пыль, в которой валялись обрывки незапятнанной простыни.

На повороте Мурад оглянулся на удаляющийся дом, из которого выгнали женщину.

Ворота плотно закрылись, и улица опустела.

Машина ехала по проселочной дороге, переваливаясь по пыльным ухабам. Мурад и шофер молчали.

Сжавшись в комок, обхватив руками колени, молодая женщина сидела в кузове среди своих вещей и молча, без всякого выражения смотрела прямо перед собой.

— Заправиться надо,— сказал водитель и стал притормаживать около длинного хвоста автомобилей, выстроившегося возле автозаправки.

Вокруг единственно работающей колонки разгорался скандал: кто-то пытался взять бензин без очереди, кто-то лез с канистрами.

— Опять за наличные бензин дают,— сказал водитель.— А талоны хоть выбрасывай...

— Погоди, я сейчас,— сказал Мурад и вышел из кабины.

Он подошел к заправщику, толстому человеку с маслянистым лицом.

— Почему только за наличные? — спросил он.

— А тебе какое дело? — толстый смерил его с ног до головы.

Мурад вытащил из кармана удостоверение.

Заправщик повертел в руках красную книжку, сказал хмуро:

— Где ваша машина?

— Нет,— сказал Мурад,— заправлять бу-

дете все машины по талонам. Как положено...

Водители с удивлением слушали разговор.

— Ну, по талонам, так по талонам,— мирно сказал толстяк и улыбнулся, показав золото коронок.— Мы люди маленькие. Что нам прикажут, то и сделаем... Эй, давай талон!

Никто не обратил внимания на то, что молодая женщина выбралась из кузова и, оглянувшись, отошла в сторону...

Когда Мурад вернулся, водитель улыбался.

— Здорово ты его... Из ОБХСС, что ли?

— Нет,— объяснил Мурад.— В газете работаю.

— Ясно...

Подошла их очередь. Мурад вышел из кабины помочь шоферу. Они быстро заправились.

Не успел Мурад повесить заправочный шланг на место, как раздался отчаянный, рвущий душу крик.

Мурад резко обернулся. За пригорком из кювета невысоким столбом било пламя.

Когда Мурад и шофер подбежали туда, они увидели горящий комок, катающийся по земле.

Это была их пассажирка — молодая женщина, изгнанная из дома мужа. Рядом на земле валялась пустая канистра, и тонкая струйка бензина ярко горела в траве.

Одним прыжком Мурад оказался возле нее, подхватил ее на руки. Загораясь сам, он рванулся к речке и влетел в воду.

Шофер беспомощно бегал по берегу, а они вдвоем барахтались в мелкой воде, и Мурад изо всех сил сбивал пламя с тела женщины.

Подбегали люди, растерянно спрашивали друг друга, что случилось.

Мурад вышел из воды, держа на руках мокрое полуголое обожженное тело. Женщина была без сознания.

Мурад с перевязанной рукой сбежал по ступенькам районной больницы и подошел к грузовику.

— Ну, как она? — спросил водитель.

— Жива,— отозвался Мурад.— Поехали.

Машина тронулась.

— Вообще-то ее жалко, конечно, но с другой стороны — так ей и надо, — горячо сказал шофер.— Будет знать, как до свадьбы гулять!

— А ты женат?

— Нет,— неохотно отозвался парень.

— Чего так?

— Да тут целая история.— Он помолчал, затянулся сигаретой.— Была у меня любовь, с пятого класса дружили. Представляешь,— он усмехнулся,— косички ей заплетал... Подросли, стали готовиться к свадьбе. И захотелось мне всех удивить, закатить такой

пир, что не хуже, чем у этих «деловых»... Ну, решил, так решил. Завербовался на два года в Тюмень, дорогу строить. Хрячил без просыпу, по-черному, одни кости от меня остались. А вернулся — у нее уже ребенок. От какого-то «делового». Так что не верю я этим бабам.

— Ну и зря,— сказал Мурад.— Не все ж такие.

— Да? Ты так думаешь? — обернулся к нему парень.

— Конечно,— ответил Мурад.

Парень замолчал, задумался.

На развилке у указателя с надписью «Караташ» грузовик остановился.

Они вышли из машины. Мурад пожал руку парню.

— Спасибо тебе, Рахим...— произнес он.

— Не за что,— крепким рукопожатием ответил парень.— Я бы довез вас, но не могу. Он взглянул на шлагбаум, закрывающий дорогу.— Во владения Назирова лучше не соваться.

Мурад непонимающе посмотрел на шлагбаум. Рядом, сидя за столом, попивали чай два человека с повязками на руках.

— А что это, заповедник? — спросил Мурад.

— Заповедник! — парень усмехнулся.— Точно, заповедник! Ладно, я поеду, Мурад-ака... А то эти ребятки что-то очень внимательно смотрят. Как бы не запрягли меня на «нужды народного хозяйства».—Рахим пошел к машине.

— Рахим, да погоди ты! — попытался остановить его Мурад.— Объясни, в чем дело?

— Сами поймете! — крикнул парень, заводя мотор.— Пока!

И грузовик рванул по дороге.

Мурад пошел к шлагбауму.

Навстречу ему поднялись охранники.

— Здравствуйте,— приветливо сказал Мурад.

— Добрый день,— произнес один, ощупывая Мурада взглядом.

— Я из газеты... Мне с товарищем Назировым надо встретиться,— произнес Мурад, теряя уверенность с каждым словом.

— Из какой газеты? — недоверчиво спросил высокий.

— Из центральной, республиканской.

Первый парень смерил его с ног до головы. Вид у Мурада после дороги был помятый, тупфи запылились, волосы всклокочены.

Высокий откровенно насмешливо посмотрел на Мурада и сказал веско:

— Нет товарища Назирова. Уехал. Когда будет — неизвестно.

— Но в контору я могу попасть? — начинающая злиться, произнес Мурад.— Или у вас здесь иностранное государство?

— Пошли,— сказал первый парень другому.

Они направились к своему столу, не желая разговаривать с Мурадом.

— Из газеты...— громко сказал высокий.— Видали мы таких. На грузовике...— он засмеялся.— Оборванец какой-то...

Мурад догнал его и развернул за плечо.

— Смирно! — заорал вдруг Мурад и, как ни странно, этот неожиданный окрик возымел действие.

Высокий выпрямился, вытянул руки по швам. Мурад вытащил из кармана свое удостоверение. Сунул его в руки высокого.

Тот с трудом прочитал название газеты, вернул книжку Мураду.

— С этого бы и начинали, товарищ Юсупов,— негромко произнес он.— У нас приказ...

— Что, военное положение? — с издевкой спросил Мурад.

— Нет, хашар в разгаре. Порядок наводим.

Второй вытащил из стола телефон и стал накручивать диск.

— Алло, пришли машину ко второму посту,— сказал он в трубку.

Мурад, сдерживая давивший его гнев, молча смотрел на парней.

— Чай,— протянул пиалу высокий.

Мурад демонстративно отвернулся и тут заметил лозунг, висевший над головой: «Экономическому эксперименту — зеленую дорогу!»

К шлагбауму со стороны большой дороги подъехала белая «Волга». Парни услужливо подняли шлагбаум, ослабившись в улыбка. Из «Волги» выглянул человек в белой рубашке и при галстукке.

— У себя? — спросил он.

— У себя. Ждет вас, товарищ Каланов,— прижимая руки к груди, закивал парень.

Человек скользнул равнодушным взглядом по Мураду и вяло показал шоферу — трогайся.

Мурад решительно подошел к машине.

— Здравствуйте,— сказал он хрипло.— Подведите меня к Назирову.

Сидящий в машине удивленно посмотрел на Мурада. Тот неловко вытащил красную книжку и протянул ее человеку.

Человек посмотрел на Мурада внимательно.

— Что-то я вас никогда не видел,— произнес он.

— Я недавно работаю,— начал было оправдываться Мурад, но в следующий момент взял себя в руки и сказал жестче: — Если у вас тут верят только бумажкам, могу показать командировочное.

— Ну что вы,— улыбнулся человек.— Что за формальности. Садитесь.

«Волга», провожаемая взглядами молодых, поехала по обсаженной густым ку-

старником, добротной асфальтированной дороге.

Сад конторы Назирова напоминал райские кущи — поднятые на высокие шпалеры виноградные лозы с тяжелыми янтарными гроздьями создавали желанную тень, везде били фонтанчики, дорожки из мрамора вели к резным деревянным супам с атласными одеялами и высокими подушками, над головами пели птицы в золоченых клетках, по двору, смешно поднимая голову, ходил царственный павлин. Женщина торопливо подметала и без того чистые дорожки. Рядом крутился маленький ребенок.

Мурад сидел на супе с двумя пассажирами белой «Волги». Оба чем-то были похожи на человека в черном костюме — такие же вальжные, сытые и ухоженные.

Услужливый молодой человек сутился у стола, поднося угощения — чай, лепешки.

Каланов, попивая мелкими глотками чай, говорил негромко и размеренно, словно заученный текст:

— В областном комитете партии хозяйства Назирова придается огромное значение. Творческий подход к делу, хозяйская сметка товарища Назирова помогли выйти на передовые рубежи... Его хозяйство — это маяк для всех наших совхозов и колхозов. И мы его всячески поддерживаем.

В этот момент кто-то крикнул:

— Идет!

Женщина подхватила ребенка на руки, поспешно удалилась. Так же быстро исчез работавший на винограднике садовник. И даже услужливый молодой человек покинул двор и плотно закрыл за собой двери.

По дорожке энергичной походкой к ним шел человек лет пятидесяти, невысокий, но крепкий, с большой стриженной головой.

Каланов и его коллега пошли навстречу и, приложив руки к груди, вежливо поздоровались с ним.

Мурад стоял позади них.

— Здравствуйте, — сказал он, когда цепкий взгляд Назирова остановился на нем.

— Здравствуйте.

Мурад ощутил крепкую руку. Умные, пронизательные глаза сверлили его. Назиров улыбался, но глаза его оставались холодными и настороженными. Загорелое, обветренное лицо говорило о том, что большую часть времени он проводит на воздухе, под солнцем. В отличие от гостей из центра на нем была добротная и удобная одежда — хлопчатобумажные брюки и такая же куртка защитного цвета, сапоги.

— Так это вас задержали у шлагбаума? — спросил он, не отпуская руки.

— Ничего страшного, — ответил Мурад.

— Они уже наказаны, — жестко произнес

Назиров. — Заставь дурака богу молиться — он башку расшибет... Приношу свои извинения.

— Мне поручили написать о вас очерк.

— Знаю, — мягко перебил его Назиров. — Мне звонили из Ташкента. Присаживайтесь.

Он обращался только к Мураду. Каланов и работник райкома сидели молча, стараясь не вмешиваться в разговор.

— Я думаю, мы построим нашу работу следующим образом, — произнес Назиров, отпив глоток чая. — Я вам ничего рассказывать не буду. Это неинтересно ни вам, ни мне.

— А как же тогда? — растерялся Мурад.

— А вот как: сядем и поедим вместе по всему хозяйству. Сами посмотрите. Согласны?

Мурад кивнул.

Когда «Волга», за рулем которой сидел Назиров, выехала на улицу поселка. Мурад заметил, как торопливо, с каким-то страхом люди прятались за калитки, стараясь не попасться на глаза. Дети прекращали свои игры и тоже бежали во дворы.

Мурада хозяин усадил рядом с собой. На заднем сиденье устроились Каланов и работник райкома.

Выехав из поселка, Назиров развил большую скорость и помчался по знакомой дороге. У шлагбаума, за столом, сидели уже два других человека. Они издали заметили машину и заблаговременно подняли шлагбаум, склонившись в легком поклоне.

Машина промчалась мимо и понеслась по дороге, обгоняя грузовики, трайлеры, бульдозеры, тракторы с прицепами, полными людей.

Назиров по-хозяйски смотрел на колонну, затем, не оборачиваясь, сказал:

— Вы обещали два крана. А я вижу только один...

— Разве? — удивился Каланов. — Наверное, подъедет.

— Шесть прицепов, восемь «Беларусей», три трайлера... — с математической точностью перечислял Назиров. — Этого, товарищ Каланов, мало.

— И как это вы успели подсчитать? — удивленно спросил тот.

— А я всегда все считаю, — хмуро ответил Назиров.

Каланов перестал улыбаться.

— Нельзя подвергать стройку опасности срыва. Вы же понимаете значение...

— Конечно, — торопливо ответил Каланов.

— Не хватает еще человек двести, — Назиров посмотрел на работника райкома. — Если не поддержать сегодня стройку людьми, может нарушиться выработанный график работ.

— Четыреста пятьдесят человек я послал сегодня, к завтрашнему дню пришлю студен-

тов техникума, — виновато ответил тот.

Мурад удивленно прислушивался к разговору.

Машина стремительно неслась по дороге, и странно было, что водитель может на такой скорости что-то подсчитывать.

— Люди недовольны, что им не платят у нас, — продолжал Назиров. — Вчера ко мне подходил один из бригадиров... Вы можете ему объяснить, что это имеет большое политическое значение?

— Да-да, я провел разъяснительную работу, — произнес Каланов. — Я еще поговорю с ними...

— Надеюсь, — не сводя взгляда с дороги, сказал Назиров.

Машина свернула, пошла в гору.

За холмом развернулась панорама строительства.

Машина остановилась на самом гребне. Назиров и его спутники вышли из «Волги». Внизу, в ущелье, кипела работа. Сновали грузовики, гудели экскаваторы. Огромные трубы ложились длинной змеей чуть выше канала. Здание насосной станции было почти готово. Сотни людей работали на стройке — кто-то таскал на носилках грунт, кто-то загружал машины. Мелькали огоньки сварки, пыль поднималась над ущельем.

Мурад взглянул на Назирова. Что-то мощное и радостное читалось на его обветренном лице. Желваки крутились под кожей скул, сощуренные на солнце глаза светились веселой злостью.

— Все это, — Назиров обвел вокруг рукой, — были бросовые земли. А теперь — сам видишь. Но не это главное. Основное наше богатство там, в долине, — хлопок.

Каланов по своей привычке стал заученно говорить:

— Благодаря воде, которая на том вот плоскогорье пойдет самотеком, будут орошены тысячи гектаров плодородной земли... Сады и виноградники... — и он продолжал говорить заученные фразы, но его не было слышно, рядом медленно, с гулом поднимался огромный грузовик.

Человек размахивал руками, открывал рот, но слов не было слышно, и это было смешно. Мурад заметил, как Назиров презрительно улыбнулся уголками губ, посмотрев на Каланова, но в следующую минуту опять увлекся панорамой стройки.

Когда шум грузовика стих, Каланов заканчивал свою патриотическую речь:

— ...маяк нашего сельского хозяйства...

— Так, — сказал Назиров, — о маяках поговорили, теперь к делу. Как насчет оформления труб?

— Вопрос сложный... — глядя под ноги, ответил Каланов. — Это ведь не очень законно.

— Ах ты, какой законник! — расхохотался

вдруг Назиров. — Я за ними в Челябинск ездил, вот этими руками выбивал! А чтобы оформить, поставить всего одну подпись — так тут про закон вспомнили? — Он перестал улыбаться. — А кто про эту освоенную землю уже в своих отчетах написал? Мной освоенную? А?

Каланов промолчал. Потом сказал тихо:

— Не горячись... Я постараюсь...

— Постарайся! — куражась произнес Назиров. — Очень тебя прошу!

Он быстрым шагом пошел к машине.

Проселочная дорога обрывалась у подножия гор. Дальше она петляла вверх через неглубокие ручьи, мимо валунов и кустарника боярышника.

Назиров остановил «Волгу», заглушил двигатель.

За поворотом стоял «ГАЗ-69». Рядом, прислонившись к стволу, сидел молодой парень, видимо, шофер. Увидев Назирова, встал. Назиров пригласил гостей в «газик».

— Дальше «Волга» не пройдет, — объяснил он.

Он завел двигатель, и «газик» круто пошел в гору.

Мурад смотрел в окно на горные вершины. Они ехали по бездорожью, поднимаясь все выше и выше.

Мощный двигатель гудел на пределе.

Назиров нажал на кнопку радиостанции, встроенной в панель «газика». Поднял трубку.

— Алло, Холмат? Два прицепа пошлешь на Бури-Тепа. Как нет? Сегодня же сено вывезти! Ничего не знаю! — заорал он вдруг. — Мне гнилье не нужно! Ночью дождь будет! Скажи, Назиров велел. Все!

Он отключил приемник и обернулся к Каланову:

— Опять они саботируют!

— Кто? — спросил Каланов.

— Бешкентские! — Назиров посмотрел на работника райкома.

— Но трактора для стройки посланы... — попытался оправдаться тот.

— А меня это не волнует! — ответил Назиров. — Сказано, значит, надо сделать! Корма, корма, корма! Не вы ли об этом твердите на каждом совещании?

Впереди на дороге лежали два больших камня. Назиров знаком показал на них. Каланов и его сосед вышли из машины. Мурад хотел было выйти, но Назиров остановил его.

— Не надо, сиди, — твердо сказал он. — Пусть эти деятели поднимут свои задницы. Погляди — до блеска натерли в своих кабинетах!

Те с пыхтением отодвигали с дороги камни. Один из валунов скатился с насыпи и полетел

вниз, увлекая за собой все новые и новые камни...

«Газик» медленно поднимался по склону горы.

Вечером они возвратились домой.

Услужливый человек не спал — ждал возвращения хозяина. В саду вместо павлина бегали две сторожевые овчарки со светящимися в темноте глазами. При виде Мурада они злобно зарычали. Назиров потрепал их. На айване был накрыт стол. Человек снял марлеву накидку, под которой скрывались угодения.

Мурад вымыл руки. Человек приветливо пригласил его за стол.

Назиров мылся основательно, с удовольствием, пофыркивая и брызгаясь. Потом подошел к двухпудовой гире, стал поднимать ее. Упругие мускулы поблескивали при свете ламп.

— Вот вы говорите, по закону, — сказал он, с выдохом поднимая гирию. — А мне, к примеру, нужен лес. Много леса. Кого я только ни упрашивал, кого ни одаривал! Ничего не получалось. Пришлось вырубить два гектара там, наверху. Сам знаю, что это незаконно, неправильно... Чуть не плакал, когда эти деревья пустили под пилу. — Он подбросил гирию, она перевернулась в воздухе, Назиров ловко ее поймал. — Я знаю, что Минлесхоз возбудил против хозяйства дело и придется платить штраф. А мне плевать. Мне лес нужен! И где надо, я отвечу.

Он бросил гирию.

— Но это похоже на авантюризм! — произнес Мурад.

Назиров искренне рассмеялся и сказал:

— Авантюризм? Очень хорошо! — обтираясь махровым полотенцем, он поднялся на айван. Услужливый человек в это время поставил на стол блюдо с дымящимся пловом. — Лет двадцать назад я внедрил то, что сегодня называют сквозным нарядом. Это тоже был авантюризм. Я пошел на то, чтобы люди получали столько, сколько выработали! И они у меня вкалывали! Перья летели! — Он налил по рюмке коньяка. — А потом пришла комиссия, стала совать нос туда, сюда. Потом народный контроль, и пошло-поехало! «Это не так, это авантюра, это нарушение!» Меня чуть из партии не исключили... А сейчас во все трубы трубят: «Сквозной наряд, рабочая эстафета!» Разве не так? Так! — Он жестом показал на плов: — Прошу!

Утром Мурад проснулся от луча, который проникал в комнату через щель между тяжелыми портьерами. Он поднялся с высокой пуховой постели и раздвинул шторы. Свет утра залил комнату. Мурад оглянулся по

сторонам. Комната была обставлена богато и помпезно: тяжелая резная мебель, хрусталь и фарфор за стеклом горки, ковры. Рядом стоял столик, на котором, кроме обычных угодений, стояли бутылки с французскими коньяками, минеральной водой. Мурад с удивлением рассматривал бутылки.

Скрипнула дверь, и в комнату, поцарапавшись, вошел услужливый человек.

— Доброе утро, как спали? — улыбаясь, спросил он.

— Спасибо, хорошо.

Человек повесил вешалку с новым светлым костюмом, новой белоснежной сорочкой, галстуком. Под мышкой он держал коробку с туфлями.

— Одевайтесь. Пора завтракать, — сказал он.

Мурад непонимающе смотрел на новый костюм, белье, галстук.

— А где мой костюм?

— Он? В чистке, — сказал человек и снова улыбнулся.

— Да как же так! — возмутился Мурад. — Немедленно принесите мой костюм!

— Но я не могу. Теперь только через два дня.

— Слушайте, где Назиров? — решительно спросил Мурад.

— Он уехал, будет через час, — с готовностью ответил человек, — да вы не волнуйтесь так. Как только ваш костюм будет готов, мы вышлем его вам. А этот вы пришлете назад.

— Я не понимаю, — раздраженно произнес Мурад. — Какому идиоту пришла эта мысль?

Человек помолчал, продолжая улыбаться.

— Одевайтесь, пожалуйста, — пропел он. — Не в трусах же вам ходить.

Мурад взял в руки пиджак, рассмотрел яркую бирку на внутреннем кармане.

— Примерьте, он должен быть вам впору. — И человек исчез за дверью.

Назиров быстрым цепким взглядом окинул фигуру Мурада в новом костюме, чуть заметно усмехнулся, пропустил его вперед.

Они в сопровождении директора нового свиноводческого хозяйства шли по откормочному цеху. Никелированные детали современного оборудования сверкали на солнце. Назиров шел впереди быстрым энергичным шагом, по-хозяйски оглядывая светлый цех, трогая руками замысловатые краны, трубы.

Монтаж оборудования еще не был закончен. Из разных углов поблескивала сварка, слышался стук молотков и визг пилы.

Назиров остановился возле парня, который кувалдой бил по никелированной гайке. Он не выдержал и ударил парня по затылку. Тот оглянулся.

— Болван,— сквозь зубы произнес Назиров.— Пошел вон!

— Людей не хватает,— виновато произнес директор новой фермы.— Обещали завтра двух специалистов прислать.

— А ты здесь на что? — закричал Назиров.— Высшее образование, инженер!..— Он сплюнул.— Да тебе арбу нельзя доверить! Ученый! Это золотом оплачено! Золотом! А вы кувалдой!

Директор стоял, опустив низко голову. Назиров оглянулся на паренька с кувалдой.

— Пойдешь в чабаны! Подумаешь на свежем воздухе!

— У нас и так народу не хватает... — попытался защитить его директор.— А он специальное ПТУ в городе заканчивал...

— Ничего! Трудовое воспитание никому не вредило! На полгода пойдет в горы. Там тоже с народом тяжело... А ты иди, займись своими делами! Нечего за мной как хвост таскаться!

И Назиров пошел вдоль кафельного стока, приглядываясь к сделанному. Мурад двинулся за ним.

Возле механической кормушки Назиров остановился, погладил рукой блестящую поверхность.

— Умеют люди делать,— задумчиво произнес он.— К сожалению, у нас разучились работать. Обленились.

«Волга» мчалась мимо молодого сада. Шел сбор плодов. На карликовых деревьях висели тяжелые розовобокие яблоки. Девушки складывали их в ящики, относили к машине.

— Я был в Японии,— произнес Назиров,— каждый клочок земли обработан. Ухожен так, что глазам приятно. А мы разбаловались. Только кнутом можно этих баранов заставить что-то делать.— Он помолчал.— Про меня болтают разное. Что я делаю иногда не по закону. Что-то нарушаю.— Он обернулся к Мураду: — Да если бы я все делал по закону, ничего этого не было бы! Ничего!

Мурад задумчиво смотрел в окно.

— Но что будет, если все начнут делать, как вы? — спросил он.

— А меня не интересуют все! — сказал Назиров.— Есть я, есть мои планы, есть мои цели! И я должен во что бы то ни стало их выполнять! И потом, я заработал это право,— негромко произнес Назиров.— Сначала мы работаем на авторитет, потом авторитет работает на нас. Это — во-первых... А во-вторых, я делаю все это не ради себя или собственной выгоды! Я делаю это ради людей, ради того, чтобы они жили лучше! Пусть сейчас под палкой, под страхом, но

эти сады, эти облагороженные горы останутся людям!

Мурад и Назиров шли по лесопилке. Из-под дисковой пилы вылетала струя желтых опилок. Огромные бревна превращались в толстые ровные доски. Визг пилы заглушал разговор двух людей. Мурад что-то спрашивал Назирова. Назиров отвечал ему, смеялся, хлопал Мурада по плечу. Работавший у пилы человек поклонился Назирову. Тот, увлеченный беседой, не заметил кивка, продолжая что-то говорить. Человек проводил их взглядом, мрачно вытер пот со лба и продолжил работу.

Они вышли из ворот лесопилки. Визг пилы стал тише.

— Я понимаю, все движется. Должно двигаться... — продолжал спор Мурад.— Что-то меняется. Какие-то ошибки и признаются, и исправляются... Но основные принципы остаются незабываемыми.

Назиров внимательно слушал улыбаясь.

— Например — свобода... — Мурад остановился.— Вы отобрали ее у своих людей. А имеете ли вы на это право?

— Имею,— произнес Назиров.— Потому что это для их же блага.

— Странная позиция — несвобода ради блага.— Мурад смотрел в глаза Назирову. Тот промолчал, пошел вдоль ограды.

Услужливый человек заботливо положил дорожный чемоданчик Мурада в кабину «Волги». Назиров и Мурад подошли к машине.

— Садитесь,— предложил Назиров,— я провожу вас.

Он сел за руль, Мурад рядом. На заднем сиденье разместился возникший откуда-то молчаливый, мрачный верзила.

Обсаженная тутовником дорога летела навстречу.

— Да,— сказал Назиров,— вы интересный человек. Не знаю, как я вам, но вы мне очень нравитесь. Впервые вижу корреспондента, который может посмотреть мне в глаза. Даже жаль расставаться, ей-богу. Интересно, что вы обо мне напишете?.. Это еще что? — проговорил он резко и затормозил.

Впереди, в дорожной пыли неподвижным комком лежало человеческое тело.

Помедлив какое-то мгновение, Назиров вышел из машины. Следом двинулся молчаливый верзила. Мурад тоже вылез на дорогу.

Назиров приблизился к лежащему, склонился над ним.

— Эй! — позвал он негромко и тронул лежащего носком сапога.

В то же мгновение лежащий вдруг вскинул

руку, и на солнце ярко блеснуло лезвие серпа, нацеленное Назирову в пах. Назиров отшатнулся и рванул из-за голенища нагайку. Резкий взмах нагайкой, свист, и серп из рук парня отлетел в сторону. Парень отчаянно кинулся на Назирова, но на его пути уже встал верзила.

— У-у-у,— выл парень, вырываясь из его рук и все пытаясь достать Назирова.— Гад... гад... гад!

Подбежавший Мурад увидел, что брюки Назирова на ширинке рассечены лезвием серпа. Назиров рукой зажимал бедро, на руке была кровь.

— Гад... гад,— иступленно бился парень в руках верзилы.— Ты не человек, ты хуже последней твари... шакал.. Ты не имеешь права жить на земле... сука! Это ты, ты ее убил! Сначала запугал, обесчестил, а потом мне в жены... гад! А теперь... ее нет! Нет, умерла вчера в больнице... Ну и тебе не жить!!! Все равно не жить... гад, палач проклятый!

Верзила наконец скрутил парня, поволок в сторону.

— Щенок,— негромко произнес Назиров, приходя в себя.— Ну ты ответишь за это.

Мурад смотрел не отрываясь. В парне с серпом он узнал мужа изгнанной женщины, той самой, что пыталась сжечь себя у бензоколонки.

— Садись,— отрывисто скомандовал Назиров.— На автобус опоздаешь.

Мурад взглянул на него и, ничего не ответив, вдруг зашагал по дороге.

— Ты что, Мурад! — крикнул Назиров.— Эй!

Он рывком прыгнул в кабину, «Волга» двинулась за Мурадом, поравнялась с ним.

— Мурад,— высунувшись из окна, позвал Назиров, в его голосе прозвучало недоумение.— Ну что за фокусы? Давай садись.

— Езжайте,— проговорил Мурад, не оборачиваясь.— Я сам дойду.

Назиров ехал с ним рядом и пристально смотрел на Мурада. И вдруг улыбнулся.

— Решил прогуляться?

— Да.

— До автостанции семнадцать километров. Не дури.

— А я не на автостанцию,— произнес Мурад.— Мне ближе.

— Да? Куда же, если не секрет?

— В милицию.

Назиров рассмеялся так искренно и заразительно, что Мурад остановился.

— Чему вы смеетесь? Я видел, как горела эта женщина. Как ее вышвырнули из дома, как она ехала, сама не зная куда, как сожгла себя! Я это видел, понимаете?

— Ну и что? — спокойно отозвался Назиров и остановил машину.— Я-то тут при чем?

— Как при чем? — закричал Мурад.—

Ведь этот парень сказал о вас! Ведь он...

— Ерунда.— Назиров вышел из машины и остановился перед Мурадом.— Обыкновенная клевета. Я эту женщину никогда в жизни в глаза не видал, да и парня тоже.

— Почему же он бросился на вас?

— Подучили. Обманули, натравили на меня и послали.

— Кто?

— Мои враги. Ты думаешь, меня здесь любят? Думаешь, есть хоть одна душа, которая меня понимает? Которая испытывает ко мне хоть каплю уважения?! Да меня даже дворовые собаки ненавидят! Такой лай поднимают, когда я по кишлаку иду, аж в Намангане слышно! — Он замолчал на секунду.— А знаешь, почему?

— Почему?

— Потому что я — это я. Единственно честный и принципиальный партиец в наших краях.— Он говорил с силой, как гвозди вбивал.— Потому что я верю в наше дело. Верю в коммунизм. И ради этого готов пойти на что угодно.

Наступило молчание. Назиров, поморщившись от боли, прижал платком кровавую царапину на бедре.

— Ты веришь мне?

— Не знаю.

— Эх, сынок, сынок...— Назиров вздохнул.— Да на меня каждый час посылают проклятия, каждый день пишут и каждую неделю бросаются: то с топором, то с ножом. И если бы я хоть в чем-то был виноват, мне бы давно не жить на свете. Вот она — какая борьба!..

Они снова помолчали.

— Вот, кстати... Смотри, идут...

Сбоку, из-за деревьев, спотыкаясь и спеша, приближались две фигуры. Это были старик и старуха — свекор и свекровь погибшей женщины, родители парня. Еще издали они стали кланяться, прижимая руки к груди, потом остановились, склонившись.

— Ну? — недовольно произнес Назиров.— В чем дело?

Старик поднял лицо и шагнул вперед. По его морщинистым щекам текли слезы.

— Простите его...— проговорил он.

— Простите... пожалуйста дурака! — заголосила старуха.— Он сам не знал, что делает! Сам не ведал! Как эта потаскуха умерла, он совсем не в себе!.. Все она, она, тварь подлая! Никогда такого в нашем доме не было! Все горе от нее!

— Простите его, уважаемый...— повторил старик плача.— Сын, кормилец... Как мы без него?

— Ладно,— оборвал их Назиров.— Помолчите.— Он повернулся к Мураду: — Видишь? Вот спроси у них: виноват ли я в чем-нибудь? Спроси, спроси!

— Да что вы, что вы! — замахала руками

старуха.— Вы-то тут при чем? Такой человек, хозяин наш! Да откуда вам знать наши семейные дела, наши несчастья?!

И она снова заплакала, заголосила на весь сад.

— Хорошо,— медленно проговорил Назиров.— Только из-за ваших родительских седи я готов пойти вам навстречу. Пусть ваш сын благодарит бога.

Старик радостно закивал сквозь слезы.
— И передайте ему, что если не укоротит свой язык, я его в тюрьме сгною. И не в Ташкенте, а здесь. Он знает где...

— Спасибо,— повторял старик, униженно кланяясь.— Век не забуду вашей доброты. Спасибо.

Они пятились кланяясь. Назиров обернулся к Мураду.

— Садись в машину. Поехали твой автобус догонять.

Мурад ехал в ночном автобусе. Пассажиры дремали. Глаза Мурада были открыты. Откинувшись на спинку сиденья, он бесцельно смотрел в окно и напряженно думал о чем-то.

А тем временем Назиров в своем доме досматривал видеозапись, сделанную предыдущим утром. Услужливый человек, сидя за спиной хозяина, с интересом смотрел на мерцающий экран японского телевизора.

Мурад в новом светлом костюме стоял перед зеркалом. Хмуро оглядел себя, стянул галстук и бросил его на стол.

— Запиши,— сказал Назиров.— Финский костюм за двести шестьдесят рублей; сорочка, белье, галстук — сорок...

— Туфли итальянские,— подсказал человек.

— Туфли — шестьдесят рублей. Все это одолжено товарищу Юсупову.— Он усмехнулся и потрепал услужливого человека по щеке так же, как трепал загривки своих овчарок.— Так-то будет спокойней...

Человек улыбнулся и аккуратно записал слова хозяина в толстую книгу.

А подводная лодка все так же лежала на заданной глубине, на грунте у черных скал, выполняя свою стратегическую задачу по сохранению хрупкого равновесия, на котором держался мир на земле.

«Газик» подъехал к полевому стану, расположенному среди широкого хлопкового поля. Листья еще не опали, и поле казалось зеленым морем. Стены здания стана были разукрашены самодеятельным художником,

висели написанные на кумаче лозунги, под деревом дымился самовар.

Мурад спрыгнул в пыль, попрощался с водителем.

С трактора, остановившегося у кромки поля, сошла женщина и энергичной походкой направилась к нему.

Косынка закрывала лоб. Мужские брюки были заправлены в кирзовые сапоги, плотная куртка была застегнута на все пуговицы.

Женщина подошла к Мураду, вытерла пот с лица. На щеке осталась полоска грязи. Она расстегнула верхнюю пуговицу и легко вздохнула.

— Здравствуйте,— она протянула руку.

— Добрый день,— сказал Мурад.— Вы Насиба Умарова?

— Я,— улыбнулась женщина.

— Мурад Юсупов, корреспондент центральной газеты. Мне посоветовали написать о вас очерк... Портрет...

— Ладно,— просто ответила женщина.— Только у нас сейчас такое время... Каждая минута дорога...

— А можно, я с вами побуду? — спросил Мурад.

— Пожалуйста,— улыбнулась женщина. Они сели в трактор, и он двинулся между хлопковых рядов.

Солнце, нещадное и злое, палило с небес, раскаляло металл машины. Далекий горизонт колыхался от жары.

Женщина что-то рассказывала Мураду, показывая на кусты хлопка. Хлопок уродился высоким, крепким. Тяжелыми шарами висели нераскрывшиеся коробочки...

У дороги стояла машина с баками для дефолианта. Мурад, надев респиратор, помог залить желтую ядовитую жидкость в емкости, установленные на тракторе.

Женщина включила механический разбрызгиватель, и трактор пошел по полю, погрузившись в облако дефолианта.

Дышать в респираторе было трудно, пот заливал лоб, шею Мурада. Он что-то спрашивал у Насибы, она отвечала, перекиривая гул трактора и механического разбрызгивателя.

Когда емкости опустели, они поехали к полевому стану. Насиба и Мурад стянули респираторы, дышали глубоко и тяжело.

Под деревом собрались члены бригады. Кто-то спал, кто-то пил чай. Насиба представила Мураду членов своей бригады. Мурад ополоснул лицо и сел со всеми обедать.

Грубые, обветренные, прокаленные на солнце лица были усталыми, но люди улыбались. Какой-то паренек сыпал шуточками, кого-то изображая. Мурад смеялся вместе со всеми, ел красную мякоть арбуза.

И снова была работа...

День клонился к вечеру, когда неожиданно налетела пыльная буря. Потемнело сразу,

без предупреждения. Облако поднятой пыли нависло над полем, и загудел, завыл ветер, пригибая к земле кусты хлопка. Затрепетали на ветру лозунги и юбки девчат. Закрываясь от ветра, от колючих песчинок, люди продолжали работу.

Потом на смену ветру и пыли пошел слепой дождь. Мелкие брызги падали с неба, прибывая пыль, смывая ее с листьев, барабана в желобе.

Широкой дугой перекинулась радуга.

Мурад смотрел на женщину внимательно и пристально. Склонившись над двигателем трактора, она помогала механику натягивать приводной ремень.

Трактор ехал по темноте, освещая фарами дорогу.

Насиба всматривалась вперед.

— Когда будет первый автобус? — спросил Мурад.

— В шесть утра, — ответила Насиба.

— А гостиницы у вас нет?

Насиба оглянулась.

— Какая гостиница? Не расстраивайтесь, на улице не останетесь.

— Я в вашем тракторе переночую, — сказал Мурад.

Насиба промолчала улыбаясь.

Неожиданно в свете фар показалась машина: она стояла поперек дороги, закрывая проезжую часть.

У машины шурясь стоял человек.

Насиба нажала на тормоз.

— Аликул? — произнесла она. — Ты чего?

— Поговорить надо. — Человек подошел к трактору и увидел Мурада.

— Приходи утром, тогда и поговорим, — сказала Насиба.

— Нет, лучше сейчас...

— Убери машину! — крикнула Насиба.

Человек молчал, не двигаясь с места.

Насиба включила заднюю скорость, и трактор резко отъехал, потом рванул вправо и, скатившись с крутой обочины, двинулся по еле заметной дороге, поднимая в темноте пыль.

— Вот ненормальный! — произнесла она.

— Кто это? — спросил Мурад.

— Да так... Все в женихи навязывается!.. — зло сказала женщина и прибавила скорость...

Она поставила трактор возле дома на обочину, погасила фары, спрыгнула на землю. Мурад остался на своем месте.

— Спокойной ночи, — сказал он.

— Да что вы?! — женщина подняла брови. — Серьезно? Идемте! — решительно сказала она.

Они вошли во двор. Аккуратно подметенные дорожки, дом с айваном, виноградник, навес летней кухни, тандыр — обычный сельский дом. Глухо залаяла собака, промычала

корова в хлеву.

Окно в комнате светилось голубоватым светом работающего телевизора.

— Мамал..

С крыльца навстречу им бежали два мальчика. Старшему было лет семь, второму года четыре. Они обвилились вокруг матери и искоса смотрели на Мурада.

— Здравствуйте, — улыбнулся Мурад и протянул им руку.

— Это дядя Мурад, — сказала Насиба. — Поздоровайтесь.

— Здравствуйте, — сказал старший.

— Здравствуйте, — протянул маленькую ладонь младший.

— Проходите, — произнесла Насиба. — Хотите вымыться?

Старший с деловым видом побежал за кумганом, второй за полотенцем.

Пока Мурад мылся, Насиба прошла в дом.

Вышла переодетой: на голове была аккуратно повязана яркая косынка, брюки и куртку она сменила на домашнее платье. Этот наряд был ей к лицу.

Мурад поднялся на крыльцо, прошел в дом.

В скромной, но уютной комнате почти не было мебели, если не считать сундука, хонтахты и тумбочки с телевизором.

Стены были обвешаны сюзанае, бархатом, в нише аккуратной стопкой лежали одеяла, в углу висела рама с многочисленными фотографиями. Рядом в отдельной раме висел большой портрет крепкого, веселого парня в матросской форме. Угол портрета пересекала черная лента.

Мурад пристально взглянул на портрет, потом отвел взгляд.

Насиба поставила на стол поднос с тарелочками и вазочками, фрукты.

В комнату вошли дети, один нес чайник с чаем, другой — лепешки. Положив лепешки на стол, младший во все глаза уставился на Мурада. Мурад протянул руку, погладил его по голове. Малыш вывернулся из-под руки и убежал.

— Угощайтесь, — пригласила Насиба.

Пока Мурад пил чай, Насиба взяла из ниши подушку, одеяло. Стала стелить на ковре.

— Мама, — позвал младший.

Он обеими руками держал тяжелый семейный альбом с фотографиями, раскрытый на одной из страниц.

— Что, сынок?

Насиба склонилась к альбому.

И увидела яркую, полную света фотографию, на которой, обнявшись, стояли двое мужчин в форме военных моряков. Они стояли на фоне владивостокской бухты, улыбались, и было видно, что снят этот кадр в какой-то хороший, светлый для них день. Один из них — тот самый крепкий, веселый парень, чей портрет был отмечен черной лен-

той, другой — Мурад.

Насиба быстро вскинула голову. В ее глазах было потрясение.

— Это вы? — тихо спросила она.

Мурад тоже узнал знакомую фотографию.

— Да, я,— глухо отозвался фото.

— Почему же вы... сразу не сказали? — все так же тихо произнесла она.

— Так получилось... Извините.

Наступило молчание. Насиба повернулась к детям.

— Быстро умываться и в постель.

Дети неохотно двинулись к дверям, младший остановился на пороге.

— Ну, пожалуйста... я прошу,— попросила Насиба, и он ушел.

Насиба взглянула на Мурада. Спросила не сразу:

— Вы были там, когда он...

— Да.

Она села на ковер.

— Как это случилось?

Мурад опустил голову, вспоминая все снова уже в который раз. Потом заговорил — медленно, подбирая слова:

— Мы были там, в океане... Две страны стали выяснять свои отношения, и прямо над нами, у островов, разгорелся бой. Флот атаковал военные базы, базы тоже отвечали огнем. Но пока мы там были, никто не решался ударить по-настоящему. Мы лежали на дне и не имели права уйти — иначе тут же могла начаться мировая война... Где-то рядом появилась подлодка, на нее пошли глубинные бомбы, и одна из них угодила в наш энергоотсек. Там был один Азиз... Мне трудно объяснить вам все, но если бы не он — мы бы все облучились... Да что там облучились! Просто сгорели бы. А он успел задрать защитную переборку и погиб...

Она молчала, глядя в сторону, не плача, не шевелясь, и в этом молчании было все: и горе, и усталость, и воспоминания, и тоска, и необходимость жить дальше.

— Простите,— сказал Мурад.

Она поднялась.

— Пейте чай и укладывайтесь,— произнесла она и вышла.

Мурад скинул с себя запыленную одежду и лег.

Насиба зашла в хлев и стала доить корову. Струя молока звонко стучала по стенкам ведра. Корова равнодушно жевала, искоса глядя на хозяйку.

Подойв корову, Насиба разлила молоко по глиняным кувшинам для закваски, подкинула сена в кормушку и пошла на кухню. Все она делала быстро, споро, но машинально, иногда вдруг останавливаясь и задумываясь.

Пока стенки тандыра накалялись, Насиба разожгла огонь под котлом. Нарезала лук, мясо, налила в казан масла...

Мурад не мог заснуть. Смотрел на нее.

Следил, как она раскатывала тесто, как делала круляшки и лепила их к горячим стенкам тандыра, как помешивала капкиром шурпу...

С горячими лепешками и косой кислого молока Насиба поднялась на крыльцо. Мурад закрыл глаза и притворился спящим.

Женщина осторожно вошла в комнату, неслышно подошла к нему, положила у изголовья ароматно пахнущий хлеб и косу.

Из-под прикрытых глаз Мурад наблюдал, как она взяла его одежду и тихо вышла из комнаты.

Неясные ночные шорохи, звон цикад, журчание арыка, глухой лап собак постепенно пропадали. Усталость слипала глаза Мурада.

Мурад проснулся рано. Утренняя заря осветила небо розовым светом, но было еще темно и холодно. Во дворе пели на разные голоса птицы, перекрикивались петухи.

Мурад поднялся. Подошел к сундуку. На нем лежала выстиранная и выглаженная одежда. Мурад оделся, отпил глоток жирного кислого молока, съел кусочек лепешки.

Вышел на айван и увидел Насибу. Она лежала в самом углу, укрывшись одеялом. Рядом с ней спали дети.

Волосы Насибы растеклись по подушке, губы были приоткрыты.

Мягкий свет зари освещал ее лицо.

Оно словно светилось.

Прекрасное лицо женщины.

Матери.

Мурад открыл свой дипломат, вытащил из него флотскую бескозырку с ленточкой, письма, личные бумаги погибшего друга и еще один отдельный сверток — бумажная обертка развернулась, и стал виден уголок плотной пачки. Это были деньги.

Мурад положил все это рядом с Насибой, взглянул на нее и пошел, осторожно ступая, с крыльца.

Он вышел на окраину поселка, двинулся по обочине дороги. Какой-то грузовик догнал его. Мурад поднял руку, но машина не остановилась. Подняв облако пыли, она скрылась среди холмов.

Мурад оглянулся, закурил. Он был один на дороге.

Вокруг открывался необычный пейзаж. Растрескавшаяся земля, редкие высохшие кусты, желтая стена камыша, а за ней — канал. Что-то безжизненное, безрадостное витало над этой землей — то ли бесплодной от века, то ли когда-то покинутой людьми.

Мурад поднялся на пригорок, огляделся. Издали послышался звон кетменя. Мурад пошел на звук.

На другой стороне канала виднелась фигура работающего человека.

Мурад перешел по мостику через канал и приблизился к нему.

Высокий крепкий старик в старом чапане с подоткнутыми полами копал землю и насыпал ее в ведра. Это был тот самый старик, который привез ранним утром дыни на самаркандский базар.

— Здравствуйте, отец,— произнес Мурад.

Старик оглянулся и посмотрел на него.

— Не узнаете меня?

— Да нет...— ответил старик.

— А помните, дыни вместе разгружали? Ну, на базаре, в Самарканде?

Еще какое-то мгновение старик вглядывался в Мурада, потом закивал.

— А, это ты, сынок! Здравствуй.. Каким ветром тебя сюда занесло?

— Попутным. Я тут на работе, давайте помогу...

Мурад поднял наполненные землей ведра, двинулся вперед.

Старик привел его к полю. На белой от соли земле лежал толстый слой коричневой плодородной почвы.

Мурад высыпал из ведер землю, потом спросил:

— А зачем это?

— Как зачем? — откликнулся старик.— А ты не понимаешь?

— Пока нет.

— Тогда пошли.— Старик широким шагом повел Мурада в отдаленный конец поля.

На бахче росли дыни. Золотые бока поблескивали на солнце.

— Этот сорт давно бы вымер... Сейчас что выращивают?

Мурад пожал плечами.

— То, что легче вырастить и больше весит, вот что! А про самые вкусные сорта дынь забыли и вспоминать!

Они шли вдоль канала. На заболоченных участках рос камыш, а там, где воды не было, выступила язвами соль.

— Вот, смотри! — зло говорил старик.— В этих местах раньше рос инжир, фисташки, гранаты... А сейчас — пустыня... Даже хуже пустыни! В пустыне хоть саксаул растет!

Он наклонился, поднял кусок земли. Комок рассыпался у него в руках. Старик с отворачиванием вытер руки о подол чапана.

— Воду провели! Шуму сколько наделали, а толку что? Угробили землю! Угробили! — Старик плюнул и быстро пошел по сухой земле.

Мурад шел сзади, оглядываясь вокруг.

Унылый пейзаж дополняли ржавые трубы, торчавшие со времен строительства, остовы покоренной техники, обрывки кабеля.

— Канал вырыли, а про отвод соленых вод забыли!

— Какой отвод? — не понял Мурад.

— Да этот... как его... Дренаж-коллектор... Или денег не хватило, или проворовались! А теперь пока землю вымоешь, еще двадцать лет пройдет! Эх, люди, люди!

Потом они рубили сухой камыш, относили его в кучу.

— Это надо же до такого состояния землю довести! — ворчал старик.— А ведь она щедрая. Только надо знать, как к ней подойти. С лаской, умением, охотой. А то напицают ее всякой дрянью, все как на дрожжах растет, а во рту — словно кошки нагадили... Разве не так? Так!

Они подожгли камыш, огромный костер взметнулся под самое небо.

— А чья это земля? — спросил Мурад.

— Чья? Государственная,— закрывая лицо от огня, произнес старик.— Зря пропадает... Я вот и решил хоть немного ее поддержать. Дай дураку волю — он и из воды несчастье сделает!

— Почему вы молчите? — спросил Мурад.

— Да говорил. Кто меня, старика, слушает. В наших краях только одного человека слушают.

— Кого?

— Да есть тут один... Назиров.— Он замолчал и пристально взглянул на Мурада: — Слушай, а ты сам кто? Где работаешь?

— Из газеты я, из Ташкента,— ответил Мурад.

— Корреспондент?

Мурад кивнул.

— Слушай, сынок,— старик взял его за локоть и умоляюще взглянул в глаза.— Помоги одному человеку!

— Кому? — спросил Мурад.

— Не торопись, я тебе все по порядку расскажу,— сказал старик.— Живет у нас один парень, чуть старше тебя. Кончил институт, работал, потом избрали его на руководящую работу — секретарем райкома. Честный человек, никогда никого не обманывал. И не мог терпеть, когда рядом жульничали и воровали... Ну вот, начал он работать и сразу с самим Калановым столкнулся... И сказал ему прямо в лицо, что он о нем думает. После этого и пошло... Исключили его из партии, с работы сняли. Стал он правду искать, писать туда-сюда, а ему за это еще хуже стало. Пропадает человек! Ты бы встретился с ним, поговорил, а?

— Как его зовут? — спросил Мурад.

— Зовут его Хикматом, фамилия Нуриев.

Ночью они лежали на помосте, укрывшись толстым ватным одеялом.

Бездонное небо с россыпью звезд висело над ними.

Мурад давно не видел такого неба. Белой полосой тянулся Млечный путь, ковшом по-

висла Большая медведица. Прохладный ночной ветер обдувал лица Мурада и Холмата-ата.

Прокричала истошно ночная птица, взвыл шакал, и снова наступила тишина. Прочерчивая небо, падали метеориты.

Мурад смотрел в небо.

Старик не спал, ворочался, кряхтел. Потом вдруг сказал:

— Каждый человек должен что-то оставить на этом свете. Чтобы о нем вспоминали дети и дети детей... А мы должны им оста-

вить землю. Понимаешь, здоровую нашу землю.— Он поднял руку вверх.— Там нет ничего. Холодно там. Видишь?

Мурад молчал, глядя вверх, только пожегил. Не от холода, а от слов старика.

Вдруг он увидел табун лошадей, которые мчались в высокой траве, ощутил на лице соленые брызги воды и, как в пучину океана, медленно погрузился в сон, слыша хриплый надтреснутый голос старика:

— Беречь ее надо. Беречь... Это Мать наша... Земля.

Вторая часть

СХВАТКА

Мурад с чемоданчиком и дыней в руках поднялся по ступенькам крыльца старого кирпичного здания техникума. Старушка-вахтерша, дремавшая за своим столиком, показала ему на дверь, обитую дерматином. На табличке значилось: «Директор Парпиев М. Г.».

Мурад открыл дверь и оказался в приемной. Из-за двери кабинета слышались громкие голоса. Там шел скандал.

— Я повторяю: вы это подпишете! Сейчас же! Немедленно! — слышался начальственный басок.

— А я говорю, что не подпишу! Потому что это — липа! — кричал высокий худой человек, на секунду возникший в проеме двери.

Он был бледен от волнения и махал руками.

— Значит, здесь все обманщики, да?! Только вы один честный?! — в проеме возникло багровое от злости лицо директора Парпиева.

— Не знаю! Знаю только одно: почти все наши занятия — фикция! В классах никого нет, а в сводках — полная посещаемость и успеваемость. Ну кого, кого мы обманываем? Сами себя?

— Я никого не обманываю! И прекратите орать!

— А наши дипломы? Ну скажите, чего они стоят, если все оценки продаются и покупаются?!

— Я сказал, прекратите орать! — Директор подскочил к двери и увидел Мурада. — Вам кого?

— Мне? Нуриева, — отозвался Мурад. — Могу я его видеть?

Парпиев сверлил его неприязненным взглядом, потом отвернулся, отошел, так и не ответив. К Мураду вышел долговязый человек, скандаливший с директором.

— Нуриев — это я, — представился он. — Вы по моему письму?

— Нет, — ответил Мурад и протянул Нуриеву дыню. — Меня послал Холмат-ата.

— А-а, неугомонный человек! — улыбнулся Нуриев. — И, наверное, просил мне помочь.

— Просил...

Прозвенел звонок.

— Хотите, пойдем во двор. — предложил Нуриев.

...Они сидели на скамейке во дворе школы. Нуриев говорил тихо, иногда замолкая, потом вспыхивая и загораясь:

— Все началось в тот день, когда я стал секретарем райкома...

— Как это случилось? — спросил Мурад.

— Представьте себе, довольно неожиданно для меня. Вел я курс истории в областном педвузе, собирал материал для диссертации, в меру сил занимался общественной деятельностью и ни о чем другом не помышлял. И вдруг — такое предложение...

— От кого?

— От нашего прежнего секретаря обкома. Замечательный был человек! Фронтоник, орденосец, бессменный руководитель области с времен двадцатого съезда партии... Так вот, оказывается, он заметил меня еще в дни моей комсомольской деятельности и с тех пор не выпускал из поля зрения...

— И как вы отнеслись к его предложению?

— Отрицательно, конечно! Я же ни о чем, кроме своей диссертации, и думать не хотел!

— А он?

— А он вызвал меня к себе, посмотрел в глаза и говорит: «Вот что, сынок. Ты — умный, настоящий человек и поэтому не хуже меня знаешь, что в нашей областной парторганизации наметился серьезный дефицит». «В чем?» — спрашиваю. «В порядочных людях, — говорит он. — Так что откладывай диссертацию и запрягайся». И я запрягся...

— Трудно было? — спросил Мурад.

— Еще бы! — тихо усмехнулся Нуриев. —

Крупнейший хлопководческий район области, территория — пол-Бельгии, все виды рельефа, кроме океанского побережья, и народ... Добрый, хороший народ, но такой наивный, такой безмолвный...

— Ну, по Холмату я бы этого не сказал, — возразил Мурад.

— Это исключение, — вздохнул Нуриев. — Таких мало...

Помолчали.

— С чего же вы начали? — спросил Мурад.

— С учебы. Вообще-то хлопок для меня — дело привычное, но тут я решил пройти все заново... Засел за книги, изучил семеноводство, селекцию, агротехнику, консультировался у кого только мог... И вот — первая посевная. Поднял людей, вкалывали — от зари до зари, все до мелочей учили: поливы, окучки, подкормки, чеканки... Знаете, какой это труд — хлопок вырастить! За ним как за ребенком следить надо. То воды не хватает, то сухой, а болезней — на десяток иных культур хватит!

Нуриев закурил, но, закашлявшись, погасил сигарету.

— В общем, вырастили мы урожай настоящий, на славу. Начали сбор. Тут дожди. Грязь непролазная, комбайны стоят. Перешли на ручной сбор. Всех мобилизовали. И стариков, и детей... Как ни жалко их, а урожай спасать надо! И только мы половину нашего планового задания осилили, вдруг как гром с ясного неба — соседний район рапортует о выполнении обязательств! Ну и удивился я тогда! Ведь хлопок-то у них куда хуже нашего уродился, я своими глазами видел. И вот — рапорт. Ничего понять не могу! И тут приезжает к нам новый секретарь обкома Каланов. Едва поздоровался и сразу: «Ну что, Нуриев? Долго еще ковыряться тут собираешься?» — «В каком смысле?» — «В смысле обязательств!» — «Какие там обязательства, говорю, дайте сначала хоть план выполнить...» Что тут началось! Он гремел на все поле: «И слышать ничего не хочу! Кровь из носу, а рапорт о выполнении повышенных обязательств чтоб к концу месяца был у меня на столе!» — «Да где ж мы их возьмем — обязательства?» — «Где хочешь, там и возьмешь! А если у самого башка не варит, поезжай к соседям, поучись: они уже рапортовали!» И весь разговор.

Нуриев замолчал, снова попытался закурить.

— Честно говоря, я и раньше догадывался, что в области занимаются приписками. Но только теперь начал понимать всю эту механику. Жмут, кричат: «Давай, давай, гони план, гони обязательства». На все можно идти — никаких запретов! Лишь бы в сводке появилась жирная отметка!

— Неужели так откровенно? — не поверил Мурад.

Нуриев остро глянул на Мурада:

— А вы как думали? Здесь не Ташкент! Не церемоняйтесь. — Он смолк, задумался. Потом встрепенулся: — Впрочем, вы послушайте! И сами делайте выводы. Итак, планы выполнили. На последнем, что называется, дыхании. По пустым полям людей гоняли. Раза три — не меньше. Из-под снега ошипки вытаскивали. Один бригадир даже вату у людей по домам собирал... А обязательства не набрали. Да и не могли, конечно. Я сделал примерный расчет по урожайности и по площадям. И пошел к Каланову. Так, мол, и так, планы, а тем более обязательства, — начисто нереальны. А он меня чуть ли не с кулаками, кричит: «У соседей учись! У них урожайность — шестьдесят центнеров с га!» А я-то знаю, что вранье это! Ну вранье, понимаете? И знаю, как делается эта урожайность.

— За счет свободных полей? — спросил Мурад.

— Если бы только! — усмехнулся Нуриев. — То, что севооборота нет, — это полбеды. Но ведь вырубают сады, заповедные рощи, леса на склонах! Сажают хлопок вместо овощей, фруктов, чего угодно. До абсурда доходят — ухитряются хлопок сеять на футбольных полях! А в отчетах эти гектары не фигурируют. Вот и получается «урожайность»!

Нуриев помолчал.

— В общем, отказался я от повышенных сообязательств. И только от Каланова вернулся — тут же ко мне пожаловал инструктор из обкома. Пожилый такой, гладкий. У нас недавно, с Калановым вместе приехал. Ну, походил по полям, почиркал что-то в блокноте, а потом ко мне: «А вы знаете, товарищ Нуриев, какой день приближается?» — «Какой?» — «Надо знать. День рождения товарища Каланова». — «Хорошо, говорю, буду знать». — «Поздравлять собираетесь?» — «Конечно, поздравим». — «А подарок?» — «Сообразим, говорю, и подарок, раз такое дело». — «Соображать ничего не надо, другие уже собирают на наш общий подарок». — «Ну, раз так, пожалуйста». Вынимаю мою месячную получку и протягиваю. Пусть, думаю, жмотом не считают, а я уж как-нибудь перебьюсь на жениной зарплате. А он посмотрел на меня и говорит: «Иди-ка ты, Нуриев, в туалет и подотришь этими бумажками. Тут только на это и хватит». Хлопнул дверью и уехал. И на будущий год нам закатали такой план, что мои председатели только за голову схватились!..

Мурад был потрясен.

Нуриев прикрыл глаза, горько покачал головой.

— И попал наш район в число отстающих. Тяжелее всего было смотреть в глаза людям. Они-то в чем виноваты? Пахали, как волю, я им надежду дал, а в итоге — они даже средней зарплаты не получили... Не выдержал я, написал письмо в ЦК. О планах, обязательствах, урожайности, подарках. Доказательно написал, с цифрами, фактами, выкладками. Ну, отослал, жду. Вдруг вызывают в обком. Что такое? Внеочередной пленум. Вопрос? Обо мне. Оказывается, мое письмо с пометкой «разобраться» пришло сюда же, в наш обком, к тем же людям, на которых я жаловался... Ну, они и разобрались. Единогласным решением пленума сняли меня с должности первого секретаря райкома и направили работать сюда...

К ним подошел грузный человек, хмуро посмотрел на Нуриева и обратился к Мураду: — Я директор техникума. Моя фамилия Парпиев.

— Юсупов, — представился Мурад.

— Разрешите вас на минутку.

— Но мы разговариваем.

— Ничего, идите, — сказал Нуриев. — Я подожду.

Мурад поднялся и пошел следом за директором.

— Вы по письму этого кляузника? — напрямую спросил директор.

— Нет, — начал злиться Мурад. — Я по личному вопросу.

— Знаем мы эти личные вопросы, — грубо сказал Парпиев. — Советую держаться от этого типа подальше.

— Не надо мне советовать. Я взрослый человек и сам решаю, с кем мне говорить...

— Хорошо, — с угрозой в голосе произнес директор. — Но имейте в виду, Нуриев находится в настоящее время под следствием...

— Это не имеет для меня никакого значения.

— Должно иметь, — жестко сказал человек. — Этот Нуриев может сбить с толку любого... Это законченный клеветник... И если вы хотите использовать его басни, прошу быть объективным.

— Постараюсь.

— Так как ваша фамилия? — человек приготовил ручку.

— Юсупов Мурад Алиевич, корреспондент центральной республиканской газеты.

— Член партии?

— Да, с тысяча девятьсот шестьдесят седьмого года, женат, имею ребенка. Что вас еще интересует?

— А вы не горячитесь, молодой человек...

— А вы не смейте разговаривать со мной таким тоном!

Директор ухмыльнулся:

— Да, у нас с вами, видимо, разговора не получится.

— Я тоже так думаю, — сказал Мурад и

направился к Нуриеву.

Нуриев и Мурад шли по базарчику. Нуриев покупал картошку, лук, помидоры и продолжал свой рассказ:

— Знаете, главный вред этих приписок состоит не только в денежном ущербе. Людей они калечат. Одних приучают к вседозволенности, а других — к безысходности. Вот это самое страшное.

Он грустно посмотрел на Мурада.

— Вот и здесь, в техникуме, — то же самое... Я сначала не верил, потом сам убедился — за экзамены платят, за зачеты платят. Поставил этот вопрос на партийном собрании. И опять же меня наказали... Перевели из старших преподавателей в обыкновенные. Собственно говоря, мне это безразлично. Но и мои ученики смотрят на меня, как на какого-то чудака. Их чуть что, на прополку гонят. Потом на сбор хлопка, потом еще куда-нибудь. А знаний — ноль, — Нуриев усмехнулся. — Вчера директор объявил мне очередной выговор. Незачем, говорит, твоим ученикам знать о подвиге Ширака или о каком-то там Спитамене. Им надо вперед смотреть, а не назад. А я думаю, что из них получится, если они не будут знать своего прошлого?

Мурад вошел в комнату, где жил Нуриев. Пустые стены были обклеены дешевыми обоями, в центре висел офорт с Исаакиевским собором, высокими стопками стояли книги. На единственном столе лежали тетради, книги. В углу сиротливо виднелась раскладушка.

— Я снимаю эту комнату, — виновато произнес Нуриев. — С женой мы несколько лет уже не живем — ушла она... Считает меня неудачником.

— Вы жили в Ленинграде? — спросил Мурад, разглядывая офорт.

— Да, учился в аспирантуре. Люблю этот город. — Он поставил пластинку, заиграла клавесинная музыка эпохи Возрождения. — Я историк и знаю, что бывают моменты, когда нельзя молчать! Нельзя! Преступление молчать, понимая, что происходит что-то грязное, несправедливое!

Он начал чистить картошку. Мурад сел рядом, стал помогать. Потом спросил:

— И все-таки, я не понимаю механику приписок. Как они покрываются?

— Я изучил этот вопрос, — сказал Нуриев, — как говорится, до последней точки. Вот представьте, колхоз рапортует о сдаче хлопка. Так?

— Так.

— Государство из своего кармана оплачи-

вает этот несуществующий хлопок, плюс заработную плату, даже премии. Дальше, чтобы получить справку о сдаче хлопка на заготовочном пункте, вместо хлопка несут деньги. Но хлопкопункт должен сдать сырец в производство, на текстильные комбинаты. Опять таким же путем получается справка с промышленного предприятия о том, что хлопок сдан.

— Но ведь текстильный комбинат должен выпускать продукцию? — спросил Мурад.

— Правильно. А хлопка как такового — нет. Тогда воры с комбината дают взятку в торговые организации, чтобы те дали сведения, что продано столько-то тысяч метров сатина или штапеля. Торгующие организации, получив куш, сдают его опять же в банк государства. Круг завершился... Замкнулся.

— Но ведь получается, что никто никому не должен?

— Ну нет... Тем, кто из года в год перевыполняет планы, на лацканы пиджаков привинчиваются очередные ордена. А часть денег, составляющая сотни тысяч рублей, прилипает к рукам на всех этапах этого круга... В убытке остаются колхозники, которые иногда годами не получают зарплату. Теперь второй вопрос. За счет того, что львиная доля посевных площадей засеивается хлопком, у нас существует постоянная проблема с продуктами... Не хватает кормов скоту, а это — мясо, молоко...

Мурад сидел, обхватив голову, угнетенный услышанным.

— Уже работая учителем, я решил проверить свои выкладки. Взял отпуск и за свой счет поехал в один текстильный городок. И убедился, что часть вагонов прибывает пустыми. Я написал еще одно письмо. И его опять прислали на проверку тому же Каланову. Две недели назад меня исключили из партии за клевету и клеузничество. Завели уголовное дело. Вот, посмотрите, — он протянул газету.

— «Черная душа. Фельетон», — прочитал Мурад.

— Это обо мне, — сказал Нуриев.

Они шли по вечерней улице городка. Нуриев провожал Мурада в гостиницу.

— Скажите, — произнес Мурад, — а вот Назиров... Что вы можете сказать о нем?

— Назиров? — Нуриев вздрогнул, остановился. — Вы знаете Назирова!

— Да, — ответил Мурад. — Я был у него, познакомился с хозяйством. Разговаривал...

— И собираетесь писать о нем? — Нуриев не сводил глаз с Мурада.

— Собираюсь.

— Что? Оду, поэму, гимн?

— Нет, — сказал Мурад твердо. — Фельетон.

— Вы это серьезно?

— Абсолютно. Его эксперимент — чистая показуха.

Глаза Нуриева заблестели, он оглянулся по сторонам, придвинулся к Мураду и сказал вполголоса:

— У меня к вам просьба. Я чувствую, что на вас можно положиться.

Они встретились взглядами.

— Я проделал гигантскую работу. Мною собран страшный материал. И о Каланове, и о Бахрамове, но самое, главное — о Назирове. О приписках, коррупции, поджогах на хлопкопунктах, взятках, расправах... Назиров здесь — основная фигура, хозяин и властелин! Он может все! Он даже право первой ночи себе присвоил! И он знает, что у меня есть документы, выкладки, расчеты — все, вплоть до номеров пустых вагонов! Поэтому они торопятся замести следы, уничтожают улики, запугивают или убирают свидетелей... Я очень надеюсь на Султанова. Он своими глазами видел, как сожгли сотни тонн хлопка. Сначала дал показания, а потом они, видимо, его запугали, и он отказался от своих показаний и сейчас молчит.

Нуриев внимательно посмотрел на Мурада.

— Вы можете помочь мне?

— Да, — ответил Мурад.

— Надо переправить эту папку в Москву.

— Я сделаю все, что от меня зависит, — заверил Мурад.

— Она у моей сестры... Завтра же я передам ее вам.

Мурад вошел в свой номер, подошел к телефону:

— Алло... Здравствуйте, девушка, соедините меня с Ташкентом... Номер тридцать два — ноль один — семнадцать... Я жду.

Положил трубку, разделся до пояса, вошел в ванную, открыл кран и долго держал по струей голову.

Потом сел на кровать, уставился в одну точку. Повернул ручку репродуктора. Комната наполнилась бодрой музыкой, затем местный диктор стал читать областные новости:

«Труженики нашей области с честью завершили подготовку к уборочной страде, — с металлом в голосе вещал диктор. — На сегодняшний день на линейке готовности стоят сотни «голубых кораблей». Собрать «белое золото» — священный долг...»

Мурад выключил репродуктор, выдернул вилку из розетки. Закурил, вытащил блокноты. Стал перелистывать их, потом отложил и снова задумался.

Зазвонил телефон. Мурад поднял трубку.

— Алло, здравствуй, это я... — мягко

сказал он.— Как дела? Все в порядке? Как сын? Дай трубку. Алло, Сардор? Это папа... Я не грустный... Тебе кажется. Ну, пока, не болей. Целую крепко. Передай трубку маме. Алло. Мне придется задержаться... — Он помолчал. Жена, видимо, выражала неудовольствие.— Так надо. Пойми. Очень важное дело. Приеду, расскажу. Не беспокойся... Да... Хорошо. Обязательно. Да... Целую.

На следующее утро Мурад пошел в техникум, где работал Нуриев. Он заглянул в учительскую, там никого не было.

Мурад пошел по коридору. Навстречу ему шел директор.

Мурад поздоровался кивком, хотел было пройти мимо, но директор окликнул его:

— Вы, наверное, ищете Нуриева?

— Да,— ответил Мурад.

— А его нет,— загадочно улыбнулся директор.— И думаю, долго не будет.

— Где он? — предчувствуя недоброе, тихо спросил Мурад.

— Он арестован,— продолжал улыбаться человек.— Арестован за клевету. За поклеп на наше общество. Ведь я вас предупредил, молодой человек...

Мурад, не слушая его, быстро пошел по гулкому коридору, спустился с крыльца, побежал по улице.

Мурад вбежал во двор районного отделения внутренних дел, быстро поднялся на крыльцо и оказался в комнате дежурного.

Розовощекий парень сидел за перегородкой, что-то писал, старательно выводил буквоки.

— Здравствуйте,— срывающимся голосом сказал Мурад.

Человек оторвался от бумаг и взглянул на Мурада.

— Где Нуриев? — спросил Мурад нетерпеливо.

— Какой Нуриев? — непонимающе спросил дежурный.

— Преподаватель техникума. Мне сказали, что он арестован...

— А-а-а... Этот писака? — дежурный зевнул, с хрустом потянулся.— А вам какое дело?

— Мне надо видеть его.

— Ну теперь вы долго его не увидите... — лениво сказал дежурный и снова склонился над бумагами.

— Послушайте, где ваш начальник? — едва сдерживая себя, произнес Мурад.— Мне срочно надо поговорить с ним.

— Нет начальника... — сказал дежурный.— Я сейчас за него. Все вопросы ко мне. Собственно, кто вы такой?

— Я? Я — корреспондент.— Мурад стал шарить по карманам.— Удостоверение, наверное, оставил в гостинице. Мне надо встретиться с Нуриевым.

— Не мешайте работать,— сказал дежурный.— Освободите помещение.

— Послушайте,— начал заводится Мурад.

— У меня нет времени,— перебил его дежурный.— Закройте дверь с той стороны,— произнес он издевательски, смерив Мурада с ног до головы.

— Встать! — закричал Мурад.— Сопляк! Как ты смеешь разговаривать со мной таким тоном?!

— Что?! — дежурный поднялся, исподлобья глядя на Мурада.

На шум в комнату вошел сержант.

— Пиши протокол,— сказал дежурный сержанту.— За оскорбление должностного лица при исполнении служебных обязанностей... Пятнадцать суток ареста!

— Послушайте! Вы что тут, все с ума посходили?! — от волнения у Мурада побелели губы.— Это незаконно! Произвол!

— Ошибаетесь,— спокойно произнес дежурный.— И кроме того, я предупредил вас.

— Вы не смеете! — Мурад ударил кулаком по перегородке.

— Плюс хулиганские действия, наносящие ущерб служебному помещению,— сказал дежурный сержанту.— Нашелся адвокат!

— Вы ответите за это... — тихо произнес Мурад.

— Только не надо пугать меня,— дежурный склонился над сержантом, который составлял протокол.— Нуриев тоже пугал...

Мурад беспомощно сжал кулаки.

Солнце стояло в самом зените. Во дворе милиции работали пятнадцатисуточники. Какие-то бродяги — небритые, с оплывшими от водки лицами — не торопясь подметали двор, носили мусор.

Мураду дали работу почище — он красил белилами длинный забор.

Сержант чистил у крыльца сапоги, что-то насвистывая себе под нос.

Во двор в сопровождении мотоцикла ГАИ въехала машина. Новенькие «Жигули» были залепаны грязью, правое крыло помято.

Двор наполнился громкой музыкой, лившейся из магнитофона в «Жигулях». Мурад оглянулся.

С мотоцикла слез седой капитан, из машины вышли две девушки и два парня. Они были возбуждены, смеялись, громко разговаривали. Модно одетые, беспрестанно

жующие жвачку, они были похожи друг на друга.

— Уберите машину с дороги,— произнес, снимая шлем, капитан.

— Есть, товарищ генерал! — куражась сказал хозяин машины и сел за руль.

Взвыл двигатель и, сделав несколько крутых виражей по двору, автомобиль встал у самого крыльца.

— Не здесь! — сжав зубы, сказал капитан.— Поставь к забору!

— А кому она здесь мешает? — улыбаясь спросил парень и вдруг кинул ключи.— Мы задержанные и немного пьяные, как вы утверждаете. Вот вы и ставьте!

Капитан задвигал желваками, сел за руль и поставил «Жигули» к забору.

Мурад пододвинул ведро с краской и снова стал красить.

Капитан поднялся на крыльцо. Шумная компания расположилась в тени дерева. Кто-то задрал ноги вверх, кто-то пританцовывал под мелодию. Мурад красил забор, наблюдая за ними. Одна из девиц открыла банку импортного пива, передала подруге. Мурад сглотнул слюну и отвернулся, продолжая работать. Владелец машины потянулся за банкой.

— За рулем пить нельзя! — засмеялась девица.— Дядя ведь сказал тебе.

Капитан составлял протокол.

— Да пошел он! — Парень нагло сверкнул белками в сторону седого капитана и забулькал финским пивом.

— Ты ведь мог их всех угробить,— произнес капитан, оторвавшись от бумаг.

— А это наше личное дело,— засмеялась девица.— Товарищ капитан, отпустите нас...

— Мы больше не будем! — заржал второй парень.

— Машину лучше вымойте,— хмуро произнес капитан.

Мурад продолжал красить забор. Передвинул стремянку, влез наверх.

Владелец машины что-то сказал девице, и та, вилля бедрами, направилась к крыльцу.

— Разрешите позвонить? — мило улыбнулась она капитану.— Чтобы дома не беспокоились...

— Позвоните,— сказал капитан.

Девица подошла к телефону и набрала нужный номер.

— Алло... Муборак-апа? Это я, Лола... У нас чепе... — Прикрывая трубку ладонью, она тихо и быстро добавила: — Нас арестовали. Позвоните прямо сейчас отцу Шахбоза. Мы в Бешкенте, в местной милиции.. Да-да... Хорошо...

Она положила трубку и подошла к владельцу «Жигулей». Тот, развалившись на скамейке, продолжал жевать жвачку и смотрел на нее сквозь темные очки.

Она подмигнула ему, присела рядом и

что-то сказала. Он улыбнулся ей и обнял за плечи.

Капитан закончил писать.

— Поди-ка сюда,— позвал он владельца «Жигулей».

Тот поднялся и развязной походкой, словно на шарнирах, подошел к столу.

— Слушай, капитан, давай по-хорошему,— произнес он, продолжая улыбаться.— Ты отпускаешь нас и — все дела. Зачем тебе лишние неприятности? — Он мельком взглянул в протокол.— На вид ты вроде не дурак.

Девицы захихикали.

Капитан словно напряжился. Он с трудом удержал себя на месте. Только металлическая пробка из-под воды сплющилась в его руках.

— Распишись вот здесь,— он протянул ему ручку.

— Ну что же... Я тебя предупредил... Моя совесть чиста... — произнес парень и размашисто подписался под протоколом.

В этот момент сержант крикнул:

— Товарищ капитан! Вас к телефону... Ташкент на проводе...

Вид у него был испуганный.

— Капитан Болтаев у телефона,— военному четко произнес он.— Да, товарищ генерал. Так точно. Но он пьяный, то есть в состоянии алкогольного опьянения. Чуть не совершил наезд... Помяли машину... Остановил из-за того, что машина очень грязная... — На том конце провода что-то долго говорили. Лицо капитана побагровело, на лбу бисеринками выступил пот. Он молчал, не решаясь вставить слово в длинную тираву.— Есть, товарищ генерал. Будет выполнено. Виноват...

Мурад перестал красить. Смотрел на преобразившегося капитана. Юнцы посмеивались, слушая этот разговор.

Капитан положил трубку, нижняя губа его мелко подрагивала. Он вытер вспотевшие ладони и растерянно взглянул на машину. Потом перевел взгляд на юнцов. Те сидели рядом, улыбались, вытянув ноги на капот машины.

Капитан оглянулся по сторонам, взял ведро, тряпку и пошел к водопроводу. В полной тишине он наполнил ведро водой и направился к машине. Сержант удивленно наблюдал за своим капитаном. Задержанные, открыв рты, стояли и тоже смотрели на него.

Капитан подошел к машине, стал мыть ее.

Грязная вода струями стекала под ноги.

Девицы, не выдержав, засмеялись.

Капитан оглянулся. В глазах его были слезы. Он опустил голову и снова стал мыть машину.

— «Капитан, капитан, улыбнитесь, ведь улыбка — это флаг корабля!» — запел гну-

свая владелец «Жигулей».

Остальные поддержали его:

— «Капитан, капитан, подтянитесь, только смелым покоряются моря!» — пели они нестройным хором.

Капитан продолжал мыть машину. Мурад бросил кисть в ведро.

— Эй, ты... — негромко сказал он.

Парень удивленно оглянулся.

— Иди сюда, — Мурад поманил его пальцем.

— Чего тебе? — снимая темные очки, спросил парень.

— Не тебе, а вам... — так же негромко сказал Мурад. — Подойди...

Он сказал это так внушительно, что парень, словно под гипнозом, двинулся к нему.

Когда он был на расстоянии шага, Мурад неожиданно схватил его своими железными пальцами за нос и с силой притянул к себе.

— Ой! — вскрикнул от боли юнец.

— Извинись перед ним!

Затем, взяв его за шкурку, Мурад с силой опустил парня на колени перед капитаном.

Второй парень подбежал к Мураду.

— А ты отойди, — не глядя, сказал ему Мурад. — Пришибу.

Тот, словно шакал, отошел в сторону.

— Прости прощения, — сказал Мурад и закричал: — Ну!

— Прости... — процедил хозяин машины, злыми глазами сверкнув на Мурада.

Капитан стоял с мокрой тряпкой и тяжело дышал. Мурад отпустил парня и пошел к ведру с краской.

— Ну, ты еще получишь, — парень потирал красный нос.

Мурад макнул кисть в ведро. Вернулся к парню.

— Я с тобой свиней не пас. Так что говори со мной на «вы», — сказал он и провел по лицу парня кистью.

— Ты чо! — визгливо закричал тот и заплакал от злости.

Мурад продолжал красить. Девушка, которая звонила по телефону, села за руль.

— Шахбоз! — крикнула она. — Поехали!

Компания под грохот музыки уехала со двора.

Капитан подошел к Мураду.

— Спасибо, — негромко сказал он, пряча покрасневшие глаза. Он крепко пожал ему руку. Оглянулся на сержанта: — За что задержан?

— Оскорбление при исполнении... — начал было сержант.

— Ты свободен, — он оглянулся на сержанта. — Выдать ему одежду и остальное.

Мурад пошел к лонке мыться.

— Зря ты с ним связался... — сказал сержант, возвращая вещи. — Это сын боль-

шого человека...

— А мне плевать! — закричал Мурад. — Плевать!

Ташкент. С вокзала Мурад ехал на такси. Ночной город спал. Горевшие фонари отражались в асфальте политых улиц. Куранты пробили три раза.

Мурад не двигаясь сидел рядом с водителем.

Очнулся, когда водитель тронул его за плечо.

— Вы что, заснули? — спросил он.

— Что?.. — Мурад рассеянно взглянул на него.

— Приехали, говорю.

Мурад оглянулся. Машина стояла рядом с его домом, к которому он еще не привык.

— Спасибо, — расплачиваясь, пробормотал Мурад.

Водитель покачал ему вслед головой.

Мурад медленно поднимался на свой этаж. В полете остановился, провел ладонями по лицу, словно снимая груз усталости и всего пережитого за последние дни.

Когда жена открыла дверь, он улыбался, даже сиял.

— Я так волновалась, — сказала Алома. Она стояла в легком халатике. — Тебя все ищут, звонят... Раз десять звонили из редакции. Что-то случилось?

— Случилось. Жуткое, но поправимое, — трагически произнес Мурад.

— Что? — Она прильнула к нему горячим ото сна телом, тревожно ища ответ в глазах. — Ну, говори!

— Я ужасно соскучился по тебе! — сказал Мурад и, не выдержав, рассмеялся.

— Тише ты! — обиженно сказала Алома. — Сын, спит...

Мурад обнял ее и поцеловал.

Мурад нашел главного редактора в типографии. Лязгали и гремели печатные машины, стремительным потоком текли газеты.

Они шли по цеху мимо станков, стараясь перекричать шум. Главный говорил что-то горячо и сердито, энергично жестикулируя, выговаривая Мураду. Мурад отвечал так же возбужденно. Рабочие оглядывались на них.

Они вышли в длинный коридор, где было откровенно тихо.

— Вы должны извиниться перед ним! — жестко произнес главный редактор.

— Перед этим сопляком? — Мурад упрямо качнул головой. — Ни за что! Хоть убейте!

— Его отец — влиятельнейший человек в

республике. И вы не имеете права из-за своей дурацкой гордости ставить под удар коллектив, газету, меня, наконец! — стараясь выглядеть спокойным, произнес главный редактор.— Извинитесь, и все будет в порядке!

— Нет,— сквозь зубы сказал Мурад.

— Ну что ж, спасибо,— с сарказмом произнес главный редактор.— Не ожидал такого подарка,— он помолчал и с умоляющими нотками в голосе добавил: — У меня наградные документы там лежат... А благодаря вам все может пойти насмарку.

Мурад ничего не ответил.

— Скажу честно, я был более высокого мнения о вас,— сказал с горечью главный редактор и пошел по коридору.

Не выдержал, остановился и снова повернулся к Мураду.

— Прошу вас, подумайте хорошенько! — Он хотел что-то еще сказать, но махнул рукой и скрылся за дверью.

Мурад сидел за своим столом и писал. В комнату вошла секретарша и, не говоря ни слова, положила на стол Мурада стопку исписанных листов.

— Что это? — поднял голову Мурад.

— Ваша статья. Главный приказал вернуть ее вам,— сказала она.— Статья в номер не пойдет.— И прикрыла за собой дверь.

Работавший за соседним столом сотрудник посмотрел на Мурада.

— Ну, что я вам говорил? — сказал он.— А ведь это только начало.— Он встал, подсел к Мураду и доверительно произнес: — Знаете, Мурад, вы мне очень нравитесь, но вам не хватает мудрости. Мало ли что бывает в этой жизни? — Он вздохнул и добавил: — Нельзя же из всего делать принцип!

— Выходит, если воняет, нужно зажать нос и кричать, что пахнет розами?

— Простите, но эта солдафонская прямота не подходит к нашей с вами работе. Надо быть хоть капельку гибче.

Мурад промолчал.

— Я, конечно, попытаюсь выступить на собрании, только вряд ли это поможет.— Он показал в сторону двери.— Мне сказали, что наш зав готовит разгромное выступление. Извинитесь, пока еще не поздно.

— Скажите, где здесь поблизости хороший ресторан? — вдруг спросил Мурад, набирая номер телефона.

— Ресторан? — растерялся сотрудник.

— Ну да, чтоб нормально поесть...

— Ну, не знаю... В «Зеравшане», может быть... — с обидой в голосе ответил сотрудник и пересел за свой стол.

— Алло... Алома? Это я,— сказал

Мурад.— Давай пообедаем вместе... Договорились? Ну все, я жду тебя у входа в «Зеравшан».

Главный редактор говорил по телефону.

— Да я не либеральничая,— оправдывался он.— Хотели ограничиться строгим выговором с внесением в личное дело. Да... Да... Я слушаю. Но поймите, мы не можем не учитывать его заслуг. Безупречная биография, кадровый офицер. Да... Я понимаю... К сожалению, не хватило опыта. Горячий, молодой... — Он надолго замолчал, слушая невидимого собеседника.— Но это слишком строго.— Он снова замолчал, нервно постукивая карандашом по стеклу на столе.— Хорошо... Будет исполнено... Завтра в пять. К вечеру доложу. До свидания.

Мурад и Алома танцевали одни в полупустом зале уютного ресторана.

— Чего это вдруг тебе пришло в голову? — спросила Алома.

— Просто так... Такое настроение.

Неожиданно жена засмеялась:

— Помнишь ту кафешку на Невском?

— Какую кафешку?

— Ну ту, где тебя одна блондинка на дамский танец пригласила?

— Какая еще блондинка?

— Ну, та самая, жена майора, которому ты ус отгрыз, когда он полез драться.

— А что мне оставалось делать, если этот барбос с вилкой на меня пошел?

— И потом ты целый месяц сидеть не мог...

— Ну, допустим, не месяц, а меньше.

— Нет, ровно месяц!

Алома расхохоталась, а он вдруг лихо закружил ее.

Потом они сидели за столиком в уголке, и Алома увидела, что Мурад, задумавшись и посерьезнев, смотрит в сторону.

— Что-то случилось? — спросила она.

— Послушай, Алома,— произнес он.— Я не говорил тебе... Думал, что все будет в порядке.— Он помолчал секунду.— Завтра состоится партийное собрание. Будут разбирать мое персональное дело. Ты должна быть ко всему готова.

Жена тревожно посмотрела на него.

— Дело очень серьезное. Но по-другому я не мог.

Она сжала его руку.

— Мурад... Я всю жизнь живу в тревоге за тебя,— она горько усмехнулась.— Я всегда ко всему готова...

Мурад с благодарностью смотрел на нее, глядяваясь в родные черты. Потом взял ее руку и поцеловал.

Заседание парткома подходило к концу. За длинным столом сидели сотрудники редакции, представитель райкома партии.

Выступал заведомом военно-патриотического воспитания. Говорил он вдохновенно, сверкая глазами, подчеркивая отдельные фразы широкими жестами.

— Что же это получается? — Он сделал многозначительную паузу. — За одну короткую поездку столько недоразумений и скандалов!.. — Заглянул в блокнот: — Вот, пожалуйста, в Самарканде товарищ Юсупов вел себя недостойно, скомпрометировал высокое звание советского журналиста. Оскорбил уважаемого человека.... Опозорился перед зарубежными гостями. Далее, самовольно продлив командировку, связался с преступником, который находится в данное время под арестом за клевету на наш строй! Мы знаем о его похождениях из этого фельетона... — и он потряс газетой с фельетоном «Черная душа». — Действиям этого гнусного человека была дана соответствующая оценка. Но товарищ Юсупов, нарушив элементарную журналистскую этику, стал снова муссировать данный вопрос, пытался оказать давление, пользуясь своим положением и авторитетом нашей газеты!

Многие сидели, опустив глаза. Некоторые слушали, удивленно качая головами. А человек, распаясь, говорил все громче и громче:

— Дальше — больше! Вкусив чувство вседозволенности, пользуясь безнаказанностью, Юсупов устраивает хулиганский дебош в органах, оскорбляет достоинство человека, находящегося при служебных обязанностях! Получив за это заслуженно пятнадцать суток, он не делает нужных выводов и ухитряется там же, в отделении милиции, устроить натуральный мордобой! Страдают совершенно невинные люди, можно сказать, дети! — Он выпил воды, прокашлялся.

— Товарищ Баратов, если можно, чуть спокойнее... — поморщился главный редактор. — У вас такой голос, что в ушах звенит...

— Хорошо. — Выступающий продолжил свою речь: — Но это не главное, хотя вышеприведенные факты сами по себе являются возмутительными! — Он взял в руки рукописи Мурада и, потрясая ими, снова заговорил высоким голосом: — Вот! Так называемые очерки Юсупова, образчики полного непонимания дел в республике! Все мы знаем о замечательном экономическом эксперименте товарища Назирова, который не покладая рук добивается все новых и новых побед... Как же оценивает это Юсупов? Огромное дело, которому придается по-настоящему политическое значе-

ние, под пером Юсупова превращается в карикатуру. Всеми силами он старается охаять, очернить принципы руководства сельским хозяйством, которые смело вводит в жизнь товарищ Назиров. Он поднимает руку на новое, новаторское... Но колесо истории, как говорится, Юсупову и ему подобным не остановить! Я думаю, что сомнительные, я бы даже сказал, преступные выводы, которые он делает в своих рассуждениях, должны стать предметом более глубокого анализа, и им надо дать принципиальную, партийную оценку!

— У вас все? — спросил главный редактор.

— Нет, — ответил выступающий. — Не могу не сказать об одном... Мне, как бывшему военному служащему, особенно грустно, что все это позволяет себе офицер нашего славного флота! Подводник!

— Если вы скажете еще хоть одно слово о флоте, я разобью вам морду, — тихо сказал молчавший до этого Мурад.

— Ну вот, пожалуйста! — взмахнул руками заведомом.

Собрание зашумело.

— Товарищи! Успокойтесь! Дайте договорить человеку! — Главный редактор обернулся к выступающему: — Что вы предлагаете?

— Убежден, что Юсупов недостойн высокого звания коммуниста! Предлагаю исключить его из рядов Коммунистической партии!

Наступило молчание. Только тихо гудел кондиционер, за толстыми стеклами шумел город.

— Разрешите мне, — негромко произнес сосед Мурада по кабинету. — Я хотел бы сказать... Понимаете... Мне кажется...

— Не надо здесь мяться, — произнес секретарь парткома. — Если у вас есть что-то конкретное, говорите!

Человек как-то стухевался, сгорбился.

— Я думаю, выступлений было достаточно, — произнес секретарь. — Картина ясна, и внесено предложение просить райком партии утвердить данное решение: Юсупова за поведение, недостойное звания советского журналиста и члена КПСС, исключить из ее рядов. Кто — за?

Несколько человек подняли руки сразу. Другие, немного помешкав, тоже проголосовали.

— Кто против?.. Нет. Воздержался?

Сосед Мурада по отделу поднял руку.

Мурад, не замечая никого вокруг, спускался по широким ступеням издательства. Он шел, опустив голову. Потом остановился и присел прямо на одну из ступенек.

Опять свинцовая тяжелая волна ударила, захлестнула лодку, и, оставляя солнечный свет, крики чаек, она стала опускаться во мглу океанской толщи все глубже и глубже, в тишину и мрак.

— Мурад!

Он открыл глаза не сразу. Слишком тяжелым было оцепенение.

— Мурад...

Рядом с ним сидела Алома. Она провела рукой по его щеке. Он посмотрел на Алому, промолчал.

— Ты слышишь меня?

Он не ответил.

— Не думай об этом... Все будет хорошо, вот увидишь,— торопясь и сбиваясь, говорила она.— Не может быть такого... Это не справедливо... Сейчас же поедem к Алим, он поможет тебе...

— Да, худо дело,— после молчания произнес Алим, брат Аломы.— Надо что-то предпринимать.

Они сидели в том же уютном дворике, где произошла вечеринка по случаю их приезда.

— Лучше всего, наверное, позвонить Агзаму Юлдашевичу. Он человек добрый, отзывчивый, думаю, поможет,— сказал Алим.

— Может быть, прямо сейчас? — сказала Алома.

— Сейчас? — Брат посмотрел на нее и сказал неуверенно: — Я вообще-то никогда не звонил ему домой. Но попробую... — Он взял красную книжку с правительственными телефонами и стал листать. Нашел нужный номер и стал крутить диск.— Алло... Это квартира Агзама Юлдашевича? — бархатным голосом спросил Алим.— Алло, Агзам Юлдашевич, добрый вечер. Извините, что беспокою вас в такое время...

— Ничего,— сказал голос в трубке.

— Как ваше здоровье? Я достал для вас замечательный рецепт. Очень легкая диета, а эффект потрясающий. Разработана, кажется, в Голландии... В группе здоровья все про вас спрашивают.

— Ты ведь знаешь, пленум на носу, совершенно нет времени. Давай конкретнее.

— Я вот по какому вопросу, Агзам Юлдашевич. У мужа моей сестры неприятности. Персональное дело в райкоме партии...

— Как его фамилия?

— Юсупов из центральной газеты.

После некоторого молчания голос спросил:

— Это тот самый, что избил Шахбоза?

— Да,— ответил Алим.

— Алимжон,— жестко произнес голос,— я прошу не вмешивать меня в это дело. Все.

Пока.— В трубке раздалась гудки.

Алим осторожно положил трубку на рычаг и развел руками.

— Даже выслушать не захотел,— он виновато вздохнул, но в следующий момент пошел в атаку: — Вы ведь взрослые люди! Неужели нельзя было рассказать об этом раньше?! Почему вы так затянули?! — Он показал на телефон, как на живое существо.— Даже Агзам Юлдашевич бессилен что-либо сделать. И я его понимаю, делу дан ход. Машина, так сказать, заработала и остановить ее практически невозможно. Они снова помолчали.

— Но ты сам-то понимаешь, что наделал? — Да, кажется, начинаю понимать...

— Значит, осознаешь? Сожалеешь о своем поступке?

— Ага, сожалею. Очень сожалею. Что башку не открутил этому подонку.

Алим развел руками.

— Извините, мы, наверное, пойдем,— сказал Мурад и двинулся к калитке.

Алим обернулся к сестре.

— Алома, задержись на секунду.

Мурад остановился у калитки.

Алим что-то горячо говорил сестре. Она слушала брата и, опустив глаза, кивала.

Мурад поднялся по мраморным ступеням, вошел в здание райкома.

Открыл одну из дверей.

— Можно?

Сидевший за столом седой человек с орденскими планками на пиджаке оторвался от бумаг, поднял голову и посмотрел поверх очков.

— Юсупов? Проходите. Садитесь.

Мурад присел к столу.

— Я прочитал ваше письмо,— сказал человек, с интересом разглядывая Мурада. Снял очки, устало потер переносицу.— Причин для исключения вас из партии я не вижу.

Мурад поднял глаза, с надеждой посмотрел на него.

Тот улыбнулся ободряюще.

— И на бюро я буду защищать вас,— твердо добавил человек.— Конечно, дров вы наломали и немало... Не нужно было трогать этого сосунка. Как говорится, не тронь дерьмо — вонять не будет.— Он помолчал, вздохнул.— Но дело здесь, как я понимаю, вовсе не в нем. Дело куда серьезней.— Он положил руку на письмо Мурада, лежавшее перед ним.— Вы замахнулись на крупного зверя.— Он поднялся, походил по кабинету.— Но, к сожалению, это голые эмоции. Если вы хотите что-то доказать, нужны факты. Поверьте, я целиком на вашей стороне и хорошо вас понимаю.

Но необходимы доказательства. Веские. Неопровержимые. А здесь их нет.— Он остановился, стал смотреть в окно.— Про этого Назирова я слышал много... Но все это слухи.— Он обернулся.— А реальность — вот она.

Человек протянул Мураду свежий номер «Сельской жизни». На первой странице красовался портрет улыбающегося Назирова и жирным шрифтом было написано: «На ком земля наша держится» — очерк о хозяйстве Назирова.

— Центральная пресса,— добавил человек.

Мурад взял в руки газету, стал читать. — Можете не читать,— сказал хозяин кабинета.— Обычный хвалебный очерк, после которого герою надо привинчивать очередной орден.

— Разрешите мне это взять?— сказал Мурад.

— Пожалуйста.

Подтянутый молодой человек в светлом костюме подошел к площадке, покрытой красным песком, на которой двое мужчин среднего возраста играли в бадминтон. Крылатый волан мелькал на фоне густой зелени ухоженного сада.

Человек кашлянул, сказал негромко:

— Агзам Юлдашевич... Извините, можно вас?

Плотный мужчина, разгоряченный игрой, подошел к нему.

— Ну, что у тебя?

Человек склонился к самому уху и что-то прошептал. Агзам Юлдашевич внимательно выслушал его и передал ракетку.

— Поиграй за меня...

Молодой человек продолжил игру за своего патрона, смешно подпрыгивая.

Агзам Юлдашевич прошел по дорожке, подошел к бетонному забору. Поднялся на спинку скамейки и выглянул наружу.

Вдоль ворот государственной дачи прохаживалась женщина. Агзам Юлдашевич оценивающе посмотрел на ее стройную фигуру, красивое лицо.

Это была Алома. Она и на самом деле была сегодня хороша — видимо, сделала в парикмахерской прическу, надела самое лучшее платье.

Агзам Юлдашевич улыбнулся, слез со скамейки и направился к раздевалке.

Ворота дачи распахнулись, милиционер отдал честь белой «Волге» с занавесками на стеклах, которая выехала на улицу и остановилась возле Аломы.

Алома оглянулась. Агзам Юлдашевич распахнул дверцу и пригласил:

— Прощу вас.

— Вы Агзам Юлдашевич? — догадалась Алома.

— Совершенно верно!

Алома села на заднее сиденье, и «Волга» тронулась...

— ... Ну что ж, я знаю ваши проблемы,— Агзам Юлдашевич вздохнул и развел руками.— И хочу сказать вам честно: тут положение безвыходное! Делу уже дан законный ход, остановить его практически невозможно.

Он замолчал. Алома помрачнела.

— И виноват во всем этом только ваш муж. Я знаю Шахбоза, этот мальчик — мой дальний родственник, почти двоюродный племянник. Конечно, он избалован, грубоват, невосдержан. Его воспитание — проблема всей семьи. Но что бы ни случилось, бить, унижать, оскорблять ребенка — это мерзость. Вот почему поступку вашего мужа нет оправдания! Нет и не может быть!

Он снова замолчал, и Алома окончательно сникла.

«Волга» легко, почти бесшумно скользила по тенистому шоссе, устремляясь от центра за город, в прохладу дачных мест.

— Вот так,— снова вздохнул Агзам Юлдашевич и, не меняя тона, продолжал: — Но недаром говорят: безвыходных ситуаций не бывает. То, что совершенно невозможно для нас, мужчин, иная умная женщина может сделать за один вечер! — И он легко, будто невзначай, положил руку на приоткрытое колено Аломы.

Она не дрогнула, не шевельнулась. Только взглянула на него, и в глазах ее появилось что-то похожее на улыбку.

— Вы понимаете меня? — Агзам Юлдашевич погладил ее колено.

— Понимаю,— кивнула она.— И жалею только об одном.

— О чем? — удивился он.

— О том, что мой муж вашему Шахбозу башку не отвернул! — И обратилась к водителю: — Остановите, пожалуйста...

Она вышла на дорогу. Дверь хлопнула.

— Возвращайся! — невозмутимо произнес Агзам Юлдашевич.

Белая «Волга», развернувшись, покатила по шоссе.

Квартира Юсуповых постепенно приобретала жилой вид. Часть мебели еще не была распакована и в беспорядке громоздилась по углам. Но в кухне и детской уже царили порядок и чистота.

Мурад трудился в гостиной. Последним поворотом отвертки он закрепил книжную полку на стене и стал устанавливать на ней книги.

Хлопнула дверь, и в комнату вошел сын. Он бросил с размаху портфель и прошел в свою комнату.

Когда Мурад вошел в детскую, сын лежал на кровати, уткнувшись лицом в подушку, плечи его вздрагивали.

— Что случилось? — Мурад тронул сына за плечо.

Тот не обернулся. Мурад с силой развернул его к себе. Под глазом темнел синяк, нос был расквашен.

— Ну вот, из-за синяка плакать? — улыбнулся Мурад.

— А я и не плачу! — шмыгнул носом сын.

— Ну и молодец. Сдачи-то хоть дал?

— А как же! Будет знать, как тебя склочником и кляузником обзывать!

— Меня? Кто же это?

— Максуд... Из второго подъезда.

Мурад помолчал, потом скомандовал:

— Ладно, хватит сопли размазывать. Пойдем, поможешь мне.

Они вышли в коридор, в это время раздался звонок.

Мурад распахнул дверь и чуть не ахнул. На пороге стояла Алома, вся увешанная покупками. В руках у нее были сетки с фруктами, овощами, тортом, шампанским, коробками конфет, какими-то свертками, под мышкой — арбуз. Она сияла.

Мурад оглядел ее с ног до головы и удивленно спросил:

— Чего это ты вдруг?

— А просто, такое настроение!

Стол был накрыт, и горели три свечи. Три самых близких на свете человека сидели за столом и дружно, забыв обо всем, смеялись чему-то.

А потом играла музыка. Алома танцевала с сыном.

Он смешно припрыгивал вокруг матери, а она кружилась плавно, неторопливо.

Мурад смотрел на них, и ему было хорошо.

Поезд уходил со второго пути.

Мурад стоял у окна, глядя на жену, которая шла следом и повторяла тревожно:

— Я прошу тебя, звони... Обязательно звони...

Мурад кивал головой.

Тепловоз загудел протяжно, и поезд стал набирать скорость.

Алома зябко поежилась. Начинался октябрь.

Сразу за городом потянулись бесконечные хлопковые поля. Мурад задумчиво смотрел в окно...

Хлопок... Еще только брезжит утренняя заря, и роса, покрывающая мягкую, невосомую плоть пушинки в колючей коробочке,

блестит мириадами звездочек, а люди с натруженными руками уже идут по холодной земле, чтобы вынуть трехграммовый комочек из своей колыбели...

Хлопок... И когда солнце, падая вертикально сверху, обжигает, выпаривая из всех пор пот, иссушая тело, заставляя облизывать потрескавшиеся губы, когда не выдерживают моторы,— люди продолжают работать...

Хлопок... Собранный руками и машинами, выращенный трудом, который нельзя измерить, он стекает на хирманы, в кузова тележек, грузится в тысячи вагонов, двигается по дорогам, летит с ленты конвейера на высоту буртов, крутится в хлопкоочистительных машинах...

Хлопок... Нужный, как хлеб, вода, воздух...

Мурад стоял у проходной Бешкентской фабрики. Шла смена. Работницы выходили одна за другой. Вахтер показал Мураду на одну из них. Мурад догнал ее, пошел рядом.

— Здравствуйте...— сказал он.— Вы сестра Нуриева?

Женщина испуганно оглянулась на незнакомца.

— Допустим,— сказала она неприветливо.

— У меня к вам дело...

— Какое дело? — женщина явно не хотела разговаривать.

— Насчет вашего брата... Он мне сказал...

— Ничего не знаю,— отрезала женщина.

— Мне нужна папка... — начал было Мурад, но женщина смерила его хмурым взглядом.

— Я вам повторяю: ничего не знаю. И никакой папки у меня нет.— И заторопилась к автобусу.

— Постойте! — крикнул ей вслед Мурад.— Я специально приехал из-за этого. Дело очень важное!

Но женщина уже не слышала его — она вбежала в салон, двери с шипением закрылись, автобус покатил по дороге.

Мурад поднял с земли оброненную коробочку, сдул пыль и бросил коробочку в ящик, прибитый к столбу. Мимо него с гулом и грохотом проехала колонна тракторов с прицепами, наполненными хлопком.

Последний трактор остановился. Тракторист, молодой паренек, ругаясь, открыл капот. От мотора шел пар. Мурад подошел к пареньку, но тот, занятый заглушим двигателем, его не заметил. Мурад поздоровался...

Сильно перемазавшись, они разобрали мотор. Руки Мурада, соскучившиеся по работе, двигались ловко и споро.

— А вы откуда дизель знаете? — спросил парень.

— Да так... — уклончиво произнес Мурад. — Пришлось когда-то изучать.

— А я думал, что вы шишка какая-нибудь, — улыбнулся парень белозубо. — Так одеты...

Мурад улыбнулся в ответ, затягивая болт.

— Ну-ка, попробуй.

Парень включил зажигание, и мотор мощно загудел.

— Отлично! — показал он большой палец. — Куда вам, довезу...

Трактор встал в конце длинной очереди возле хлоппункта.

— Это надолго, — вздохнул парень. — Вы бы ехали.

— Ничего... — произнес Мурад. — Мне интересно.

Они вышли из трактора. Мурад подошел к прицепу.

— Слушай, какого сорта твой хлопок?

— Из бригады Абдуганиевой — лучший хлопок в нашем совхозе! — с сияющей улыбкой ответил парень.

Через некоторое время они въехали на территорию хлоппункта. Мурад прыгнул на землю, поднял голову. По ленте транспортера бесконечным потоком тек хлопок. Наверху его принимали рабочие и вилами раскидывали по вершине огромной горы.

К прицепу подошла лаборантка.

— Откуда? — спросила она.

— Совхоз «Сорок лет Октября», — с гордостью ответил парень.

— Так, — прищурилась лаборантка и отметила что-то в своем блокноте. — Ссыпайте!

Холм белоснежного отборного хлопка свалился на брезент к ногам лаборантки. Она обошла вокруг, высккивая что-то. Нашла, наклонилась и быстро зацепила своей вилкой самый загрязненный комочек хлопка и положила в банку.

— Девушка, да что же это такое! — закричал парень. — Это же единственный комочек, в который сухие листья попали!

— Занимайтесь своим делом, — перебила лаборантка. — Не мешайте работать!

— Ну вот, всегда так! — в сердцах сказал парень. — Вечная история! Мы собираем, стараемся как лучше, а эти жучки что хотят, то и делают!

Мурад пошел за лаборанткой и услышал, как она, подойдя к следующему прицепу, спросила:

— Откуда?

— Колхоз «Юлдуз», — бодро отозвался пожилой механизатор.

Лаборантка кивнула и выбрала из кучи самый чистый хлопковый комочек.

В это время по всему двору прошло какое-то движение. Обернувшись, Мурад увидел, что между хлопковыми буртами движется небольшая процессия. В центре ее шел крепкой энергичной походкой невысокий человек с властным выражением на холеном бронзовом лице. Окружавшая его свита: председатели колхозов, бригадиры и лаборантки, слушали его, боясь пропустить хоть одно слово. Тот, строго поглядывая вокруг, словно рубил рукой, подчеркивая каждое свое слово.

Мурад пригляделся и узнал в нем Бахрамова, того самого человека, к которому со всех концов страны приехали любимые женщины.

Сделав полукруг по двору, Бахрамов скрылся в конторе. Мурад задумчиво посмотрел вслед Бахрамову, оглянулся и пошел к двери, на которой виднелась надпись: «Отдел кадров».

Мурад сидел в маленькой комнатке отдела кадров хлоппункта. Молоденькая девушка перебирала папки с личными делами.

— Вот... — сказала она, развывая тесемки, — Султанов Махмуд Тураевич, тысяча девятьсот тридцать седьмого года рождения, узбек, беспартийный... Водитель первого класса. Работал у нас разнорабочим. Уволен в январе тысяча девятьсот восемьдесят первого года по собственному желанию. Справка из наркологического отделения. Состоял на учете в психоневрологическом диспансере номер один... Вот и все.

— А адрес вы не можете мне дать? — спросил Мурад.

— Адрес? Вот, запишите. Улица Бахор, дом пять.

— Спасибо.

— А зачем вам все это? — спохватилась девушка.

— Это мой дядя, — соврал Мурад. — Хочу встретиться с ним.

В дверном проеме показались Бахрамов. Увидев чужого, он остановился. Повернулся вполборота к своему помощнику, о чем-то спросил его. Тот недоуменно пожал плечами.

Мурад оглянулся, почувствовав острый, пронзивший его взгляд.

Мурад шел по улице. На деревьях, проводах висели темные клочки хлопковой пыли.

Когда он дошел до улицы Бахор, рядом с ним остановился мотоцикл. Мурад оглянулся. К нему, снимая шлем, шел знакомый седой капитан.

— Здравствуйте, — с улыбкой пожал он

руку Мурада.— Рад видеть вас.

— Я тоже,— улыбнулся Мурад в ответ.

— Кого-то ищете?

— Да, дом пять,— ответил Мурад.

— Султанова, что ли? — удивился капитан.— Да зачем вам этот пьяница нужен?

— По одному делу.

— Если что от меня потребуется, вы не стесняйтесь, я помогу,— произнес капитан.— Мы в тот раз так и не познакомились.

— Мурад.

— Болтаев Хикмат, капитан, то есть лейтенант.

Мурад посмотрел на погоны. Вместо четырех звездочек поблескивали только две.

— Разжаловали меня тогда. Из-за вас... Но я не жалею.

— Не расстраивайтесь, меня тоже разжаловали,— грустно улыбнулся Мурад.— Приходите в гостиницу, двести восьмой номер.

— Обязательно заеду,— сказал Хикмат.— А вот тот дом Султанова.

Комната Султанова представляла собой грустное зрелище — захламленная, пыльная. На неубранном столе лежали остатки закуски, захватанные стаканы, мятые газеты, промасленные селедкой.

У Султанова было грубое мрачное лицо с жесткой щетиной, со следами ожогов. Татуированные руки были скрещены на груди, и всем своим видом Султанов хотел показать равнодушие к неожиданному гостю.

— Ничего не знаю, ничего не видел,— отрезал он.

— Но что вы давали показания, помните? — спросил Мурад.

— Нет, не помню,— Султанов облизнул пересохшие губы.— Послушайте, не знаю, как вас зовут. У вас есть деньги?

— Есть,— Мурад вытащил десятку.— Вот, возьмите.

— Я мигом! — оживился Султанов и побежал к двери.

Мурад подошел к стене, где висела семейная фотография.

Молодой Султанов был снят с женой и сыном. Они улыбались. Мурад провел рукой по стеклу. Пыль осталась на ладони.

Он содрал с мутных окон выцветшие газеты, неаккуратно прикрепленные к рамам, и в комнате стало светлее.

Вернулся Султанов. Дрожащими руками вытащил и поставил на стол бутылку водки. Побежал за стаканами.

Мурад отставил бутылку в сторону.

— Вот что,— строго сказал Мурад,— пить не будем, пока не расскажешь мне все.

— Не шути так, начальник,— щека Сул-

танова задергалась.— Я ведь и умереть могу.

— Выпьешь, только без меня,— поставил условие Мурад.— А сейчас рассказывай.

Султанов облизнул губы, проглотил слюну и сел за стол, безвольно опустив руки на колени.

— Нечестно так...

— Нечестно? Ну, пей! — Мурад пристально посмотрел на него.— А я тебе расскажу, как ты пропил семью, детей... совесть.

— Ошибаешься, начальник, совесть я никогда не терял.

— Почему же ты, как крыса, забился в свою нору и молчишь? А ведь ты знаешь, что твои показания могут положить конец всем этим подонкам, которые исковеркали и твою жизнь, и многих других!

Султанов молчал.

— Я бы на твоём месте лучше сгорел на том пожаре... — сказал Мурад негромко и пошел к двери.

— Постой, начальник,— остановил его Султанов.— Откуда ты все знаешь?

— Никакой я тебе не начальник,— устало произнес Мурад.

— Садись тогда, поговорим,— сказал Султанов и, наполнив стакан, одним махом выпил водку...

...Мурад внимательно слушал рассказ человека, горе которого выплеснулось наружу.

— Ждала она меня все эти пять лет. Ребенок без меня рос. Вернулся, думал — все, завяжу. А потом опять. Старые друзья, выпивки. Снова сорвался. Права отняли, и пошел я работать на хлоппункт, разнорабочим.— Султанов, обжигая пальцы, жадно затянулся сигаретой.— А однажды напился я как скотина и заснул прямо там, в хлопке. Проснулся от жара. Горю. Выскочил я из бурта и побежал к пожарной помпе. Вижу, бегут с канистрами и разливают бензин. Хотел я закричать: «Что вы делаете, гады!» А язык, словно к нёбу присох. Смотрю, у ворот стоит сам Бахрамов и спокойно смотрит на пожар... — Он снова затянулся и продолжил: — А от показаний я не отказывался. Просто пришли ко мне люди Бахрамова и сказали, что, если я еще вспомню об этом, мне — хана.— Он посмотрел на Мурада.— Там люди серьезные. Если сказали, обязательно так и сделают. Ну, я и заткнулся.— Он с мольбой посмотрел на бутылку: — Можно? Еще хоть полстакана?

Мурад кивнул. Султанов торопливо налил себе водки и судорожно выпил. Откинулся на стуле, задышал ровнее и спокойнее. Благодарно посмотрел на Мурада.

— А потом жена ушла... — Султанов закрыл лицо ладонями.— И сына с собой

забрала. Теперь мне все равно. Где хотите, могу дать показания. Расскажу все, что было. Как они с четырех сторон поджигали. Пусть убивают, асфальтируют. Я давно подох. Ничего не осталось. Ничего... — Он поднял глаза, сказал твердо: — Только вы не думайте. Я не из-за стакана водки. Ненавижу я их! Ненавижу!

На следующий день Мурад снова ждал сестру Нуриева около проходной. Она шла в толпе фабричных работниц. Заметив Мурада, прошла мимо него к остановке, села в автобус. Мурад бросился за ней, вскочил на подножку уходящего автобуса.

Автобус петлял по улочкам поселка. Женщина оглянулась, продвинулась к нему.

— Кто вас послал к моему брату? — тихо спросила она Мурада.

— Хлмат-ата, — ответил Мурад.

— Брат говорил мне о вас, — она виновато посмотрела на него. — Я всего боюсь. Извините меня.

Автобус подъезжал к остановке.

— Вон, видите, дом, где колонка? — тропливо сказал мне о вас. — Приходите, когда стемнеет. И постарайтесь, чтобы вас никто не видел...

— Хорошо, — ответил Мурад.

Автобус остановился. Женщина спрыгнула с подножки и быстро пошла по пыльной тропинке.

Почти всю ночь просидел Мурад над документами, собранными в папке Нуриева. Здесь были копии многих писем, экономические расчеты, сведения о количестве неучтенных посевных площадей, различные справки, официальные ответы, свидетельские показания.

Мурад ходил из угла в угол однокомнатного номера, снова возвращаясь к бумагам Нуриева. Среди документов было несколько фотографий. На одной из них было снято пепелище. Среди покореженных металлических конструкций ходили какие-то люди. На обороте по порядку были перечислены все изображенные на фотографии. Жирной чертой была подчеркнута фамилия — Бахрамов.

Потом он снова сидел над бумагами Нуриева, перечитывая отдельные места, выписывая в блокнот цифры.

Лежал, подложив руки под голову, глядя в потолок, снова вставал, ходил по комнате.

На столе задрезал телефон. Мурад поднял трубку.

— Алло... Кто это?

— Мурад, это я, Болтаев, — голос милиционера был взволнованным. — Вам не-

медленно надо уехать. Исчезнуть... Сейчас же...

— Уехать? — Мурад присел на стул. — Почему?

— Я точно не знаю, в чем дело, но вам грозит опасность. Соберите вещи, через пятнадцать минут я буду у гостиницы! — сказал Болтаев. В трубке слышались короткие гудки.

Шелестя шинами по опавшим листьям, к гостинице подкатила бежевая «Волга».

Мурад стоял на крыльце.

— Можно прикурить? — услышал он и обернулся.

Неизвестный человек стоял с незажженной сигаретой и улыбался. Мурад прыгнул в карманах, зажег спичку.

В этот момент вышедшие из «Волги» парни легко взбежали по ступеням. Один резким движением вырвал из рук Мурада дипломат. Второй и тот, что просил прикурить, крепко взяли его с двух сторон, вывернув ему руки. Они почти втолкнули Мурада в машину. Он оказался в середине между двумя невозмутимыми молодчиками.

Все произошло так быстро, что Мурад не успел что-либо сказать.

Машина, набирая скорость, поехала прочь от гостиницы.

— В чем дело? — произнес наконец Мурад.

Водитель и парни, их было трое, не ответили.

Мотоцикл ГАИ подъехал к гостинице.

Болтаев заглушил двигатель и быстро поднялся на крыльцо. Оглянулся по сторонам и направился к швейцару. Спросил его о чем-то. Тот показал в сторону, куда уехала бежевая «Волга». Болтаев сбегал по ступенькам и стал заводить свой мотоцикл.

Бежевая «Волга» въехала в высокие металлические ворота, которые тут же закрылись. За трехметровым забором в саду голубел подсвеченный прямоугольник бассейна. В глубине светились цветные витражи окон двухэтажного особняка.

Мурада вывели из машины и повели по дорожке к дому. Один из сопровождающих раскрыл над Мурадом зонтик...

Они поднялись по мокрому мраморным ступенькам, прошли террасу. Парень открыл дверь и осторожно подтолкнул Мурада вовнутрь.

Мурад оказался в полумраке широкого коридора.

— Заходите, — услышал он приятный

голос, — товарищ Юсупов.

Мурад двинулся вперед, вошел в большую комнату. Тяжелые шторы закрывали окна, свет исходил от огня в камине. У каминя в высоком кресле сидел человек.

— Ну, смелее, — улыбнулся он Мураду.

Мурад, ступая по толстому ворсу ковра, подошел к человеку. Это был Бахрамов.

— Будем знакомы. Хусан Саидович Бахрамов, — сказал он не вставая.

— Как я понимаю, вы меня знаете, — отозвался Мурад.

— Только по имени, — сообщил Бахрамов. — В остальном — вы для меня загадка.

Его ухоженное бронзовое лицо излучало доброту и ласку.

— Может, вы объясните, что все это значит? — спросил Мурад.

— Что именно?

— Ну, например, как меня сюда доставили. Ведь это насилие.

— Когда насилие неизбежно, надо расслабиться и постараться получить максимум удовольствия. Слыхали о таком совете? — улыбнулся Бахрамов. — Садитесь.

Мурад сел напротив хозяина дома.

Блестела полированная гнутая мебель в стиле «ампир», бронзовые канделябры и бра, радужными огоньками сверкали хрусталики люстры.

Один из парней курил у входной двери на веранде. Мимо него с подносом в руках прошла девушка.

Она вошла в комнату и поставила на столик серебряный поднос. Уголками губ приветливо улыбнулась Мураду. Красивое точеное личико, модная стрижка и платье с вырезом.

На подносе в вазах лежали отборные фрукты, конфеты. Девушка разлила в хрустальные фужеры вино и бесшумно удалилась, прикрыв за собой дверь.

— Выпейте, — Бахрамов подвинул фужер к Мураду. — Такого вы не пробовали.

— Спасибо, — сказал Мурад, — я жду объяснений.

— Какой вы нетерпеливый! — покачал головой Бахрамов.

Он встал, подошел к окну и раздвинул шторы. За окном шел дождь, но звуки из-за тройной рамы не проникали в комнату.

В полях ручей. Межа. Весна кругом.

И девушка идет ко мне,

неся кувшин с вином...

Прекрасен миг! А стань

о вечном думать,

И конечно:

поджал бы хвост щенком,

— продекламировал Бахрамов, стоя спиной к Мураду. — Прекрасные строчки! Омар Хайям.

Он оглянулся. Живые, мелкие глазки

изучающе смотрели на Мурада.

— Я безбожник, — произнес он. — Не верю я в эти сказки о рае, об аде. Все это чепуха. Опium для народа! — его холеное лицо расплылось в иронической улыбке. — Я верю только в эту жизнь. Вот в эти горы, в этот дождь. В это вино. Я материалист. И ценю все реальное. То, что можно пощупать, увидеть, ощутить. — Он глотнул вина, поцокал языком. — Прекрасно. Выпейте!

Мурад молчал.

— Что наша жизнь? Короткая прогулка перед вечным покоем, — Бахрамов вздохнул. — Я не строю для себя иллюзий. Сколько суждено, столько и проживу. Но я хочу провести это время по высшей программе. Хочу хорошей еды, хочу красивых вещей, хочу красивых женщин, много красивых женщин!

— Я видел их, — произнес Мурад, — в самаркандском аэропорту.

— Правда? — радостно спросил Бахрамов. — Ну и как?

Мурад пожал плечами.

— К старости становишься сентиментальным. Захотелось вдруг увидеть всех, которых когда-то любил. С кем провел хорошие минуты.

— Зачем вы мне все это рассказываете? — спросил Мурад.

— Зачем? — Бахрамов раскинул руки. — Чтобы открыть вам свою душу! Вы же интересуетесь мной? Собираете сведения? Расспрашиваете людей, вынюхиваете. Не так ли?

— Так.

— Ну так вот! Спрашивайте лучше прямо у меня! — ликовал Бахрамов. — Я отвечу на любые вопросы! Нет проблем!

— Ну хорошо, — кивнул Мурад. — Спрошу. Скажите, зачем вам эти деньги? На вашу высшую программу, — он обвел рукой комнату, — всего этого хватило бы и десятой доли.

Бахрамов тихонько засмеялся и склонился к Мураду:

— Здесь нет и одной сотой того, что я имею.

— Тем более, — повторил Мурад. — Для чего вам столько денег?

Бахрамов откинулся в кресле и снова глотнул вина.

— А я их люблю, — произнес он. Его глаза заблестели, в голосе зазвенело вдохновение. — Это как призвание. Как талант. Как творческий дар! Вы думаете, легко их добывать? Ого-го! А у меня получается! Я их чувствую — кожей, нутром, печенью! Я ощущаю их приближение за неделю, за месяц, за год! Я нахожу их там, где другим и в голову не придет! Я их делаю из ничего! А в конце концов, они,

словно признают мою силу, сами идут ко мне! Не верите? Честное слово! Вот сейчас мы говорим с вами, а с чьего-то счета на мой переводятся суммы, посылаются авансы, начисляются проценты. В общем, идут гонорары! За мой талант, за интуицию, за нюх. Хотите, проверим?

— Не надо. Я верю,— Мурад помолчал.— Откуда же они берутся, все эти деньги?

— Я же говорю — отовсюду! — упоенно восклицал Бахрамов.— Например, сегодня они могут появиться из этого разговора с вами! Да-да! Я говорю и ясно слышу в нашей беседе шелест купюр! И даже чувству их запах! А вы чувствуете?

— Нет,— качнул головой Мурад.

— Нет? Жаль,— искренне огорчился Бахрамов.— А вы попробуйте! Представьте себе, что в этом вашем чемоданчике вместо разных бумаг появляются аккуратные пачечки в банковской упаковке! Представили?

— Представил,— улыбнулся Мурад.

— Ну вот! — закричал Бахрамов.— Я же говорил, они тут, рядом! Стоит только шевельнуть пальцем, освободить чемоданчик от этих бумажек и — дело сделано! Они заполняют пустоту!

— И вам не будет жаль их, этих пачечек? — снова усмехнулся Мурад.

— Что вы, что вы! — замахал руками Бахрамов.— Да для такого дела, для знакомства с таким понимающим человеком мне и мать родную не жаль! А потом — не бойтесь! Мое ко мне всегда вернется!

— Нюх поможет,— подсказал Мурад.

— Вот именно! Именно, золотая вы голова!

— Ясно,— кивнул Мурад.— Скажите, а ваш нюх никогда не предчувствует запаха тюремной параша?

— А? — переспросил Бахрамов.

— Тюремной параша. Картофельной баланды, двухсотграммовой пайки... — в тон Бахрамову произнес Мурад.— И вообще, всего этого мира: утренних побудок в зоне, капель росы на колючей проволоке, бодрящего дая овчарок, теплой близости автоматных стволов за спиной?..

С каждым словом Мурада Бахрамов все выпрямлялся и выпрямлялся в кресле, потом стал приподниматься, нашаривая рукой каминную кочергу.

— Ну ты... сука,— бормотал он, совершенно потеряв самообладание.— Я же тебя... недоносок...

— Не стоит,— раздался знакомый спокойный голос.

Мурад резко обернулся. В дверях стоял Назиров.

— Нуриев объяснил мне общую схему

круговорота взяток,— спокойно продолжал Мурад, обращаясь к Назирову,— которые проникают от хлопкозавода до магазина тканей... И все же что-то оставалось для меня неясным. Откуда берется самая первая и самая главная сумма, порождающая всю дальнейшую цепную реакцию? Я долго думал, собирал сведения и выяснил этот вопрос. Эти деньги отнимаются у людей. У колхозников, у хлопкоробов. Делается это так. Руководители хозяйств охотно принимают заведомо непомерные, завышенные плановые задания, берут на себя еще более нереальные сокобязательства, а затем попросту запугивают своих людей этими цифрами и под предлогом невыполнения планов полностью забирают в свои руки фонд заработной платы. В ряде хозяйств колхозники годами не получали зарплаты. Работали бесплатно! Зато все нужные люди на хлоппунктах, хлопкозаводах, в разных конторах и управлениях получали столько, сколько нужно, чтобы приписать, втереть очки, закрыть глаза, обмануть! Так вот, этот самый прием с фондом заработной платы придумали вы.

Мурад замолчал. Молчал и Назиров, тяжело глядевший на него.

— Дальше,— продолжал Мурад,— люди, естественно, стали роптать, и, чтобы удержаться на своем месте, вам пришлось пойти напролом. Вы присвоили себе право наказывать, миловать, судить и награждать. Вы открыли свои тюрьмы, наняли карателей...

Еще мгновение Бахрамов пребывал в оцепенении, но потом его словно подменили. Он уронил кочергу, засуетился, замельтешил. Склонившись в поклоне, прижав руку к груди и не разгибаясь, он кинулся за стулом, потом вернулся, стал тащить к Назирову свое тяжелое кресло, замахал рукой прислуге.

— Не надо,— остановил его Назиров, и Бахрамов застыл.

Несколько мгновений стояла тишина. Назиров и Мурад молча смотрели друг другу в глаза.

— Ну что,— тяжело спросил Назиров,— собрал досье?

— Собрал,— ответил Мурад.

— На всех?

— Почти.

— И полностью?

— Ну что вы, Барат Назирович,— усмехнулся Мурад.— Конечно, нет. Тут отражена только часть незаконной деятельности, и притом очень небольшая. Не подтвержден целый ряд фактов, не до конца раскрыт механизм приписок, не названы многие имена... Но даже из того материала, что здесь собран, ваша личная роль вырисовывается достаточно четко.

— Да? Ну и в чем же она заключается, моя личная роль?

— Коротко?

— Ну...

— Вы — государственный преступник.

Бахрамов хохотнул было, но тут же осекся.

— Да, вы государственный преступник и очень крупного масштаба. Список ваших преступлений бесконечен. В нем целый набор: взятки, расправы, хищение, запугивание, растление и даже прямые убийства.

Бахрамов вдруг вздрогнул и, стараясь не шуметь, отодвинулся в тень.

— Я долго думал: что же ведет вас? Какова ваша цель? Это, конечно, не деньги, не какие-нибудь «высшие программы». Я думаю, это одно — власть. Вот ваша цель, страсть, идеал: неограниченная, абсолютная, вседозволенная власть над всем и вся.

Снова несколько мгновений длилось глухое молчание.

— Теперь вы понимаете: я ненавижу вас, ненавижу за все. И правильно Нуриев считает: вы все — преступники. И правильно тот парень сказал: вы не имеете права жить на земле. Все.

Мурад замолчал. Первым шевельнулся Назиров.

— Ну,— глухо произнес он и повернулся к Бахрамову.— Слышал?

— М-м... — замычал Бахрамов, не зная, что сказать.

— Я спрашиваю, ты слышал, что тут говорилось?

— Ну... да...

— Так что же ты стоишь, подонок? Действуй.

Бахрамов метнулся к двери.

— Прощай, Мурад,— произнес Назиров.— Честное слово, мне жаль... Очень жаль.

«Волга» проехала по тихой улочке и, оказавшись на шоссе, прибавила скорость. Мурад сидел на заднем сиденье в окружении парней.

Сзади послышался рокот мотоцикла. Он обогнал «Волгу» и со скрежетом развернулся перед самым ее носом. Болтаев жезлом приказал остановиться.

— Чего тебе? — крикнул водитель.

— Глуши мотор.— Болтаев снял шлем. Он подошел к машине.

— Наконец-то я нашел тебя, сволочь! — сказал он наклонившись к окну.— Выходи.

— Ты что, спятил? — один из парней вышел из «Волги».

— Полковник Бакиров приказал немедленно привезти его,— произнес Болтаев.— Ну, чего глаза выдурил? Вылезай.

Мурад стал вылезать из машины.

— Оставь его,— сказал один из парней.— Скажи Бакирову, что все в порядке. Бахрамов в курсе дела.

— Нет,— упрямо повторил Болтаев. Он расстегнул кобуру и вытащил ПМ.— Давай. И без глупостей.

— Идиот,— выдохнул телохранитель.— Ты думаешь, что делаешь?

— Не твое дело,— хрипло сказал Болтаев, подтолкнул Мурада пистолетом в спину.— Иди.

Мурад подошел к мотоциклу, сел в коляску.

— Ну, ты еще поплатишься! — сказал телохранитель, с опаской глядя на пистолет.

— Приказ есть приказ,— мрачно произнес Болтаев. Сел за руль.

«Волга» с парнями развернулась и поехала в обратную сторону. Мотоцикл рванул в другую.

Назиров взял нож с оленьей ручкой и скovyрнул замок портфеля. Вытащил папку, надел очки и развязал тесемки.

В папке аккуратно стопкой лежала пачка чистой бумаги.

В этот момент в комнату вбежал один из парней.

— Его увез Болтаев... Из ГАИ... Сказал, к Бакирову...

— Тупицы! — Назиров бросил папку с пустыми листами на ковер.— Немедленно вернуть! Уничтожить!

Мотоцикл мчался по шоссе.

— А где документы Нуриева? — оглянувшись на Мурада, спросил Болтаев.

— Здесь... — Мурад провел рукой по рубашке.

Болтаев улыбнулся и крутанул ручку газа до конца.

«Як-40» шел на взлетную полосу.

Мотоцикл въехал в ворота местного аэропорта и на полном ходу развернулся перед носом самолета. «Як-40» остановился, из-за стекол иллюминаторов выглядывали испуганные лица пассажиров. Болтаев помахал жезлом пилоту.

Трап мягко опустился на бетон.

Мурад вытащил из-за пазухи завернутые в целлофановый пакет документы Нуриева. Ветер трепал волосы, выбивая из глаз слезы.

— Молодец, сынок,— хрипло сказал седой человек и крепко, по-мужски обняв, поцеловал Мурада.— Побольше бы таких...

— Спасибо вам, отец... — Мурад пожал руку Болтаева и побежал в самолет.

Легкая стремительная птица разбежалась

по черной полосе и взмыла в осеннее небо.

Болтаев проводил ее долгим взглядом, потом сел на свой мотоцикл и поехал с аэродрома.

Мотоцикл ехал по шоссе. Сзади с нарастающим ревом к нему приближался грузовик. За ним следовал другой.

Болтаев оглянулся.

Неожиданно из первой машины на него обрушилось ведро бензина. Со второй машины бросили горящий факел. Грузовики с ревом умчались прочь.

Мотоцикл вспыхнул, продолжая движение. Охваченный огнем, он улетел в кювет и завертелся на раскисшей земле.

Раздался взрыв.

Мальчик, пасший корову, закричал и бросился бежать.

Огромный широкофюзеляжный «Ил-86» приближался к земле. Внизу темнел лес, синели озера, тонкими нитями тянулись прямые дороги.

«Встречающих рейс, прибывший из Ташкента, просим пройти во вторую галерею», — разнесся эхом голос диктора-информатора.

Мурад сошел с трапа самолета и вместе с толпой прибывших пассажиров двинулся к зданию аэропорта, сжимая в руках портфель. Он быстро прошел галерею, протиснулся сквозь толпу встречающих и вышел на привокзальную площадь. Почувствовав на себе чей-то взгляд, Мурад обернулся. Среди множества лиц он заметил одного из парней, сопровождавших его к Назирову.

Парень отвернулся, затерялся в толпе.

Мурад подошел к стоянке такси.

— Куда вам? — спросил один из свободных водителей, белобрысый парень в кожаной куртке.

— В центр, — сказал Мурад.

— Садитесь.

Таксист поехал в сторону Москвы. Мурад оглянулся, вздохнул свободно.

Машина мчалась мимо перелесков, березовых рощ, белой стеной обступавших шоссе.

— А куда вам в центре-то? — спросил водитель.

— В ЦК партии...

— О-о-о! — таксист с интересом взглянул на Мурада. — Срочное дело? — иронически улыбнулся он.

— Очень.

— Вот гонят! — посмотрев в зеркальце, произнес таксист. — Пьяные, что ли?

За ними, приближаясь с каждой секун-

дой, мчались два «жигуленка».

— Нет, ты посмотри, что делают! — возмущенно произнес водитель.

Машины мчались по шоссе, нарушая все правила, обгоняя справа и слева, пересекая сплошную линию. Мурад оглянулся. В первой машине он различил знакомое лицо одного из телохранителей.

— Слушай, браток, выручай, — стараясь говорить спокойно, четко и раздельно произнес он. — Что бы сейчас ни случилось, вот эту папку ты должен отвезти в Центральный Комитет. — Мурад незаметно, почти не меняя положения, быстро вытащил из портфеля папку Нуриева и сунул ее в бардачок машины. — На площадь Ногина.

Машины приближались.

— Ты понял меня? Это очень важно!

— Да что случилось? В чем дело?! — уже с тревогой спросил водитель.

— Долго объяснять — нет времени. Скажу тебе только одно — от этих бумаг зависит жизнь многих людей!

«Жигули» пошли вровень. Мурад искоса взглянул на пассажиров. Это были люди Назирова.

— Понимаешь?

— Вроде, да...

— Я могу на тебя рассчитывать?

— Сделаю.

В этот момент первые «Жигули», завизжав тормозами, развернулись и стали поперек дороги. Таксист еле успел затормозить, чтобы не врезаться. Вторые «Жигули» прижали «Волгу» слева.

— Езжай, — произнес Мурад, взялся за ручку двери, вышел. В руках у него был портфель.

Из «Жигулей» выскочили трое парней.

Мурад оглянулся — из второй машины на него надвигались еще двое. Не мешкая, он бросился с невысокой насыпи и побежал в сторону березовой рощи.

Преследователи побежали за ним.

Мелькали стволы берез. Мурад остановился, посмотрел на дорогу. Таксист дал задний ход и рванул в сторону города. Мурад облегченно вздохнул. К нему приближались парни.

Первый из нападавших бросился на Мурада, но получил такой встречный удар, что отлетел в сторону, ударившись о дерево.

— Ну, подходи! — с яростью закричал Мурад, приготовившись к нападению. Он вытащил широкий ремень и намотал его на руку по-флотски.

Два парня бросились на него. Одного из них Мурад ударил ногой в пах, второго с размаху — ребром ладони по шее.

— Ах ты, сука! — отплевываясь, выкрикнул самый рослый из нападавших.

Он вытащил из кармана нож. Нажал на кнопку, лезвие выскочило, как жало. Он с

криком бросился на Мурада, но тот увернулся и ударил ремнем по руке с ножом. Нож блеснул в воздухе и отлетел в ручей.

Пятеро навалились на одного, но взять Мурада было непросто. Накопленные в нем сила, ярость, злость выплеснулись через край. Он бил налево и направо, успевая кого-то лягнуть, кого-то ударить головой; ремень свистел в воздухе, тяжелая пряжка опускалась на головы, плечи, руки противников.

— Не возьмешь! — кричал он, отчаянно отбиваясь от наседавших парней.

Он и сам уже пропустил несколько сильных ударов — из носа и рта текла кровь, на скуле синела ссадина, пиджак был разорван, волосы всклокочены.

С каким-то удивлением и одновременно страхом бросались на него битюги, не понимая, откуда в этом невысоком человеке столько иступленной силы и бешенства.

Один из парней поднял с земли камень. Подкрался сзади и трусливо, по-воровски с силой ударил Мурада по голове.

Качнулась земля, поплыли березы, сверкнуло солнце... Мурад стал медленно валиться, цепляясь за березовый ствол и оставляя на нем кровавый след...

— Уходим! — взвизгнул один.

— Кончай его! — крикнул другой.

Мурад хотел было приподняться, но в следующий момент рухнул от последнего сокрушительного удара. Он лежал, уткнувшись лицом в мокрые опавшие березовые листья...

Белобрысый таксист припарковал машину на стоянке около площади Ногина и пошел в сторону старинного серого здания. Подошел к милиционеру, спросил его о чем-то, тот показал за угол. Парень пошел по тротуару, свернул и остановился возле стеклянной двери. В руках у него была папка Нуриева.

На красной табличке золотом было написано: «Приемная Центрального Комитета Коммунистической партии Советского Союза».

Шло время...

Осень сменилась хлипкой ташкентской зимой.

Потом наступила весна...

Опали цветы, и завязи превратились в плоды — наступило лето...

...В июльский день 1984 года в уютной чайхане возле телевизора собралось много людей. Среди них сидел высокий старик. Вместе со всеми слушал, боясь пропустить хоть фразу, сообщение о XVI пленуме Центрального Комитета Компартии Узбекистана. Холматата смотрел на диктора прищурившись, словно проверяя каждое слово, потом удовлетворенно кивнул головой:

— Сколько веревочке ни виться, а концу быть!

Снег... Он выпал неожиданно. Крупные хлопья падали, таяли на земле, еще не остывшей после теплой осени.

Куда-то неслись машины, мигали глаза светофоров, спешили по улицам люди. В Ташкенте собрался партийный съезд...

В большом универмаге, в секции по продаже телевизоров, стояла молчаливая толпа. Со многих экранов выступал делегат съезда Назиров:

— Сидящим в зале известно, что за последние годы в Узбекистане выявлены грубые нарушения партийных норм и морали, советских законов, серьезные недостатки в руководстве народным хозяйством. Широкое распространение получили приписки, хищения, взятки, которые привели к разложению и перерождению определенной части кадров. Эти негативные явления приобрели крайне опасный характер.

Нуриев стоял среди людей, глядя на экран. В его руках был потрепанный чемоданчик. Нуриев возвращался из дальних краев.

— В обстановке самовосхваления, надуманных победных рапортов, лести и угодничества попирались и игнорировались ленинские нормы партийной жизни. Отсутствовал контроль за выполнением директив партии и собственных решений, нарушался важнейший, основополагающий принцип коллегиальности руководства...

В далеком целинном поселке слушали слова партийного съезда колхозники. Среди них стояли Насиба — вдова погибшего моряка, ее друзья.

Медленно светлела толща воды. Огромный металлический корпус лодки плавно скользил наверх. Раздвигалась стена водорослей. Далеко внизу оставалась черная бездна. Уплывал назад и вбок туманный склон подводной горы.

Еще несколько мгновений — и вверху, над головой блеснул лучик, потом другой, третий.

Потом во всю необъятную ширь океана засияло, затрепетало на волнах, задробилось осколками, затеплилось, зазвенело и заполнило сердце вечное высокое Солнце.

1988 г.



Кшиштоф
ЗАНУССИ

ЗАЩИТНЫЕ ЦВЕТА

(Barwy ochronny)

НАБРОСОК ПОРТРЕТА

Первое впечатление — тихий, раздумчивый, не по-юношески печальный фильм о смерти, показанный на вгиковском фестивале во второй половине шестидесятых годов с какой-то неловкостью: ну стоит ли, в самом деле, демонстрировать здесь, на празднике жизнерадостного искусства, этот медленный, мучительный процесс умирания старого монаха, этот недоуменный, полный непривычного и неожиданного сострадания взгляд молодого реставратора, впервые столкнувшегося с самым главным, а может быть, и единственно важным в жизни каждого — с мыслью о небытии, о неизбежности смерти...

Эта аскетичность кинематографа, в котором не существенны действие, поступок, событие, а единственно важны мысли, мотивы, нравственные императивы, говоря проще, десять заповедей — станут «фирменным знаком» Кшиштофа Занусси до наших дней, его кинематографическим естеством, столь не похожим на все то, что происходит и в его родимом польском кино, и в кино европейском, одним из первых мастеров которого он неторопливо и неуклонно становился.

Впрочем, сначала был кинематограф польский, «третье польское кино», поспешно придуманное критикой в конце шестидесятых годов, так и не сложившееся в нечто целостное, но объединившее самых молодых, позволившее им хоть на мгновение ощутить себя поколением, потребовать места на экране, где давно уже вырождались великая «польская школа», перепевавшая эпигонов отечественного романтизма.

Занусси сразу же становится одним из лидеров поколения, отвергавших барочную эстетику своих предшественников, сводя всю поэтику своего кинематографа к одной лишь этике, создавая кинематограф простейших жизненных казусов, элементарных бытовых ситуаций, обнаруживавших вдруг под простодушными своими сюжетами глубочайшую и мрачнейшую метафизику человеческого существования. И не случайно именно Занусси начинает с ситуаций совсем уже простейших, снимая короткие (с Эдвардом Жебровским, постоянным своим сосценаристом и единомышленником) игровые новеллы, герои которых еще и еще раз сталкиваются с необходимостью решать проблемы на первый взгляд совсем уж ничтожные, несущественные, мелкие, а на самом деле касающиеся кардинальных вопросов бытия («Лицом к лицу», «Зачет», «Роль», «Горы в сумерках», «За стеной», «Гипотеза»). И только потом, только отработав на этом малом плацдарме киноновеллы свою драматургию и поэтику, снимает первый полнометражный фильм «Структура кристалла», с излишней точностью переименованный в нашем прокате на «Размышление»; фильм, в котором, казалось бы, и в самом деле

не происходит ничего, кроме размысленный вслух, в котором герои задают друг другу и действительности вопросы самые драматические — как жить, что делать, какой ценой, кто мы есть, наконец, и зачем живем на этом свете?..

И хотя картины последующие станут сложнее, несколько растеряв неприхотливую форму научного диспута (крайний случай такого кинематографа мы увидим, правда, несколько позже, в «Иллюминации», где в спор о предназначении человека просто-таки врываются реальные голоса известных польских ученых и мыслителей), однако и в «Семейной жизни», и в «Квартальном балансе», и особенно в «Защитных цветах» этот естественно-научный подход к человеку, к душе его, к некоему началу, которое не объяснить словесно, окажется неизменным.

Впрочем, представлять себе творческий путь Занусси столь прямолинейно все-таки не стоит: с середины семидесятых годов он снимает фильмы не только в Польше и поначалу пытается приспособиться к требованиям западного рынка, снимая в США самый слабый свой фильм «Убийство в Катамаунте», однако немедленно извлекает из этого прискорбного случая все необходимые выводы и, навязывая западным продюсерам свой, «зануссиевский», кинематограф, своих актеров, свои сценарии (а сценарии он всегда пишет сам, один или с Жебровским; часть из них, «Телевизионные новеллы», вышла лет десять назад на русском языке в переводах В. Фенченко и М. Черненко), свою пластику. Среди этих работ, снятых преимущественно для западногерманского телевидения, такие жесткие, я сказал бы, безжалостные психологические студии, как «Милосердие, оплаченное вперед», «Урок анатомии», «Дом женщины», «Дороги среди Ночи», «Искушение», «Недоступная», «Императив»... Все эти картины среднemetражные, малолюдные, однотемные, в то время как в Польше в те же самые годы Занусси снимает как бы многофигурные, многоголосые композиции, хотя и здесь не обходится без исключений — таких как «Спираль», неторопливый, въедливый патолого-анатомический анализ умирания человеческого тела, а с ним и в нем человеческого духа.

И тем не менее фильмы, снятые в Польше, я назвал бы более человечными, более «теплыми» — недаром же просыпаются в них не слишком свойственные темпераменту режиссера юмор, ирония, страшно сказать, фарсовые интонации. Это появляется впервые именно в «Защитных цветах», это подтвердилось и после, в язвительной комедии «Контракт», но и там, где юмор этот не очевиден, палитра драматургии оказывается куда более многоцветной, чем в фильмах, которые можно было бы назвать «западными». Достаточно сравнить с ними даже «Из далекой страны: папа Иоанн Павел II», не говоря уже о самых последних работах Занусси: «Год спокойного солнца» и «Где бы ты ни была, если ты существуешь», тоже снятых в копродукции, но посвященных реальным, драматическим польским проблемам военных и послевоенных лет, иначе говоря, представляющих собой не просто утонченные философские дискурсы, но картины обыденной, будничной жизни, отнюдь не лишенной тех же самых экзистенциальных проблем, но содержащих и многое-многое другое.

Наверно, не стоит все же противопоставлять одну сторону зануссиевского кинематографа другой: несмотря на тридцать девять фильмов, снятых за двадцать два года работы в кино, он еще достаточно молод — в этом году ему исполнится пятьдесят, это возраст успеха, возраст зрелости, возраст неожиданных решений и перемен судьбы. И кто знает, чем обернется эта любовь режиссера к безукоризненно точным этическим казусам, открой он для себя другие жанры, другие возможности? А пока перелистаем страницы «Защитных цветов» и обнаружим, что сценарий этот и о нас тоже, несмотря на годы, прошедшие с момента его написания.

Мирон ЧЕРНЕНКО,
кандидат искусствоведения

* * *

На экране — картинки из жизни природы: птица, сидящая на ветке; гнездо, затаившееся в кустах; стрекоза, зависшая в воздухе... Цветочные чашечки, обращенные к солнцу. Сельская, ангельская природа. Котихищник крался сквозь заросли, нюхал цветочки, щипал травку, осматривался вокруг.

Нелли и Ярек стояли в купальных костюмах у воды, окруженные камышами. Рядом лежала их одежда и плед, на котором они только что загорали.

Яреку еще не было и тридцати. Целеустремленный и, быть может, слишком серьезный и принципиальный, он часто смущал окружаю-

щих прямойю взглядов, которую, правда, несколько смягчали его благовоспитанность и врожденная сдержанность. Смешение этих качеств постоянно создавало ощущение напряженности, обнажало механизм самоконтроля и приводило к тому, что Ярек редко бывал раскован и свободен. Но тогда, когда это случалось, становилось очевидным, что он довольно инфантилен.

Нелли была моложе его — красивая, вызывающая в своей девичьей непосредственности. И при этом — удивительно ухоженная, если не сказать, роскошная. Богатство, комфортная и относительно легкая жизнь законсервировали ее юность.

— Вода теплая,— сказал Ярек.

— Холодная.— Нелли говорила с сильным иностранным акцентом.

— Попробуйте.

— Зачем? Я уже пробовала.

— И что? Была холодной?

— Была.

— Неправда.

Ярек брызнул в Нелли водой — она взвизгнула... Но тут же оба почувствовали смущение.

— В Англии я никогда не купаюсь, там слишком холодно. Вот когда мы ездим во Францию...

На лице Ярека отразился его комментарий относительно этих путешествий во Францию.

— Ну да! — возмутилась Нелли. — Вам это импонирует. Всегда, когда я говорю о зарубежных поездках, тут кто-нибудь удивляется. А я почти всегда езжу автостопом... Ну, разве только с родителями...

— А купаетесь вы только, когда тепло?

— Да. Если холодно, я не купаюсь. А разве вы купаетесь, когда холодно? — Нелли старательно произносила каждое слово, шутливо подражая пластинке по изучению польского языка.

— Да, я купаюсь, когда холодно,— подхватил игру девушки Ярек.

— Ну так вас накрутит ревматизм... — сказала Нелли в той же манере.

— Скрутит,— рассмеялся Ярек,— или свалит. А вот шеф подчиненного — накручивает.

После долгого блуждания по зарослям кот высмотрел жертву. Он замер, потом пополз вперед, приготовился к прыжку, прыгнул... Но птичка успела вспорхнуть. Кот был взбешен.

Нелли запуталась в польских приставках.

— Хуже, чем в немецком. Формакен, цумахен, аусмахен,— рассуждала она.

— По моему, слова «аусмахен» нет.

— Есть. «Дас махт ниhtс аус». Ничего страшного.

— «Дас махт ниhtс». Без «аус». Сейчас проверим, но, похоже, вы ошибаетесь.

— Я была в Германии.

— А я — ассистент.

— Ну и что?

— Как это что? Я должен быть прав.

— С какой стати?!

— Я поставлю вам двойку.

— Не те времена. Теперь ассистент должен вести себя осторожно. Ведь если он не понравится студентам, то... — Нелли легким жестом продемонстрировала, как ассистент запросто вылетает из института.

— Не у нас,— сказал Ярек.— У нас, если студент не понравится, то... — он сделал тот же самый жест.

— А давно вы в Польше?

— Два месяца. Но об этом я уже слышала. У нас ведь тоже так было: иерархии, авторитеты и теде. It's finished¹.

Нелли заметила кота, осторожно присела.

— Т-с-с.

— Не «т-с-с», а «кис-кис-кис».

— Pan pull my leg². Т-с-с.

— Нет, кис-кис-кис. «Т-с-с» — это, чтобы было тихо.

И оба рассмеялись.

Услышав взрыв смеха, Якуб отвел взгляд от дохлой птички, которую деловито объедали муравьи, и посмотрел сквозь заросли на Ярослава и Нелли. Чему-то усмехнувшись, он вновь прислушался к пению птиц.

Ему было за сорок. В моменты подъема, в зависимости от обстоятельств, он был поиюношески энергичным и собранным. Когда же расслаблялся, усталость и апатия выдавали человека, потерпевшего в жизни фиаско.

Сейчас он лежал, глядя в небо. Но не в романтической задумчивости. Он внимательно наблюдал за птицами, которые готовились к полету.

Птиц восполошил Ярослав, шедший по тропинке.

— О, извините, пан доцент.

— Почему вы извиняетесь?

— Так принято. Вы, кажется, наблюдали за птичками, а я их спугнул.

— Вы помешали им. Взгляните на эту стаю. Они ждут, когда мы перестанем двигаться, чтобы снова занять свою территорию.

— А вы интересуетесь орнитологией?

— Не особенно. Я интересуюсь тем же, чем и вы. Но, видите ли, природа представляет собой единое целое. Наблюдая за ней, можно узнать много нового и о нас самих. Что вы собираетесь делать с той работой?

— Вот-вот, что мы должны делать?

— Не знаю. Она опоздала? Вы проверили дату на конверте?

¹ Теперь с этим покончено. (англ.)

² Вы меня дурачите. (англ.)

— Опоздала на один день.

— Этого достаточно. Можно отклонить.

— Но можно и принять. Я думаю, нам не следует подходить к этому формально...

— Коллега, принципы или есть, или их нет. А решение — за вами, только за вами. Я вмешиваться не буду...

Ярек ушел, так и не развеяв свои сомнения, а Якоб вновь погрузился в изучение жизни птиц.

Лагерь состоял из нескольких летних домиков и одного барака, предназначенного под столовую. На задах — не слишком элегантная кухня. Дальше — под открытым небом — умывальники и туалеты. В стороне, окруженный деревьями, стоял старый усадебный особняк, полуотремонтированный, занятый под служебные помещения. Пара комнат была отведена под представительство. К особняку был пристроен довольно уродливый актов зал. Перед особняком, естественным центром лагеря, собрались участники студенческой конференции. Пожилая заведующая деканатом пани Ванда вместе с администратором, паном Франеком, по списку расселяла вновь прибывших по домикам. Ключи выдавал местный начальник лагеря. Студентов было около пятидесяти. Разместившиеся шатались по лагерю, не зная, чем заняться: на первый вечер программы не было. Пани Магда (ассистентка, как и Ярослав, ответственная за организацию) уговаривала устроить вечер знакомства. Однако никто не торопился взяться за реализацию этой идеи. Было уже поздно. Студенты съехались из разных вузов и друг друга не знали. Небольшая группа активистов была занята чем-то своим. Они сидели в пустой комнате и что-то вполголоса обсуждали, следя за тем, чтобы кто-нибудь их не подслушал.

Заметив проходившего мимо Ярослава, который на ходу пытался надеть рубашку, студенты окликнули его:

— Пан магистр, мы хотели бы знать, как обстоит дело с жюри.

— Как обстоит... — смущенно развел руками Ярослав. — Вы же видели, кто приехал...

— А доцент Маковецкий из Торуня?

— Он что, приехал? — в голосе Ярека прозвучал вызов.

— А его приглашали? — продолжал налегать студент.

— Кто приглашал? — отбил вопрос Ярек. — Научный совет или институт?

— Пан магистр, вы же сами знаете, мы предлагали его кандидатуру. Но приглашения рассылал деканат, и мы не в курсе...

— Ну, подробностей я тоже не знаю. Знаю только, что его должны были пригласить, но, похоже, он не смог приехать. Я еще проверю.

— А что со мной? — спросил один из студентов, до сего времени державшийся в стороне. Он кивнул назад, как бы указывая на рюкзак за спиной, и добавил: — Если отказ, то я собираю манатки и еще успею на автобус.

Студенты настороженно смотрели на Ярослава.

— Разрешите... — Ярослав отвел его в сторону, чтобы другие не слышали их разговор. — Пан Конрад, вы же сами виноваты. Я проверил дату на конверте. Ваша работа опоздала на один день.

— Так что ты мне баки забиваешь? — взорвался Конрад. — У меня автобус уйдет.

— Подождите, — терпеливо прервал его Ярослав. — Мне кажется, что все еще удастся уладить. Как бы там ни было, вам следует подождать, пока все соберутся. Один я решить не могу. То есть, что касается меня лично, то я «за», но... не уверен, что этого достаточно...

Ярослав был ненамного старше Конрада и откровенным признанием в собственной беспомощности, обезоружил студента. Конрад кивнул и примирительно сказал:

— Так вы дадите мне знать? Я жду. Хорошо?

— Это только завтра утром, сегодня мы уже не соберемся.

Один из группы студентов услышал последние слова.

— Вы сегодня не соберетесь?

— Похоже, что нет.

— Это плохо, — сказал студент с ноткой угрозы в голосе. — Мы решили не принимать участие в конкурсе, если состав жюри не изменится.

— И как это будет выглядеть?

— Очень просто — завтра разъедемся.

— Вы считаете, что причина достаточно весома? Ведь речь идет только об одном человеке.

— Нет, речь идет о принципах. Если жюри останется таким, как сейчас, то преимущество будет иметь работы одной школы, другим попросту не на что рассчитывать. Разве не так?

Ярослав задумался.

— Не знаю. Я могу отвечать только за себя.

— Один голос, — сказал студент. — К тому же, несколько не умаляя ваших достоинств, следует признать, что вы не пользуетесь особым авторитетом.

Ярослав, смущенный, кивнул в знак согласия.

— Так что будем делать? — спросил он. — Я могу проверить, было ли отправлено приглашение в Торунь. Но если, несмотря на это, от них никто не приехал...

— Это невозможно, — сказал студент. — Проректор воюет с Торуньским университетом...

— Может, стоит кого-нибудь кооптировать на это место,— задумчиво произнес Ярослав.— Я, к сожалению, человек новый, не очень-то знаю людей...

— Мы знаем,— студенты вновь обрели уверенность.— И потому решили распустить конференцию.

— Вы советовались с кем-нибудь?

— Нет, вы первый. Пока мы обговорили это между собой. Краков — «за», Варшава тоже, Познань... Это не шутки.

— Хорошо. Устроим встречу,— сказал Ярек.

— Сегодня?

Ярек посмотрел на часы.

— Нет. Уже поздно, и еще не все приехали. Завтра после завтрака.

Ярослав простился со студентами и вышел во двор, который уже опустел. В открытом окне первого этажа он увидел ассистентку Анну, она держала на руках пронзительно кричащего младенца. Юзеф, муж Ани, навис над ребенком, безуспешно пытаюсь его успокоить.

— Когда приехали? — спросил Ярек.— Я вас не видел.

— Последним автобусом. Малыш что-то капризничает. Не дай бог, простудился... — озабоченно сказал Юзеф.

— Слушайте, возникают проблемы. Вы не знаете, этот доцент из Торуня был приглашен в жюри?

— Понятия не имею,— ответил Юзеф.— А в чем дело?

— Не был,— вмешалась Аня.— Проректор его вычеркнул, я сама видела...

Ярослав аж скривился от огорчения.

— А что, приехал без приглашения? — предположила Аня.

— Хуже,— вздохнул Ярек.— И просто не знаю, что делать...

Ребенок зашелся в плаче и заглушил его слова.

Якуб жил в отдельном домике по соседству с кухней. Прежде чем его найти, Ярослав обошел несколько домиков, на которых еще не были вывешены таблички с фамилиями студентов. Никто не вышел на стук. Студенты собрались на теннисном корте и продолжали совещаться уже при свете лампочек.

Ярослав наконец обнаружил домик Якуба и постучался.

— Пан доцент...

— Слушаю вас.

— Я могу войти?

— А зачем?

— У меня срочное дело.

— Что значит срочное? Ничего срочного нет. Я сплю.

— Но это важно.

— Если важно, тем более нужно выспаться.

Утро вечера мудренее. Если не пожар, то завтра поговорим...

Ярослав в растерянности ушел. Подойти к студентам он не решился, был взволнован и не знал, как взять себя в руки. Он прошел в главное здание, заглянул в комнату отдыха, откуда доносились звуки фортепиано. Один из студентов импровизировал на какую-то классическую тему. В углу сидела Нелли.

— Что вы играете? — спросил Ярослав.

— Не знаю. А разве это важно?

— Что же вы не пошли на собрание? Студент пожал плечами.

— А зачем? Они примут решение и без меня.

— Зигмунд is out of game¹, — сказала Нелли.— Не понимаю, чего они хотят.

— Вы тоже не понимаете? — спросил Ярослав студента.

— Понимаю, но я из принципа в это не вмешиваюсь.

— Могу вам только позавидовать,— иронично усмехнулся Ярослав и взглянул на Нелли, которая пыталась импровизировать какой-то танец. Она неожиданно смутилась, рассмеялась и вышла.

— Иду спать,— сказала она на прощанье. Ярослав решил сделать то же самое.

Утром весь лагерь собрался около умывальников. Часть стоков была забита, грязная вода лилась на ноги умывающихся. Возникли очереди.

В туалете Ярек встретил Якуба.

— Как спалось?

— Превосходно.

Вид у обоих был растерянный; мимо них из туалета и в туалет сновали студенты, на ходу смущенно кивая.

— Не знаю, что говорит об этом *savoir-vivre*², — прокомментировал положение Ярослав.

— Джентльмен никогда не мочится,— сентенциозно ответил Якуб.— У вас есть еще проблемы?

— Именно. Мне бы хотелось обменяться с вами парой слов в сторонке... — И они направились к домикам.

Проходивший мимо пан Франек, увидев, что они возвращаются из общей умывальни, поспешил проинформировать:

— Для профессорско-преподавательского состава ванная в особняке. Я договорился, что ключ будет у меня...

— Так в чем дело? — спросил Ярека Якуб.

— Видите ли, вчера я разговаривал со студентами — они возмущены, что в жюри нет представителей Торуня и других универ-

¹ Вне игры. (англ.)

² Правила хорошего тона. (франц.)

ситетов. Оказывается, проректор вычеркнул приглашения...

— Они об этом не знают? — полуутвердительно спросил Якуб.

Ярослав внимательно посмотрел на него.
— Но это правда.

Якуб пренебрежительно махнул рукой.

— Так, значит, бунтуют?

Ярослав кивнул.

— Более того, похоже, они правы...

Якуб пожал плечами.

— Не будем сейчас говорить о правах. Кто там больше всех скандалит?

— Я должен назвать фамилии? — с возмущением спросил Ярослав.

— Ну а как же? Пришлите мне их после завтрака.

Ярослав слушал доцента с изумлением. Якуб не выдержал:

— А что делать? Отменять конференцию?

— Ваше дело, — ответил Ярек.

— И ваше тоже. Вы что себе думаете?

Что тут будет маленький сеймик, анархия?..

— Нет, но поступили нечестно.

— Почему вы использовали неопределенно-личную форму? Кто поступил?

— Шеф.

— Вот именно. Позвоните шефу и спросите его, почему он так сделал.

— Может, и стоит...

— И вы позвоните?

— Позвоню! — с вызовом воскликнул Ярек.

Якуб с симпатией улыбнулся.

— Его все равно нет дома. Вот завтра придет, вы и спросите. А пока придется делать хорошую мину при плохой игре. Ведь вы не хотите, чтобы сейчас все это пошло насмарку? Усилия столько людей? Доклады, организация? В конце концов, средства, хотя это и не самое главное...

— А может, принцип не менее важен? Вы что-то говорили вчера на эту тему, — сыронизировал Ярослав.

— Вот-вот. Да, кстати, а что вы решили делать с этим опоздавшим?

— Если это действительно зависит от меня, то я допускаю эту работу.

— Сами будете отвечать?

— Перед кем?

— Не знаю... Перед шефом.

— Ну... если вы даете мне право решить... Ведь вы научный руководитель...

— Согласен. Но вы полностью берете это на себя и сами будете объясняться...

— А что за этим стоит?

Якуб загадочно улыбнулся.

— Ну, наверное, вы догадываетесь. Кто руководитель у этого парнишки?

Ярек вышел из себя:

— Не знаю и знать не хочу! Я принял решение — работа допущена, и меня не интересует все, что вокруг...

— В данной ситуации принять решение,

зная все, — большая доблесть, — с легкой иронией сказал Якуб. — Пришлите ко мне этот молодняк после завтрака, а вдесять открываем конференцию.

— Вы так уверены в успехе? — с удивлением спросил Ярослав.

— Конечно. Знаете, как с ними бывает? Нужно только найти зачинщика — и остальные заткнутся в мгновение ока.

— Да-а, вы о них не шибко-то хорошего мнения, — сказал Ярек, кивнув на студентов.

— Что касается этих людей, то они уже точно такие же конформисты, как, с позволения сказать, вы и я...

— Жаль, что вы говорите не от своего имени.

— Это почему же? — оживился Якуб. — Ведь вы же ничего не хотите знать, а вся ваша карьера в руках пана проректора...

— А я думал, что прежде всего — в моих собственных, — строптиво ответил Ярослав.

— Мы еще к этому вернемся, — сказал Якуб с улыбкой. — А пока пришлите их ко мне и позаботьтесь, чтобы к десяти зал был готов. Похоже, что понадобятся диапроектор и магнитофон. Они любят всякие такие штучки, чтобы казалось, что за этим что-то есть...

Около столовой собрались все участники конференции. Беспокойный шум, взволнованные голоса утихли, как только на аллее появился Якуб. Студенты молча преградили ему дорогу. Некоторое время длилось молчаливое противостояние. Якуб с удивлением рассматривал тех, кто стоял впереди. Тут из-за его спины кто-то выкрикнул:

— Мы хотим поговорить!

— Собrania, хотим собрания! — подхватили остальные, перебивая друг друга. — Хотим поговорить!

— Я уже сказал, — громко заявил Якуб, — поговорим после завтрака и с делегацией. Магистр Крушевский вам сообщил...

Шум усилился.

— Мы хотим все и сейчас!

— Все мы пойдем сейчас на завтрак, — раздельно произнес Якуб и стал протискиваться ко входу.

Студенты застыли в нерешительности.

— Не пустим! — крикнула Нелли. — Sit down, all sit down!¹

Толпа колыхнулась и откатилась к террасе — студенты вплотную друг к другу сели на ступени, взявшись за руки. Они сами не ожидали от своего маневра такого эффекта: пройти было невозможно. Смеялись... но при этом неуверенно поглядывали на доцента.

— Хотите так сидеть? — спросил он.

— Да! — ответили они хором.

¹ Садитесь, все садитесь! (англ.)

Все это напоминало детскую забаву. Якуб улынулся.

— Каменные ступени очень холодные. Можно простудиться! Но, как хотите. Пожалуйста. Я пройду через кухню.

Он повернулся и сделал несколько шагов, но студенты тут же сорвались с места и с криками снова его окружили.

— Если так, то мы распускаем лагерь...

— Кто это сказал? — Якуб резко обернулся. — Это вы распускаете? — указал он пальцем на одного из студентов.

— Все, — неуверенно ответил тот.

— Но это вы сказали. Ваша фамилия Глушица? Вы, кажется, на четвертом курсе и хотели остаться в институте...

— Это удар ниже пояса, — крикнул кто-то из-за спины Якуба.

— Я вас не спрашиваю, — сказал Якуб не оборачиваясь.

— Мы хотели поговорить, — примирительным тоном сказал студент Глушица.

— Я уже сказал, — отрезал Якуб, — после завтрака и с делегацией. С вами, — указал он на Глушицу. — А также с вами, с вами и с вами.

Студенты, ошарашенные таким поворотом, молча расступились. Якуб направился в столовую. Вслед ему кто-то крикнул:

— Делегацию следует выбирать, а не назначать!

Якуб медленно обернулся и посмотрел в глаза собравшимся. Выдержал небольшую паузу и с обезоруживающей простотой сказал:

— Ну так и выберите тех, кого я назначил, — так будет проще.

Вопреки ожиданиям Ярослава, еще до десяти студенты начали собираться около особняка. Якуб в сопровождении группы активистов пришел несколько позже, все они были в отличном настроении. Было видно, что с Якубом у них установились вполне дружеские отношения. Начали занимать места. Зал быстро наполнился до отказа. Впереди были установлены трибуны с микрофоном и стол для жюри, за которым восседали пани Магда, Юзеф, бледный внештатный доцент и пани Зофья, подающая надежды старая дева, имеющая уже степень адъюнкта. Якуб устроился несколько сбоку, Ярослав — с противоположной стороны стола.

Приступили к чтению докладов. На каждое выступление отводилось не более десяти минут. Первая докладчица, явно зубрила, торопливо щебетала:

— ...Речь пойдет о возрождении понятия синтаксического оборота. С этой целью будут проанализированы так называемые дополнительные факторы, обуславливающие

синтаксические единицы, качественно наиболее близкие требуемому произведению...

Работа не заинтересовала Якуба, и он перестал слушать. Сидел вполоборота к залу, сосредоточив внимание на аквариуме, в котором среди буйных водорослей плавало множество маленьких рыбок.

— ...«Глупый медведь, если б в улье сидел...» Или: «Дорогая Зося, ты совсем забываешь о моем состоянии и возрасте...» — продолжала студентка. — Обороты «глупый медведь» и «дорогая Зося» выражают отношение говорящего к адресату, а следовательно, представляют собой законченную мысль.

Якуб тоскливо зевнул.

Вторым выступал Зигмунд. Он прибегнул к помощи магнитофона, предложив собравшимся прослушать запись, содержащую фрагменты разговоров людей, перенесших неврологические заболевания, в результате которых у них произошло нарушение речи. Комментарий автора касался фонетического, морфологического, синтаксического и семантического единства речи больного. Зигмунд с холодной точностью комментировал записи в плане их практического применения: анализируя деформацию речевых структур, можно сделать вывод о состоянии самого неврологического заболевания.

Во время обсуждения пани Зофья постаралась принизить значение этой работы.

— В принципе, это всего лишь набросок проблемы, давно освещенной в литературе. Таким образом, работа не оригинальна, а к тому же носит слишком общий характер.

Студенты, возмущенные столь неконкретными нападками, недовольно загудели, но пани Зофья, не обращая ни на кого внимания, продолжала в том же духе.

За ее спиной Якуб с многозначительной миной переглянулся с доцентом. Ярек вопросительно посмотрел на обоих. Доцент шепнул ему на ухо:

— Она говорит из протокола. Ее руководитель не выносит прикладных работ.

За обедом Ярослав обратил внимание, что вчерашние представители молодежи избегают его взгляда. Он подошел к Якубу и спросил:

— Из чистого любопытства: как вам удалось все это уладить?

— Очень просто, — ответил Якуб. — Кого нужно — припугнул, кому нужно — польстил, призвал к чувству ответственности — и они замолчали.

— А по поводу доцента из Торуня?

— Сказал, что он сам не приехал.

— То есть солгали.

— Дорогой коллега! — Якуб глубоко вздохнул. — Вы когда-нибудь задумывались, как бы выглядела наша жизнь без обмана? Сплошная мука. Ежедневно, с самого утра вам бы кто-нибудь говорил, что у вас на носу вскочил прыщик, мне — что у меня большой живот, а тем временем я каждый день с удовольствием слышу, что похудел, хотя толстею. Ложь — это только оболочка, а внутри — факты, и только они имеют значение. Но я вас прервал...

— Нет.

— Вам, как мне кажется, хотелось немного поморализировать, не так ли?

— Нет.

— Разве вам не хочется продемонстрировать передо мной свое моральное превосходство? — удивился Якуб. — Ну, если я ошибаюсь, то извините. Когда выступает ваш подопечный?

— В конце.

— Могу предсказать вам расклад голосов. «За» — не будет никого.

— Но ведь вы не знакомы с этой работой!

— Неважно. Доцент будет резко против. Пан Юзеф, видимо, говорить не будет. Пани Зофья сделала вид, что не поняла, о чем идет речь. Пани Магда действительно ничего не поймет. А студенты будут, скорее всего, «за» — из духа противоречия.

— То, что вы говорите, печально. Следовательно, сама работа уже ничего не значит...

— Почему же? Значит, но только в контексте. Важно не только то, что говорится, но также кто говорит и где говорит.

И они направились к главному зданию. Началось послеобеденное заседание.

Уже смеркалось, когда слово предоставили Конраду. Он был взволнован, так как пани Зофья усомнилась в его праве участвовать в конкурсе и только после поспешных объяснений поняла, что он допущен. Якуб, который сидел теперь рядом с Яреком, написал на бумажке: «1:0».

Конрад подошел к проектору.

Условно говоря, суть его работы состояла в отыскании смысла фонетических знаков незнакомого языка. В качестве примера он выбрал японский. Показывая на экране запись звуков, называл пары слов польски и по-японски и спрашивал собравшихся, какое слово какому, по их мнению, соответствует.

— «Быстрый» — «хаяй». «Медленный» — «осой».

Поднимая руки, присутствующие пытались угадать, соответствуют ли эти слова друг другу.

— «Сладкий» — «карай». «Горький» — «амай».

На сей раз большинство считало, что «амай» ассоциируется со «сладким». Никто в зале не знал японского. Конрад начал показывать на экране идеограммы и спрашивать о их значении. Пани Магда поднялась из-за стола, решив спастись бегством: ведь ей предстояло решать, имеет ли данный эксперимент смысл. Пан Франек подал ей из зала ключ от ванной для преподавателей. «2:0» — записал Якуб, он явно развлекался.

Когда докладчик закончил, первым, как и ожидалось, взял слово внештатный доцент.

— Думаю, что в свете нашей философии знак очень условно связывается с понятием, так что позиция автора кажется мне нелепой, ее корни — в чуждых нашему мировоззрению нативистических взглядах. Не знаю, где коллега отыскал источники вдохновения для этих экспериментов, но думаю, что далеко отсюда.

В зале воцарилась тишина. Юзеф попытался снять напряжение.

— Но в этом есть определенная оригинальность, — сказал он.

— И автор вложил в свою работу много труда, — поддержала его жена.

— А остальное оценит завтра жюри, — подвел итоги Якуб, поскольку никто больше слова не просил.

— А заседание жюри будет открытым? — наивно спросила одна из студенток.

— А вы как думаете? — с лукавой усмешкой спросил Якуб.

В столовой было душно. Измученные долгим пребыванием в запертом помещении, участники конференции вынесли столики на воздух. Охрипшая уборщица аж дрожала от гнева:

— А кто это будет убирать, я вас спрашиваю?! Мне за это не платят! Не позволю!

Попутно досталось даже пани Зофье и внештатному доценту. Якуб с восхищением смотрел на разъяренную девушку.

— Она замечательна, когда злится.

Заведующая деканатом вызвала на помощь начальника лагеря. Наблюдая за строптивыми студентами, внештатный доцент заметил:

— Они всегда солидарны, когда делают что-то наперекор. Хотелось бы увидеть, как в таком согласии они совершают что-то позитивное.

— Например? — деловито спросил Ярек.

Доцент был из другого вуза и на каждом шагу старался подчеркнуть свою принципиальность.

— Ну, не знаю... Могу поспорить, что если выступить с призывом привести в порядок парк или, к примеру, корты, то охотников не найдется.

— А вы играете в теннис? — спросил Ярослав.

— Я — нет, а вот пан проректор иногда играет.

— Так, может, вы этим и займетесь? — язвительно сказал Ярослав. — Вам несомненно кто-нибудь поможет...

Из столовой раздался крик, и тут же на улицу выбежали перепуганные девушки во главе с Нелли. По залу бегал кот с мышкой в зубах. Мышь была еще жива, и девушки визжали от страха.

— А убитую свинку вы бы ели с удовольствием? — спросил их Якуб.

Уборщица прогнала кота.

Юзеф и Аня готовили на кухне какую-то еду для своего младенца.

Пани Зофья шипела:

— Ну разве это не злоупотребление? В конце концов, мы здесь не на отдыхе. Я всю ночь не спала — так плакал ребенок.

— А пан доцент приехал с собакой, — заметил Якуб, — но никто его не упрекает... Собака тоже лает.

— Только по команде, — сказал доцент. Его боксер неподвижно сидел под столом. За каждое непослушание он получал ремнем и с возрастом научился покорности.

— Вы придете на бридж? — спросил Ярослава пан Франек. — Мы хотим кое-что организовать сегодня вечером.

Ярослав смутился. Он устал от общества старших коллег. Перспектива провести вечер в том же самом кругу казалась ему невыносимой — с другой стороны, он не хотел быть неучтивым.

— А вы идете? — спросил он Якуба.

— Разумеется.

В Ярославе проснулся дух противоречия.

— Пожалуй, пойду спать. Голова разболелась от этого сидения взаперти.

Он открыл окно у себя в домике и прислушался к звукам, доносившимся из леса. В лагере кто-то играл на гитаре, студенты развели у воды костер. Ярослав пошел к ним. С удивлением он услышал, что песня звучит на чужом языке.

— Тут рядом какой-то кемпинг для иностранцев, — объяснил Яреку один из студентов.

Ребята пытались заговорить с иностранцем.

— English?

— No, Italiano.

— Ques que vous faites en Pologne?¹

Нелли держалась в стороне. Иностранец лишил ее исключительного права представлять за границу.

— Я слышала, что у вас больная голова, — сказала она Яреку.

Он рассмеялся.

— Верно. То есть она у меня болит.

— Очень?

— Достаточно.

— А вы приняли лекарство?

— Принял.

— И все равно болит?

— Болит.

— Ну так у меня есть способ, — сказала она вставая. Ярек послушно поднялся за ней. — Вы где живете?

Ярек кивнул на свой домик.

— Я сделаю массаж. Я умею. И все пройдет.

Они вошли в домик.

— Ложись, — сказала она. — То есть, прилягте, пожалуйста, и расстегните рубашку. Вообще снять.

Она путалась в формах «вы» и «ты». Ярослав, не уверенный в ее намерениях, предложил перейти на «ты».

— Мне не нравится, — сказала Нелли, — что здесь делается столько различий. Если должно быть равноправие, то зачем эти титулы: пан магистр, пан доктор, пан начальник? У нас проще: «you»², и все.

— Разве «you» удобней? — спросил Ярослав.

Девушка серьезно принялась за массаж. Она склонилась над Яреком и легкими движениями гладила ему шею и голову.

— Теперь нужно расслабиться, — сказала она. — Ни о чем не думай. Расслабься...

— Не могу ни о чем, — сказал Ярек спустя некоторое время. И когда она склонилась над ним, он нежно обнял ее. Она позволила себя поцеловать.

— Но я ничего не имела в виду, — сказала она.

Они рассмеялись.

— Больше не болит?

— Нет.

— А до этого болело?

— Болело. Уже прошло. Спасибо, — сказал Ярослав.

— Жаль, что у тебя не было с нами занятий, — сказала Нелли.

— Жаль.

— Потому что я тебя заметила.

— Я тебя тоже.

Они снова рассмеялись, и он еще раз поцеловал ее. Но когда сделал более смелое движение, она сказала:

— Сегодня я не могу...

Он проводил ее. На прощанье они поцеловались.

Рассвет был красив. Якуб вышел к озеру и остановился около муравейника. Процесс обработки мертвой птицы завершился. Почти

¹ — Что вы делаете в Польше? (франц.)

² Ты. (англ.)

весь скелет уже был очищен от мяса. Над озером кружились стаи птиц. Их спугнул боксер доцента. Якуб решил понаблюдать за собакой, но, идя следом за ней вдоль зарослей камыша, наткнулся на группу обнаженных студентов и студенток, принимавших в озере утреннюю ванну. Появление Якуба привело их в замешательство. Часть студентов с криком разбежались, но несколько человек оказались неподалеку от доцента.

— Это студенческий лагерь или пляж nudистов? — спросил Якуб сурово.

— No carisco¹, — спокойно ответил один из итальянцев, провожая свою партнершу с охапкой камышей в руках.

— Я вас спрашиваю, — обратился Якуб к студентам.

— Пан доцент, но вы же сами видели, что с водой здесь проблема, — смиренно ответил один из них.

— Это не повод, чтобы развращать здесь малолетних, — сказал Якуб. — Если это повторится — соберу дисциплинарную комиссию...

— Извините, но кого мы развращаем? — строптиво спросила студентка.

— Немедленно одевайтесь! — крикнул Якуб.

После завтрака студенты по поручению администратора занялись очисткой кортов от сорняков. Преподавательский состав собрался в одной из комнат особняка, чтобы обсудить распределение наград.

Якуб, не слишком интересующийся ходом событий, устроился в сторонке. Первый вопрос задала пани Зофья:

— Мы будем выбирать председателя?

— Или председательницу, — вставила пани Магда.

— Ну, тогда вас, — резанул внештатный доцент.

— Нет-нет, это я так сказала... чтобы были равные права. Само слово «председатель» предполагает мужчину.

— А как вы скажете «спортсмен» о женщине?

— Спортсменка.

— Мен-ка.

— Спортсмен, спортсменка. Ну, так кто будет вести совещание?

— Только он председатель. Председатель всегда имеет решающий голос.

— Это зависит от нас, будет он иметь его или нет. Можно договориться, например, что у него два голоса.

— А если голоса разделятся поровну?

— Поровну быть не может. Нас нечетное число.

— А если кто-нибудь воздержится?

— Ну так что будем делать?

Взоры всех обратились на Якуба.

— Пан доцент, вы не могли бы взять на себя обязанности председателя?

— Нет, ни в коем случае. У меня самого лишь совещательный голос.

— Но почему?

— Дело в том, что этих людей, во всяком случае большинство из них, я оцениваю ежедневно. Но я могу дать вам совет. Вместо председателя вы можете выбрать секретаря-координатора. Это может быть кто-нибудь помоложе, например...

— Пан Ярек, — подсказала пани Зофья. Остальные ее поддержали. Якуб смотрел на Ярека с шельмовской улыбкой.

После совещания Ярек догнал на террасе Якуба и отвел его в сторону.

— Почему же вы ничего не сказали? Ведь вы одним словом могли решить исход дела. Вы же видели, как они смотрели на вас.

— И что из того?

— Но ведь главный приз получает посредственность. Вы согласны?

— И да и нет.

— Ну нет. Не делайте из меня дурака. Разве то, что происходит, справедливо?

— А что такое справедливость? Вы заметили, что справедливость как понятие выступает в очень немногих дисциплинах? Никто не говорит о справедливости в естественных науках, в самой природе...

— Теперь будем говорить о природе? — резко оборвал Якуба Ярек.

— Я порой задумываюсь, и откуда это у всех исправителей мира такой прокурорский тон? Это восходит прямо к инквизиции, ну а если взять не столь отдаленные времена, то, возможно, и к гестапо.

— А теперь поговорим о тоне?

— Я думал, что вы обидитесь за «исправителя мира» или хотя бы уж за «гестапо»!

— Вы не хотите говорить серьезно?

— Нет.

— Я не заслуживаю или вы не чувствуете себя в силах?

— Ни то ни другое.

— В таком случае, что?

— Душно сегодня. Большая влажность.

— Понятно, — сказал Ярек, собираясь уйти.

— Вам понятно, — придержал его Якуб, — что как секретарь жюри должны будете обо всем сообщить проктору?

— Разумеется.

— Но это не так просто. Шеф не будет в восторге.

— Ничего не поделаешь.

— А вы расскажете, как голосовали сами?

— Конечно.

— Тут вы правы. Все равно бы ему кто-

¹ — Не понял. (итал.)

нибуть сообщил. Вы сделаете вид, что ничего не знали?

— Чего не знал?

— Что шеф не одобряет это направление исследований. Вы так спрашиваете, словно любой ценой хотите сойти за наивного мальчика. Вы разве не знаете, что шеф думает о Торуне?

— Но ведь работа была неплохой. Мы что, во всем должны потакать вкусам шефа?

— О! Первый серьезный вопрос! Разумеется, каждый волен в чем-то с ним не соглашаться. В зависимости от занимаемого положения. Мне, к примеру, позволено больше, чем вам. И потому, когда явится шеф, я бы не хотел оказаться в вашей шкуре. Вы уже подписали трудовое соглашение?

— Временное. С осени должен подписать на год.

— А вы уже служили в армии?

Ярек кивнул.

— Вот видите, у тех ребят дело обстоит лучше. Ту, что получила главный приз, шеф возьмет себе. Если бы это был парень, то он, быть может, даже освободил бы его от армии. А так — возможность не будет использована.

— Но вы ничего не говорите о той работе, из-за которой у меня могут быть неприятности. Я считаю, что с ней обошлись несправедливо.

— Вы и так многого добились...

— Я был убежден в ее достоинствах.

— Это вам теперь так кажется. Вы боролись во имя справедливости. А содержание работы вас так же мало волнует, как и меня... Вы верите в эти ассоциации? Я случайно немного знаю японский: «яма» по-японски означает «гора», а по-польски «дыра». Все это скорее всего чепуха. Но вы поступили благородно, хотя и неразумно.

— А вы?

Якуб улыбнулся.

— *Video meliora, proboque, deteriora sequor*¹.

— Вы хотите сказать, что поступили плохо, но сознательно. Можно спросить: это от высокомерия или от бесхарактерности?

— Смело! — резко заметил Якуб.

— Возможно!

— Но я вам отвечу. Надеюсь, вы заслуживаете моего откровения. Я поступаю плохо, потому что мне так удобно.

Якуб вызывающе посмотрел на Ярека.

— Теперь вы должны заметить, что я циник, — добавил он после паузы.

— Это очевидно!

— Bravo. Избегаем банальностей. А теперь я вас спрошу: а что в этом плохого?

— Для кого? Для вас или для других?

¹ Я вижу лучшее и одобряю его, однако следую за худшим. (лат.)

— Скажем, для меня. Поскольку из предыдущего утверждения следует, что о других я не забочусь.

— Теряете кое-что, — сказал Ярек.

— Что? Говорите точнее...

— Вы несерьезно настроены, — понял наконец Ярек. — Подобные споры вы вели сотни раз. Софистика.

— Ну и кто теперь отказывается от серьезного разговора? Роли поменялись, — рассмеялся Якуб. — Но я охотно вернусь к этой теме. А пока — не упустите проректора. Всегда лучше оказаться первым среди встречающихся.

Проректор приехал на черной «Волге» с шофером. Он привез с собой жену и ребенка, а также представителя местных властей. Представитель был одет по-парадному и напыщен, жена смущалась и немного робела, ребенок вел себя безобразно. А сам проректор сочетал в себе чисто крестьянское здоровье и силу со снобизмом сановного человека, прикрываемым вежливостью. Он пожал руку всем встречавшим — и это было похоже на церемонию, — велел водителю вынести багаж, между делом спросил, как идут дела, похвалил за погоду и красоты природы. Жена, сопровождаемая заведующей деканатом, отправилась в отведенную им комнату.

Тут неожиданно выяснилось, что кто-то выломал замок в двери ванной для преподавателей.

— Это наверняка кто-то из студентов, — решил распорядитель, пан Франек. — Можно даже установить, кто именно...

Проректор, сопровождаемый сотрудниками, по-хозяйски обошел лагерь, добродушно поприветствовал студентов, обнялся с Якубом, нетерпеливо выслушал льстивые комплименты пани Зоси, пока, наконец, Ярослав не улучил момент, чтобы представить свой отчет.

— Мы уже всё обсудили...

— Ну и как? — спросил проректор.

— Общий уровень неплохой... Призы распределены, но были большие разногласия... — Ярослав показал решение жюри, уже отпечатанное на машинке. — Что касается меня...

Проректор оторвался от чтения и внимательно посмотрел на Ярослава.

— ...то я был против работы, получившей главный приз.

— Реховяк? — заглянул в список проректор. — Я ее знаю. Ничего особенного.

— Алмазович выглядел гораздо лучше, — добавил Ярослав.

Проректор ждал продолжения.

— Кроме того, я голосовал за Рачика. Это студент из Торуня... Он получил диплом. Были проблемы с допуском его работы на

конкурс, но это я взял на себя...

Ярослав напрасно пытался что-то прочесть по лицу проректора.

— А кто еще был не из нашего университета?

— Из студентов?

— Нет, из специалистов.

— Доцент Цишевский из Вроцлава и адъюнкт, пани Зося. Вы ее видели...

— Дайте посмотреть мне эти работы, чтобы быть в курсе, чем они там занимаются, — энергично сказал проректор, похлопав Ярослава по плечу. — Ну что ж, вы — молодец. Я тут говорил о вас. Намечаются перспективы на зарубежную поездку... За обедом мы еще поговорим об этом.

Ярослав, облегченно вздохнув, расстался с проректором и с чувством необыкновенного облегчения направился к лесу. Он не мог преодолеть искушения, чтобы не отыскать Якуба.

— Порядок! — торжествующе произнес он при виде доцента.

Якуб оживился.

— Ничего не сказал?

— Нет.

Якуб на мгновение задумался.

— Быть может, это ему на руку — чтобы тот, из Вроцлава, все это услышал. Ведь они вместе подкапываются под Торунь.

Ярослав брезгливо скривился.

— Может, это и правда, — сказал он. — Только почему мы должны во всем этом копаться? Неужели нельзя принимать все так, как оно есть, без подтекста? В конце концов, какое мне дело до того, что думает о Торуне проректор?

— Нехорошо, — сказал Якуб. — Вот вы уже и на распутье. Скоро вы начнете лгать и обманывать самого себя. А это, уже без софистики, вредно для здоровья. Любой врач вам скажет: отсюда все инфаркты, язвы...

— Извините, — возразил Ярослав, — но я вовсе не обязан лгать. Меня интересуют сравнительные структуры, я хочу заниматься проблемами, лежащими на стыке лингвистики и информатики, искусственным языком и так далее... Неужели при этом я еще должен вникать в маневры пана проректора?

— Разумеется, — ответил Якуб. — Иначе вы никогда не дойдете до этих своих искусственных языков, а приземлитесь в школе и будете учить школьников польскому языку. Вы кончали польское отделение?

— Нет, английское.

— Ну, тогда английскому. Какая разница? И вы не так уж молоды, чтобы этого не знать. Просто вы настолько лицемерны, что не хотите признаться...

Ярослав снова возразил:

— Ну уж извините, я хожу по земле и знаю, в каком мире живу. Но всему существует какой-то предел. Я не обязан сидеть

во всем этом... К тому же, я за это не отвечаю.

— За голод в Индии вы не отвечаете, — согласился Якуб. — За характер шефа — тоже, поскольку у вас нет выбора. Никто другой в Польше не предоставит вам таких возможностей. Но нужно дать себе отчет в том, что это не так уж чисто и честно.

— Почему?

— Потому что, к примеру, ваш шеф — мерзавец. Он многих прикончил, пользуясь самыми грязными методами, по благу стал профессором, да и сейчас продолжает «топить» неугодных. А вы станете его питомцем. Во имя искусственных языков и личной карьеры.

— Ваши обвинения голословны.

— Конечно. Но вы ведь не хотите об этом даже задумываться.

— Не знаю. Шеф, конечно, не святой, но так плохо о нем никто не говорит.

— С вами! Ведь вы — его человек.

— Так что? Я должен возбудить следствие по этому делу? Не я сделал его профессором...

— Верно. Для этого существуют другие люди, которые обязаны заботиться о чистоте профессорско-преподавательского состава. И они заботятся. Но порой ошибаются. К примеру, проректор списал всю свою диссертацию, но так уж сложилось, что этого никто не узнал.

— А вы знаете?

— Знаю. А теперь знаете и вы. Кстати, вы еще можете в этом убедиться, прежде чем подпишете контракт. Оригинал находится в Оссолинеуме. Фамилия автора — Курек. Он поехал за границу и не вернулся, а проректор воспользовался этим.

— И не уничтожил оригинал?

— Зачем? Кто посмеет его тронуть. Он — человек опасный...

Ярослав пожал плечами. Он был растерян и не мог понять, правду ли говорит доцент или просто сознательно его провоцирует.

— А вы не постели бы? — спросил он, пытаясь задеть Якуба за живое.

— Я вам уже излагал свои принципы, — ответил тот с улыбкой.

— Это было несерьезно.

— Отнюдь. В сущности, очень даже серьезно. Видите ли, я внимательно наблюдаю за природой, а природой правит инстинкт самосохранения, то есть борьба за выживание. Кто выживает — тот и победитель. Кто гибнет — тот был не прав... Не воспринимайте это вульгарно. Люди способны на самопожертвование, быть может, даже в большей степени, чем животные, но это лишь во имя сохранения какой-то общности. Общность создает ощущение ценности, и эти ценности имеют смысл до тех пор, пока они пригодны для выживания. Они укореняются

в нас с детства, проникают в подсознание, они и формируют то, что принято называть совестью. Животное тоже борется, защищая своих детенышей или стадо. Оно может быть верным, неуступчивым, моногамным, альтруистичным. Но тут аналогия заканчивается. Потому что мы, люди, обладаем еще самосознанием и можем, благодаря этому, освободиться от всех этих запретов и наказов... Только так мы можем выжить в постоянно меняющемся мире. Вчерашняя совесть сегодня связывает нас по рукам и ногам. Она сформировалась в других условиях, в другие времена... — Якуб рассмеялся. — Я знаю, что это звучит цинично. Ваш консерватизм бунтует. Но я предлагаю вам освободиться. Признайтесь, что вы на самом деле чувствуете и думаете?

— Вы прямо-таки одержимы желанием меня осчастливить,— саркастично заметил Ярослав.

Якуб почувствовал в его тоне враждебность и холодно ответил:

— Прошу прощения. Это от скуки.

И они разошлись в разные стороны. Ярослав вернулся в лагерь со стороны кортов, где проректор играл в теннис с одним из студентов. В костюмных брюках с подтяжками, кедах, мокрый от пота, он атаковал противника с такой яростью, что казалось, мячики должны разлетаться от его ударов на куски. Студент, играя очень элегантно, в конце концов, проиграл.

Раздался звонок, приглашающий на обед. Для преподавателей и гостей, представляющего местные власти, накрыли в главном здании. Прислуга, обычно грубая и резкая, на сей раз надела чистый передник и старалась быть любезной. Сынишка проректора никак не хотел садиться за стол. Якуб мило забавлялся с ним на глазах родителей, но когда ребенок отошел наконец от стола и оказался вне поля их зрения, то показал ему страшную рожу. Малыш снова расплакался. Его начали успокаивать, затем наказали...

Разговор то и дело перескакивал с темы на тему. Проректор рассказывал армейский анекдот о том, как капрал объяснял, что такое единство времени и пространства.

— Будете копать этот ров вон от того дерева и до обеда,— сказал проректор, и все угодливо рассмеялись.

Жена проректора жаловалась пани Зофье, что им пришлось воспользоваться служебной «Волгой» с шофером, так как неприлично было бы приехать на их маленьком «фиате».

— Что ты болтаешь, женщина! — оборвал ее проректор. — Кому это неприлично?

Жена смутилась и умолкла. Слегка возбужденный алкоголем, Якуб уговаривал

пани Магду что-нибудь спеть, строя за ее спиной многозначительные гримасы. Пани Магда слегка сопротивлялась. Ярослав, сосредоточенный на своем, сидел молча, набираясь решительности. Наконец, с ноткой отчаяния, спросил, как в омут головой:

— Пан профессор, а о чем была ваша диссертация?

Нависла пауза.

— А почему вы спрашиваете? — удивился проректор. — Можете найти ее в библиотеке.

Кто-то наклонился, и для Ярослава осталось неясным, обменялся ли проректор взглядами с Якубом.

За столом нарастал шум. Внештатный доцент хлестал в наказание свою собаку, а женщины просили его быть более снисходительным. Только ребенок развлекался, сидя под столом. Якуб, незаметно для окружающих, посоветовал ему отправиться в ванную, куда минуто назад отчалила пани Зофья. Вскоре из коридора раздался визг, и малыш с плачем вернулся к столу. Якуб добился того, чего хотел. Пани Магда а капелла исполняла хабанеру из «Кармен». Дрожали стекла. Студенты с изумлением заглядывали в окна.

В заключение обеда решили сфотографироваться на память. Все расположились вокруг проректора.

— Пан Ярослав, почему вы так серьезны? Ну же, улыбайтесь! — крикнул Якуб и нажал на спуск.

Расходясь после обеда, все условились собраться через час в актовом зале для оглашения результатов конкурса. Машина отправилась на станцию забрать артистку, которая должна была украсить художественную часть предстоящего торжества.

На корте продолжалась игра в теннис. На сей раз это была международная встреча. Итальянец играл против одной из студенток. Весь лагерь болел за девушку.

Нелли сидела на ступеньках около кухни. Увидев Ярослава, она обрадовалась.

— Я кое-что придумала,— сказала она, показывая ему маленький ошейник с колокольчиком. — У нас так делают, чтобы они не убивали бедных птичек и мышек.

Ярослав помог ей приладить ошейник коту, который при этом яростно сопротивлялся.

— А ему это понравится? — скептически спросил Ярослав.

— Не знаю, но он должен это носить,— ответила Нелли. — Так принято. А ты что делаешь? — спросила она, закончив операцию с котом.

— Я еще немного занят. Кое-какие дела...

Нелли внимательно посмотрела на него.

— Что-то у тебя не так,— сказала она задумчиво. — Ты какой-то грустный. Расска-

жи, в чем дело? Может, я смогу тебе помочь?

Ярослав улынулся.

— Нет,— сказала она.

— Откуда ты знаешь? Объясни мне все, попробуй...

— Это слишком сложно.

Услышав последнее слово, Нелли неожиданно взорвалась:

— Сложно! Что такое «сложно»? What is the matter?¹ Нет, правда, с момента приезда этого человека ты стал таким different, everybody is so different². Все такие нервные, озабоченные. Why?³ Если есть какие-то проблемы, то почему кто-нибудь что-нибудь не скажет? Почему нельзя об этом поговорить?

— Я не знаю... не могу тебе это объяснить, ты, пожалуй, не поймешь.

— Почему не пойму? Потому что я не «сложная»? А вы все любите быть такими complex⁴, такими profound⁵, а я simple⁶, поэтому не понимаю... Может, это и к лучшему.

Ярослав смиренно посмотрел на нее, понимая, что объяснить ей ничего не удастся. Он встал.

— Куда ты идешь? — примирительно спросила Нелли.

— Мне нужно позвонить из кабинета.

— Я пойду с тобой,— сказала девушка, но, заметив, что он колеблется, добавила: — Если не хочешь, то не пойду. У тебя секреты. Я не ревнива...

Об этом Ярослав не подумал и начал так бурно все отрицать, что это казалось уже подозрительным.

Около кухни появился Якуб, который обратился с какой-то просьбой к прислуге. Та, ссылаясь на работу, попыталась от него избавиться, но это ей не удалось.

Ярослав взял у заведующей деканатом ключ от кабинета, закрыл окно и заказал разговор с Вроцлавом, умоляя, чтобы его соединили как можно быстрее.

Тем временем матч на корте закончился, вернее, его прервала пани Зофья, объявив, что через пятнадцать минут начнется торжество.

Студенты разошлись по домикам, чтобы переодеться соответственно мероприятию. Только Нелли демонстративно разгуливала в шортах.

Якуб сразу же после сообщения пани Зофьи отправился искать Ярослава и застал

его в момент разговора с Вроцлавом.

— «Ка»— Кароль, «У»— Уршула, «Эр»— Роман... Ку-рек, — передавал по буквам Ярослав, прикрыв трубку рукой.— Еще раз,— и он вновь повторил сообщение.

Якуб подошел к нему сзади и, положив руку на аппарат, прервал связь.

— Прошу прощения, но не стоит этого делать. Все было не совсем так и не совсем там... Но тест вы выдержали превосходно.

Ярослав гневно взглянул на него.

— Зачем вы это делаете? — спросил он.

— Я ведь тебе говорил — от скуки. От скуки. А по правде,— он вдруг смягчил тон разговора,— потому что в тебе есть нечто, чего мне было бы жаль, если ты утратишь.

— Не слишком ли вы заботливы? — с иронией спросил Ярослав.

— Вы этого заслуживаете, даже несмотря на то, что в данный момент вы мне неприятны. Ну что ж, пошли! — добавил он.— Уже начинается... Я понимаю, что вы сейчас чувствуете себя глупо, поскольку купились на шутку. Я помню, тоже как-то остановился на улице, увидев лежащего человека, а оказалось, что это кукла, специально подброшенная милицией.

— Это вы-то останавливаетесь при виде несчастья? — иронично спросил Ярослав.

— Но ведь мы оба по профессии гуманисты,— Якуб был подозрительно расслаблен и болтлив.— Но экзамен ты выдержал — и перед собой и перед мной и теперь должен на какое-то время успокоиться. Можешь сосредоточиться на этой англичанке...

Ярослав даже покраснел от возмущения, услышав намек на свои личные пристрастия.

— Ловко ты это придумал. Не ты, а тот, другой, который в тебе скрывается и знает, что когда тебя направят на стажировку, то такая невеста в Лондоне...

Ярослав резко остановился.

— Ты можешь, наконец, от меня отцепиться?! — он был взбешен.

Якуб мгновенно сменил тон.

— Ну, извини, извини. Конечно, ты и в мыслях этого не допускаешь. Может, это действительно было несправедливо.

Ярослав ничего не ответил и только ускорил шаг.

Студенты, пользуясь хорошей погодой, в ожидании торжества вольно расположились около главного здания. Почти все принарядились и выглядели по-праздничному, но некоторые — и среди них Конрад — своим неряшливым видом как бы демонстрировали независимость.

Атмосфера была несколько натянутой. Праздник — не праздник? Внутренняя взволнованность и напряженность прикрывались искусственным безразличием — результаты распределения призов еще не вышли за пределы жюри.

¹ В чем дело? (англ.)

² ...другим, все стали другими. (англ.)

³ Почему? (англ.)

⁴ сложными (англ.)

⁵ глубокими (англ.)

⁶ простая (англ.)

В большом зале все еще шла подготовка. Две активистки заканчивали украшать помещение. В центре расположился стол президиума, накрытый зеленым сукном. На стол поставили вазу с цветами и листьями папоротника. В конце зала разместили диапроектор, рядом с ним лежал свернутый экран. Налаживаемая аппаратура вдруг начала пищать.

Пани Магда кокетничала со студентами.

— Ну скажите!

— Не скажу.

— Мы все равно узнаем.

— Вот именно. Немного терпения. Впрочем, сюрпризов не будет. Вы ведь сами знаете, кто чего стоит. У нас не было никаких проблем.

Неподалеку, прислонившись к стене, стоял Конрад. Слушая щебетание пани Магды, он вызывающе громко свистел — несколько человек с удивлением обернулось в его сторону.

— У нас не было никаких проблем, — в дурашливом полупоклоне передразнил он пани Магду и, как бы добавляя своим словам весомость, кивнул головой, после чего икнул и резко крутанулся на пятке.

Несколько в стороне стоял проректор, окруженный свитой, состоявшей из двух местных начальников, администратора, как всегда, по-матерински заботливой пани Ванды и молчаливого внештатного доцента, искося бросавшего на всех подозрительные взгляды. В центре красовалась актриса местного театра, приглашенная выступить в художественной части мероприятия. Недалеко от них, сбившись в тесный кружок, стояли жены и ассистентки. Дети были оставлены дома из опасения, что они могут испортить торжество.

Проректор, увидев приближающихся Ярека и Якуба, взглянул на часы и, несколько поразмыслив, решил, что пора начинать. Взмахом руки он предложил всем окружающим пройти в зал. Сам же не тронулся с места, продолжая дышать свежим воздухом, обсуждая при этом со своей компанией недостатки и достоинства курения, и двинулся лишь тогда, когда в дверях появился Ярослав и знаком показал, что все готово.

У входа проректор и местные начальники задержались, церемонно пропуская друг друга вперед.

— Пан проректор, вы же гость.

— Нет, это вы у нас в гостях...

Члены президиума, к которым присоединилась представительница студентов, заняли свои места на сцене. Когда все уселись и зал притих, проректор, предвзительно дунув в микрофон, тепло и сердечно поприветствовал собравшихся. В ответ на раздавшиеся аплодисменты проректор вдруг тоже нерешительно

поаплодировал, а затем попросил выступить с короткой речью Якуба. Здесь случилось некоторое замешательство: начали передвигать микрофон, кабель оказался слишком коротким, нужно было меняться местами...

Наконец Якуб встал, подошел к краю сцены и без всякого микрофона сердечно сказал:

— Дорогие мои! В такие торжественные минуты мы, как правило, лезем за бумажкой, потому что в голове теснится столько мыслей, что не знаешь, с какой начать. У меня, к сожалению...

Якуб шутовски полез в карман — зал с готовностью разразился смехом. Проректор одобрительно покивал. Напряжение спало — в атмосферу зала влилась задушевность.

— ...никакой бумажки нет... и потому прошу извинить, — продолжал Якуб, — если буду говорить несколько хаотично, но зато от чистого сердца. Дорогие мои! Эта встреча — важный момент в жизни и для нас и для вас. Я вовсе не преувеличиваю. Важный, потому что такие встречи редки, а для многих из вас, быть может, и впервые. Мы собрались не в стенах института, а на лоне природы. Нас не разделяют ни должности, ни научные звания. Мы здесь представляем собой одну сплоченную группу, которую объединяет преданность науке, то есть преданность истине...

Студенты слушали очень внимательно, и в установившейся тишине все услышали, когда Конрад икнул. Якуб зорко оглядел слушающих.

— Не волнуйтесь, я не буду говорить долго. Я знаю, что вы ждете результатов, вам интересно, кто победил. Но помните, что, в отличие от экзаменов, здесь нет проигравших, здесь только победители: и те, которые получили награды, и те, которые их не получили. Потому что все одержали здесь какую-то победу — победу над собой, победу над предметом, над материей. А по-настоящему, только это и важно. Радость от награды пройдет, но радость от такой победы останется...

Конрад был явно не в себе, он вынул из-за пазухи бутылку вина, отхлебнул большой глоток и снова громко икнул. Зал зашумел, но Якуб невозмутимо продолжал:

— Я говорю о победе над собой. И даже сейчас вы являетесь свидетелями, как кто-то в зале отчаянно борется с собой, но будем милосердны к слабостям человеческой физиологии...

Все громко рассмеялись. Якуб снова завладел симпатией зала.

— ...и задумаемся о победе духа, или, вернее, о духе победы, который всех нас наполняет бодростью. А теперь, полагаю, следует попросить магистра Крушевского, который был секретарем жюри, огласить результаты конкурса.

Ярек подошел к микрофону, и, стараясь говорить ровным и спокойным тоном, начал читать:

— Жюри в составе... большинством голосов постановило присудить первый приз Марии Реховяк...

Раздались аплодисменты. Награжденная, скромно потупившись, вышла получать диплом.

Во дворе дети подсаживали друг друга к окнам, чтобы увидеть, что происходит внутри. Жена проректора сняла своего малыша со спины другого. Аня качала прихитшего младенца и, стораая от любопытства, подавала какие-то знаки Юзефу, который сидел в президиуме и, чередуясь с пани Магдой, передавал дипломы для вручения.

Второй приз получил Зигмунд. Зал награждал его бурными аплодисментами, поскольку, по всеобщему мнению, он заслуживал первой награды. Призер воспринял свой успех с высокомерным равнодушием. Затем было объявлено о присуждении третьего приза и диплома Конраду.

— Конрад Рачик,— позвал Ярек, глядя в зал.

— Что такое? — спросил студент.

— Вы удостоены диплома.

Передавая диплом, Юзеф обменялся с проректором многозначительными взглядами. Конрад, покачиваясь, прошел через зал, поднялся на сцену и церемонно поклонился. Несколько человек зааплодировали. Проректор протянул руку, намереваясь поздравить дипломанта. Конрад вытер свою ладонь о штаны и, подавая руку проректору, подался вперед, словно бы подставляя ее для поцелуя. Проректор выдернул свою руку и зло посмотрел на Ярослава.

— Могу ли я задать вам вопрос? — громко, на весь зал, сказал Конрад.

Проректор возмущенно дернулся, но Конрад опередил его отказ.

— Только одно слово,— вежливо попросил он.

— Пожалуйста, пожалуйста.

— Но голько на ухо, пан проректор, чтобы никто не слышал.

— Не понимаю, что вы тут болтаете!

Конрад понизил голос до шепота:

— Вы хорошо знаете Достоевского?

Проректор был уже не на шутку рассержен.

— Вы о чем? — резко спросил он.

Конрад учтиво поклонился, словно собираясь сказать ему что-то на ухо, и вдруг неожиданно вцепился в ухо зубами. Проректор вырывался, отталкивая Конрада, которого уже схватил Якуб. На помощь Якубу бросились два ассистента. После минутного замешательства проректор взял себя в руки и сказал спокойным голосом:

— Выведите его отсюда. Он пьян.

Конрад не сопротивлялся. Опустив голову, он покорно покинул помещение под гул ничего не понимающего зала. По совету кого-то из коллег к микрофону подошла представительница студентов.

— От имени студентов я приношу наши извинения...

И тут проректор проявил класс: пренебрежительно махнув рукой, он сказал:

— Оставим это. Вернемся к распорядку дня. Пора приступить к художественной части.— И шутливо добавил: — Если это не считать ее началом.

Часть зала подхватила шутку, разряжая атмосферу. После этого со сцены убрали стол президиума, опустили экран, зашторили окна. Проректор и местное начальство заняли места в первом ряду.

Ярек вышел вслед за Конрадом. На улице они обменялись взглядами. Студенты оставили их вдвоем. Издали им улынулась жена проректора.

— Там, внутри, наверное, душно? — спросила она.

— Да-а-а,— протяжно ответил Конрад, махнув при этом рукой.

Ярек с отвращением посмотрел на него.

— У вас слабая голова,— сказал он.

— Лично меня она устраивает,— возразил Конрад и обернулся к сынишке проректора: — Прелестное дитя... тью-тью...

Жена проректора снова приветливо улыбнулась, не понимая, что произошло. Конрад погладил малыша по голове, повернулся и пошел к своему домику. Ярек было направился за ним, но его окликнул один из студентов.

— Вас зовет пан проректор...

В зале продолжалась художественная часть программы. На экран проецировались портреты Бачиньского, чередовавшиеся с фотографиями участников боев на баррикадах. Актриса с умеренным пафосом декламировала стихи, а расположившийся за экраном пианист аккомпанировал ей на несколько расстроенном инструменте.

...Но этот мир —

лишь наш с тобою мир,

Метель имен и мгла

отождествлений,

В которых мы, как факелы,

пылаем,

Неся в себе заряд шагов

грядущих...

Ярослав незаметно протиснулся к проректору и присел рядом с ним.

— Приготовьте мне работу этого Рачика, я хочу взять ее с собой. А сам он должен немедленно покинуть территорию лагеря. Согласуйте это с молодежью...

Ярек позвал к себе двух представителей молодежной организации, они вместе вышли на улицу.

— Я бы даже вошла, но там наверняка нечем дышать,— обратилась к ним стоявшая у дверей жена проректора.

Ярек молча кивнул ей и отвел своих спутников в сторону. К ним присоединилось еще несколько студентов, которым надоели поэзия и музыка.

— Не понимаю. Он вел себя так вызывающе, но не потому, что был пьян. Другие выпили больше,— размышлял один из представителей организации.

— А почему вы вообще решили, что он был пьян?

— Ты что, разве на трезвую голову он бы это сделал?

— Так или иначе, как-то все бессмысленно,— вздохнул Ярек.

— Почему это? — строптиво спросил младший из студентов. — А мне понравилось. Что из того, что бессмысленно? Многие вещи не имеют смысла. А он показал, что ему плевать. Мы пасуем, а он нет. Тут нужна смелость...

— Кто пасует? Что вы несете? — прервал студента Ярек.— Что это за смелость? Бессмыслица,— в голосе Ярека прозвучало сожаление по обманутым надеждам.

Молоденький студент иронически улыбнулся, а его подруга спросила с вызовом:

— А вы бы осмелились?

Ярек раздраженно пожал плечами. Представитель молодежной организации вернулся к разговору, начатому, видимо, еще в зале:

— Какая разница, уедет он сейчас или нет? Ведь завтра и так все заканчивается. Может, лучше ему протрезветь?

— Если пьян,— с сомнением в голосе сказала студентка.

— Пьян или нет — это уже неважно. Есть указание проректора, и мы должны его выполнить,— твердо сказал Ярек.

— Должны? — с иронией переспросила девушка.

— Можем,— поправился Ярек.— Однако можем выступить и в его защиту, если действительно убеждены в ее необходимости. Вот вы, убеждены в этом?

— Я? Нет,— студентка внезапно изменила линию поведения.

— Пожалуй, ему лучше уехать,— сказал один из студентов.— Ведь если возникнет скандал, его выгонят из института.

— И так вылетит,— мрачно сказал его коллега.

— Не думаю,— возразил Ярек.— И потому думаю, что вы правы. По закону, за одну и ту же провинность дважды не наказывают. В случае чего, можно будет сослаться на то, что его уже наказали.

— Ну, чтобы избежать дисциплинарной комиссии, ему лучше уехать.

— Пойдите поговорите с ним,— сказал Ярослав.— Самое лучшее, если он быстрень-

ко соберет вещи и попытается успеть на автобус, прежде чем все это закончится.

— А если нет, то, может, пан проректор его подвезет? — язвительно пошутила студентка.

Ярослав решил, что дело улажено. Студенты направились к домику Конрада, а сам он вернулся в зал. Актриса читала стихотворение Шимборской. На экране смеялись красочные изображения цветов, мягкий аккомпанемент подчеркивал настроение задумчивой печали.

Прости меня, срубленное дерево,
за четыре ноги у стола.

Простите, большие вопросы,
за маленькие ответы.

Правда, не обращай на меня
слишком большого внимания.

Достоинство, будь ко мне
великодушно.

Тайна бытия, перенеси то, что я
выдергиваю нитки из твоего
шлейфа.

Душа, не обижайся, что я
редко тебя вспоминаю.

Прости меня, всё, что я не могу
быть всюду.

Простите, все, что не умею быть
каждым и каждой.

Я знаю, что пока живу, ничто
меня не оправдает,

Потому что я сама себе мешаю.

Студенты подошли к окну и постучали, вызывая Ярослава. Извинившись, он снова протиснулся между рядами. Актриса проводила его укоризненным взглядом, продолжая читать:

Не злись на меня, речь, что я
заимствую патетические слова,

А потом вкладываю свой труд,
чтобы они казались легкими.

Ярек вышел из актового зала.

— Что случилось? — спросил он встревоженно.

— Он не хочет разговаривать,— сказала студентка.— Заперся в домике. Может, вы сами с ним поговорите?

Ярек кивнул в знак согласия. Студенты пошли было за ним, но он остановил их движением руки.

— Идите просвещаться,— сказал он.

Домик Конрада стоял в ряду других таких же домиков. Ярек на минуту задержался около двери, бросив взгляд на табличку с фа-

миллиями. Постучал. Никто не ответил, но изнутри донесся какой-то шорох. Ярослав снова постучал.

— Меня нет, — четко ответил Конрад.

— Не валяйте дурака...

Наступила тишина. Ярек дернул ручку — дверь была заперта. Он подошел к окну и увидел Конрада, который торопливо срывает с себя одежду.

— Вы что вытворяете? — зло спросил Ярек.

— Не подсматривать!

— Вы что, совсем двинулись?

Конрад разделся догола.

— Я же сказал: не подсматривать! А ну, пошел отсюда! — В голосе Конрада звучала нотка безумия. Он был неестественно агрессивен.

— Успокойтесь, — начал уговаривать его Ярек. — Все это уже было. Больше не модно... Голые уже бегали по стадионам, даже на олимпиаде...

— Проваливай и — быстро! — взревел Конрад и швырнул в окно бутылку. Ярек отпрыгнул в сторону.

— Похоже, вы ненормальный!

— Зато ты нормальный! — крикнул Конрад. — Вон отсюда!

Он подскочил к окну, чтобы его закрыть. Ярек задержал раму. Он был сосредоточен и полностью владел собой.

— Подумайте, что вы делаете? Хорошо? Вам нужно собрать вещи и немедленно покинуть лагерь...

Он говорил это, не выпуская из рук оконную раму, не давая ее закрыть. Конрад схватил ножицы.

— Сейчас пырну, — пригрозил он.

— Вы понимаете, что я вам говорю?

Резким движением Конрад кольнул Ярослава в руку. От неожиданности тот выпустил раму, но тут же перехватил ее другой рукой.

— Вы слышите?.. — процедил он.

В ответ Конрад плюнул ему в лицо, после чего быстрым движением запер окно изнутри. Ярослав вытер лицо платком и медленно пошел в сторону главного здания.

Художественная часть закончилась. Аккомпаниатор укладывал слайды и ноты. Актрисе, которой были вручены цветы, провожал проректор.

— Я велю вас подбросить. А потом машина вернется за мной.

— Ну зачем же? — протестовала актриса. — Мы можем поехать вместе. Бензин теперь стоит так дорого.

— Нет-нет, у меня еще есть дела, и, кроме того, было бы действительно тесно. А вам ведь только до вокзала. Так что за полчаса шофер обернется.

— У нас остались кое-какие формальности, — вмешался в разговор администратор, вынимая из портфеля ведомость и конверт с деньгами.

Актриса тактично отошла к стоявшей неподалеку «Волге». К ней подошел итальянец.

— Je ne pas comprun seut mot, mais vous etait es formidable... Vous comprenez françoise?¹

— Non, — ответила актриса.

— А этот тут зачем? — спросил проректор, указывая на итальянца.

— Но ведь я вас спрашивала... — начала оправдываться пани Магда.

— Хорошо, хорошо. Только теперь пусть убирается...

Подошел Ярослав.

— Пан проректор, — обратился Ярек к шефу, — очень извиняюсь, что должен еще раз вернуться к тому инциденту, но мне кажется, что этот парнишка психически не совсем здоров, может, под влиянием алкоголя...

Проректор не дал ему договорить.

— Я велел вышвырнуть его из лагеря, — сказал он вполголоса. — Это сделано?

— Нет, поскольку он в таком состоянии, когда...

— Пан Франек! — громко позвал проректор администратора, который заканчивал расчеты с артисткой. — Подойдите ко мне!

Ярослав не сдавался:

— Пан проректор, прошу прощения, что высказываю свое собственное мнение, но, действительно, нет никакого смысла совершать насилие над больным человеком. Можно только надеяться, что к утру он придет в себя. А в настоящий момент...

— Студенты не протестуют? — прервал Ярослава проректор.

— Нет, но ведь дело не в формальной стороне...

Проректор его больше не слушал. Он отвернулся к пану Франеку.

— Пан проректор! — повысил голос Ярослав.

— Не морочьте мне голову! — крикнул проректор и снова вполголоса обратился к пану Франеку: — Прошу вас позвонить в милицию и проследить, чтобы все было сделано.

— Но я хотел уехать вместе с вами...

— Ну так не уедете...

Ярослав отошел в сторону, избегая студентов, которые издали наблюдали эту сцену. Якуб пошел за ним и, приблизившись, положил руку ему на плечо.

¹ — Я не понял ни единого слова, но вы были великолепны... Вы понимаете по-французски? (Франц.)

— Что, получил пинка под зад? — сказал он сочувственно.

— Получил, — признался Ярек.

— Не первый и не последний. — В голосе Якуба звучало бесовское веселье, словно алкоголь, принятый им во время обеда, наконец начал действовать. — Но ты это заслужил.

— Почему?

— Потому что дерзил.

Ярек кивнул в знак согласия.

— Но не только потому. А еще и потому, что дерзил глупо.

— Это как?

— Ну, во-первых, потому, что безрезультатно. Во-вторых, потому, что непоследовательно, а в-третьих — опрометчиво. Старик тебе это еще припомнит. У него отличная память на все, кроме того, чего помнить не хочет, — Якуб многозначительно рассмеялся. — И наконец, — каким это будет по счету? — в-четвертых, потому что все это было напрасно. Сопляк заслужил, чтобы его вышвырнули из лагеря.

— Но у него, похоже, с головой не все в порядке...

— Защита всегда предлагает проводить психиатрическое обследование... А ты себя уверил, что будешь его защищать. Нравись себе в этой роли. Я тебе об этом уже однажды говорил...

— Но тут речь совсем о другом... Ты его не видел. А я с ним разговаривал...

Якуб внимательно посмотрел на Ярека.

— Знаешь, как все обстоит на самом деле?

— Не понимаю...

— На самом деле ты бы очень хотел дать ему по шее, потому что он действует тебе на нервы, более того, он ставит тебя в ужасное положение. Ты это почувствовал, но решил, что снова вступишься за него, чтобы быть благородным до конца.

— Так в какое положение он меня ставит?

— В ужасное.

— Почему?

— Потому что он — какой-то, а ты — никакой... ты непоследовательный. Хочешь быть смелым, но осторожным, благоразумным, но бескомпромиссным. Чтобы действительно быть человеком, тебе не хватает хоть чуть-чуть безумия. И, боюсь, ты никогда на это не решишься.

— Почему ты так думаешь? — с обидой в голосе спросил Ярек.

— Почему? Потому что ты, как чёрт лада-на, боишься правды. Тебя хватает только на полуправду и не больше. Ты не хочешь знать истинной сущности человека.

— У тебя есть доказательства?

— Я горд, что ты позвонил. Дорогой мой! На небе и на земле есть вещи, которые философам даже не снились. Особенно здесь, на земле. Знаешь, как было с той рабо-

той?.. Так вот, этот сукин сын учился вместе со мной...

— Якуб! — раздался голос проректора.

Машина уже вернулась с вокзала, и теперь в нее загружали багаж: складную детскую коляску, ящик с яблоками, раздобытыми в местном госхозе, большой пакет с живой рыбой... Наконец в машину села жена проректора с ребенком на руках. Якуб с натянутой улыбкой подошел попрощаться с отъезжающими. Пан Франек обратился к нему с просьбой.

— Пан доцент, ведь вы остаетесь до завтра?

— Остаться.

— Я уже позвонил. Они приедут через каких-нибудь полчаса. Проследите, пожалуйста. Очень вас прошу...

— Услуга за услугу. Разменяйте мне пятьсот злотых.

Якуб обнялся с проректором, похлопал по мордашке ребенка, вызвав новую волну крика, поцеловал руку жене проректора и вернулся к Ярославу.

— Так вот, мы вместе работали. Мы почти ровесники. И он начал меня изводить. А это единственное, что он делает действительно неплохо. И, в конце концов, я оказался в безвыходном положении. Пришлось вступить с ним в соглашение и написать ему эту работу. Твои знакомые ничего бы не нашли в библиотеке, но у меня дома есть оригинал, я его тебе когда-нибудь покажу. Знаешь, неплохая работа.

— Ты считаешь, что должен был это сделать?

— Не должен, но какая разница? Я написал ее ради святого покоя.

— И тебе спокойно?

— Как у Христа за пазухой. Что бы ни случилось, он меня прикроет, потому что знает, что он у меня в руках.

— Ты все это сейчас придумал? — с надеждой спросил Ярослав.

— А тебе бы этого хотелось... Ведь, в конце концов, неприятно иметь такого шефа. Но не печалься. Я же не могу силой заставить тебя посмотреть эти бумаги. А быть может, и сам не покажу, даже если ты попросишь об этом...

— Потому что их нет.

— Хорошо, для тебя пусть они не существуют, и кончили с этим. Ты живешь честно и хорошо о себе думаешь...

Они вышли на кухонный двор, куда были вынесены котлы для чистки. Якуб обменялся с посудомойкой многозначительными взглядами, затем взглянул на часы и показал ей что-то на пальцах. Ярек не обратил на это внимания.

— Одного не понимаю, — сказал он. — Не понимаю, как это могло произойти с тобой.

Ты говоришь, что он умел и умеет изводить людей. А разве ты не умел?

Якуб мечтательно улыбнулся.

— Умел. Когда-то умел, но это было очень давно. Тебя тогда еще на свете не было. Сколько тебе лет?

— Двадцать шесть.

— Значит, ты был тогда совсем маленьким.

— И что?

— Ничего. Старая история... А потом мне расхотелось... Я ленив. И кроме того...

Из кухни выглянула посудомойка.

— Прошу прощения, — сказал вдруг Якуб. Он вынул размененные купюры и незаметно для девушки разложил их по разным карманам. — Проректор велел проследить за выселением этого сопляка.

— А ты? — удивленно спросил Ярослав.

— У меня есть другие дела, — с двусмысленной улыбкой сказал Якуб. Он подал знак девушке и ушел.

Ярослав взглянул на посудомойку и направился в сторону летних домиков. Студенты играли на гитарах, упаковывали вещи, бродили по лесу, несколько человек уже уехали. Около главного здания Ярек встретил Юзефа с ребенком. Ребенок, как всегда, плакал.

— Не знаю, что с ним, — пожаловался Юзеф. — Анка боится, что это здешняя вода. Мы разбавляем молоко водой, и, видимо, из-за этого у него возникает расстройство...

В пустом зале Зигмунд брэнчал на фортепиано. На стенах еще висело оформление, но стулья уже были составлены и зал освобожден для уборки.

— Вы должны были сыграть для всех, — с улыбкой сказал Ярослав.

Зигмунд перестал играть.

— Музыка смягчает нравы. Но Конрад немусыкален.

— А вы его близко знаете? — с надеждой в голосе спросил Ярек.

— Постольку поскольку. Он с приветом. Всегда был таким.

— А как это обычно выражается? Сегодня он был просто в исступлении.

— Видите ли, есть люди, которым нравится быть пострадавшими. А он — такой. Не победил — зато вылетел с треском.

— Но ведь он не мог ничего знать, пока не огласили результаты.

— Хуже всего, что он получил диплом. Это-то его и доконало. Ведь это — и не успех, и не провал... А поскольку он с приветом, то и выкинул номер. Это из «Преступления и наказания»?

— Нет, из «Бесов». А вы не могли бы с ним поговорить? Может, удалось бы без милиции...

— О нет... — ответил Зигмунд. — Я из принципа стараюсь не вмешиваться в подобные дела.

— Жаль, — сказал Ярослав. — Хотя, похоже, уже все равно поздно.

Во двор въехала милицейская машина. Из нее вышли два милиционера.

— Вы из руководства? — с сомнением спросил один из них, оглядывая Ярека.

— Да. Вы приехали за...

— Где он? — перебил его милиционер.

— Третий домик налево. Но у меня такое впечатление, что здесь имеет место психическое расстройство...

— Пьяный? — спросил милиционер.

— Немного выпил.

— Тогда нормально.

Они подошли к домику. Постучали.

— Милиция.

Конрад не отозвался. Подошли несколько любопытствующих студентов.

— Не скопляться, — сказал один из милиционеров.

Они заглянули в окно. В домике было темно. Высветили фонарем Конрада, который сделал неприличный жест. Один из милиционеров попросил запасной ключ.

— Это уже был дубликат, — объяснил начальник лагеря, который пришел, встревоженный появлением милицейской машины на территории лагеря.

— А может, у вас есть стеклорез? — спросил милиционер.

— Откуда?

— Придется разбить стекло.

Милиционер взял фонарь, осторожно отколлот им уголок стекла около шпингалета и открыл окно.

— Ну, выходите. Оденьтесь и выходите, — спокойно обратился он к Конраду.

— А это видел? — Конрад в ответ повторил неприличный жест.

— Вы нарываетесь. И зачем? Выходите, пока прошу.

Конрад не ответил. Один из милиционеров передал свое оружие другому, взял в руку дубинку и влез в окно. После короткой борьбы дверь распахнулась, и покорно вышел Конрад, закутанный в одеяло. За ним — милиционер.

— Соберите его вещи, — обратился он сразу ко всем.

Один из студентов вошел в домик и начал укладывать вещи Конрада в рюкзак. Ярослав подошел ко второму милиционеру. Отвел его в сторону.

— Если до утра у него это не пройдет, то вызовите, пожалуйста, психиатра. А если все будет в порядке, то отпустите его, ведь в конечном счете ничего такого не произошло...

— Мы уже знаем,— таинственно сказал милиционер.

— Что вы знаете? — спросил Ярек.

— Вы думаете, что сегодня он первый? Зарплата — вот люди и пьют.

Конрад покорно сел в машину. Студенты принесли его рюкзак, и машина отъехала в сторону города.

Ярек пошел к домику Нелли, но не застал ее и вернулся к себе.

Он развязал галстук, собираясь раздеться и лечь, но эти простые движения оказались для него слишком трудными. Он сел и уставился в темное окно. Кто-то постучал. Ярек подошел к окну и увидел Якуба. Открывать не хотелось, и он вопросительно взглянул на доцента. Якуб был странно весел. С пьяным упорством он делал одни и те же знаки, затем отошел от окна, обошел дом вокруг и постучал в дверь. Ярек открыл. Якуб с заговорщицким видом схватил его за руку и потащил в темноту. Он то смеялся, то вдруг становился серьезным, то снова паясничал. Ярек, все более раздражаясь, прямо отбивался от назойливого доцента.

— Пошли! — уговаривал Якуб.

— Зачем?

— Пошли!

— Но зачем?

— Говорю тебе, пошли, сам увидишь!

— Что увижу?

— Что увидишь, то и увидишь.

— Оставь меня в покое, Якуб. Я едва на ногах держусь. Хочу спать. — Ярек чуть ли не силой выпроводил доцента и запер дверь.

— Пожалеешь... — не успокаивался Якуб. И снова заколотил в дверь: — Ярек, черт побери! Это служебное поручение!

Взбешенный Ярек распахнул дверь.

— В чем дело?

— Пошли.

— Что-нибудь случилось?

— Пошли, прошу тебя. — Якуб молитвенно сложил руки на груди. — Сделай это для меня.

У Ярека больше не было сил сопротивляться. Поняв, что ему не избавиться от Якуба, он погасил свет, чтобы не налетели комары, и пошел за доцентом. Якуб освещал дорогу фонарем, но когда они углубились в парк, он погасил его.

— Птиц распугаем,— объяснил доцент.

Они стояли на краю озера и молча внимали тишине, наполненной лишь звуками природы. Потрескивания, шелесты, крики ночных птиц... В траве раздавался звон колокольчика. Якуб засмеялся. Он зажег фонарь и отыскал лучом кота, который безуспешно пытался вести ночную охоту. Якуб погнался за ним, не выпуская из луча света, поймал, снял ошейник с колокольчиком.

— Пусть себе поохотится,— сказал он, довольный собой, и бросил ошейник в траву.

— Так ты это имел в виду? — спросил Ярек, которому все это уже надоело.

— Нет.

— А что?

— Увидишь. Пошли.

— Никуда я дальше не пойду, хватит.

— Пошли, осталась пара шагов.

— Но что там?

— Природа... Кое-что любопытное...

Они спустились к берегу озера и дальше пошли камышами. Якуб показал жестом, что надо идти тихо. Время от времени он останавливался и прислушивался.

— Ну и что? — шепотом спросил Ярек.

— Ничего. Кажется, мы опоздали. Все уже кончилось. — Он снова прислушался. — Хотя нет. — И засмеялся. — Сейчас увидишь.

Он сделал несколько шагов вперед. В темноте замаячили остатки старой беседки, стоявшей над водой на сваях. Из нее доносились странные звуки, отдаленно напоминающие рык оленей. Они подошли ближе, и Якуб подсадил Ярека. Тот приподнялся над дощатым полом беседки и увидел на нем два переплетенных тела. Это была Нелли с одним из студентов. Ярек покачнулся. Якуб всеми силами старался его держать, показывая знаками, чтобы он не мешал паре в такой ответственный момент.

Взбешенный Ярек старался идти тихо, даже когда они удалились настолько, что могли уже свободно говорить.

— Ну и что? — спросил Якуб.

Ярек многозначительно постучал пальцем по лбу.

— Восхитительно,— сказал Якуб. — Ты видел, с кем?

— Отвяжись, а?!

— Я прошу к себе большего почтения. Это было очень интересный социологический феномен. Ты знаешь, кто это был?

— Не знаю и не хочу знать.

— Ну, это в тебе говорит личное, а меня интересует чисто познавательный момент. Кого бы ты мог ожидать? Ну, скажем, это мог бы быть спасатель, учитывая размеры его «аппарата», но это был бы стереотип. Разумеется, это мог бы быть проректор, но это была бы уже полная банальность. В то же время восхитительно то, что это Никто. Ноль. Аноним. Ни такой. Ни сякой. А девушка роскошная. Высший класс. И, если я внимательно наблюдал, то он даже не очень старался. Выхватил её у тебя из-под носа, и остался ты в дураках.

Ярек остановился.

— Почему тебя это так радует? — спросил он.

— Потому что в этом — глубокая мудрость.

— Какая?

Якуб сосредоточился для ответа, нравоучительно поднял вверх палец, но, взглянув на Ярека, разразился смехом. Ярек больше не владел собой — он замахнулся и ударом в живот свалил Якуба на землю. Безжизненное тело поползло под откос, ударяясь о сваленные здесь разбитые бетонные плиты, цепляясь за арматуру. Ярек удивленно смотрел на него, словно бы не понимая, что произошло, и недоверчиво прислушивался. Якуб лежал под откосом, не проявляя никаких признаков жизни. Ярек начал осторожно спускаться вниз. Из-под его ног вырывались маленькие камешки и сыпались на Якуба. Однако тот продолжает лежать неподвижно. Когда Ярек наклонился над ним, то увидел на лице маленькую струйку крови.

— Якуб! — позвал он, все еще не веря в реальность происшедшего. Он чуть дотронулся до лежащего и только тогда до его сознания дошел весь ужас случившегося.

— Якуб! О боже! Это невозможно!

Он хотел приподнять Якуба, но испугался, что может этим навредить.

— Якуб! — повторил он с мольбой в голосе.

Стоя над Якубом, беспомощно огляделся. Заметил бочку из-под смолы, наполненную дождевой водой. Подбежал к ней. Набрал в ладони воды. Побежал обратно к Якубу, обрызгал его, наклонился. Припал ухом к груди. Якуб дышал еле слышно, но дышал. Он лежал с высунутым языком, и из открытого рта вырывались свистящие звуки. Якуб хрипел.

Ярек, склонившийся над ним, дрожал от ужаса, не соображая, что предпринять. Откинувшись назад, он в беспамятстве ударился головой о бетонную плиту. Только спустя некоторое время он смог взять себя в руки, поднялся, беззвучно плача, осмотрелся в надежде позвать на помощь, но понял, что рассчитывать не на кого. Он посмотрел на лежащего, вытянул подогнувшуюся ногу и снова побежал к бочке. Вынул платок, намочил его, отжал. Когда он вернулся к Якубу, то уловил какие-то изменения — тело Якуба изменило положение. Ничего не понимая, он склонился над ним и стал протирать ему лицо мокрым холодным платком, затем расстегнул воротник рубашки и приложил к шее холодный компресс. Нашел фонарик, который Якуб выронил при падении, включил его и, осторожно приподняв веко, осветил Якубу в глаз. Увидев реакцию зрачка, вскочил, обрадованный, и бросился было бежать за помощью, как вдруг неожиданно Якуб схватил его за ногу. Ярек покачнулся и упал. Якуб явно веселился. Он приподнялся на руках, чтобы лучше лицезреть ошеломленного Ярека. Но заметив, что того охватывает неистовая ярость, пере-

стал смеяться. Они медленно поднялись.

Якуб, еще с улыбкой на губах, но весь напряженный, медленно отступил назад. Ярек шагнул к нему. Якуб побежал, Ярек — за ним. Якуб бежал зигзагами, увертываясь от преследователя. Тяжело дыша, он выкрикивал на бегу:

— Перестань... Ты спятил...

В его голосе звучал искренний страх. Но Ярек, ослепленный злобой, не слышал ни слова. Он настиг Якуба около бочки.

— Перестань, я больше не буду... — заверещал доцент.

Ярек ударил его со всей силы, тут же схватил за шею и сунул его головой в бочку с водой. Якуб задыхался. Борьба становилась серьезной. Обессиленный Якуб захлебывался, но стоило ему на мгновение приподняться, как он тут же выплюнул все воду в лицо Яреку. Но когда тот снова погрузил его в воду, Якуб уже не сопротивлялся. Ярек отпустил его, и Якуб долго кашлял, выплевывая с водой песок и гнилые листья. Силы покинули его, и он опустился на землю. Ярек, тоже измученный, сел рядом с ним. Они долго сидели молча, тяжело дыша.

— Ну, видишь... — прохрипел Якуб, — видишь, наконец-то в тебе проснулся зверь. — И он удовлетворенно засмеялся.

Ярек не сразу понял, что имел в виду Якуб.

— Если бы он проснулся, — ответил он наконец отрывисто, — то ты бы уже не жил.

Якуб задумался и тихо, словно бы сам себе, сказал:

— Кто знает, быть может, для меня так было бы лучше...

Он сидел обессиленный, мокрый и пронзительно грустный. Рядом с ним дрожал от холода Ярек. Моросил дождь. Они сидели, тупо уставившись в камыши, где спрятались водоплавающие птицы. Птицы смотрели на людей наклонив головы. Медленно рассветало.

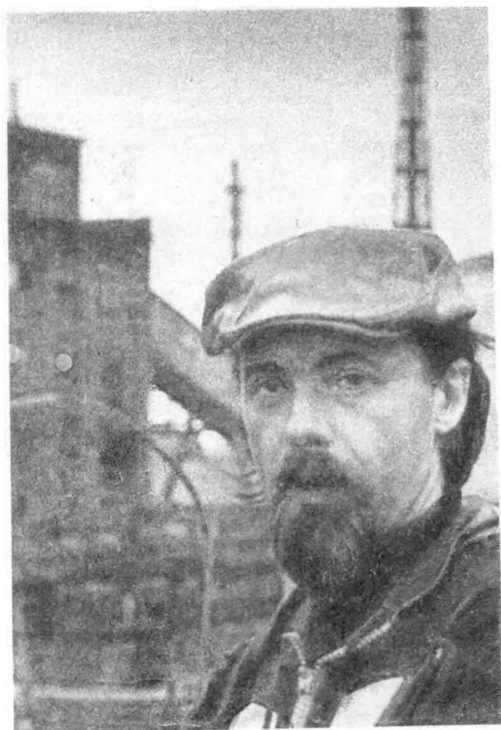
1976 г.

*Перевод с польского
Владимира Фенченко*

(Занусси К.

Киносценарии.

«Искры». Варшава, 1978.)



Константин
ЛОПУШАНСКИЙ

ПОСЕТИТЕЛЬ МУЗЕЯ

Над водой висит густой плотный туман. Моросит дождь. Большой морской катер движется по черной воде. Борта больших кораблей, мимо которых проходит катер, возвышаются огромными утесами, сливаясь с туманом. То там, то тут из тумана выплывают багрово-красные круглые фонари. Катер движется, завывая сиреной, мимо домов, каких-то строений, стоящих прямо в воде, вероятно, затопленных.

На палубе катера, под желтым фонарем сидит на чемодане человек в черном мокром плаще. Назовем его Макс, хотя это имя, как и имена всех других персонажей, абсолютно условны — никто не обращается ни к кому по имени на протяжении всего фильма.

Он сидит, прислонившись к холодной стене рубки. Кажется, что он дремлет.

Из рубки выходит матрос в плащ-накидке, подходит к Макс.

— Скоро порт, — говорит он и возвращается в рубку.

Макс встает, идет следом.

Громко стучит мотор, поэтому капитан кричит, обращаясь к Макс:

— Везде свалка, все побережье, — кричит капитан, скользя пальцем по грязной заляпанной карте, висящей на стене рубки. — Пятьсот километров... Пятьсот, говорю!.. Это только на юг. А если на север, и того больше...

— Так, может, выйти у порта? — кричит Макс. — У пор-та?

— Нет. Лучше всего — мусоровоз.

— Что?

— Му-со-ро-воз, говорю! Поезд... Это поезд. Он через всю свалку идет. Вам нужно до резервации...

Капитан обвел пальцем какой-то кружочек на карте.

— Вначале поселок будет, для дебилов, — разъясняет он. — Дебилы живут там. Попросту — резервация. Потом комбинат, по переработке отходов. Огромный комплекс. Издали видно. Они там работают. Увидите проволоку, сообразите... А потом — прямо вдоль берега и будет метеостанция. Она там одна стоит. Больше там ничего нет. Не заблудитесь...

...Макс снова стоит на палубе, держась за поручни, смотрит на воду, на большие красные огни, выплывающие из тумана. Вода кажется ему багрово-красной, как кровь... Бинты, грязная вата плывут в воде возле борта. Макс чуть поворачивает голову, прислушиваясь, медленно поднимает глаза. Смотрит вверх, будто видит кого-то.

— Кто здесь? — выдыхает он. — Кто это?

Макс смотрит вверх, затем медленно отворачивается. Оглядывается, снова отворачивается. Идет вдоль поручней к своему чемодану.

Садится, прижимается к стенке рубки, устало закрывает глаза. Проводит рукой по лицу, чуть морщится, как человек, мучимый

какой-то болью или болезнью.

— Бред... — шепчет он. — Бред какой-то...

Катер постепенно удаляется, растворяясь в тумане. Огромные красные огни-глаза высвечивают силуэт катера, когда он проплывает мимо них. Видна световая дорожка на воде. Она багровая, как кровь. Затем силуэт катера сливается с туманом.

Среди мусора, возвышающегося холмами, вьется тропинка. Макс идет через свалку, обходя завалы железа, стараясь не упустить тропинку из вида.

Свалка простирается до горизонта, конца ей не видно. Он идет среди груд металла и сгнивших кузовов машин, взбирается на холмы мелких предметов, осколков аппаратуры, корпусов телевизоров; зажимая нос, преодолевает, как болото, насыпи из гниющих пищеотходов. Он спускается с горы, целиком состоящей из сгнившей одежды и обуви... Макс чуть замедляет шаг, словно почувствовал чей-то взгляд, медленно поворачивает голову, останавливается, поднимает глаза. Долго и внимательно смотрит куда-то вверх. Резкий ветер порывами треплет его одежду, несет мусор вокруг его ног.

— Что тебе от меня?!.. — полушепотом, надрывно говорит он.

Свалка почти вплотную подходит к дому. Видны на окнах решетки, под ними — горящие факелы. Они вставлены в углубления в кирпиче под окнами, вероятно, специально для этой цели выдолбленные. Пламя от факелов высоко поднимается вверх, закрывая собой большую половину оконных стекол. На стеклах везде копоть и гарь, похоже, что факелы горят постоянно.

Макс подходит к дому, стучит. Стоит, ждет. Кашляет, задыхается. Ветер порывами несет грязно-серый ядовитый туман. Макс отходит к окошку возле двери. Стучит в закопченное стекло. С удивлением замечает у ног странный детский велосипед — трехколесный, с большим круглым циферблатом от часов вместо переднего колеса. В окошке появляется мужское лицо, всматривается в фигуру пришельца.

— Ветка железнодорожная где здесь? — кричит Макс.

— Какая ветка? — переспрашивает человек в окне.

— Мне нужен мусоровоз. Поезд-мусоровоз. Где останавливается?

Человек в окошке кивает в сторону двери. Макс подходит к двери, продолжая кашлять.

Открывается дверь.

— Входите быстрее, а то пыль несет, — говорит мужчина, прикрывая нос и рот краем кофты.

Макс продолжает кашлять, не в силах

остановить приступ удушья:

— Извините, можно воды?..

— Да, конечно, — говорит Хозяин, направляясь к раковине в глубине прихожей. — Это от пыли. Ужасная пыль здесь... Вы бы шарфом хоть закрылись. Вредно же так... дышать.

Хозяин наполняет стакан водой из длинного очистителя, висящего над краном.

За раковинником видна загородка для кур. Толстая женщина в затрапезном виде сыплет зерно несушкам.

Хозяин протягивает Макс стакан.

— Спасибо, — Макс медленно, с наслаждением пьет.

— Мусоровоз будет через час, не раньше, — замечает Хозяин, разглядывая гостя. — Подождите... Может, хотите есть? У нас пансион, очень недорого...

— Спасибо, я сыт...

— Тогда чашечку кофе? С бутербродами?

— С удовольствием...

Хозяин достает из буфета посуду, ставит ее на поднос. К нему подходит Хозяйка, торпливо вытирает руки о фартук — они в муке. Хозяин подходит к холодильнику. Теперь видна сквозь открытую дверь кухни. У входа на кухню висят веревки, сушатся белье. Хозяйка включает кофемолку. Возле нее крутится мальчик с непропорционально большой головой, пытается утащить со стола сырое тесто. Женщина бьет его по рукам, выталкивает из кухни, закрывает дверь.

Хозяин ставит поднос на стол. Тут же, на столе, начинает готовить бутерброды. За его спиной видны окна, освещенные снаружи горящими факелами.

— Что это в окнах? — спрашивает Макс. — Зачем огонь?

— А... Это... чтоб в окна не лезли. Тут резервация рядом. Дебилы... Так они в окна лезут, особенно по ночам... Жуть просто. А если огонь — то бояться... Они вообще бояться огня. Вы это учтите. Вы первый раз?

— Да, первый...

— Наверно, на комбинат?

— Нет... на метеостанцию.

— А платят там хорошо?

— Где?

— На станции... Вы к ним работать?

— Нет. Просто так... турист... хочу в музей пойти, который затоплен... Во время отлива...

— Ох уж этот музей, — вздыхает Хозяин. — Все с ума посходили.

— А что, много туристов?

— Да нет... очень мало... Не в это дело...

— А в чем?

— Гибнут многие! Тонут. Каждый год кто-нибудь... Не понимают. Это же море. Шутки, что ли...

— Мне говорили, отлив — ровно семь дней... Три дня туда, три обратно... Можно рассчитать...

— Рассчитать... — хмыкнул Хозяин.— А что такое дно моря, когда вода ушла, вы представляете? Это пустыня! Ничего не стоит сбиться с пути, потерять направление... А прилив идет сразу. Большая волна идет. Не успел вернуться — конец...

— Можно взять надувной жилет...

— Пробуйте, дело ваше... Конечно, иметь фотографии музея приятно. Свои, я имею в виду, не те, что в энциклопедии...

— Да можно и без фотографий... Интересно же... потрогать руками... История все-таки...

— Вы ешьте, пожалуйста... Сейчас принесу кофе.

Хозяйка готовит тесто. Скалка проворно мелькает в ее руках. Она нервно провожает глазами Хозяина, появившегося на кухне, видно, хочет о чем-то спросить.

— Он турист? — наконец быстро говорит она.— Я спрашиваю...

— Да, турист,— не оборачиваясь, отвечает Хозяин. Он стоит у плиты, поджидая, когда закипит кофе.

— Так можно сдать комнату наверху... Скажи ему... Что ты молчишь?

— Он договорился уже, на метеостанции.

— Ну и что... У нас дешевле... и пансион. Скажи ему...

— Уже сказал,— повышая голос, отвечает Хозяин.

Хозяин подходит к столу, приносит кофе. Возле стола стоит Старик в кальсонах, нижнем белье, обмотанный шарфом вокруг пояса. В руках у него книга. Он прижимает книгу к груди, смотрит на Макса, кивает, словно соглашаясь с чем-то.

— Папа! В каком вы виде?— громко, как говорят с глухим, кричит Хозяин.— Иди оденься! Оденься, говорю!

— А, вечно вы... — отмахивается Старик.— Дайте поговорить с человеком...

— Оставь человека в покое. Что ты ко всем лезешь? Извините, пожалуйста,— говорит он, повернувшись к Максy, и наливает ему кофе.— Он сумасшедший, не обращайте внимания...

Хозяин уходит. Старик, продолжая кивать, садится напротив Макса, ласково смотрит на него.

— Вот ты, гадать умеешь, по книге?— спрашивает Старик.

— Как?

— Ты мне погадай,— продолжает Старик.— Открой на любом месте, ткни пальцем... Только глаза закрой.

Старик придвигает книгу Максy. Теперь видно, что это старая потрепанная библия с облупившимися краями.

Макс закрывает глаза, открывает наугад книгу, показывает Старику пальцем строку. Старик поднимает с груди очки, висящие на нитке, читает, водя пальцем по строчке.

— «И если кто мертвый придет и скажет, и ему не поверят...» — произносит Старик и недоуменно поднимает глаза на Макса.— Как это мертвый придет? Что это значит?

— Не знаю...

— Что?

— Не знаю,— громко говорит Макс, вспомнив, что Старик плохо слышит.

— А... Ну, погадай еще,— Старик снова придвинул книгу.

Макс открывает книгу, зажимает пальцем строку.

— «Господи,— читает Старик,— что есть человек, что ты помнишь о нем? И что есть сын человеческий, что ты посещаешь его?»... Посещаешь... — повторил Старик и надолго задумался.— Посещаешь...

Макс тоже задумался, словно вспомнил что-то, словно прислушался к чему-то...

Возле горящих окон беззвучно ругались Хозяин и Старик. Хозяин что-то кричал Старику в ухо, выталкивая его из комнаты. Толстая женщина тоже что-то кричала, размахивая руками...

Мимо Макса двигались платформы с мусором. Мусоровоз шел медленно. Макс поджидал пассажирский вагон в конце состава. Наконец вагон подкатил к Максy. Это был действительно пассажирский вагон, бог весть когда созданный, проржавелый, с отслоившейся дырявой обшивкой. Все окна были выбиты, в рваных дырах, такое впечатление, что их били камнями. Свисала сорванная с петель и погнутая невероятным каким-то образом дверь.

Поезд чуть притормозил, донесся гудок локомотива, предназначавшийся Максy. Он махнул рукой, вскочил на подножку, вошел в вагон. Поезд тут же начал набирать скорость. Внутри вагона все было разбито, загажено. Макс шел по проходу, выбирая место, где бы пристроиться. Он прошел в конец вагона. Дверь в тамбур была открыта.

Макс увидел странную фигуру в тамбуре, у стены. Человек был в грязном рваном ватнике-спецовке, голова стриженная, с большими шишками-буграми на черепе. Плечи чрезвычайно широкие, а ноги очень короткие, в грубых башмаках. Под спецовкой болталось нечто вроде юбки. Человек царापал стену тамбура гвоздем, что-то рисуя. Вся стена вокруг была испещрена рисунками, как показалось Максy — похабными. Человек почувствовал взгляд, повернул голову. Макс увидел дебилное лицо с бессмысленной улыбкой. Непонятно было — мужское или женское.

Макс вернулся в вагон, сел на скамью. Сквозь дырки в стекле окна видна свалка: однообразная бесконечная равнина...

...Огибая холмы мусора, Макс приближается к зданию метеостанции. Это большой дом-

особняк, прямо за ним начинается море. Перед домом небольшая площадка, очищенная от мусора. На ней — вышки для сбора осадков, флюгер, большой белый шар — все типичные атрибуты метеоконтроля. Рядом с домом — пристройка-сарай. Под окнами дома горят факелы.

Макс подходит к двери, стучит, нажимает звонок. Дверь сразу открывается, Макс входит. Дверь закрывается.

Сильный порыв ветра проносится от свалки к дому. Катятся пустые ржавые банки. Пыльный вихрь раскачивает вышки для сбора осадков, несет мусор, рваные клочки бумаги.

...Макс опускает чемодан на пол, оглядывает комнату. Сквозь балконную дверь видны высокие черные волны — такое ощущение, что они разбиваются прямо о стены дома.

На пороге комнаты стоят двое — хозяин и хозяйка, Рау и Ингра.

— Вот видите, места много... — говорит Ингра. — Но холодно только... Может быть, все-таки на той стороне дома?

Она растерянно оглядывается на мужа. Он неопределенно пожимает плечами.

— Такая прекрасная комната, — продолжает она, — я специально для вас приготовила...

— Нет-нет, мне очень нравится здесь... правда, — говорит Макс.

Какая-то странная взволнованность чувствуется в нем, как у человека, чье предчувствие неожиданно сбылось.

Внезапно он, вспомнив, торопливо достает бумажник, вынимает деньги.

— Возьмите вот, пожалуйста...

— Ну что вы... можно потом, — говорит Ингра, однако деньги берет. — Завтрак, обед, ужин — у нас в гостиной... Если хотите в комнату — я могу принести вам...

— Не беспокойтесь... не надо...

— Ну что ж... отдохайте... Я позову вас к ужину. — Ингра и Рау выходят из комнаты.

Огромные черные волны движутся над затопленными строениями. Видны только остатки крыши, два-три столба с оборванными проводами. Вероятно, дом стоит на холме, от которого вниз вела раньше улица. Макс все это видит через балконное стекло, стоя у двери. Он открывает балконную дверь, выходит на порог.

Балкон большой, похоже, что раньше здесь была веранда. Беспорядочно свалены плетеные стулья, сгнившие от воды. Волны перекаываются через край балкона.

Макс разбирает свой чемодан, достает фотоаппарат, компас, надувной жилет, два термоса с ляжками — на манер рюкзака.

Раздается вежливый стук в дверь.

— Да, пожалуйста, — говорит Макс.

Входит Рау:

— Извините, забыл сказать. Вам надо зарегистрироваться в инспекции. Такие прави-

ла, ничего не поделаеть... — он виновато улыбается. — Глупость, конечно...

— Что, прямо сегодня?

— Не обязательно. Нет... можно завтра.

— А если не регистрироваться? В конце концов, я всего лишь на пару дней...

— Нельзя, к сожалению, — вежливо улыбнулся Рау. — У нас могут быть неприятности... Теперь очень строго... Все, кто хочет идти в музей, должны отмечаться в инспекции... Если бы от меня зависело...

— Ну да... я понимаю, — почти перебивает его Макс. — А где это? Эта инспекция?

— В резервации... на территории комбината... Служанка проводит вас... Ей туда на прививку. Вместе пойдете...

Издали доносится негромкое звяканье посуды.

— О, кстати... Похоже, что нас зовут ужинать, — улыбаясь, добавляет Рау. — Мы ждем вас.

Рау уходит, закрывает дверь преувеличенно аккуратно. Во всех его мелких движениях, манере держаться поражает несоответствие между мужественной внешностью, не лишённой привлекательности, и внутренней, проявляющейся в неосознанных мелочах, лакейской угодливостью.

Макс закрывает чемодан, смотрит, куда бы его поставить, но непроизвольно начинает думать о чем-то другом, явно малоприятном, мельком взглянув на дверь, только что закрывшуюся за хозяином дома.

Гостиная представляет собой большую комнату, хорошо обставленную. Пол натерт до блеска. В окнах виден огонь от факелов, пламя высоко поднимается вверх. Блики огня мелькают на полу, на стекле, на всех предметах, стоящих в комнате.

За столом, кроме хозяев и Макса, еще двое. Они сидят чуть в стороне от остальных, на другом краю большого стола. По одежде, по лицам видно, что они явно из дебилов.

Телевизор работает без звука. Все поглядывают туда, пряча неловкость. Молчат. Вероятно, никто не объяснил Макс, кто эти двое. Назовем их Тина и Дурик.

На экране демонстрация мод. Спортивного вида мужчины красуются в женских туфлях на высоком каблуке. Чередой проходят варианты и различные сочетания одежды с таким новшеством...

— Опять моду меняют, — замечает Ингра, с интересом следя за экраном. — Каждый месяц стали менять. Раньше так не было...

— И, повернувшись к Макс, добавляет: — Ничего, что без звука? Я, знаете, не могу, когда шум...

Дебилы встают, мнутя, словно не зная, что делать дальше.

— Поели?— строго спросила Ингра, обращаясь к ним. — Что нужно сказать?

— Спасибо... — мямлит Дурик.

— Приятного аппетита... — говорит Тина чуть слышно.

— Можете идти,— командует Ингра.

Дебилы уходят.

— Извините, я забыла спросить,— тут же переходя на светски вежливый тон, обращается Ингра к Максусу. — Если вам неприятно, они могут есть внизу, у себя...

— Нет-нет, что вы... А... Кто это?

Хозяева переглядываются, словно не зная, кому из них лучше объяснить.

— Как вам сказать,— начинает Ингра. — Вроде как служащие...

— Собственно, дальние родственники,— вдруг уточняет Рау.

— Ну да... — перебивает его Ингра. — Оба из резервации... Брат и сестра. Мы взяли их как прислугу. Вдвоем не управиться, не хвастает рук.

— Но мы их воспитываем по мере сил,— добавляет Рау.

— Да,— соглашается Ингра. — Вы бы их видели год назад... Обезьянник — и только... Чему их там учат, в резервации, непонятно...

— Ничему их не учат, в том-то и дело,— замечает Рау. — А между тем сорок процентов детей каждый год рождаются дебилами. Это статистика. Нетрудно предположить, что будет...

— Вы, кстати, не говорите при них о музее,— просит Ингра,— что вы пойдете в музей... Ни в коем случае...

— Да? Почему?— Макс явно удивлен такой категоричностью просьбы.

— Да-да, не стоит,— добавляет Рау. — У дебилов во время отлива религиозный праздник. Жрецы и все прочее... Короче, религиозный психоз. Истерия... Так что возможны эксцессы... В резервации, разумеется, не у нас,— спохватившись, уточняет он. — Вы не волнуйтесь, но все-таки... Лучше, чтобы они не знали, что вы идете...

— Вы имеете в виду «праздник веточек», так, кажется, он называется?

— Веточек, да... — иронично повторяет Рау. — А вы что-нибудь знаете об этом?

— Читал кое-что... фотографии видел.

— Не знаю, что вы читали, но только какие там веточки!.. Вернее, если бы только веточки,— саркастически усмехнулся Рау. — Мракобесие полное. Стадный экстаз. Психопатия... Дебилы, что вы хотите...

— Магнитные бури во время отлива,— замечает Ингра. — Я думаю, в этом все дело...

— Вообще странно,— помолчав, говорит Макс. — Дебилы боятся огня, а при этом — зажженные веточки... то есть огонь.

— Ничего странного,— безапелляционно заявляет Рау. — Такова психология: чего боятся — тому поклоняются.

68

— Да что мы все: дебилы и дебилы,— светски улыбаясь, меняет тему Ингра. — Нашли о чем говорить... Расскажите лучше, что в городе нового? Вы, кстати, живете в самом городе или в пригороде?

— В городе, почти в центре...

— Ну и что же там новенького? Я два года уже не была...

— Не знаю, что вам сказать... По-моему, ничего нового... Не знаю...

— Ну, ладно тебе,— вмешивается Рау,— устал человек с дороги... Что ты, действительно? Завтра расскажете...

Рау встает.

— Я вот что думаю,— обращается он к Максусу, — пока не стемнело, давайте я все-таки покажу вам это место, откуда можно идти... Здесь, возле дома, очень плохое дно. Обрыв. Отсюда нельзя. Просто опасно.

— Вы думаете, сегодня возможен отлив?— спрашивает Макс, поднимаясь из-за стола.

— В любой день на неделе... Каждый год по-разному...

— Благодарю вас,— обращается Макс к Ингре. — Очень вкусно...

— Не за что... Я очень рада, что вы приехали... Правда,— говорит она, украдкой прихорашиваясь.

Темнеет. Редкие молнии вспыхивают вдали, дождя нет. Над морем багровая полоса неба. Вода кажется красной. Сильный ветер.

Рау и Макс идут вдоль берега. Рау в респираторе, Макс закрывается шарфом. Свалка уходит прямо в воду. Волны выбрасывают на берег всякий хлам, и он снова откатывается в мутную пену прибоя.

— Нужно вам заготовить воду,— говорит Рау. — Еду и воду, это прежде всего. Компас у вас есть?

— Да, конечно...

— Идти по дну очень трудно, учтите... Почва вязкая... Тут вообще неровное дно...

Они подходят к небольшой отмели.

— Вот это место,— показывает Рау. — Отсюда лучше всего идти.

Макс подходит к воде поближе. Стоит, смотрит. На отмели среди волн стоит ржавый большой автобус. Еще дальше — непонятный предмет, похожий на огромный сейф.

Рау подходит к Максусу. Стоит рядом, ждет. Зябко вжимается в плащ под пронизывающим сильным ветром.

— А что дебилы? Они не ходят в музей?— спрашивает Макс.

— Ну что вы... Они слабосильные. Это им не под силу... Я ж говорю, нужна прекрасная спортивная форма, нужна большая выносливость. Семь дней пути — шутка ли? Не каждый здоровый сможет, а что дебилы... Смех просто...

— А вы никогда не пробовали пойти?

— Зачем мне это нужно... Запах тут неприятный, чувствуете?

— Химия, что ли?

— Да, отходы... Практически мертвое море.

Они идут обратно. Макс думает о чем-то своем, поглядывая в сторону темнеющего моря.

— А в прошлые годы? Ходил кто-нибудь? — спрашивает он.

— Вообще-то многие ходят, — Рау задумался. — Про всех не знаю. Из тех, кто у нас жил... Девушка была с приятелями в прошлом году... Ну, эти не в счет. Прошли полпути и вернулись. Боялись — начнется прилив... В позапрошлом году — муж с женой приезжали... Они утонули... Я думаю, не успели вернуться, не рассчитали... А может, сбились с пути... Если честно сказать — многие гибнут. Так что вы подумайте все-таки...

Он поднял глаза на Макса.

Словно прислушиваясь к чему-то, Макс медленно поворачивал голову, глядя куда-то вверх.

— Что с вами? — недоуменно спросил Рау.

— А? — вздрогнул Макс, посмотрел на Рау, словно видит его впервые. — Ничего, так просто...

Почти совсем стемнело. Возле пристройки-сарая видны две темные тени: Тина и Дурик. Они завозят в сарай тележку-двуколку с большими железными колесами. Рау подходит к ним, говорит что-то, показывая на открытую дверь пристройки, затем берет длинный шест с паклей на конце. Подходит к окнам, зажигает паклю и, подняв шест высоко, поджигает факел у верхнего окна.

В окнах горит огонь. Отблески пламени сквозь стекла озаряют всю комнату, мелькают на шкафах с книгами, плотно стоящими вдоль стен. Библиотека большая, добротная.

Макс листает книги, вглядывается в иллюстрации.

— Главное — это холм, конечно... Холм — это центр музея, его сущность. Но вот холма-то как раз тут и нет... — Макс закрывает книгу, кладет ее на стол. — А энциклопедии нет у вас?

— Там только рисунки... Сейчас, дайте вспомнить. — Рау ставит стремянку, поднимается по ней наверх, берет несколько книг с верхней полки. — А почему вы решили, что холм это главное? Музей — это город прежде всего... Весь город...

— Как сказать... Ведь вот у жрецов, в так называемых священных страницах...

— Что у жрецов?

— О холме, о музее... «И откроется путь от

сего времени к началу мира. И откроется город древний и великие тайны его. И откроется холм возле города, на котором стоит святыня непреходящая...» Так сказано... Значит, холм — главное...

— Перестаньте. Как можно всерьез воспринимать эту галиматью? Сумасшествие и ничего больше...

— Не думаю... Тексты жрецов не так уж наивны, как кажется...

— Я не сказал — наивны, я говорю — безумны. Жрецы — это те же дебилы, только в другом варианте... Не надо тут заблуждаться... Конечно, возможна своя культура у них и своя религия, дебильная, так сказать, — Рау хмыкнул. — Почему нет?

— Что касается безумия, это не аргумент. Ведь и в нашей культуре есть нечто подобное... Вот, скажем, Павел, апостол, который сказал: «Кто хочет быть мудрым — безумным будь, а мудрость же мира сего есть безумие перед богом», так, кажется...

— Ну, он другое имел в виду.

— Почему? То же самое, в сущности.

— Откуда вы все это знаете? И про дебилы, и про жрецов... Тексты эти...

— Я ведь историк. По профессии... Я изучал это. Давно, правда. В университете.

— Не знаю... Я, конечно, не изучал специально, но, по-моему, это все бред. Что значит — «Откроется путь от сего времени к началу мира»? А что есть начало мира, кто знает?

— Начало мира есть Бог...

— Вы это серьезно? Что ж, по-вашему вначале был Бог?

— Почему был? Он есть... Только мы против него...

— Кто мы?

— Человечество... Человечи...

Ночь. Открыт балкон. Вдали видны красная луна и темно-красные волны в дорожке лунного света.

Макс стоит, прислушивается к чему-то, вдруг резко поворачивается.

— Кто здесь? — шепотом произносит он, всматриваясь в темноту комнаты.

Стоит, ждет. Никого нет в комнате. Он выходит на балкон, прижимается к стене. Тяжело проводит рукой по лицу. Тяжело слезавая, сжимает рукой горло, словно сдерживая нечто, прорывающееся изнутри: истерику ли? Рыдание ли?

В свете луны темно-красными кажутся волны. Они движутся в полутьме, накатываясь на балкон. В странной подробности освещено перед ним шевеление воды под балконом, движение мелких предметов, щепок, грязных пакетов, узоров пены. Ему кажется, что он приближается к этой страшной багровой поверхности, и что это вовсе не вода, а не-

что живое, дышащее, видимое с огромной высоты. Первоматерия мира...

...Он двигался вдоль стены, прижимаясь всем телом к ее шершавой поверхности, ощупью пробуя ее, словно идущий по краю скалы. Он чувствовал пустоту где-то рядом, он слышал ее особое звучание, которое невозможно перепутать ни с чем. И страх высоты дурнотой подступал к горлу...

Пятясь, он начал двигаться от края притягивающей пропасти, но ноги не слушались его, заплетались, руки отчаянно скользили по стене, тщетно пытаясь ухватиться за что-нибудь. И тогда от собственного бессилия, от ужаса высоты, истязающего его сознание, он неожиданно для себя заплакал, прижавшись к холодной стене.

...Отблески воды на стене. Рука Макса медленно опускается. Он лежит на кушетке, не раздеваясь, спиной к стене. Стоит стакан у его изголовья. Ярко на нем играет свет. Он становится все ярче и ближе... Макс спит.

...Его взгляд летел над водой. Внизу было море, холодное, неприветливое. Большие волны с белыми гребешками беззвучно двигались в бесконечности океана. Вода, волны — ничего нет больше. Пустыня. То ниже его полет, почти касаясь волн, то выше, сквозь ключья облаков. Облака серые, низкие. Нет берега. Безутешность.

Далеко внизу видны свалка, фигурка человека. Он кружит над фигуркой, словно птица, постепенно снижаясь.

...Мальчик из семьи эмигрантов, большая, неестественно развившаяся голова, улыбка бессмысленная. Он едет медленно на трехколесном велосипеде вокруг большой кучи банок.

...Колеса велосипеда — из циферблатов больших часов — медленно вращаются, постепенно останавливаясь...

...Мальчик идет к брошенным телеграфным столбам с оборванными проводами, возвышающимися среди куч мусора, утопая в нем. Столбы деревянные. Они горят, сильный ветер раскачивает пламя.

...Мальчик смотрит, улыбается. Подходит ближе...

...Женщина из семьи эмигрантов торопливо опускается с большой, как гора, кучи хлама, одежды, обуви. Она кричит что-то беззвучно, яростно жестикулирует. По склону холма из вещей видны фигуры людей, погруженных по грудь в сыпучее месиво свалки. Они роются в вещах, выбирая пригодное к пользованию.

...Башмаки Хозяйки скользят по склону рядом с их лицами. Она что-то кричит им, показывая куда-то вперед рукой. Спускается. снова кричит, словно хочет предупредить о чем-то, предостеречь, остановить нечто непоправимое...

— Что?!— Макс резко отворачивается от стены, не понимая, что его разбудило. Лежит, всматривается в темноту, глаза не могут привыкнуть к полутьме комнаты.

Он слышит осторожные шаги, всхлипывания, кто-то приближается к нему, останавливается, снова отходит.

Где-то очень далеко раздается непонятный, берущий за душу вой.

— Тебе что?— шепчет в темноту Макс.— Ты почему здесь?

Он приподнимается, садится на кушетке.

Возле дверей, прислушиваясь к чему-то, стоит Тина. Дрожит то ли от холода, то ли от страха.

— Сюда идет,— наконец выдыхает она чуть слышно.

Садится на корточки, прижимаясь к дверям.

— Кто?...

— Покойник... Покойник идет... Слышите?

Где-то вдаль снова раздается протяжный нечеловеческий вой.

— Что ты болтаешь? Какой покойник еще,— уже окончательно проснувшись, говорит Макс.— Сумасшедший какой-нибудь, из резервации...

— Нет. Покойник. Я знаю,— чуть всхлипывая, бормочет Тина.

— Ну пусть покойник,— спокойно говорит Макс.— Сюда же он не может войти? Правда? Ведь дверь заперта?

— Я знаю,— всхлипывает Тина. — Все равно... Страшно...

Макс берет с полочки стакан с водой, медленно пьет, раздумывая, как быть. Смотрит на Тину.

— Ну, посиди здесь, если боишься,— наконец произносит он устало.

— Нет. Лучше вы...

— Что я?

— У нас... внизу. Посидите. Мне нельзя здесь. Хозяйка ругает.— Она помолчала.— Вы умеете зажигать печку?

— Печку?.. Ну, в общем... наверное.

— У нас печка погасла. Там огонь. Я боюсь зажигать.

...Макс достает дрова, лежащие в простенке аккуратной стопкой. Неожиданно резко оглядывается, почувствовав чей-то взгляд. Прижимая к груди дрова, Макс идет вдоль стены прихожей, приближаясь к окну возле двери. Прихожая большая, своего рода холл, с несколькими окнами вдоль наружной стены. Только в одном из них виден огонь факела, остальные погасли.

В окне возле двери мелькнула какая-то тень и пропала.

Макс замер, остановился.

Снова появилась тень в том же окне, затем размытый силуэт приблизился к стеклу.

...Человек в окне был очень стар. Глубокие морщины покрывали его белое лицо. Длин-

ные седые волосы торчали, развеваясь под ветром. Странной была одежда его — в истлевшей материи угадывались остатки нарядного черного костюма и некогда белой рубашки с застегнутым наглухо воротом. Человек в окне что-то кричал, но крика не было слышно. Беззвучие. Только слышен был скребущий звук отросших ногтей по стеклу. Человек в окне снова беззвучно выкрикнул что-то, затем схватился за горло, словно его душили рыдания и, запрокинув голову, отшатнулся от окна в темноту. И тогда снова раздался протяжный нечеловеческий вой.

Его лицо появилось в другом окне.

Макс спустился по лестнице, ведущей в подвал. Далекий хриплый стон, скребущий звук ногтей по стеклу снова донесся до его слуха, будто звал его.

Макс оглянулся, посмотрел в сторону окна.

Лицо неизвестного прижалось к стеклу, руками он делал отчаянные жесты, подзывая... Смертельной тоской исказилось лицо его. Белели неживые, почти без зрачков глаза на его лице. По щекам катились слезы.

...Макс зачерпнул совком уголь из ящика, огороженного задней стенкой шкафа, пересыпал уголь в ведро.

Дурик ходил из угла в угол, от стены к стене, складывая по-разному руки на груди, словно считая про себя, загибал пальцы, останавливался, шел обратно, изредка чуть поворачивая голову на шуршание совка с углем, звяканье ведра и другие звуки, сопровождавшие растопку печки.

Странное помещение предстало перед Максом: поросший высокой травой земляной пол, много мебели, беспорядочно сваленной в глубине подвала, шкафы, большой старый диван. Рядом с ним лежала корова с неестественно большими человеческими глазами. На диване лежали игрушки — сломанные, ржавые — остатки детской железной дороги.

Сквозь маленькие оконца светило пламя факелов снаружи, освещая подвал неровным бликующим светом.

Дурик, продолжая свое равномерное хождение по подвалу, подошел к стене, усталился на Тину. Она стояла на коленях и изо всех сил стучала кулаками в стену, рыдая, раскачиваясь, бормоча не переставая: «Выпусти, выпусти меня отсюда...» Бесчисленные выбоины и вмятины на стене сочлились белой пылью штукатурки. Над вмятинами висел большой грязный, явно со свалки, полиэтиленовый пакет с картинкой-репродукцией: «Снятие с креста».

Дурик заволновался, глядя на Тину, тоже начал стучать рука об руку, не отнимая кулаков от груди, затем посмотрел пристально куда-то в угол, подошел к железной койке, утопавшей в высокой траве, сел. Стал рыться в груде тряпья, достал из-под подушки какой-то предмет, оглянулся, будто скрывая этот

предмет от посторонних взглядов, и подошел к шкафу, открыл дверцу, присел и стал прятать предмет, оглядываясь. В пыльном зеркале дверцы шкафа отразилась корова.

Макс открыл заслонку печки, подложил дров. Где-то неподалеку снова раздался душераздирающий вой.

Макс повернул голову.

— Ой,— заскулила Тина. — Сюда идет. Чувствую... уже близко... Он дверь открывает... Я чувствую...

Она судорожно ударяла рука об руку кулачками у груди, продолжая вздрагивать всем телом.

Дурик подошел к Макс, усталился на огонь в печке.

— Огнем его надо пугать! Огнем...

Он как-то неловко выдвинул вперед руку несколько раз, словно показывая, как надо пугать.

— Кого пугать? — спросил Макс.

— Покойника... — ответил Дурик, продолжая показывать рукой. — Огнем! Огнем...

Макс встал и решительно направился к двери, ведущей из подвала наверх.

— Не ходите! — истерично зашептала Тина. — Нельзя смотреть! Нельзя это... Нельзя!

Макс поднялся по лестнице, но не вошел в прихожую, остановился, услышав торопливые шаги, хлопанье дверей.

— А черт, житья не стало от этих уродов,— донесся голос Ингры.

Держа в руке прут с горячей паклей на конце, Ингра металась от окна к окну большой, просторной, как холл, прихожей, высматривая покойника. Появился Рау, тоже с горящим прутом.

— Я говорила, что факелы ночью погаснут. Говорила тебе или нет? — ненавидяще выкрикивала она, продолжая следить за окнами.

— Ну кто мог думать... Я же смазал...

— Смазал он... А черт! Вот он!

Ингра, подбежав к окну, ткнула пальцем в сторону лица неизвестного.

— Атур! Атур! — грозно выкрикивала при этом Ингра.

Покойник отшатнулся, взвыл, но тут же перебежал к другому окну.

— Атур! Атупыр! — выкрикивали поочередно Ингра и Рау, выбрасывая вперед руки с огнем, перебегаю от окна к окну.

Макс стоял в глубине прихожей, за их спинами. Они не замечали его.

Утро. Серенький мелкий дождик моросит по большим лужам. Из пристройки-сарая Тина и Дурик выкатывают тележку. Рау меняет фильтры в коробках для замеров.

Все сидят за столом на тех же местах,

как и во время ужина.

— ...Каждый день сообщаем замеры, а что толку? — говорит Рау, продолжая беседу.— Вообще, это закрытая информация, но я скажу: уровень загрязнения ужасающий... Если честно... воздух, вода, почва — страшно сказать... А что делать? Нельзя же остановить технологию, это понятно...

— Ничего страшного. Изобретут что-нибудь, — замечает Ингра.— Очиститель какой-нибудь или фильтры...

— Смешно слушать... Фильтры! — распалается Рау.— Какие фильтры? Конечно, странный феномен с точки зрения психологии. Везде пишут, все говорят: экологическая катастрофа, экологическая катастрофа... Ну и что? Что в результате, я спрашиваю? А ничего... Заводы остановить нельзя, эксперименты всякие тоже... Замкнутый круг. Я, кстати, считаю, что заморозить ледники не удастся. Вода прибывать будет и дальше... Это факт.

— Так, значит, потоп, что ли? — уточняет Макс.— В перспективе, конечно...

— А что вас так удивляет? Конечно, потоп,— почти радостно говорит Рау — чувствуется, что он сел на своего любимого конька.— Именно... Самый что ни на есть настоящий, но только через пятьдесят лет. В этом все дело! А что значит — через пятьдесят лет? Кто будет из нас жив в то время? Никто. Потому никого не волнует все это. Увы, такова психология гомо сапиенс... Я, кстати, в прошлом психолог... Можете мне поверить.

— Зато в настоящем ты дурно воспитанный человек,— светски парирует Ингра.— Что за манера такая — испортить застолье дурацкими разговорами. Не понимаю...— И, обращаясь к Макс, добавляет заботливо: — Ешьте, пожалуйста... Может быть, молока хотите? Мы, кстати, держим корову, прекрасное молоко, домашнее...

— Спасибо, я сыт.

— А если чай с молоком?

— Да, пожалуйста...

— Чай с молоком очищает кровь,— поучительно замечает Ингра, наливая Макс чай.— Я в журнале читала. Очень полезно...

Тина вдруг начинает судорожно дышать, спазмы перехватывают ей дыхание. Она пытается остановить их, но припадок все нарастает.

Ингра тут же переменяется в лице, напряглась, насторожилась.

— Выйди из-за стола! — тихо и злобно, почти ненавидяще говорит она.— Кому говорю!

Но припадок уже в разгаре. Тину колотит. Глаза бессмысленные. Ужас застыл в них. Наконец в ее груди словно прорвало что-то. Хрипло, не своим, чужим каким-то, страшным голосом Тина выкрикивает:

— Песок полагают на кости наши!

Она захлебывается рыданиями, но тут же затихает, осмысленность и испуг появляются у нее в глазах.

— Вы... вы... что-то сказали? Какой песок? — пугливо пригнув голову, спрашивает она у Ингры.— Я... не понимаю... Извините... не знаю...

Ингра встает, резко берет Тину, что называется, «за шкуру», приподнимает из-за стола, чуть поворачивая к себе ее лицо. Тина вжимает голову в плечи, увертывается от взгляда Ингры.

— Пошла вон отсюда, обезьяна! — цедит Ингра сквозь зубы. И так же, не разжимая хватку, тащит упирающуюся Тину к дверям.

Рау сконфужено опускает голову.

— Это не я! — всхлипывает Тина.— Кто-то другой... приходит и мучает меня... Я не знаю кто... Это не я, не я... Я сама боюсь.

Ингра выталкивает ее из комнаты, плотно захлопывает дверь за собой. Из-за дверей раздается звук звонкой затрешины, затем всхлипы и рыдания, постепенно удаляющиеся.

Рау, Макс и Дурик молча сидят за столом.

— Припадок... Что делать,— Рау, извиняясь, разводит руками.— Извините, пожалуйста...

— Я понимаю,— тихо отвечает Макс, сосредоточенно изучая свою чашку с чаем.

— А нам пора заниматься,— говорит Рау, обращаясь к Дурику. Встает, подходит к нему, останавливается над ним.— Я жду...

Дурик нехотя поднимается, собирается идти, но Рау придерживает его, кивая в сторону Макса.

— Что нужно сказать?

— Приятного аппетита,— безразлично произносит Дурик.

Оба уходят.

Макс продолжает сидеть за столом, смотрит куда-то перед собой, на пылающие пламенем окна гостиной.

Картинки, репродукции, фотографии: древний человек, Средневековье, Возрождение, XVIII, XIX, XX века. Портреты, лица, костюмы...

Рау разложил фотографии, встал рядом с Дуриком.

— Так,— сказал Рау,— повторим пройденное вчера. Что создал человек за свою историю?

— Человек,— медленно произнес Дурик,— создал свалку...

— Не свалку,— повысив голос, сказал Рау,— а материальные ценности мира. Город, вещи... Ты понял? Теперь повтори...

— Человек создал... вещи,— неуверенно произнес Дурик.

Хлопает дверь.

— Я не помешаю? — говорит Макс. — Хочу посмотреть карты.

— Пожалуйста, пожалуйста, — отвечает Рау и, повернувшись к Дурику, продолжает: — Ну хорошо... Вернемся к этому после. Перейдем к главному. Смотри, — сказал он, показывая на фотографии. — Цепочка. Из рода в род. Умиralи, рождались, старились. И каждый имел детей. Себе подобных... Подобие... Понимаешь значение?

— Понимаю, — ответил Дурик. — Каждая женщина в животе имела... свое будущее.

— В животе имела? — переспросил Рау, вскинув глаза на Макса. — Хм, интересно. Впрочем, можно сказать и так. Но главное — это подобие. А потом вдруг стали рождаться дети-уроды, мутанты, жертвы экологической катастрофы.

Он положил на стол фотографии.

— Это ты, — сказал Рау и, кивнув в сторону окна, добавил: — Это они, те, кто живет в резервации. Это те, кто родился после... После чего? Ну, повтори...

— После ошибки, — ответил Дурик уверенно.

— Правильно! А в чем была ошибка? Вспомни!

Рау подходит к Максy и замечает вполголоса:

— Довольно сложно объяснить сам термин — экологическая катастрофа. Им не с чем сравнивать. Нет исторической памяти... Макс неопределенно кивает.

Рау возвращается к Дурику.

— Ну что? Вспомнил?.. Так в чем была ошибка?

— Человек... забыл самого себя, — отвечает Дурик.

— Опять ты свое! — стукнул с досады ладонью по столу Рау. — Ну, напрягись! Не расслабляйся!

Он положил фотографию огромного промышленного комплекса, затем другие: озеро, покрытое слоем мертвой рыбы; мертвый лес; грязно-серое марево запруженной машинами улицы, среди которой возвышается полицейский в противогазе; огромные волны, надвигающиеся на город, и вертолет, задетый гребнем волны...

— Ну? Что это? — теряет терпение Рау. — Что?

— Это проклятье, — тихо произносит Дурик.

— О господи, — застонал Рау. — Ну хорошо... Перейдем на язык метафор... Я согласен. Проклятье... В чем оно выразилось? В каких процессах?

— В том, — медленно произнес Дурик, — что Бог отвернул лицо свое... и наступил ад.

— Где? — уточнил Рау, с трудом сдерживаясь. — Где наступил?

— Везде, — говорит Дурик уверенно. — Где человек, там и ад... — И, помолчав, доба-

вил: — В священных страницах сказано: если родился ты здесь, значит, ты проклят!

— Так, понятно, — говорит Рау, постепенно накаляясь. — Что еще сказано там?

— И еще сказано, — отвечает Дурик, не чувствуя подвоха, — «ибо похоть твоя к удовольствиям пожрет самого тебя»...

— Хватит! — взорвался Рау. — Чтоб я не слышал больше никаких священных страниц. Это же мракобесие какое-то! Ну подумай сам. Что за молитва такая — в стены стучать? Какие такие высшие силы? Что за страницы священные? Они не священные, они бумажные. Все это бред, невежество, темнота и безумие клерикалов. И больше ничего! В эпоху катастрофических климатических отклонений такие настроения неизбежны. Но человек разумный должен с ними бороться. Ты должен уже понимать это... И чтоб я не слышал больше ни о каком Боге. Нет его. И никогда не было.

Рау начал складывать фотографии, давая понять, что урок закончился.

Дурик сидит, низко опустив голову, и Рау не сразу замечает, что он плачет.

— Это еще что такое, — опешил Рау. — Ну, не все сразу. Надо трудиться, преодолевать себя... Аутотренинг даже нормальному человеку дается с трудом...

— Жалко... — всхлипнул Дурик.

— Что жалко? Кого?

Дурик молчит.

— Ну вот что, — процедил Рау. — Иди-ка ты отдыхать. И скажи Тине, пусть соберется. Проводит нашего гостя в резервацию... Ему документы оформить надо...

Рау подходит к Максy:

— Я думаю, вам лучше сходить сейчас. Пока светло...

Скрипят стальные канаты. Небольшой понтонный плот, превращенный в паром, медленно движется вдоль полузатопленных строений.

Макс и Тина стоят у перил. Тина чуть в стороне, отвернувшись от Макса. Макс, скосив глаза, внимательно смотрит на нее. Она не замечает его взгляда или делает вид, что не замечает, потому что чувствуетеся — внутренне напряжена, неуклюже сторблена, как бывает с людьми, когда их разглядывают.

Макс видит ее протертое, бессмысленное в своем уродстве пальто, грубые чулки со штопкой, нелепые носки, надетые поверх чулок и выпирающие из больших тупоносых ботинок.

Макс отводит глаза, смотрит в сторону. Ровная гладь воды — грязь, мусор, банки стучаются о борт парома.

Тина и Макс идут вдоль забора из колючей проволоки. За ним видны грязно-серые корпуса комбината. Большие красные огни просвечивают в тумане над стенами цехов. В красноватом мареве снуют тени.

Они пролезают в большую дыру ограждения. Тина показывает Макс руку к воротам цеха, а сама поворачивает в другую сторону.

Большие ворота, ведущие в цех, открыты. Туда движется колонна дебилов — вприсядку, на корточках, руки за голову. Черные ватники, грязные спецовки. Многие из них стрижены наголо. Вдоль колонны неторопливо прохаживаются воспитатели — в одинаковых плащах-макинтошах, шляпах, под шляпами — противозащиты.

Один из воспитателей подводит к колонне человека в спецовке, такой же, как и у остальных, но по виду он явно отличается: борода, длинные спутавшиеся волосы. Человек скорее похож на опустившегося священника, чем на дебила. Он препирается с воспитателем, не хочет садиться на корточки. Другой воспитатель, подойдя сзади, сильно бьет его резиновой дубинкой по шее. Бородастый падает в грязь, но тут же приподнимается и на корточках пристраивается к колонне.

...В цеху стоит невообразимый гул. Макс объясняется с воспитателем жестами. Тот показывает ему рукой в глубину цеха. Макс идет туда. Все вокруг красно-черное: сквозь иллюминаторы печей бьет багровый свет, фонари освещения красные от красноватого пара, сочащегося из труб. Дебилы толкают тележки с хламом, предназначенным к переработке. Мелькают макинтоши воспитателей.

Поднявшись по ступенькам, Макс видит сверху огромный цех. В центре цеха, среди работающих, расхаживает комиссия: пять одинаковых макинтошей и шляп. Перед ними суетится шестой, видимо, что-то объясняя и показывая.

Небольшое помещение — стол, сейфы, шкафы для бумаг. Пыльное, закопченное окно выходит в цех. С другой стороны — дверь в соседнее помещение, заваленное обувью. На стене у входа висят противозащиты, плащи и шляпы.

— В музей, значит, собрались? — казенно улыбаясь, спрашивает Инспектор.

— В музей, — устало отвечает Макс, преодолевая приступ кашля.

Инспектор стоит к нему спиной, роется в сейфе, выискивает нужные бланки.

— Вот, — Инспектор протягивает Макс чистый бланк, — формуляр заполняйте.

— А зачем это, собственно? — настороженно спрашивает Макс.

— Ну как же... мало ли что... — многозначительно замечает Инспектор. — Внизу

напишите: предупрежден о возможных последствиях, подпись. Инспекция резервации ответственности не несет, тоже подпись.

Макс, вздохнув, садится заполнять формуляр. Инспектор тоже садится с другой стороны стола, достает термос, наливает в стаканчик темную жидкость, пьет, смотрит на Макса.

— Утонуть не боитесь? — спрашивает он между глотками.

— Надеюсь, мне повезет, — отвечает Макс, не поднимая головы.

— Некоторым везет, это правда. Но только зачем? Рисковать жизнью, чтоб посмотреть развалины, сгнившие к тому же...

Макс не отвечает, пишет.

— Там же вонь такая, наверно, — не умолкает Инспектор, — это же дно... И вредно, кстати... Отходы, вся эта химия — она же на дно уходит...

Макс молча пишет, не отвечает.

— Ну, в общем, как знаете... Я предупредил вас...

К столу подходит один из воспитателей. Под мышкой — полицейская кобура на ремнях, так же как и у Инспектора.

— Видал? — торжествующе восклицает он и ставит на стол перед Инспектором женские туфли-лодочки, точь-в-точь как те, что рекламировались по телевидению. — Крик моды!

— Ты где взял? — Инспектор восхищенно разглядывает туфлю. — Где взял, говорю?

— А вон! — королевским жестом, прыская от умиления, показал Воспитатель в сторону соседнего помещения. — Две тонны таких! На выбор! Мусоровоз сегодня привез...

— Брось... Они ж как новые...

— Ну! Иди посмотри. Я сам не поверил.

И, повернувшись к Макс, в ожидании, что он разделит их радость, добавил: — Мусоровоз привез... Надо же...

Воспитатель и Инспектор уходят в соседнее помещение.

Макс поднимает голову, смотрит им вслед. Удобно расположившись на вершине туфельной горы, Инспектор примеряет туфли-лодочки.

— Не жмет? — подобострастно спрашивает Воспитатель, продолжая рыться в обуви. — А так в самый раз. Только подъем высокий.

Инспектор придиричиво оглядывает свою ногу.

— Ну как? — спрашивает он другого Воспитателя, уже по грудь погрузившегося в кучу.

— Говорят же тебе: в самый раз, — отвечает тот. — Как куколки!

Тина сидит у грязной стены на корточках, ест безразлично какую-то шелуху из ладони,

смотрит на катящиеся мимо нее тележки.

Макс подходит, трогает ее за плечо.

Она встает и, не оглядываясь, идет вперед. Макс идет за ней. Они останавливаются, пропуская тележку.

Мимо Макса, совсем близко от него, проплывает уже знакомое лицо бородатого человека. На груди его болтается большой нательный крест.

Снова равномерно хлопает грязная вода, скрипят канаты. Тина и Макс сидят на полу парома, прислонившись к перилам.

Мимо проплывают полузатопленные строения. Там горят тускло огни. Дымит костер — мусор сжигают. Двигутся тени. Видны ограждения из колючей проволоки.

— Тут раньше был город? — спрашивает Макс.

— Где? — не сразу отвечает Тина.

Макс кивает в сторону развалин, стоящих в воде.

— Наверно, — говорит она, подумав. — Я не помню.

Молчат.

— Скажи, могу я войти к жрецам, — вдруг спрашивает Макс. — Ну, посмотреть, например?

Тина удивленно и даже как-то испуганно смотрит на Макса.

— Ты можешь показать мне, где они?

— Кто?

— Жрецы... Ну, что это? Храм, святилище или как? Как называется?

— Никак, — отвечает она. — Место... возле поселка... за резервацией.

Она махнула рукой куда-то в сторону берега.

— А меня пустят? Смогу я войти туда?

— Нет...

— А что нужно, чтобы пустили?

— Молиться надо...

— Стучать в стену?

— Стучать... и слова повторять.

— Какие?

— «Выпусти меня отсюда» говорить надо. Много раз.

— И все?

— Все... Одна молитва... Других нет.

— А что значит — отсюда? Откуда отсюда? Из резервации?

— Почему? Нет... — она задумалась, пытаясь найти объяснение. — Вообще... отсюда. Ой, что это? — вздрогнула она, заволновалась, подошла к перилам.

Паром движется мимо катера. Прожектора на катере светят в воду. Два воспитателя стоят на борту, командуют, приказывают что-то дебилам, находящимся в лодке, рядом с катером. У дебилов в руках багры. Паром подходит ближе, и теперь видна всплывшая фигура утопленника.

Все сидят за столом, на своих местах, как обычно.

Беззвучно работает телевизор. Фрагменты выступлений рок-ансамблей сменяются быстро мелькающей рекламой вещей.

Все поглядывают на экран телевизора, молчат.

— Что это за люди у вас в подвале? — наконец прерывает молчание Ингра, обращаясь к Тине.

— Это наши гости, — не поднимая головы, отвечает Тина чуть слышно.

— Ах, вот как! Гости! — накаляется Ингра. — Из резервации, что ли? Я так понимаю... Гости...

— Так ведь праздник веточек, — заволновалась, задыхалась вдруг Тина. — Хозяин мне разрешил... Я никогда не просила... Один раз в году только...

— Вообще-то, действительно, я разрешил, — вмешался вдруг Рау. — Ненадолго. По случаю праздника.

— Очень гуманно с твоей стороны. И очень педагогично... Может быть, мне тогда уйти? На время праздника? Чтоб не мешать? — спрашивает Ингра фальшиво ласковым голосом, за которым скрывается еле сдерживаемое бешенство.

— Перестань, прошу тебя. Ничего страшного, — спокойно говорит Рау, пытаясь предотвратить скандал.

— Ну вот что, — цедит сквозь зубы Ингра, обращаясь к Тине. — Чтоб ни одна обезьяна из твоих так называемых гостей в коридор даже не выходила! Чтоб сидели в подвале — и никуда больше... И чтоб никакого стука не слышала я... И никаких воплей! Понятно тебе?!

— Я поняла... Я обещаю, — бормочет Тина. Встает, не доев. — Приятного аппетита...

Уходит. Тут же встает Дурик.

— Приятного аппетита... Все было очень... э... — он улыбается, не зная, как закончить эту сложную для него фразу, и делая при этом нелепые жесты с потугами на галантность.

— Пошел вон отсюда! — срываясь, кричит вдруг Ингра. И тут же сконфуженно добавляет, обращаясь к Максусу: — Извините.

— Похоже, сегодня будет магнитная буря... Выпей таблетку, — невозмутимо замечает Рау.

— Действительно... Голова что-то...

Ингра встает, подходит к шкафчику, ищет таблетки.

— А, кстати, вы знаете, что жрецы белую воду пьют? Во время праздника? — спрашивает Рау, светски меняя тему разговора.

— Молоко, что ли? Первый раз слышу... — удивился Макс.

— Нет, какое там молоко... Что-то вроде наркотика. Но эффект очень странный. Не знаю, как объяснить... Это когда проступают

старые надписи на пергаменте... Новые исчезают, а самые древние проступают... Называется полимест. Короче, нечто подобное... Кричат. Пророчествуют. Бывают фразы на древнегреческом, древнееврейском... Такой вот феномен... Очень забавный.

— Вы это видели?

— Что вы... Инспектор рассказывал. Он ведь живет в резервации. Насмотрелся.

Темнеет. Сквозь открытую балконную дверь видны грязно-серые гребешки волн. Вдали беззвучно вспыхивают молнии, озаряя вечернее небо.

Макс сидит на балконе, у стены, закутавшись в плед. О чем-то думает — напряженно, сосредоточенно, бормочет что-то.

...Не зажигая свет, Макс осторожно, стараясь не шуметь, находит свой плащ, надевает его. Из хозяйской спальни сквозь неплотно прикрытую дверь доносятся ругань и крики. Макс невольно прислушивается, одеваясь.

— Я видеть их не могу! Понимаешь ты или нет?! — истерично кричит Ингра. — Пусть... Нет... Пусть возвращаются в резервацию! Там им место! Все! Не хочу слышать...

— У них есть задатки, — доносится голос Рау. — Они разовьются. Они уже научились многому...

— Это не люди! Это уродство, искажение! Это животные! Понимаешь ты?! Животные!

— Да как ты смеешь?! — взрывается вдруг Рау надрывно. — Ведь это же наши дети! Твои! Да! Твои! Они же не виноваты, что родились дебилами! Ведь это наша вина! Наша, моя...

— Ты что орешь? Идиот! Спятил?! — испуганно вскрикивает Ингра и громко захлопывает дверь. — Баба ты! Тряпка! Дерьмо! — чуть слышно доносится голос Ингры из-за закрытых дверей. — Педераст вонючий! Ха! Да-да! Педераст! Тебе говорю! А то нет!..

В это время Макс уже открывает входную дверь и выходит в темноту ночи, озаренную отблесками огней факелов под окнами дома...

В полутьме осыпаются банки, другой хлам. Макс взбирается на высокий отвал из мусора.

Тихая гладь воды. Туман. Полузатопленный дом. В воде видны остатки ограды из колючей проволоки. Много шкафов и самодельных плотов на берегу. Они, как лодки, вытянуты на берег. Видны тени людей. Двигаются огоньки горящих веточек над водой. Рядом с Максом двое дебилов отталкивают шкаф-лодку от берега, гребут досками, исчезают в тумане.

Макс отталкивает от берега шкаф-лодку, гребет доской, движется вслед за исчезаю-

щими огоньками. Поблескивают в полутьме остатки зеркала на разбитой дверце шкафа.

В большом помещении первого этажа, где, вероятно, ранее был какой-то зал, теперь плескалась вода. Как островки среди этой реки, текущей сквозь открытые двери в другие комнаты, возвышались куски сгнившего пола, проросшего тонкой высокой травой. Поломанная мебель, ржавые кровати, не нужные теперь никому газовые плиты, облупленные ванны свидетельствовали о быте людей, живших здесь когда-то. Лампы, оборванные провода, разбитые телевизоры поблескивали в полутьме.

Вначале Макс плыл внутри помещения, минуя комнаты одну за другой, неслышно скользя в открытые двери.

Впереди него и позади мерцали горящие веточки плывущих. Он двигался вслед за ними. Затем неожиданно он выплыл на спокойную воду, покрывавшую большую городскую площадь. Шкаф неспешно приближался к покатым мусорным холмам на другом берегу. Он миновал фигуру из камня, сидящую в центре озера на позеленевшем от плесени толстогадом коне.

Вдали, возвышаясь над мусором, возник огромный дом, напоминающий башню. В окнах то тут, то там мелькал тусклый огонь светильников. Двигались тени людей по широкому выступу, окаймляющему дом-башню. Видны были другие — прильнувшие к стене, стучащие в стену из последних сил.

Он увидел чуть поодаль большие деревянные ворота монастыря, сотни горящих веточек и фигуры людей, склонившихся перед ними и стучавших кулаками по земле, припав к ней лицом.

Макс двигался по выступу вдоль стены, обходя фигуры людей, прижавшихся к стене и стучавших в нее кулаками.

Обогнув башню, он заметил, что здесь почти никого не было. Сквозь окна, неплотно заколоченные истлевшими досками, проникал желтый свет, как от свечей, слышалось пение, голоса, дыхание сотен людей внутри башни. Макс прильнул к доскам, заглянув в широкую щель между ними.

Он увидел часть большого помещения с проросшим высокой травой полом. Трава достигала до окон. Длинной очередью, напирая друг на друга, стояли люди с зажженными веточками в руках. Многие из стоящих рыдали в голос. В центре виднелось большое прямоугольное возвышение. К нему вели ступени. На площадке возвышения сидел маленький человек в черном одеянии, обвешанный цепями. Он вскидывал руки, как одержимый, и выкрикивал на непонятном языке какие-то фразы, затем замолкал, сгибался, раскачиваясь, и снова выкрикивал. Толпа отвечала стенаниями на каждую фразу. Гулко отзывался колокол-рельс, висящий над возвы-

шением, — другой маленький человек, сидящий за спиной провидца, равномерно бил в рельс после каждой фразы.

Однако более всего поразило Макса другое. На краю возвышения висел мужской черный костюм. Под ним виднелась рубашка, в ногах ботинки. Все это вместе сохраняло форму человека. Нескончаемой очередью тянулась вдоль возвышения толпа. Каждый хотел дотронуться до костюма, дотянуться, словно до некой святыни.

Макс двинулся дальше, вдоль стены, обходя фигуру человека, припавшего к стене и стучащего по ней из последних сил. Он посмотрел на лицо человека, и оно показалось ему знакомым. Это был Дурик.

Макс подошел к другому окну.

Сотни горящих веточек мерцали в полутьме. На стене висели большие пакеты-репродукции, как у Тины. Люди по очереди, подталкивая друг друга, вдавливая впереди стоящих, подходили к пакетам-картинкам, покрывали их поцелуями. Бесконечное бормотание, завывания, пение слышалось отовсюду, сливаясь в малопопытный многообразный гул.

Прямо возле окна, спиной к Максусу, сидел человек в черном одеянии на высоком сидении и читал. Перед ним стояла подставка-пюпитр, окаймленная горящими свечками. По бокам от него стояли еще два пюпитра и двое других, таких же чтецов повторяли его слова вслед за ним. Читающий чуть повернул голову, и Макс увидел, что это Бородатый из резервации.

— «Посмотри на себя, человек, и ужаснись, — читал жрец. — Ибо не сделала ничего природа ужаснее тебя. Ложь — вот имя твое, и лицемерие — вот поступки твои. Осквернено будет все, к чему ты прикоснешься: к живому и мертвому, к деревьям и камням, к воде, воздуху, к животным и рыбам. Все будет отравлено. Все будет искажено. Ибо похоть твоя к удовольствиям пожрет самого тебя. Ты превратил землю в свалку нечистот своей похоти и покрыл ее горами останков своих наслаждений. И, задыхаясь под грузом своей ненасытности, все равно вопиял: мало мне...»

Макс отодвинул доски окна, чтобы лучше видеть. Они заскрипели. Остатки стекла звонко сорвались вниз, на каменный подоконник.

Чтец, сидевший у окна, неожиданно оглянулся и посмотрел прямо на Макса в упор, затем закричал что-то, высоко воздев руки. Другие чтецы тоже закричали, приблизились к окну...

...Макс двигался вдоль стены монастыря, прижимаясь всем телом к ее холодной поверхности, ощущую пробуя ее, словно слепой. Он чувствовал, что врата монастыря где-то рядом, он слышал поскрипывание петель и стон дерева под напором

холодного ветра. И страх — не дойти, не успеть — дурнотой подступал к горлу. Он торопился, но ноги не слушались его, заплетались, руки отчаянно скользили по гладкой стене, тщетно пытаясь нащупать долгожданное дерево ворот. Казалось, стене не будет конца никогда. Такой знакомый ему гул пустоты проникал отовсюду. И тогда от собственного бессилия он неожиданно для себя заплакал, прижавшись к холодной поверхности.

...Рядом с ним чернели фигуры людей, стучавших в стену монастыря. Никто не обращал на него внимания.

Большая багровая луна светит над морем, багрово-красными кажутся волны, накатывающиеся в темноте на берег. У воды, на холме из мусора сидит Макс, смотрит на волны.

Он чуть поворачивает голову, прислушивается к чему-то.

— Бред, бред какой-то... Болезнь, — бормочет он.

Видна грязь на его плаще, следы падений.

...Открывается наружная дверь. Макс, стараясь не шуметь, закрывает ее за собой. Снимает плащ. Замечает на нем грязь и царапины. Стирает платком грязь. Неожиданно зажигается свет.

Ингра стоит в халате, смотрит на него очень странно, видно, что она удивлена.

— Вот, — говорит Макс растерянно, — плащ испачкал...

— Оставьте, — говорит Ингра. — Служанка утром почистит.

— Да? Спасибо.

Макс не знает, куда деть грязный платок, оглядывается, затем кладет его на полочку возле вешалки. Ингра гасит свет, не уходит, ждет, когда Макс подойдет к ней.

— Вы что, с ума сошли? — шепчет она, оглядываясь на лестницу, ведущую к подвалу. — Зачем вы туда ходили? Не понимаете, чем это может для вас кончиться?

— Чем? — безразлично спрашивает Макс. — Чем вообще все кончается?

— Ну-ну... — буркнула она, не находя, что ответить. Повернулась, молча ушла в темноту.

Утро. Сильный ветер несет пыль, обрывки бумаг со свалки. Рау меняет фильтры в ящиках для замеров. Ингра помогает ему.

Все сидят за столом — как обычно. Макс неестественно оживлен, почти весел. Ест с аппетитом.

— Нет, действительно, наваждение какое-то, — говорит Макс. — У меня отпуск всего четыре недели. Одна, считайте, прошла.

И где? Нет... — он неожиданно смеется. — Это же стыдно сказать... На свалке! Вы поймите меня правильно, у вас очень мило... Я в другом смысле. То, что вокруг! Это же... — Он опять смеется. — Это уму не постижимо... — Какая-то торопливость чувствуется в нем, неестественность, почти истеричность.

Тина с ужасом смотрит на него, такое ощущение, что с ней вот-вот приключится истерика.

Рау с пониманием кивает.

Ингра с интересом и недоверием смотрит на Макса, ее смущает излишняя веселость постояльца.

— Вы абсолютно правы, — соглашается Рау. — Конечно, нам будет грустно, что вы уедете... Но, с другой стороны, я понимаю... Я, честно говоря, даже был удивлен вначале... Нормальный, здоровый мужчина, в расцвете лет, как говорится, без комплексов — и вдруг такие фантазии: музей и все прочее, какая-то мистика... Рисковать жизнью — ради экскурсии, в сущности...

— Вот именно, ради экскурсии, — подхватывает Макс. — Просто смешно. Потратить отпуск и погулять на свалке, — снова смеется Макс. — Кому сказать — не поверят... Я представляю лица моих друзей в городе...

Тина вдруг вскакивает и, захлебываясь рыданиями, убегает из комнаты.

— Это еще что такое... — строго, но злобно говорит ей вслед Ингра и добавляет игриво, но желчно: — По-моему, кое-кто к вам явно равнодушен. Я бы сказала, с дебильной непосредственностью.

— Приятного аппетита, — растерянно и, как всегда, нехстати, говорит Дурик, направляясь к дверям.

— Приятного, да... — кивает Ингра с деланной серьезностью. — Очень приятного...

Когда Дурик скрывается за дверью, она прыскает со смеху.

Рау и Макс тоже смеются.

— Плоды воспитания, — сквозь смех говорит Рау. — Что вы хотите...

Макс идет быстро, преодолевая мусорные холмы. Обходя очередной холм, он на минуту останавливается, выбирая дорогу получше, и неожиданно слышит чье-то срывающееся дыхание. Оглядывается.

Спотыкаясь, сбиваясь на неровной дороге, его догоняет Тина. Она подбегает, останавливается, с трудом переводя дыхание.

— Вы уезжаете? Да? Уезжаете? — плача, выдыхает она и вдруг падает перед ним на колени, наземь, ползет к его ботинкам, будто хочет поцеловать их, бьет по земле кулаками, слоню в молитве.

— Нельзя это! Нельзя!!! Умоляю вас! Ну, пожалуйста! Ведь кроме вас, никого нет! Никого! Я сказала уже! Сказала, что вы

пойдете... в музей! Все знают... Все надеются... Нельзя так... Как можно...

— Кто знает? Кому ты сказала?

— Жрецам... Жрецы знают...

— Какого черта?! Кто просил тебя это делать...

— Я виновата... Я... Бейте меня! Ну, ударьте же... Бейте, но только не уходите! Ну нет же сил никаких жить.. Ведь кроме вас никого нет!!! Нету...

— Что ты несешь? При чем здесь я? Встань! О господи, да что же это такое. — Макс лихорадочно озирается вокруг. — Ну, встань, я прошу тебя!

— А вы останетесь? — в нелепой надежде Тина хватает край его плаща, торопливо покрывает его поцелуями.

— Нет! Я уезжаю! — Макс брезгливо одергивает плащ, резко отступает назад. — У-ез-жаю, — раздельно произносит он. — Мне надо ехать. Нет времени, понимаешь? У меня дела, в городе...

Тина начинает выть, как по мертвому, высоко запрокидывая голову, раскачиваясь, падая в поклонах на землю и продолжая стучать по земле кулаками со всей силы.

— А, черт! — Макс медленно отступает за холм, спотыкаясь о мелкий хлам, затем резко поворачивается и идет прочь.

Тина продолжает биться о землю.

Через всю комнату висят веревки с бельем. Толстая женщина развешивает белье — прищепки во рту, в руках таз. Двое детей — мальчик с большой головой и другой, постарше, — возятся возле буфета, открывают ящики, копаются в беспорядочно лежащих там предметах. На буфете сидит кошка. Буфет старый, наверху лежат кружевные дорожки в стиле 30—40-х годов.

За буфетом стоит телевизор. Возле него, уткнувшись в экран, сидит на табуретке толстый, с широким стриженным затылком человек. Он в майке, поверху — подтяжки, брюки униформированного вида, похожи на галифе. Узкое оконце за телевизором. В окне горит огонь.

— Ну а что вам мусоровоз? — Хозяин накрывает на стол, наливает сок Макс, кладет салфетки. — Ну доедете до конца свалки, а дальше? Катер же все равно не ходит. Все катера ушли в док.

— Как ушли? Почему? — спрашивает Макс.

— Так ведь отлив... Сегодня-завтра... Это на семь дней, не меньше... Проторчите неделю на краю свалки. Там и жить-то негде... Никакого жилья нет. А здесь у нас пансион, очень недорого... Если на всю неделю — то скидка... Хотите посмотреть комнату?

— Потом, — говорит Макс, размышляя о чем-то. — Какая теперь разница...

Хозяин уходит. Макс принимается за еду. Старик с книгой подходит к нему, садится напротив, смотрит на Макса, кивает, улыбается, словно соглашается с чем-то.

— Читаю, читаю,— вздыхает Старик.— Ничего не понятно... Да... Всю жизнь читаю... Макс молчит, ест.

— Долго ты будешь морочить всем голову? — незлобиво кричит Старик на ухо женщины, проходя мимо него. В руках у нее дымящийся таз с белым.

— А...— отмахивается от нее Старик.— Шикалка... тоже мне...— Старик вертит в руках книгу, кладет ее на стол, пододвигает Макс.— Погадай мне. Только глаза закрой...

Макс, чуть улыбнувшись, берет книгу, закрывает глаза, открывает ее наугад, показывает Старiku пальцем строку.

Тот поднимает с груди очки, висящие на нитке, внимательно вглядывается в раскрытую страницу, читает:

— «Любовь познали мы в том, что он положил за нас душу свою; и мы должны полагать души свои за братьев»,— произносит Старик и недоуменно поднимает глаза на Макса:— Ты читал уже это... Я помню.

— Когда? — удивляется Макс, продолжая есть, затем, понимая, что Старик не слышит, качает отрицательно головой.

— Странно...— вздыхает Старик и снова придвигает книгу.— Ну, еще погадай... Другое что-нибудь... А то — непонятно все...

Макс снова раскрывает книгу.

— «Знаю, господи,— читает Старик,— что не в воле человека путь его, что не во власти идущего давать направление стопам своим...»

Старик опустил книгу, задумался. Макс тоже задумался, перестал есть.

— Как это понимать? А? — вздохнул Старик.— Совсем не понятно... Ты можешь мне объяснить?

Макс медленно качает головой. Куда-то далеко, мимо Старика, устремлены его глаза. В его зрачках отражается пламя, горящее в окнах.

...Огонь полыхает в узких продолговатых окнах. Комната небольшая, убогая. Стены с каким-то ржавым оттенком, кровать, стол, стул, шкаф. Все словно бы поражено какой-то рыжей ржавчиной. Голая лампа горит рыжим светом, свисая низко с потолка. У стены стоит чемодан Макса.

Макс сидит на стуле неподвижно — спина неестественно ровная, почти прямая, руки лежат на коленях, взгляд неживой, устремленный прямо перед собой.

...Тумбочка. Дешевое зеркало. В нем отражается пламя от окон. Стена с рыжими подтеками. Рука человека, скользящая по стене. Его лицо. Теперь видно, что это Макс...

...Он двигался вдоль стены, прижимаясь всем телом к ее гладкой поверхности, ощущая

пробуя ее, словно идущий по краю скалы. Он чувствовал пустоту где-то рядом, он слышал ее дыхание. И страх высоты дурнотой подступал к горлу.

Пятясь, он начал двигаться от края прилегающей его пропасти, но ноги не слушались его, заплетались, руки отчаянно скользили по гладкой стене, тщетно пытаясь ухватиться за что-нибудь. И тогда от собственного бессилия, от ужаса высоты, истязавшего его сознание, он неожиданно для себя заплакал, прижавшись к холодной стене.

Открывает дверь комнаты Хозяйка с подносом, ставит его на столик возле двери.

— Ваш кофе,— говорит она машинально. Подходит ближе.— Что с вами? Вам плохо?..

Макс сидит на полу. Слезы текут по его щекам, рукой он держится за горло, будто его душат спазмы.

— Я... я...— вырывается у него.

— Что? Что вам дать? Что, сердце? — испуганно кричит женщина, как глухому.— Не слышу!

— Тоска...— сквозь рыдания говорит он.— Тоска такая... не могу... Если все предсказано — значит, это тюрьма... Понимаете? Тюрьма! Ничего нет... Марионетки... Все предопределено...

Хозяйка торопливо спускается по лестнице. Открывает двери в прихожей, заглядывает в комнаты — ищет кого-то. При этом она откидывает в стороны развешанное белье.

— О, о... разбегалась... истеричка,— замечает ей вслед толстая женщина, развешивающая белье, не вынимая изо рта прищепок.

Хозяин и полуодетый человек — у телевизора, «болеют». Смотрят футбольный матч.

— Он сумасшедший... говорю тебе,— истерично шепчет женщина, оглядываясь, словно постоялец может войти.— Он из дебилов!

Она тербит Хозяина за рукав, стараясь привлечь его внимание, целиком поглощенное происходящим на экране телевизора.

— Ну что? Ну что ты пристала ко мне? — огрызается он.

— Как что? Сообщить надо, в инспекцию. Он дебил. Это точно. Беглый! Я же вижу... Ты что, не слушаешь радио? Они убегают из резервации, достают документы... как бы нормальные... Живут в городах, а на самом деле — дебилы...

— Перестаны! Ну что ты несешь? Стодно слушать,— раздражается Хозяин.

— Что перестань? Сообщить надо?! Вот что...

— Хорошо! — прикрикивает на нее Хозяин.— Сообщу. Все! Ты только не лезь, куда не спрашивают! — И, повернувшись снова к телевизору, добавляет беззлобно:— Тоже мне, психиатр выискался...

Старая, захламленная ванная комната.

Ржавый умывальник, изъеденная амальгама зеркала. Ржавая детская ванночка висит на стене. Тусклая лампа. В маленьком оконце сбоку виден огонь.

Макс стоит над умывальником, опустив голову под струю воды. Поднимает голову, распрямляется тяжело. Вода стекает с волос на одежду. Стоит, приходя в себя, тяжело дышит, как после бега. Гасит свет.

...Макс идет вдоль полутемного, захлавленного коридора. Щелкает выключателями — они не работают. Открывает дверь, заглядывает...

Небольшая комната. Сквозь разбитые стекла окон до пола спускаются горы банок, другого хлама. За окнами неба не видно — мусор навален выше окон. В простенке висит на стене пакет-репродукция, под ним горит лампадка. Возле стены на коленях стоит Старик и бормочет что-то, раскачиваясь.

Макс входит в комнату, смотрит на Старика.

— Огонь низведу на землю, сказал ты... Что это значит? — шепчет Старик. — Ты предсказал нам конец мира, но не сказал, почему... Разве у нас есть выбор? Ведь сказано: знаю, господа, что не в воле человека путь его, что не во власти идущего давать направления стопам своим...

Он замолк, задумался. Долго смотрел перед собой в пол, пока не увидел тень Макса рядом с собой. Старик повернул голову, посмотрел на Макса, словно пытаюсь вспомнить, кто это.

Вечер. Черные волны набегают на берег, ворочают мусор у кромки прибоа. Макс сидит на берегу, смотрит на волны. Методично бросает камешки в воду.

В темноте ярко пылают факелы под окнами метеостанции. Доносится музыка, голоса.

Макс подходит к дверям, звонит. Открывается дверь. На пороге стоит Ингра. Она нарядно одета, в руке бокал. Увидев Макса, начинает смеяться.

— Нет, это фантастика! Я только что говорила...

Макс входит в дом.

Макс снимает плащ, поворачивается к Ингре.

— Я знала, что вы вернетесь, — интимно произносит она, приближаясь к нему. — Я очень рада... Правда...

Пьяно качнувшись, она целует его.

— Идемте, ну, что вы стоите? У нас гости. Сегодня мы будем пить! Сегодня все пьют! Ну?!

На полную мощность гремит телевизор: программа «ретро» — рок-н-ролл.

Гостей четверо: Инспектор и Воспитатель

со своими женами. Все сильно пьяны. Танцуют. Говорят одновременно, друг друга перебивают, никто никого не слышит из-за гремящей музыки. Мигает светоустановка. Окна ярко пылают пламенем.

Жена Инспектора чокается с Максом.

— Шикарный ансамбль, настоящее «ретро», вам нравится? — пристает она к Максусу пританцовывая. — Называется «Безумные старухи», не слышали? Что? — она смеется — ...Вообще я заметила, во время религиозных праздников передают шикарные программы, причем всю ночь, до утра... Вы танцуете? Что?

Ингра забирает Макса, отводит в сторону. На телеэкране — джаз-ансамбль «Безумные старухи» бацает рок-н-ролл «Аллилуйя».

Инспектор заталкивает Рау в библиотеку, плотно закрывает за собой дверь.

— Не зажигайте свет, — заговорщицки шепчет Инспектор. — Как бы слушаем музыку. Понимаете?

Инспектор подмигивает Рау, включает наугад маленький телевизор.

— Как бы балуемся, — хихикает Инспектор и подмигивает: — Вроде как голубые...

— Кто голубые? Что вы болтаете? — ошеломленно шепчет в ответ Рау.

— Ну ладно. Заладил! — грубо вдруг обрывает Инспектор. — Конспирация. Понимать надо, не новичок. Где бумага?

— В столе... Но послушайте, просто же неудобно.. И вообще, — лепечет Рау.

— Тихо! — перебивает Инспектор, прислушивается. — Мне документ нужен на вашего постояльца. Пишите...

— Да я ничего не знаю о нем...

— Значит, так, — продолжает Инспектор. — Пишите. Информатору стало известно... или нет. Лучше так. В разговоре со мной указанный человек сказал следующее... Что он сказал? Ну и так далее... Число. Подпись. В смысле — псевдоним... Как обычно...

— Да что за спешка!.. Завтра встретимся, напишу, — мнетя Рау.

Ему явно не хочется писать донос. Однако он садится за стол, берет ручку, но тут же откладывает ее.

— Ей-богу, смешно... — играя под «дурачка», восклицает Рау. — Он просто турист, говорю же вам... Ничего особенного...

— Вы это бросьте! Что я, не знаю, что ли? — наливается злобой Инспектор. — Все туристы в Швейцарию едут, в Альпы... Что это за туризм такой — на свалку ехать? А? Где это видано? Турист, тоже мне... А, может, он как бы верующий? Не говорил?

— Да какой он вам верующий... Нормальный человек... Спортсмен, кстати... Давно занимается туризмом...

— Туризмом... — презирает Инспектор. — Наивные разговоры! Не понимаете,

это же зараза такая — религия! Вроде, нормальный, и все, как у всех, а вдруг — как болезнь, это как оборотень... Страшное дело... Был человек нормальный и вдруг на твоих глазах превращается в дебила...

— При чем тут дебилы? Он абсолютно психически здоров... Уверю вас...

— Как при чем? Есть дебилы, которые от природы, а есть другие, которые были нормальными и потом стали дебилами, на почве религии... У меня в резервации много таких. Насмотрелся. Можете мне поверить...

— Так что же,— придвигая бумагу; но все еще колеблясь, говорит Рау,— у него теперь неприятности будут?

— Зачем?— ласково возражает Инспектор.— Просто понаблюдают за ним... Негласно, так сказать... в профилактических целях... Профилактика как бы... Будет здоров — прекрасно. А если нет? А если он заболит, а если дебилом станет? Это же очень опасно для общества. Это — как эпидемия... Пишите, пишите... Не отвлекайтесь...

В гостиной продолжают танцы. Воспитатель показывает чудеса фокусничества: жонглирует предметами во время танца, удерживает на лбу бокал с вином, затем, не дотрагиваясь руками, выпивает его.

Визжат от восторга дамы. Инспектор свистит пронзительно.

Жена Инспектора замечает Рау, подходит к нему.

— Куда вы пропали?— игриво говорит она, чокаясь и при этом подмигивая.— Что за наклонности? Я хочу с вами потанцевать...

— Спать захотелось,— доверительно сообщает Рау,— поспал немного...

— А вы знаете, есть такая теория, что человек всю жизнь спит, да, просто спит, и все,— поверяет как большую тайну жена Инспектора.— Так называемое бодрствование — тот же сон, только менее интенсивный.

— Давайте танцевать,— жена Воспитателя уводит Рау в гущу танцующих.

На экране телевизора бесчинствуют «Безумные старухи».

...Ингра закрывает за собой дверь. Стоит, хихикает. У нее в руках бутылка вина, два бокала.

— У-у, тьма вавилонская,— шепчет она.

В комнате полутьма, свет выключен, только багровая луна светит сквозь балконную дверь.

— Все напились, как свиньи... Последняя бутылка осталась,— говорит она, подходя к кушетке, на которой лежит, не раздеваясь, Макс.

— Уберегла... Только для нас... Выпьем? Она ставит бутылку и бокалы на столик, рядом с кушеткой. Сама наливает. Стоит.

Ждет.

— Я не хочу, спасибо,— негромко говорит Макс, продолжая лежать.

— Да? Вот как?— Ингра вызывающе смотрит на Макса, стоит, чуть покачиваясь.— А что это мы такие скромненькие, такие стеснительные?

— Голова что-то болит. Извините, что я лежу,— спокойно отвечает Макс.

— Головка бо-бо,— комментирует Ингра.— Какой бука... А я специально чулочко надела, новые... Покрасоваться... Вот... — Она демонстративно задирает юбку, чуть поворачиваясь туда-сюда.— Ну как? Нравится?

Макс молчит.

— Если не нравится, могу снять. Все, что не нравится,— добавляет она, жеманно хихикая, звонко щелкнув резинкой.

Макс продолжает молчать. И это начинает раздражать Ингру.

— Какой святоша, однако... — замечает она ехидно, берет бокал, садится на кушетку.— Мог бы подвинуться, между прочим...

— Извините,— Макс вжимается в стену.

— А я знаю, кто ты... — вдруг неприятно говорит Ингра, наклоняя к нему лицо.— Знаю... Женщины все чувствуют. Никакой ты не турист. Ты — Моисей... Моисей от дебилов!— вдруг быстро шепчет она и, отшатнувшись, разражается громким смехом.— От дебилов! А что?.. Я это вчера поняла, когда ты под утро приперся. Хорош ты был вчера...

— Бросьте ёрничать,— незлобиво говорит Макс.— Какой еще Моисей...

— Моисей, Моисей,— настаивает она дразнясь.— Тот самый, библейский пророк... Только я тебе вот что скажу,— добавляет она серьезно.— Не делай этого. Не надо.

— Что не надо?

— Все... Все не надо. Не имеет смысла. Не ты первый, не ты последний... Выпьем?

Она подняла бокал и большими глотками осушила его.

— Ну, что ты не пьешь? Что с тобой?

Она нежно коснулась его лица.

— Тебе страшно? Это бывает. Пройдет... Все проходит...

Она поцеловала его. Внимательно, изучающе посмотрела ему в глаза, отвернулась.

— Эх ты... смятоша,— вздохнула она горестно.— Ни черта ты не понимаешь... Ни черта! Ни черта!— вдруг зарыдала она, застонала.— Жизнь кончена! А любви нет! Не было... Любви хочется! Понимаешь ты?! Любви! Что ты знаешь... Ты...

Она схватила его за грудки, подняла, притянула к себе.

— Ну поцелуй же меня... Ну что же ты...

Она начала истерично покрывать его лицо поцелуями, притягивая к себе. Он неловко обнял ее, и оба упали на пол.

Ее рука цепко сжимает его волосы, пальцы чуть разжимаются, словно во сне, замедленно. Ярко блестит браслет на ее руке. Свет становится все ярче и ярче...

Его взгляд снова летел над водой. Волны. Бесконечность. Пустыня. Беззвучие.

...Горит газовая плита. Над ней висят ноги. Рядом входная дверь. Она открыта на лестничную площадку. Входят трое мужчин с носилками. Что-то кричат, жестикулируют. Возле плиты — толстая женщина. Она машет на вошедших полотенцем. Кричит беззвучно...

...Треснув, осыпается в комнату оконное стекло. Видны локти, спины — давка. Сотни людей движутся куда-то, напирают друг на друга, выдавливая локтями стекла первого этажа.

...Макс мучительно ползет по усыпанному стеклом полу комнаты, судорожно цепляясь и волоча бессильные ноги...

...Семья эмигрантов сидит за столом, обедает.

Макс ползет мимо них. Хозяйка кричит на него, но звука ее голоса он не слышит. Беззвучие.

Макс видит впереди рельсы. Они идут от дверей через всю комнату.

У телевизора, спиной, сидит полуодетый толстый человек. Его голова, затылок странно искажены, словно разрублены. Работает телевизор перед ним. Рядом стоит Старик в белье, кивает, кивает...

Мальчик с большой головой и другой, постарше, берут из буфета какой-то предмет, подкладывают на рельсы.

Макс пытается отползти от рельс, отталкивается, понимает с ужасом, что ползет между рельсами.

Дети что-то кричат ему, показывая на дверь.

Взрослые за столом тоже кричат ему, предупреждают.

Макс отползает, отталкивается — все бесполезно.

Рядом с рельсами стоит кровать.

Макс ползет мимо нее.

Толстая женщина, голая, сидит к нему спиной на кровати, расчесывает волосы. Она оглядывается, смеется. Встает, подходит к буфету.

Дверь открывается. Грязный разбитый вагон въезжает в комнату.

Сидящие за столом никак не реагируют на это. Толстая женщина развешивает белье, во рту — прищепки.

...Буфер вагона уже возле Макса, медленно приближается.

Макс судорожно отталкивается, отползает, но все время остается между рельсами...

... — А? Что? — Макс резко поворачивает голову, просыпаясь.

Он слышит непрекращающийся, истеричный стук в дверь. Встает, на ходу застегивая рубашку, идет к двери.

— Проснитесь! — доносится сквозь стук срывающийся голос Тины.

Макс резко открывает дверь.

— Свершилось! — кричит ему в лицо Тина, рыдая, царапая себе лицо. — Свершилось! А-а-а...

Макс закрывает дверь, бросается к балкону.

Багровая луна освещает глубокие овраги, промоины, какие-то предметы, лежащие на дне, в небольших лужах. Моря нет. Сильный ветер несет пыль над поверхностью обнажившегося дна. Где-то отдаленно звенит не переставая колокол, гудит толпа. Макс стоит, завороченно глядя на эту ирреальную картину.

— Который час? — доносится голос Ингры. — Чего все орут?

— Что? — Макс оборачивается, смотрит на Ингру и вдруг стремительно бросается к чемодану, начинает собираться.

Ингра сидит голая на кушетке, собирает разбросанное белье, одевается.

— У тебя есть таблетки от головной боли? — стонет она. — Голова болит, сил никаких нет!

Макс молча собирается, не отвечает.

Расталкивая истерично орущих женщин, Инспектор и Рау бегут по узкой лестнице наверх, на чердак. Здесь небольшое окно.

— А, черт, — шипит Инспектор, вглядываясь в происходящее внизу, возле дома.

Там напирает, беснуется огромная толпа дебилов из резервации. Видны сотни горящих веточек. Далеко, на свалке, тоже мелькают огни, постепенно приближаясь к дому. Толпа угрожающе растет.

— Надо выяснить, чего они хотят? — шепчет Рау. — Почему они здесь?

Инспектор достает пистолет.

— Не сходите с ума! Вы что?! — хватает его за руку Рау. — Ну, убьете вы десять, двадцать, а их — тысячи! Они...

— Заткнешься ты или нет! — рывкает Инспектор, вырывая руку.

Ударом рукоятки он разбивает стекло, сложив ладони рупором, кричит привычным для него «мегафонным» голосом:

— Отойдите от дома! Всем отойти от дома! Буду стрелять!..

Подбегает, запыхавшись, Воспитатель, на ходу отмахиваясь от жены Инспектора.

— Я дозволился, — выдыхает он. — В резервации то же самое... Это бунт. Они вызывают войска...

— Отойдите от дома! — продолжает кри-

чать Инспектор, мельком взглянув на Воспитателя.— Всем отойти от дома!

Вдруг толпа внизу сдвинулась, закричала, завывала, приближаясь к дому. Многие упали на колени.

— Что это?— прошептал в ужасе Рау, прильнув к окну. И вдруг закричал не своим голосом: — Он открыл дверь! Входную дверь!

Все трое бросились вниз по лестнице.

Макс стоял на пороге дома. Он был уже одет по-походному: термосы за спиной, сбоку сумка с фотоаппаратом.

Перед ним, медленно приближаясь к нему, дышала толпа, мелькая сотнями горящих веточек. Многие ползли на коленях, рыдая, раскачиваясь, царапая себе лицо.

Макс стоял, словно окаменев, не в силах сдвинуться с места. Дверь за его спиной была раскрыта настежь в прихожую.

Макс видел, как постепенно сужается кольцо людей вокруг него, они неумолимо приближались, но он стоял, как во сне, не в силах пошевелиться, только чуть отступая назад. Вот совсем близко от себя он увидел рыдающие лица. Казалось, они оплакивали его. Неожиданно толпа перед ним расступилась, и он увидел маленького человека, похожего на ребенка. В черном одеянии до пят, обвешанного цепями, среди которых выделялся большой железный крест. В руках у него был черный, с золотой инкрустацией кувшин с какой-то белой жидкостью, плескавшей о края широкой горловины. Макс узнал человека. Это был жрец-прорицатель.

Он подошел к Максусу, протянул кувшин и сурово сказал:

— Пей!

Толпа притихла.

— Пей!— повторил он своим надрывным голосом, видя нерешительность Макса.

— Нет,— прошептал Макс и отступил назад, затем выкрикнул:— Нельзя это пить! Нельзя! Не буду! Нет...

Кольцо людей сжалось вокруг Макса. Его схватили, повалили на землю, придавили.

— Нет! Нельзя это пить!— хрипел он, вырываясь, но все было бесполезно.

Огромный бритоголовый человек, придавив его коленом к земле, влил ему в рот содержимое кувшина. Белая жидкость заливала ему лицо, глаза. Бритоголовый отпустил Макса, отскочил в сторону. Все расступилось.

Что-то странное происходило с Максом. Слово в приступе удушья, он царапал свое горло, судороги сотрясали его тело. Он бился на земле, не в силах встать. Неожиданно он захрипел предсмертно, откинулся на землю. Затих. Зрачки его полуоткрытых глаз закатились.

— Свершилось!— воскликнул жрец.— Свершилось!

Воплями и стенаниями отозвалась толпа, двинувшись к лежащему.

В голос рыдала Тина, сжимаемая толпой.

Макс лежал на большом деревянном щите, похожем на старую оторванную дверь. Десятки рук подняли щит над толпой и понесли его.

Вдоль строений, образуя узкий проход, стояли сотни людей с горящими веточками в руках. Кричали, стонали, рыдали.

Щит с телом Макса лежал теперь на тележке с высокими колесами, и несколько десятков рук стремительно катили ее.

Дорога была неровной, тележка вздрагивала на ухабах. Тело Макса бессильно тряслось. Станным фанатизмом и каким-то отчаянием были полны лица людей, толкавших тележку.

Рыдали, как над мертвым, женщины в толпе, мимо которой проезжала тележка.

Впереди возникла высокая черная сплошная стена без окон. Светились горящими веточками большие двери-ворота входа.

Над толпой плыл, передаваемый с рук на руки, щит с телом Макса. Его голова чуть покачивалась над морем рук, огоньков, воплей.

Щит с телом Макса проплыл в двери-ворота, передаваемый куда-то дальше, в глубь помещения. Ворота начали закрываться.

Охнула, завывала толпа, сотрясая ударами рук закрывшиеся ворота, стену вокруг.

Мелькание сотен горящих веточек слилось в огненный круговорот. Огонь слился в одно полыхающее размытое пятно — и оказался тонким фитильком горячей свечи.

Тонкий фитилек горячей свечи находился рядом с его лицом, за ним угадывалось движение теней, но людей не было видно. Он лежал на возвышении, и чьи-то руки, окуная тряпку в холодную воду, скользили вдоль его обнаженного тела.

Было очень тихо. Только доносились ступание сотен людей внутри помещения и удары тысяч рук в стены снаружи.

Он увидел вокруг себя в полутьме сотни лиц, стоявших, напивавших друг на друга, людей, огоньки веточек и свечек в их руках. Неподалеку от себя он увидел лицо Дурика, проталкивающегося в толпе.

Он увидел вдали высокие окна с решетками, но без стекол. Там дышала огромная толпа, мерцали огни. Все лезли через головы друг друга, пытаясь увидеть хоть краем глаза происходящее внутри.

Он увидел жрецов, стоящих над ним у своих подставок-пюпитров, и услышал их голоса:

— «Имя тебе — Предсказанный, и забудь

все прошлые имена свои, ибо для мира ты уже умер,— читал первый жрец монотонно.— Так было сказано ему, и он слышал эти слова, хотя и был уже умерший. Но покойником не был он. Ибо сказано: ототру накипь времени с чела его и открою помышления сердца его сокровенные. И будет он как бы умерший, пока не протрубят трубы, призвавшие его...»

Макс вдруг перестал слышать жреца и увидел толпу у стен монастыря, и среди многих — Тину. Ее сдавливало напором людей, вжимало в спины впереди стоящих, она задышалась, выкрикивая что-то. Кто-то, затаптываемый, кричал под ногами толпы...

Снова донесся до его слуха голос жреца, и снова увидел он происходящее в помещении — как одевают его бессильное тело, как украшают возвышение горящими веточками.

Странное одеяние оказалось на нем: не по размеру узкий, ветхий, но, видимо, тщательно вычищенный и отутюженный черный костюм, белая рубашка, застегнутая на пуговицу у горла, большие ботинки без шнурков.

— «И было пророчество о том, и да свершится сказанное в пророчестве,— продолжал читать жрец, и остальные жрецы повторяли за ним слова чтения.— Ибо сказано: обнажится дно моря на семь дней и откроет оно тайны прошлого. И откроется путь от сего времени к началу мира... И откроется город древний и великие тайны его. И откроется холм возле города, на котором стоит святыня непреходящая. И взошедший на холм будет услышан. Имя же тому, кто взойдет — Предсказанный».

Вздох пронесся в толпе и затих.

— «И еще было пророчество о том,— начал читать второй жрец,— и да свершится сказанное в пророчестве. Ибо сказано: и будет вам дан в последние дни человек, просящий за вас. И будет вам послан проситель последний за души ваши. И будет просящий за вас просить перед престолом истины на холме. И будет просьба его не по воле его, а по мольбам и стенаниям вашим. И будет он — как не знающий тайны своей и не ведающий пути своего. И будет он слеп и глух, как все живущие в последние дни, но будет дано ему чувствовать крылья ангела своего, ибо имя ангела его есть скорбь. И да свершится пророчество, ибо сказано: в последние дни придет проситель за вас и будет дана ему великая скорбь от рождения и кроме великой скорби не дано ничего: ни дар пророчества, ни целение наложением рук, ни ясновидение, ни говорение языками ангельскими. Ничего. Но да будет услышан он по молитвам отчаявшихся. Ибо просящий за вас — есть проситель последний и других уже на дано. Аминь...»

— Господи, выпусти нас отсюда!— воск-

ликнули жрецы, высоко воздев руки.

И тут же загудели волынки-трубы в глубине помещения, завывла, застонала толпа внутри, как эхом отозвалась толпа снаружи.

Гулко начал звучать рельс-колокол.

Мимо возвышения, где недвижно лежал Макс, двинулись с двух сторон в бесконечной чередой прощания сотни людей. Задыхаясь от давки, каждый хотел успеть дотронуться до одежды или руки Предсказанного, каждый хотел успеть прошептать молитву-прошение: «Выпусти нас отсюда».

— Выпусти, выпусти меня... И меня выпусти,— доносились отовсюду шепот, крик, рыдания.

Лицо Макса чуть вздрагивало от прикосновений рук, но было неподвижно как каменное. Глаза были почти открыты, но зрачков не было видно — только белки глаз. И вдруг из белеющих глазниц по окаменевшим щекам потекли слезы.

— Встань и иди!— раздался над ним вопль жреца.

Вскинув руки, царапая свое лицо, содрогаясь и раскачиваясь, жрец трижды повторил свое восклицание.

С воплями ужаса откатилась толпа от ворот. Впереди шли жрецы, за ними — Предсказанный. Он шел медленно, выставив вперед руки, как это делают слепые. Зрачки его глаз закатились, и ужасом непостижимой тайны белели на потемневшем лице белки глаз. По бокам от него тоже шли жрецы, чуть поддерживая его за локти, словно учившегося ходить.

С криками расступилась толпа, освобождая дорогу, ведущую к морю.

Вода еще оставалась на бесконечной равнине дна, чуть достигая колен Макса. Толпа стояла по краю мелководья. Ровной чертой мерцали сотни огоньков.

А далеко впереди, все дальше и дальше уходя по мелководью, двигалась черной тенью фигура Предсказанного. Вот она показалась совсем вдали и пропала...

Злой ураганный ветер толкал в спину одинокую фигуру идущего человека. Утро было серое, пасмурное. Бесконечная вязкая равнина, покрытая гниющими водорослями, растилалась пред ним. Одинокими холмами возвышались на ней остовы кораблей, вросших наполовину в тяжелый ил дна. Человек спотыкался, падал, вставал и снова упрямо шел. Лицо его покрылось многодневной щетиной, волосы сбились, перемешавшись с грязью, руки от частых падений были разодраны в кровь. Но он непреклонно двигался вперед. Молнии сверкали в низком небе.

И когда гремел гром, человек бормотал полувнятно:

— Я иду, иду, господи... Ну что ты... Я все помню... Я иду...

...Он решил отдохнуть в руинах какого-то древнего города, попавшегося ему на пути. Он пристроился возле развалин и сидел, тяжело дыша. Темнело. Полуживая рыба, которую он собрал по пути себе на ужин, еще шевелилась, дико тараща свои водянистые глаза и раздувая жабры. Он ел медленно сырую рыбу и оглядывался вокруг. Он видел амфоры, статуи среди истертых временем стен. За ними возвышался полуразрушенный остов корабля. Скелеты лежали, перемешавшись со слитками золота и драгоценными камнями. Везде было много разнообразных монет. Он поднял одну из них. На него смотрело с нее безвестное лицо в императорской короне. Мечи, наконечники стрел и копий чернели на плитах строения. Среди них билась мелкая рыба.

Скелеты жителей этого города, бог весть когда погрузившегося на дно моря, выступали сквозь ил.

Человек тяжело прикрыл глаза и произнес вслух, словно припоминая что-то, повторяя чью-то интонацию и чей-то голос:

— О царь богов Вишну, сказал Брами... Я видел, как все исчезало вновь и вновь... В конце каждого круговорота... Все возвращается в бездонную, дикую бесконечность океана...

Человек замолчал, задумался, открыв глаза, будто проснулся. Ветер трепал его посеревшие волосы. Он встал и, тяжело переставляя ноги, пошел к остову корабля, пытаясь найти там место, закрытое от пронизывающего ветра.

Пристроившись в разломе каюты, он лег, подтянув ноги, положив голову на влажный истлевший пол, и смотрел на предметы, близко лежавшие возле лица: посуду, монеты, штурманские компасы и песочные часы. Он видел картинку на стене под грязным стеклом — чуть различные фигуры среди прекрасных роц и холмов. Где-то вдали прогремел гром и, уже засыпая, человек пробормотал устало:

— Я иду, Господи... Я помню... Мне нужно... немного поспать...

Он проснулся глубокой ночью от беспрерывно гремящего грома.

— Темно еще, — пробормотал человек, растирая ладонями лицо. — Зачем ты разбудил меня?.. Ведь еще ночь...

Окончательно проснувшись, он прислушался и вздрогнул. Явственно шумела в темноте прибывающая вода.

Он наощупь двинулся вдоль стены каюты и, выйдя из корабля, погрузился тут же по пояс

в холодную воду. Одна за другой вспыхивали молнии, и потому он мог видеть и различать предметы в окружившем его мраке, пенные гребешки волн.

Он брел по поясу в воде, наугад, мимо остова корабля, все дальше и дальше в темноту, будто знал куда. Перекрывая вой ветра, шум волн и раскаты грома, он кричал, вскидывая голову к черному небу:

— Куда?! Куда мне идти?.. Покажи мне!.. Ты же видишь — я не знаю пути... Дай лодку, дай что-нибудь... У меня сил больше нет!..

Он споткнулся, упал. Волна накрыла его, перекатившись через его тело. Он снова встал и, зарывав от отчаяния, пошел наугад, вздрагивая спиной под ударами волн.

Он шел, пока не уперся в скользкие валуны. Взобравшись на них, он оказался на сухом, продутом ветром месте. Шуршал песок. Он оглянулся. Вода медленно прибывала, но еще не достигала сюда.

— Значит, еще есть время, — пробормотал он. — Сколько времени у меня, Господи? Сколько времени у меня?! — выкрикнул он в темное небо, озаренное молниями.

В ответ раскатило прогремел гром. Человек вздрогнул и побежал вперед. Там, в слабой расветной полоске, проступали контуры древнего города на высоких холмах.

Полуразрушенные строения узких улиц были до окон погружены в придонный ил. Водоросли, словно высокая трава, шуршали под ураганным ветром. Большой церковный купол, гремя ржавыми боками, катился по улице. В зловонных лужах бились большие глубоководные рыбы. Крабы и высохшие медузы покрывали многочисленные предметы, выпиравшие своими останками из вязкого месива улицы. Между ними угадывались скелеты спасавшихся бегством в день гибели города, но так и не успевших спастись.

Человек, спотыкаясь, надрывно дыша, метался по улице. Он чувствовал — где-то здесь должен быть вход. Куда — он не знал. Он ничего не знал. Он только чувствовал. Он неожиданно замирал и, выставив ладони, словно слепой, ощупывал стены, воздух, словно ощущая что-то невидимое, подсказывающее ему путь.

Он вбежал под высокие, гулкие своды огромного храма. Горечь запустения покрывала все вокруг. Но фрески еще уцелели.

И человек подошел к ним, припал всем телом и стал медленно двигаться вдоль стены, ощупывая ее руками. Страницы истории медленно проплывали под его ладонями. И дойдя до страдающего лица, обреченного на страшную казнь, он вдруг отдернул руку, как от ожога. Замер. Дотронулся вновь до картинку и снова отдернул. Затем вдруг

прижался всем телом к истлевшей фреске и зарыдал.

Он затих неожиданно, внезапно, отвернулся от стены и посмотрел вокруг, словно видя впервые. И нечеловеческим ужасом вдруг искажилось его лицо. Он открыл рот, как в немом крике, но не мог закричать, вопль никак не хотел прорваться сквозь оцепеневшее горло. И вцепившись пальцами в волосы, он стал царапать свое лицо, раскачиваясь, сгибаясь все ниже и ниже, как от невыносимой боли, и, наконец, закричал, завыл, содрогая древние стены:

— Я вспомнил!.. Я все вспомнил!

...Он бежал по склону холма, собираясь все выше и выше. Он падал и полз, царапая землю, и снова бежал. Он бросал свое тело на землю, словно хотел разбить его, и катался по земле, как бесноватый. Он выл древним звериным воем, задирая голову к небу, и безумием наполнялись его глаза.

Он полз, разгребая землю, бормоча бесвязным полубезумным шепотом:

— Не оставь мя, Господи, не отступи от мя... Не оставь мя, Господи, не отступи от мя,— повторяя скороговоркой чьи-то слова, затерянные в веках.

И снова полз и бежал, пока не достиг вершины, и там замер. Огромный деревянный крест, словно фигура, раскрывшая руки, стоял над ним, чуть склонившись вперед, нависая. Свисали обрывки веревок, идущих от гвоздей, под ураганным ветром стучала табличка с истертой надписью. По бокам, наклонившись, стояли два других истлевших креста.

Отдаленно гремел океанский прибой, немолимо надвигаясь на город.

Он припал головой к подножию, словно хотел зарыться лицом в землю от стыда, и так лежал неподвижно, вздрагивая плечами, застыв в безмолвной мольбе. Ветер с корнем вырывал сухие травы-водоросли рядом с его лицом.

Наконец он приподнял голову, полубезумный глаз, сверкнув, уставил куда-то вверх.

— Господи!— хрипло воззвал он.— Это я... Человек... Дитя ада... Услышь меня, Господи... Не за себя ведь прошу... Молю тебя... выпусти их отсюда!.. Дай им по молитве их, и по вере их... Пусть не всех, пусть не всех... Понимаю... Я ведь знаю, не могут все сразу уйти... Но только увечных, за чужие грехи страдающих... Избранных твоих... Их-то за что мучить?! За что им проклятие это — жизнь?! За что им жизнью проклятой мучиться?! Дай им умереть... Выпусти их, Господи, отпусти с миром... Ведь знаю, все в этом мире проклято, все здесь обречено, все погибнет. Все в этом мире есть ложь и дьявол — отец лжи! Ты сам ведь сказал — весь мир во зле лежит и нет ни одного праведного. Ни одного! Ты сам так

сказал. Так выпусти. Господи... Призови нас к себе, проклятых, в царство твое... По великой милости твоей и великой твоей любви. Выпусти нас отсюда!.. Ведь ты обещал, как сказано: и увидел я новое небо и новую землю... И прошлое миновало...

— И прошлое миновало,— повторил он.

Снова взгляд его летел над водой. Волны безразлично двигались в пустыне моря. Бесконечность. Нет берега.

Огонь горит в окне. В гостиной полутьма. Ингра стоит у окна, смотрит сквозь небольшую щель в закопченном стекле куда-то в даль свалки. Черная одежда на ней подчеркивает осунувшееся лицо.

— Вертолет,— говорит она кому-то, чуть повернув голову.

Подходит к креслу, в котором сидит, задремав, Рау, тербит его за плечо.

— Вертолет прилетел,— повторяет она.

— А?— вздрагивает он.— Да, да... Иду...

От вертолета к дому идут Инспектор и четверо незнакомых людей с носилками. Рау поджидает их, затем все вместе входят в дом.

Ингра стоит, смотрит издалека на происходящее в подвале. Ей мало что видно, но она не подходит ближе. Четверо незнакомых что-то кладут на носилки, укрывая брезентом, Рау и Инспектор тихо переговариваются между собой; вероятно, Инспектор о чем-то спрашивает — Рау отрицательно качает головой.

Ингра поднимается в прихожую, стоит, ждет, кутается в черный шарф, смотрит в открытую дверь. Она вздрагивает, услышав шаги.

Мимо нее проносят носилки, укрытые брезентом. По виднеющейся обуви и чулкам ясно, что это Тина и Дурик.

— Я поеду с Инспектором, оформить бумаги,— говорит Рау.

Ингра кивает.

Рау выходит последним, догоняет идущих. Ингра закрывает дверь на засов.

Открыта балконная дверь. Серое, грозное море. Большие черные волны накатываются на выступ балкона. Темнеет. Ингра подходит к дверям балкона, смотрит в серую полумглу, затем закрывает дверь.

Она подходит к кушетке, смотрит на смятую постель. Берет подушки, снимает с них наволочки, бросает на пол. Затем садится на край кушетки, задумавшись о чем-то. Смотрит на смятую простыню, замечает что-то, приглядывается...

...Ее рука скользит по складкам простыни, расправляя их, останавливается возле пятна, четко обозначившегося в центре простыни.

...Ингра смотрит на пятно и вдруг, закрывая лицо рукой, начинает смеяться — беззвучно, истерично, затем так же неожиданно замолкает. Сидит, смотрит устало перед собой в пол.

...Ингра зажигает свет. Она сидит у зеркала перед небольшим туалетным столиком. На ней халат, вероятно, собралась уже спать. Она вглядывается в свое лицо, разглаживая морщины. В желтом свете лампы она кажется резко постаревшей, почти старухой. Мокрые волосы ее гладко, по-стариковски, зачесаны. Она перебирает свои волосы вдоль висков, замечает, что почти все они седые. Распахивает халат, рассматривает глубокие морщины на шее, на груди, затем гасит свет. Сидит в темноте. Полутемное отражение ее в зеркале — серо-черное, как посмертная маска.

Откуда-то доносится далекий вздох, стон, непонятный живой звук. Ингра чуть поворачивает голову, прислушивается.

...В подвале полутьма, чуть освещенная отблесками пламени из небольших окон вверх. Шелестит трава. Снова глубокий вздох — стон раздается в тишине. Ингра подходит к пыльному закутку между старым диваном и шкафом.

Большие человеческие глаза коровы смотрят на нее. На морде, у ноздрей, видна большая слеза.

Ингра берет из мешка, висящего рядом, охапку сена, бросает корове, отходит в сторону.

Ингра стоит у стены, облупившейся от бесчисленных ударов. Виден грязный пакет с репродукцией, сгоревшие черенки веточек.

Ингра подходит ближе, проводит рукой по пакету, разглядывая его, и вдруг падает как подкошенная на колени и начинает изо всех сил стучать кулаками в стену.

— Не хочу! Не хочу! Не могу! — хрипло вырывается у нее сквозь рыдания.

Она затихает неожиданно, растирая со стонem разбитые руки, припадает головой к стене, сидит так, раскачиваясь.

Медленно капают капли из пузырька в стакан с водой. Вода становится мутной.

Ингра выпивает содержимое стакана, морщится. Ищет на полке таблетки, бросает одну из них в стакан с водой. Таблетка шипит, растворяясь. Выпивает содержимое стакана. Достает платок. Сморкается. Машинно разглядывает таблетки, доставая их из шкафчика. Издалека доносится нечеловеческий, тоскливый, берущий за душу вой. Ингра вздрагивает. Вой повторяется снова, уже ближе.

...Ингра крадется вдоль стены к окну с горящим прутом в руке. Злость и какая-то ненавидящая решительность чувствуются в ней. Пригнувшись, она перебегает к другому окну, выглядывает, затем отбегает назад, к двери. Выставив вперед горящий прут, приближается к окну, рядом с дверью, но неожиданно замирает.

В окне появляется лицо Макса. Он видит Ингру и что-то кричит ей, припав к стеклу, но звука нет — беззвучие. В тишине только потрескивает пламя.

Трудно понять, о чем он кричит, к чему взывает.

То ли сообщает о какой-то страшной тайне, открывшейся ему на холме, то ли о мучительной тоске по милосердию и состраданию, о чудовищной жестокости живущих на земле.

Слезы текли по его щекам, он вскидывал голову и царапал свое лицо. Но вот припал к стеклу и странная, мучительная улыбка исказила его лицо.

И показалось тогда Ингре, что говорит он о какой-то любви, бесконечной, беспредельной и все спасающей. Затем он схватился за горло, словно его душили спазмы, посмотрел прощально и пошел прочь от дома, в темноту свалки.

Ночное небо далеко вдаль уже светлело полоской рассвета и потому долго была видна его тень, удалявшаяся от дома.

Сверху его фигура казалась совсем маленькой. Он шел, спотыкался, вскидывал руки и снова шел, пока не растворился в серой дымке рассвета.

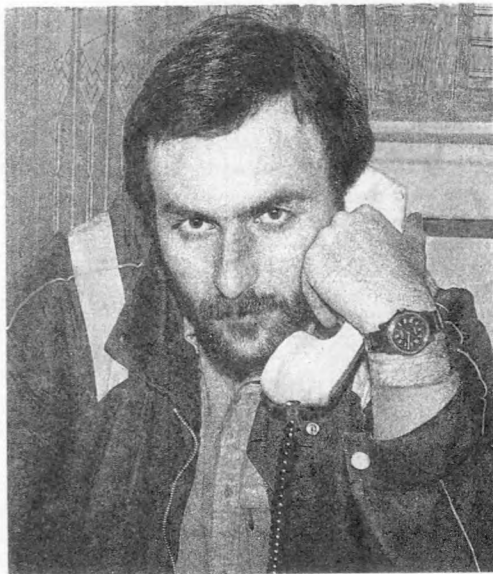
1987 г.



Сценарий документального фильма



**Владимир
СУВОРОВ**



**Валерий
БАЛАЯН**

РАСКИНУЛОСЬ МОРЕ ШИРОКО...

Теплоход шлюзовался.

Натужно и мерно гудели насосы. Вода неумолимо поползла вверх по осклизлому бетону и наконец остановилась.

Было раннее утро, и лишь команда да одинокий бессонный пассажир на палубе увидели, как нехотя, скрипуче расходятся тяжелые железные створки-затворы и в щели перед носом теплохода появляется бетонная женщина с чайкой в подоле — памятник покоренной Волге, и только потом — дух захватило от морской глади на распах! — слабо колышущееся водное зеркало. Здесь-то, в сверкающем от низкого утреннего марева пространстве и появится название — титр фильма: «Раскинулось море широко...» — и снова растворится, лишь голос репродуктора, хрипло прокашлявшись, возвестит заспанным туристам:

— Наш теплоход вышел в самое большое в мире рукотворное море — Рыбинское водохранилище! Площадь его зеркала составляет четыре тысячи квадратных километров, объем задержанной воды — двадцать пять кубических километров! Созданное в последние предвоенные годы, это море соединило

водные пути нашей страны в единый транспортный узел, а гидроэлектростанция на Шекнинском гидроузле и сегодня вносит свой достойный вклад в... — Вероятно, мы услышим этот текст или ему подобный — не это важно.

А важно то, что сразу после стереотипной радиоинформации произойдет какой-то сбой в вещании и разбуженные металлическим голосом пассажиры услышат вдруг мелодию, что станет лейтмотивом нашего фильма:

Раскинулось море широко,
Лишь волны бушуют вдали...

Пронзительный мотив, печальная мелодия... Но теплоход уже вышел из шлюза, и закрылась за кормой его мрачная стальная задвижка, и все так же бесстрастно взирает на рукотворное море бетонный истукан — памятник покоренной реке. Тяжело глядят прямо перед собой каменные зрачки полусотметровой женщины, да все никак не может взмыть в пространство небесное железобетонная чайка, запутавшаяся в ее подоле...

Здесь все сохранено почти так же, как было тогда, в конце тридцатых... Потемнев-

шие полки, золоченые корешки старинных фолиантов, копотный венчик свечи в канделябре, клавиши резного фортепиано и звуки вальса — того самого, «Амурские волны».

Шорох разговора, что-то шушуканье, приглушенный смех... И снова — бесконечные корешки книг на простых деревянных полках, план Шлиссельбургской крепости, приклеенный к стене, да еще фотография — растерянные и одновременно внимательно-пристальные глаза хозяина, тридцатилетнего унчика Шлиссельбурга Николая Александровича Морозова.

Раскрыта тетрадь на письменном столе, и качается желтый блик керосиновой лампы на недописанной странице:

Когда сижу я
с лампою моей
и в полутьме гляжу
на пламя керосина,
рой странных образов
мне чудится над ней,
давно ушедших дней
рисуется картина...

Что это были за видения? Может, струящиеся под зеркалом вод бархатные водоросли, или в прозрачно-сиреневую дымку размытые дальние леса, яблони, усыпанные зрелыми плодами, или неубранное, колышущееся под ветром охряное хлебное поле?..

А потом было утро. Блестела на травах роса вокруг дома-флигелька, отблескивали под северным солнцем капли утренней влаги на чисто выскобленных досках стола, и до синевы вымыты были стекла дворянской усадьбы. Тихо потрескивал шорохами эфира старый радиоприемник, да светилась узкая шкала — наливалась темно-красным светом. Расставлены были приборы для утренней трапезы, и закрыта была крышка фортепиано с оплывшей свечой в канделябре.

Вращают старческие пальцы верньер приемника, все ищут, ищут нужную волну. Обрывки иноязычных фраз, мелодии давнишних фокстротов и уанстепов, торжественный хорал «О Сталине мудром, родном и любимом!..» и вот, наконец, после взрыва космического треска:

— Передаем лекцию профессора Ласточкина, директора Верхневолжской научной базы.

И звучит в гулкой тишине веранды уверенный, победительный голос:

— Есть предложение сократить высоты с шестнадцати до восьми метров. Плотина станет ниже и меньше потребует воды. Но ведь тогда меньше станет размах сооружения! Это никуда не годится. На это мы никогда не пойдем. Нас поддерживает правительство и лично... Нет, задачу создания

Рыбинского моря надо решать только не путем урезки!..

Прислушиваются к металлическому голосу профессора чада и домочадцы. На этих старых фотографиях есть они все: и Ксения Александровна, жена, и тетя Лиза, домработница, с чайником в руках, и почтительно внимает радиовещанию случайный гость в смазных сапогах, и поник в своем кресле Николай Александрович Морозов. Тихо резонирует в такт металлическим восклицаниям чайная ложечка в чашке северского тончайшего фарфора...

— ...Наша эпоха — эпоха больших проблем и больших перемен. Именно в такие эпохи ставятся перед человечеством грандиозные задачи и решаются на многие столетия вперед. Такова была эпоха фараонов в Египте, построивших гигантские пирамиды и оросительные каналы. Да, такие эпохи требуют огромных жертв людьми и средствами. Но — люди гибнут, а сооружения остаются на службе у будущего человечества. Это жертвы неизбежные, жертвы ради счастья потомков. Исходя из вышесказанного, мы должны выполнить поставленные перед нами задачи в полном объеме, без урезки...

Настороженно смотрели через стеклянные стены веранды предки с портретов: грозный взгляд отца — гусара с рукой на эфесе шпаги, беззащитная улыбка матери — крепостной крестьянки...

И звенела-затухала струна в расстроенном пианино...

Радио заканчивало лекцию. Полилась знакомая мелодия — «Раскинулось море широко, лишь волны бушуют вдали...», и выключен старый приемник, золотисто угасает его потускневшая сразу шкала.

И лишь моknут под внезапным летним дождем чашки с недопитым чаем и плетеная хлебница с деревенскими калачами.

Быть может, именно в такую минуту пришла Николаю Александровичу Морозову мысль попрощаться с этим лесом, и с этим полем, и с древним (старше Москвы!) городом, обреченным уйти под воду.

Солнечный квадрат на столе, раскрытая тетрадь, тонкая оправа пенсне. Умокнуто в стекло фигурной чернильницы стальное перо.

Была надежда:

Жизни удары
Нас угнетают.
Страсти пожары
Сердце сжигают.

Вечные слезы,
Бури да грозы
Носят все грезы
В душах людей.

Рабства и муки
Время промчится.
Силой Науки
Мир обновится!

Когда открывали новый шлюз — разрезали алюю ленточку. Улыбки, поздравления, сухой треск официальных аплодисментов.

И обращенные к нам лица с фотографий — жесткие, точно из металла кованые. Строгие полувоенные френчи, пристальные глаза.

А рядом, на стенах, — чертежи и таблицы, цвет диаграмм и — черным по белому — россыпь цифр.

— Посмотрите на эти лица, — делает широкий приглашающий жест патриарх отечественного гидростроительства Николай Александрович Малышев. — Жук, Чернилов, Медведев... Лучшие умы нашего гидроэнергостроения! Это по их проектам построены на наших реках могучие плотины, это благодаря их усилиям Москва стала портом пяти морей! Я горжусь, что работал вместе с ними в те времена, когда проекты прямо со стола шли в дело, когда страна кипела и строила. Я горжусь тем, что свой путь строителя начинал с создания крупнейшего в мире искусственного водохранилища — Рыбинского моря!..

...Уже потом, отдыхая от официальных забот на своей подмосковной даче в Загорянке, скажет Николай Александрович вот про что:

— Был сначала другой проект, и строительство по нему уже началось — велись подготовительные работы у Ярославля, ниже по течению Волги. Напор был маленький, всего десять метров, и вся вода осталась бы в границах русла. Моря по этому проекту не получилось бы. И вот Жук, Журин и другие молодые энтузиасты на общественных началах создали проект переноса плотины под Рыбинск с увеличением напора до восемнадцати метров. Сами! За бесплатно! Никто не просил — время такое было... Проект молодых был поддержан и утвержден на самом высоком уровне. Подписывал Сам. Три буквы наверху: «Я — за».

На стенах кабинета развешаны цветные фотографии плотин. И наших, и за рубежом поставленных, вроде Асуанской. Фотографии большие, многие вставлены, точно картины, в дорогие багетные рамки.

Есть среди них и плотина Рыбинской ГЭС...

— Нам поставили задачу — обеспечить Москву энергией и создать транспортный узел на Волге. Мы эту задачу выполнили. Мы выполнили ее на высоком инженерно-техническом уровне. И наша станция к январю 1941 года дала свой ток Москве, а вы знаете, какое это было время... А те земли, что под затопление ушли, они никуда негод-

ные были. И так каждый год по весне их затопляло. Никакой важности для страны не представляли, все это было «местного значения», а мы делали дело государственное. Да, был там один город, Молога. Так себе городишко, ни промышленности, ничего. Купцы там жили. Ну, переселили всех сюда, под Рыбинск, ссуду выдали, за дома компенсацию. А инженерная задача была выполнена тогда великолепно, на мировом уровне, поверьте моему слову...

Малышев в эти минуты вальяжен и снисходительно-величав, и наперед он знает все аргументы оппонентов, и сознание безупречной правоты сквозит в каждом слове его. Да как не согласиться — инженерная задача действительно была решена на уровне...

— Да, я читал, что Яншин предлагает Рыбинское море спустить, надеется, что доживет до этих дней. Напрасно! Все это чушь! Все станции взаимосвязаны, если мы лишимся первой станции каскада, полетит к черту подпор нижних и весь водный путь заодно. А что взамен? Там что на дне — чернозем лежит? Ведь все вымыто сто раз уже, пустыня из песка...

Неужто и вправду — пустыня?

В свете подводного фонаря колышется плотной стеной муть, извиваются травы подводные и водоросли, да ждет-притаилась в их зарослях хищная щука, ожидает добычу. При нашем появлении она мгновенно исчезает, оставив за собой трассу взмученного ила. Над головой, совсем близко, рябит и качается водяное небо, а на дне, на бывшем лугу, — лишь космы водорослей да тина-грязь.

Каждое наше движение поднимает клубы взвешенной мути, и не скоро опустится она обратно. Лучи фонаря не в силах пробить этот мрак...

Нет, не пустыня — болото. И даже на берегу шаг ступить — проблема. Вязнет нога, хлопает и булькает трясына, без следа и всплеска тонет в изумрудно-зеленой ряске брошенный камень.

И только там, за бурым пространством болота, слабо просвечивает узкая полоска воды. За почерневшими стволами ясеней, за полусгнившими березами — мертвая гладь воды да веселый блик на дне...

Старинный «Ундервуд» на вытертом зеленом сукне довоенного начальственного стола с сухим треском выплевывает строчки: «Постановление СНК СССР № 668. Финансирование всех работ по переселению, сносу и выселению... возложить в обеспечение этих работ на «Волгострой» при НКВД СССР».

В углу полустертый штамп — «Секретно».

В недрах Рыбинской ГЭС неспешно разошлись сочленения гигантских стальных рычагов, медленно поползла вверх заслонка, и турбинный вал потихоньку принялся набирать свои обороты.

Завертелась мельница, заработала свою вечную работу, замолела...

А на улице вполне современного поселка стоял среди каменных институтских корпусов маленький флигелек — последнее пристанище народовольца и академика Морозова, и ходили здесь вполне современного облика люди, что-то бряцало роком в громкоговорителе, и попыхивал у крыльца сизым дымом старый-престарый грузовик-полупортка. Затянется на секунду картинка эта патиной времени, выцветет до белизны, и увидим мы чью-то старческую фигуру, что неуклюже взбирается в кузов, подсаживаемая чьими-то руками. Хлопнет дверца с трудом, как бы преодолевая пространство и время, стронется с места тот самый грузовик...

Впрочем, было то или не было, а в дне сегодняшнем, реальном, отправлялся грузовик от главного корпуса академического Института биологии внутренних вод в поселке Борок.

В кузов, на необмятую кипу свежескошенного сена неловко громоздились пожилые бабуси — уборщицы и лаборантки — да двое стариков, а в кабину сел сам Сергей Иванович, председатель местного сельсовета. За руль полупортки сядет Валера Шахов — продувная бестия, снабженец! — дернет рычагами передач, отшатнутся от рывка бабки в кузове, и захохочет: «На погост поехали, любезные!»

И поехали бабки-дедки. Немного осталось их, жителей ушедших под воду деревень. Да и куда они ехали? Бог весть...

Мраморный Морозов глядел вслед им со своего постаментов сожалючи, с печальной надеждой...

— Я в том году, как выселяли, страху хватил, боле чем на передовой Сталинграда. Все силком да волоком! — пыхал «беломоринной» в кузове старик.

— Оно и понятно, — охотливо поддерживает разговор старуха, вцепившаяся обеими руками в дощатый борт. — Я-то сошла с полатей, совсем девка молодая была, нова дорога всяка в диковинку была, а бабья моя за печку-то как схватилась — не пойду, говорит, топи вместе со мной! Да что уж там... Нагнали с Волгостроя заключенных, те крышу над бабкой и разметали. Сиди, говорят, старая, под дождем! — И заключает, уже без улыбки: — Хуже войны!

— Куда как хуже! — вздыхают ее товарки. Автомобиль, потрескивая и поскрипывая, набирал ход.

— Отца Павла не забудьте, — беспокоились в кузове, стучали сухими кулачками по фанерной кабине.

Машина проскочила вдоль долгих институтских корпусов. Шли на работу люди — в свои лаборатории, к химикатам и колбам.

А машина, вновь став полупорткой из старой хроники, все пылила по шоссе, переваливаясь на ухабах медленно-медленно, как никогда не бывает в реальности. И уступали дороге той машине серые фигуры в ватниках и худых ушанках — те, чьей силой должен был когда-то обновиться этот мир.

Меж тем в лабораториях института биологии внутренних вод АН СССР бурлила жизнь. Переворачивалась от капли некоей жидкости брюшком кверху некая рыбешка в некоем аквариуме. Натужно гудели насосы и компрессоры, нагнетая воду и воздух.

Ученые засекали время на таймерах, отвечали на частые звонки и варили в химической посуде бесконечный институтский чай.

А в просторном бассейне лежал на дне одинокий носатый осетр.

— Это, знаете ли, из последних, — пояснил Юра Герасимов, молодой кандидат наук, ихтиолог. — Он у нас ручной стал за эти годы, по шагам нас узнает. Мы на нем разные эксперименты ставим.

— В самом Рыбинском водохранилище осетровых давно уж нет, так мы на этом могиканине. На нем не одна диссертация защищена. Умрет, так не знаем, что и делать будем! — тычет Юра пальцем в безмятежную рыбину. — Когда море создавали, думали, чем больше воды, тем больше рыбы. Ан нет! Все ценные сорта исчезли сразу, в первые же годы. А институт наш и создан был с целью изучения последствий искусственных водохранилищ.

...В ихтиологическом корпусе института стояли длинными рядами бесконечные аквариумы, мельтешили в них карпы и окуньки, что-то булькало, шипело и монотонно тикало. А по кругу громадного кольца-бассейна плыли гуськом аквалангисты, ритмично взмахивая в прозрачной голубизне оранжевыми перепонками ласт.

— Внимание! — командовал Юра. — Ввожу условия, приближенные к действительным!

И мутной взвесью заполнялся бассейн, и тускнели и растворялись в ней темные силуэты плывцов.

— Чем занимаемся? Биологией и экологией искусственных водных образований. Повсюду. В Конго, в Нигерии, в Бирме — везде. А здесь — ну, выяснили, например, почему выпущенная в воду пелядь вымерла. Составляем годовые отчеты о состоянии жиз-

ни в море. А пелядь исчезла, потому что ее всю щука сожрала, да. А потом и она издохла, с голоду. Пришлось опять мальков щучьих выпускать.

Такова, в самых общих чертах, научная мысль здесь, в Бороке, на станции, что основал когда-то Морозов.

— Рыбинское море за эти годы стало практически естественным водоемом, все в нем устоялось, улеглось, начало потихоньку зарастать ряской. Так будет и дальше — мелеет, зарастать. Как и наш институт. При Папанине, прежнем директоре, не так было. Потом старые кадры ушли, «примерли», как здесь говорят. Пришло новое поколение, «узкие специалисты». Каждый занимается своей частной проблемой, а картины общей не видит — широты не хватает, культуры...

И добавляет, то ли об институте, то ли о море, не понять:

— Устоялось, затихло, заросло, затянулось. Перспектива — полное болото!

Что там на дне — не болото? Там, на дне, стояли ряды пней от срубленных уремных лесов, там тянулись корявые сучья в толще вод, тянули свои многопалые руки, там прятались в густом иле поваленные стволы, а на черных, лишенных листьев и хвои ветвях гнездились таинственные подводные твари. Лес стоял стеной, и за размытой водной пеленой не видно было ему ни края, ни конца. Даже какое-то подобие солнца вставало над его дальним горизонтом — световое пятно, солнечный зайчик, оптическая химера... Там, там был воздух. Там, над водою, над верхушками, было небо...

Под высоким этим небом сверял человек свой курс по старинной навигационной карте. И отмечены были на карте той все дороги и тропинки, смытые деревни и неперенесенные погосты, где вместо ориентиров-маяков проставлены были кресты церквей, а в центре обозначен был пустыми квадратами домов старый город с исчезающим со всех карт древним названием — Молога.

Плюхались о берег темные волны, швыряла морская толчая туда-сюда почерневший ствол дерева, а в далеком далеке, точно в сказочном сне, проплывали на горизонте белые громады фешенебельных туристских пароходов. Их ждал впереди «порт пяти морей».

На этот берег вытащена была рыбацкая лодка, да доносились лишь тоскливые гудки мелкого буксирчика и застывали в дымном воздухе вечернего костра. Подпрыгивала крышка походного чайника. Палатка, ружье на колышке и бородатый человек в штормовке.

Знакомьтесь — ведущий сотрудник института озераведения АН СССР Игорь Сергеевич Коплан-Дикс:

— Не в Рыбинском море, уверяю вас, проблема. Здесь только поверхность проблемы, а суть ее куда как глубже. И не в последних искать ее нужно — в самом факте его существования. Весь трагизм ситуации заключен в том, что, приняв единожды решение, мы никогда не сможем вернуться к тому, что было. Возврат невозможен, вот в чем дело. Нет общей глобальной стратегии природопользования, а без нее любые разговоры об охране природы бессмысленны. А ведь любой человек, где бы он ни жил, имеет Право на чистую воду, Право на чистый воздух, Право на неспорченную природу. Это право святое, оно неотъемлемо, как неотъемлемо право каждого на родину, пусть оно нигде и не зафиксировано юридически. И поэтому мы можем сегодня спасти одно озеро из миллиона, завтра — другое, рассуждать о том, спускать или не спускать Рыбинское водохранилище — вся слепота наша в том, что разговоры эти бессмысленны. Все бессмысленно, пока нет единой стратегии...

А море стояло рядом, и каждая волна, что упруго била о болотистый берег, неопровержимо подтверждала факт своего существования.

И все размывало оно земную твердь, и все так же медленно обнажались корни деревьев, завис над урезом воды древний ствол. Кусок берега с тихим шорохом сполз в болотную тину, жадно чавкнула и хлопнула ненасытная утроба...

— Стратегия заключается в том, что мы должны гарантировать себе и будущим поколениям вечность нашего существования, именно возможность бесконечного будущего, а не «на недельку до второго». И никаким грандиознейшим «проектом века», будь то море или «переброска рек», мы этого не добьемся. Вода — та сфера, которая погибает прежде всего. Да, сегодня Рыбинское водохранилище кажется нам относительно благополучным — но знаете ли вы, что это происходит... от нашей бедности! Вот разовьется по его берегам интенсивное сельское хозяйство, пойдут в воду стоки удобрений, начнет расти биомасса — все. Все погибнет. Жизнь уйдет в воду, откуда и пришла, но уйдет в форме самой простейшей — в виде бактерий, которые по ошибке называют синезелеными водорослями. Человеку места там не будет... Нет, я не сторонник спасения единичных объектов. Создание заповедников — путь в никуда, в тупик...

...И все так же вяло колыхались по берегам рукотворного моря клубы-полосы ила, вязким киселем, бурным гноем покрывали подмытый берег. И все так же старели, мед-

ленно умирали на этих берегах заброшенные деревья, мокли-гнили в рыжей глине венцы покосившихся изб, что тарачились на божий свет заколоченными ставнями, и все так же объедали тощие стада коро-венок худую зелень на обочинах дренажных канав.

Старик в перевязанных бечевой очках, с косицами из-под черной скуфеечки запер церковь, оправил растрепавшуюся седую бороду. Немо, давно уж немо висели на тяжелых дубовых крыжах колокола, только ветер трепал истлевшую от времени и ненадобности веревку, что тянулась к медному языку.

— Да... Мне иерей-то, годков пятнадцать тому, предлагал... Ты, говорит, отец Павел, не по чину служишь. Ты, говорит, давно уже архимандрит, а все в Никульском не по чину-должности служишь. Давай-ка, говорит, мы тебя сюда, в Загорск, переведем, оклад в триста рубчиков положим, на наставление юношества определим... — Отец Павел надевал привычную застиранную рясу, крихтел, крестился и выходил на шоссе на дорогу.

Вот и знакомая полторка показалась из-за поворота. Наши бабушки с помощью Шахова приняли в кузов старика, и грузовик, коротко фыркнув, дернулся и тронулся.

— А я Владыке-то и реку: и-и-и, говорю, Владыко! Владыко, говорю! Деньгами-то гроб не оклеишь! Не оклеишь гроб деньгами-то, говорю! Помилуй, говорю, Владыко, где родился, там и пригодился. И хоть родился я там, где ныне только хлябь водная разверзлась, ничего, хоть на краешке родины притулюсь да смерти подожду, как Господь пошлет. Терпел Моисей, терпел Елисей, терпел Илия — потерплю и я!

Все меньше становился удаляющийся храм, все отчетливее вырисовывались на фоне низких облаков покосившиеся кресты над его главами.

— Да, хотелось бы, конечно, родную Мологу-матушку перед смертью узреть. Вот, заказал ученым с Борока камушек себе со дна морского достать, омманут аль нет? — с приторно тревогой вопрошал отец Павел Шахова, а глаза его слезились лукаво за толстыми стеклами очков...

Глядели вслед машине лишь глаза святых угодников и лик богоматери, да горел — не гас вечный язычок лампадки.

Машина меж тем бодро тряслась по проселку. Неброско мелькали пятна красок северного лета — пастель, акварель. Летели-вращались над головой по бокам дороги кроны деревьев...

Но исчезает внезапно цвет — и что-то злое, еще появляясь в черных рваных силуэтах на фоне белесого неба.

Строгий взгляд. Поймаем в старой хронике этот взгляд — где-нибудь на самом обрезе привычного фильмотечного кадра.

Остановим, взгляды, столкнем со знакомым взглядом человека в пенсне. Взгляд из кинохроники и глаза с фотографии.

Падают, падают кроны вековых деревьев — медленно падают, рывками. И так же медленно пытается — не может разогнуться человек с пилой, оборачивается к нам, чтобы улыбнуться. Стоп-кадр. И далее, посреди вырубленного леса, между пней и некорчеванного кустарника, идет наша полторка, вращает данлопскими шинами по моложской земле.

Взгляд-остановка. Морозов в старомодном, с развевающимися полами пальто на грузовике... Человек в обмотках, в казенной робе с номером.

А машина все проезжает поляны, деревни...

Мало что изменилось в этих местах, до черты, куда не подступила в конце тридцатых вода. Разве что еще беднее стал край, выморочнее деревни, да заросли тальником и камышом плодородные некогда заливные луга и поля.

Попробуем восстановить эту поездку, что совершил, прощаясь с Мологой, Николай Морозов в 1938 году. Увидим город Мологу так, как смотрит он на нас с чудом сохранившихся старинных фотографий: ряды каменных домов, церкви, монастырь, магазины, ярмарки...

...Николай Александрович почти 25 лет не бывал в Мологе. Ему хотелось в последний раз посмотреть на уходящий под воду город. Город Молога ликвидируется, переносится, жителей сселяют и вывозят. Только летом, когда вода будет спадать на два — четыре метра, Молога будет немного показываться из-под воды, чтобы затем снова скрываться под ее поверхностью...

Стоят развороченные крыши, избы разбираются и нумеруются. Повсюду валяется разный домашний скарб. Но это только начало. При въезде в Мологу целый квартал занимает «Волгострой». Здесь находится штаб по переселению. Здесь работают 65 тысяч заключенных. Они разбирают камни, оставшиеся после взрыва собора и торговой площади с пожарной вышкой. Идет расчистка дна будущего водохранилища...

А в кадрах фильмотеки лучезарно будут улыбаться герои труда и передовики науки, полниться золотым зерном закрома и черным углем железнодорожные составы Донбасса, будут лить первый металл Магнитка и Уралмаш, будут бодрые физкультурники строить пышные пирамиды на Красной площади. И будет товарищ Сталин приветствовать с трибуны Мавзолея эти пирамиды. Еще не метет по площадям «лагерной пылью».

Пока лишь репродукторы разносят услужливо-оптимистические мотивы:

Для нас открыты солнечные дали,
Горят огни победы над страной...

Но не эту развеселую музыку слышит сейчас Николай Александрович Морозов. Какая-то иная, едва-едва знакомая мелодия пробивается сквозь гул гимнов и здравниц во славу Отца народов:

Раскинулось море широко,
Лишь волны бушуют вдали...

Точно во сне распечатанный кадр — жесткий сталинский прищур, глаза не мигая обводят толпу на площади.

И еще один — сгорбившаяся фигурка, высокий лоб, пенсне. Сидит на оставшемся от бывшего леса пеньке бывший народоволец Морозов. Молча сидит на будущем дне будущего моря.

А знакомая наша полуторка укутила тем временем далеко-далеко по бедной российской дороге. И остался от нее лишь густой шлейф пыли на горизонте, розовый в последних лучах закатного солнца.

И все светил во тьме негаснувший огонек в мансарде старинной усадьбы, и все не гас в окошке слабый его свет...

Не горит — не светит в эту минуту помпезная лампа эпохи «излишеств» на потолке этого громадного кабинета и не доносится сюда протяжный вой турбин электростанции. А кабинет этот действительно внушительных размеров, с мягкой кожаной мебелью и обшитый дубовыми панелями. И очень одиноким кажется в этом пространстве седой человек за необъятной поверхностью «начсоставского» стола, крытого зеленым сукном и тисненой кожей. — Владимир Федорович Борисов, директор Рыбинской ГЭС:

— Двадцать пять лет сижу на этой ГЭС. Мощности, сами знаете, триста тысяч, как один энергоблок тепловой. Ресурс свой выработала за это время уже трижды, но пока идет, старуха, тянет. Считается станцией «местного значения», в системе «Ярэнерго»... Ни вреда от нее, ни пользы особой я не вижу. Да, держит Рыбинское водохранилище, отметка «101»... Да никому она, в сущности, не нужна эта станция, если по правде говорить. Но... что делать? Русский человек, он, известно, задним умом крепок. Все мы торопимся, спешим... плотины строить, реки поворачивать, ГЭСы и АЭСы строить. Только иногда эх как каемся за то...

В бетонных колодцах ГЭС злобно клокочет вода и бешено вращается вал турбины

в стальной своей камере. Шум воды, посвист ротора...

Медленно, неспешно мелет эта мельница — дрожит у положенного деления стрелка прибора на центральном пульте, да зевает одинокий дежурный.

— А что делать? Спустить море и получить еще одну пустыню? Нет, былого нельзя воротить... А так — вроде, польза какая-никакая. Хотя... Все-таки — спустить бы его к... — И после паузы: — Да нет, еще больше дров наломаем.

В темном осклизлом пространстве, у самого края грохочущей воды водолазы в головастых скафандрах чистили решетки турбин.

Судорожно мотались под напором турбин ключья водорослей, и все скребли по изъеденному ржой металлу скребки водолазов, очищая основу — частые перекрестья толстых стальных прутьев. Вода уходила через эти решетки туда, вниз, чтобы пасть на лопатки турбин и произвести падением своим нужную кому-то работу.

А турбины все вращались и вращались, беспрепятственно перемальвали воду, и чайки, сорвавшись с крыльев каменной птицы, дико кричали на нижнем бьефе, выхватывая из пены куски раздробленной рыбы.

Неколебимым утесом высилось на покоренной Волге здание гидростанции, украшенное барельефами и лепниной, что сотворили для него руки штатных сотрудников «Волгостроя». А над шлюзовой камерой вырастала надстройка очередного туристического парохода.

Молча взирали с портретов на дело умов и рук своих инженер-генералы и энтузиасты — гидростроители 30-х годов, «развешанные» на выставочных стендах...

Во вторую субботу каждого августа встанут они рано-рано. Соберут рюкзаки, сумки, свертки.

Николай Михайлович Новотельнов завернет в тряпицу нечто металлически звякнувшее, захватит с собой... Ну, что там берут на поминки? Бутылку «белой»? Перекус?

Выйдет на двор, запрет двери вывезенного по бревнам из Мологи дедовского пятистенка. На улице — тишина и прозрачный уже по-осеннему воздух, и только одинокие фигурки — мешки, сумки, рюкзаки — сбредутся к автобусной остановке. Встретятся здесь люди, хорошо и давно друг другу знакомые, коротко перемолвятся негромким словом и молча будут ждать первого утреннего автобуса. Подкативший желтый «Икарус» увезет их всех по дороге, вдоль которой растет в кюветах жесткая трава-осока, что любит места сырые и болотистые.

И гудит над пригородной жижей рой невыспавшихся раздраженных комаров...

Из донесения генерал-губернатора Мельгунова от 3 августа 1777 года:

«Я продолжил мой путь к посаду Мологе, расстоянием от Рыбной слободы в 30 верстах, состоящему по луговой стороне Волги на устье реки Мологи, куда переправясь, довольно обозрел способность сего места для города из обстоятельств местоположения. Жителей в Мологе в достатке, коих в купечестве и мещанстве состоит числом 792 человека...»

«Икарус» нес наших знакомых через Рыбинск, по гребню плотины, потом мимо нагромождения вышек линии электропередач, высоковольтных проводов и сетчатых заборов, за которыми низко гудели трансформаторы.

Автобус направлялся к пристани...

В мезонине морозовского дома тишина. Глушит шаги персидский ковер на полу, томится без хозяев старинная мебель.

И только портреты предков свысока взирают на пожилого настройщика, который, открыв чрево резного фортепиано, подтягивал расстроенные струны, поминутно сверяя их звучание со звучанием камертона.

За витриной музейного стекла экспонат — записная книжка Морозова. На первой странице можно прочесть: «Академия наук СССР. Почетные академики: 1. Сталин Иосиф Виссарионович, гор. Москва, 2. Морозов Николай Александрович, пос. Борок».

А рядом — лупа на полированном черенке, пенсне и луковица остановившихся часов с цепочкой...

Настройщик завершил свою работу, собрал инструменты и сел за пианино. Мягко всплеснулась и тихо поплыла знакомая мелодия: «Товарищ, мы едем далёко — подальше от этой земли...»

И в такт то ли музыке, то ли каким-то бог весть где работающим механизмам все дрожала и звякала серебряная ложечка в чашке Морозова, и поскрипывали половицы, и сами собой распахивались двери.

Было поздно, и светилось окошко в мансарде старого флигеля. И было неясно, горит ли это керосиновая лампа или светит во тьме рубиновая шкала старого довоенного приемника...

Родина-мать! Нет ни счету, ни сметы
Змеям, что были тобою согреты,—
Дедов вина и беспечность отцов
Создали целое племя рабов!..

Сметала старуха с постамента в Бороке палуу листву, собирала ее в кучи, поджи-

гала со всех сторон и медленно струился в осеннем воздухе горький сиреневый дым. И заволакивал он невысокий памятник, поднимаясь к бронзовому лицу шлиссельбуржца. Растрепанная борода. Горький, всепонимающий и всепрощающий взгляд. Складка у губ. Горький дым.

Русская жизнь! Среде густой темноты
Как неуклюже сложилась ты!..

После той своей прощальной поездки в Мологу Николай Александрович больше уже никуда не выезжал. Это была его последняя поездка.

Ездить было некуда. Мологи больше не было.

Было лишь море да бетонная женщина — «покоренная Волга» — со свитком чертежей, исчерченных непонятной кабаллой букв и знаков.

Неподвижно лицо, невидящ и суров взгляд.
На людей, на море...

Громадные плиты, что вывезены еще из Междуречья, в ассирийском зале Эрмитажа. Бородатые вавилонские цари, шифрограммы тайных клинописных знаков, избитые рабы, важные господа, бичи надсмотрщиков и макет недостроенной Вавилонской башни.

— ...Ведь что произошло в Вавилоне? — несколько неожиданно вступает профессор Лев Николаевич Гумилев. — Там были созданы прекрасные ирригационные системы, которые прекрасно пророботали до тех пор, пока не пришли туда чужие люди, завоеватели, и не стали эти чужеземцы ломать естественный ход жизни. Египетские инженеры были превосходными специалистами в своем деле. Но — для Нила. А в Междуречье были другие условия, и там их знания никуда не годились. Тогда они решили, по приказу нового царя, который тоже был чужой, завоеватель, брать от природы все, что только можно. И еще сверх того. А на заселение земель никакого внимания не обращали. Через некоторое время в Вавилоне стало невозможно жить. Просто нечего стало есть. Все земли от неумелого использования превратились в соляные пустыни. И тогда арабские халифы не нашли ничего лучшего, как заставить рабов под палящим солнцем собирать с земли куски соли. Адская работа! И совершенно напрасная. Рабы, естественно, восстали, и произошла кровавая и бессмысленная резня. И произошла она от элементарного пренебрежения элементарными законами естествознания. И законов истории, потому что история — это накопленный человечеством опыт. А Вавилон — погиб.

Внимают Гумилеву древние цари с зави-

тymi длинными бородами, да уж поздно. «Мене, тэкед, фарес» — что уж тут поде-лаешь!

— ...И учтите, запомните, история Вавилона не закончилась! — восклицает старый профессор.— Это явление не эпохальное, а глобальное, она может повториться в любое время с любимым народом.

Опечалился в Эрмитаже вавилонский Навуходоносор, но все так же непреклонен был взгляд каменного изваяния на берегу Волги, и взоры каналостроителей были все так же холодны и безучастны, и только сострадающими глазами проводила профессора, ковьяющего старческой походкой средь золотого дворцового великолепия, седенкья служительница, ровесница Гумилева.

История Вавилона все не кончалась, и потому гудел в утреннем воздухе тоскливый гудок далекого буксира, тянущего вдоль дебаркадера свой будничный груз. И несли на берега Волги с простора Рыбинского моря белоснежные теплоходы многочисленных туристов, отечественных и «ин».

А пассажиры местных линий ждали своего катера. Их было немного, человек 15—20, все хорошо знакомые между собой, да и мы кое-кого уже узнаем: Новотельнова, Новожилова с баяном под мышкой.

Стояли они терпеливо, лишь синий папирсный дым мягко стелился над деревянной кровлей причала.

...На обшарпанный катерок грузились молча, без суеты. Рассаживались по скамейкам, глядели на маслянистую коричнеую воду, перебрасывались короткими фразами.

Катер шел долго, и капитану того катера не требовалась навигационная карта, потому что вел он судно свое по своим собственным приметам. Сменяли друг друга картинки береговой жизни: полузатопленные рыбацьи лодки, трубы заводов и заводишек, бабы, полоскающие по старой памяти белье в речке, одинокий рыбак на берегу...

Катер шел долго, и пролегал его печальный путь по местам, где были некогда леса и дороги, пойменные луга и богатые деревни, города и извивы рек. А карта, на которой эти места были обозначены еще в виде суши, не нужна была тому капитану...

Катер шел долго, так долго, что открыл Саша Новожилов футляр, достал трофейный баян, пробежал пальцами по истершемуся перламутру: «...и волны бушуют вдаль...» И бушевали волны, и плескала рыжая вода в заржавелые иллюминаторы...

На берег сходили по узкой сходне — гуськом, по-одному. Берег здесь, у деревни Мышкино, был болотист и неприветлив, пружинил под ногой. Катер отчалил и продолжил

свой урочный маршрут, а Николай Михайлович Новотельнов уже разворачивал пакет и доставал из него странный, давно не значащийся в геральдике герб: на червленом поле — медведь с секирою, а на зеленом — слияние двух синих рек — Молога и Волги. Новожилов был тут же, помогал прибить герб на длинный шест. Словно хоругвь.

Так, с гербом во главе, отправлялись бывшие земляки искать сухой гурог, чтобы распаковать на нем свои рюкзак и свертки, расстелить скатерть, сесть вокруг герба несуществующего города. С одной стороны была вода, с другой — свистал ветер над брошенной навеки, никому не нужной и истерзанной землей.

Люди ставили шест, и высоко поднимал на нем геральдический медведь свою смертоносную секиру.

...Двух рек, что лежали руслами своими под водой «рукотворного моря». Под водой лежали и дороги, но ничья нога больше не могла по ним ступить. Улицы были обозначены пеньками телеграфных столбов и грудями кирпича. Изредка полуразрушенная печь тянется трубой вверх, но не горький дым очага — зубастый окунь-красаец выплывает из ее зияющего отверстия. Обрубки садовых вишен и яблонь, обросшие курчавой тиной жерди палисада, брошенный колодезный сруб.

Ушедшая под воду цивилизация. Не по своей воле — по чужому указу сотворенный Вавилон. Можно вести раскопки, да стоит ли копаться в этой Атлантиде?

Из записей русского историка Костомарова:

«В Мологе была первая в России почти всемирная ярмарка, бывшая в старину. Сохранились документы Ивана III об этом: «А как свели торг с холопьего городка на Мологу, то и торгует тот торг на Мологе, многия съезжаяся, как было при мне...» Годовой оборот Мологи в 1802 году достигал 160 000 рублей, в 1864 году здесь насчитывалось свыше 6000 жителей...»

Крутой обрыв в тьму глубины — два соединившихся подводных оврага. Когда-то именно здесь соединялись русла двух рек.

А на крутом подводном яру — кладбище, размытый течением погост. Теперь здесь понастоящему вечный покой, и никто не ступит в родительскую субботу на тропки городского кладбища. Стоят под водой кресты и памятники, безьянные ныне надгробья. Но — на ином еще можно разобрать, прочесть сквозь нарощую слизь даты рождения и смерти, имена, фамилии... Крепок гранит, и не скоро вода источит его.

Груда битого кирпича, перекладина металлического, изъеденного ржой креста, упавшего с главы, — вот и все, что осталось от взорванного и затопленного Афанасьевского монастыря.

Здесь нет времен года — только свет и тьма, да и свет здесь напоминает мерцание сумерек.

Рука аквалангиста поднимает со дна чудом сохранившийся кирпич, поднимается вместе с ним наверх, к свету.

Переваливается через борт лодки тяжелая кирпичная плинфа. «АФ-И МОН-РЬ» — читаются буквы, впечатанные в обожженную глину. И дата закладки — «1771 от р. Х.»

Из записок историка Фенютина:

«Мологжане росту средственного, лицом не дурны, темнорусы, в речах замысловаты, в торговле трудолюбивы. Изстари они усердны к церкви, духовенство здесь, особенно духовные отцы, в большом почете состоят... До сотни каменных зданий и до восьми сотен деревянных, а также церкви и монастырь раскинуты вдоль берега на четыре версты. В 1772 году, когда в России свирепствовала чума, в Мологе не было ни одного чумного покойника, чем обязана она целебному своему воздуху, т. к. по деревьям окрестным смертность была немалая...»

Они распахнут свои свертки, расстелят походную скатерть, достанут запотевшие бутылки. Женщины, обтягивая «парадными» кримпленовыми подолами колени, примостятся на траве и начнут нарезать колбасу; готовились ко дню этому долго, поэтому продукта, даже деликатесного, запасено вдоволь. Мужики, наломав сухих сучьев, запалят костер, снова закуряют и продолжают свой бесконечный спор.

Но вдруг... вдруг прикатит издалека, подвывая натруженным мотором, знакомый нам грузовик, в кузове которого навалено пообмявшееся за время поездки сено, и сойдут наши бабушки-старушки, двое стариков да крепш Шахов с представителем советской власти.

Когда-то жили они по-соседству. Может быть, даже и встречались: на базаре в воскресный день, в переулках города, в церкви.

Быть может, они все — дальние родственники, ведь в старых уездах захолустных почти каждый кому-то сват, брат, кум или деверь.

Все это было в той прежней, ушедшей под воду жизни. В жизни этой они не встречались. Как произойдет эта встреча, предсказать трудно, но знаем точно: выйдет на середину круга старый священник, что, быть мо-

жет, венчал-крестил их в той, прежней, жизни:

— Братья и сестры! Земляки дорогие мои! Развело нас море по разные стороны, да все ж не навсегда — мы снова вместе, нет меж нами того моря-окияна. Мы ж с вами люди, братия, мы ж — народ!

Общими будут те поминки в эту и во все последующие субботы каждого августа. Трizona по земле, которой нет. И вряд ли когда еще она будет.

Пойдут воспоминания, разговоры, рассказы. Всем есть что вспомнить, что рассказать. Возьмет баян Саша Новожилов, растянет меха. И запоют все песню, и зазвучат над горьким дымом костра ее нехитрые слова, сложенные первыми переселенцами:

Прощайте, осталось немного,
Уже подступает вода.
Уходит, уходит Молога
От нас на века, навсегда...

А подтянут — подтянут все. Басом загудит Шахов, фальцетом задребезжит председатель Сергей Иванович, заголосят плачем старухи. А мелодия... да это та же, наша, знакомая: «...лишь волны бушуют вдали...», только слова другие, свои, домашние, что идут от самого сердца:

Все ближе бегущие волны,
И взгляд настороженных глаз
Следит за волной неуклонно —
Уходит Молога от нас...

— Да только Молога ли?

— Сто тыщ нас было, может, и поболее — кто тогда людей считал...

— А мне за то Сталинска премия оформлялася, а вышло — семнадцать рублей пенсия...

— С пригорка, бывало, вниз — грибов море, косой косили.

— А осетра или там стерлядки — и-и-и-и! Эх! Так и не едал...

— Наш колхоз «Пахарь» переселен был в совхоз «Советская власть». Так мы за тот совхоз все долги выплатили, а все одно — обедняли...

— Ну... Ране-то, бывало, урожай тридцать — тридцать пять центнеров брали. А теперь что?! Семь Восемь сеют — семь собирают, смех да горе...

— А моего отца, купца второй гильдии, — в тридцать седьмом... С той поры и не видели, и письма не пришло...

— Всех помню. И твоего отца помню, справный хозяин и честный человек был. Эх, ночью не сплю, как зачну всех вспоминывать, по пальцам перебирать... Все как живые стоят, кто где жил помню, по дворам... Каждый камень помню, где лежал...

— Сон мне был, что, значит, приехал я

в Мологи, а она стоит целым-цела. Эх, думаю, дурак я, дурак! И что уезжать поторопился? Проснулся — подушка вся мокрая, а ведь старый уже я мужик...

— Не, вон там она была, правее створа!

— А нашу-то деревню и по маякам-створам не сыщешь!..

— Переносчики у изб венцы дегтем мазили. Говорили, чтоб на новом месте собрать. Да ведь известно оно, у кого дегтем мажут, — у б...й. Так что мы и есть, выходит, как гулявшие...

— Так оно и есть... Ни места, ни погоста, ничего...

— Размечтаюсь я иногда — кабы моря не было, оградку б на могилке поставил, садик посадил... Всех стариков в округе я отпел. Кто ж меня, грешного, отпоет?..

— А может, спустят воду-то, а?..

— Жди-пожди...

— Эх, хуже татар!..

— Куда как хуже...

Оплывает свеча на потемневшем кирпиче, поднятот со дна моря...

Вспомнит последний день затопленной земли отец Павел:

— А ить я последний был, кто в колокол городской ударил. А по колоколу тому вся округа жила, время он держал. Колокол знаменитый был! Шестнадцать пудов и двадцать четыре фунта с золотниками... А голос какой! Ясный, чистый... Стал бить я в последний раз часы — бум-м, бум-м... Двенадцать часов и отбил, а как стал спускаться — они уже шли с наганами навстречу. Двенадцать ударов, а потом восемь лет...

И поднимется над компанией:

— Помянем, братие, и город родимый наш помянем, и деревеньки наши родные помянем, и души наши загубленные помянем, наши да чужие... Погосты наши помянем и землю помянем нашу — не вернуться они к нам уже никогда...

И начнет отбивать удары колокол под поминальное слово. Не сойдутся в тесном кругу граненые стаканы — не чокаются на поминках.

И поднимется на крыло с первым ударом далекого звоняра стая воронья вместе с чайками морскими, и не замолкая будут кружить они за бугром над волнами «рукотворного».

И будет гудеть и гудеть тот колокол над водным простором и над земною беднотою.

А люди молча будут стоять. И смотреть. Туда, где опускается закатное солнце, туда, где маячит на горизонте далекая земля.

Качнулся, замер на двенадцатом ударе язык колокола. Тишина. Пусто на бугре. Только кружит жадное птичье племя среди остатков поминальной трапезы.

Догорала, оплывала свеча, заливала стеариновой слезой кирпичный обломок храма... И трепетно мерцала на фоне заходящего солнца...

...Затворялись ворота гигантского шлюза, затворялись медленно, зловеще, неотвратимо. Поворачивались во чреве крепостной башни циклопические маховики, зубчатые колеса, скрипел металл, и гудели стальные тросы. Медленно, медленно уходил в колодец шлюза маленький, затерянный в бетонном пространстве рейсовый катерок.

На этом катерке — почти все наши герои. Молча стояли они на дощатых надстройках палубы, и молчал баян, развалив на садовой скамейке свои залатанные меха. А перед глазами стояла обросшая лохмами водорослей стена Рыбинского шлюза, а над головой все меньше и меньше становился квадрат, вернее, прямоугольник неба.

Текли по стенам и трещинам водяные потоки и ручейки, все дальше и глубже на дно уходил катер. Но не узкий канал вставал за уже начавшими приоткрываться воротами. Щель росла, разрасталась, и уже можно было за ней различить...

...недопитый стакан на обломке монастырского кирпича, покрытый коркой черствого хлеба, да свечка, растекшаяся по нему застывшей стеариновой лужей.

И лишь вздохнул на прощанье баян:

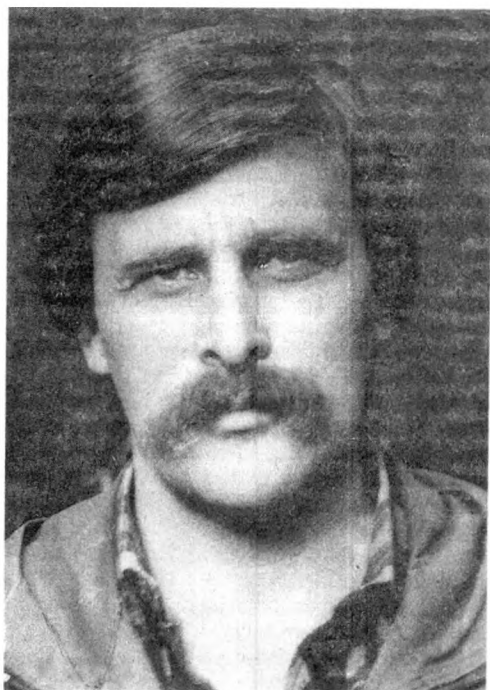
Уходит, уходит Мологи

От нас навсегда, на века...

А в каменном бункере ГЭС все так же привычно клокотала и кипела вода, и все так же неостановочно вертелось в стальной камере стальное тело турбины.

«Божьи мельницы мелют медленно, но верно».

1988 г.



**Иван
ЛОЩИЛИН**

КАРАУЛ

В зарешеченное окно купе видно, как Артурчик Нищенкин старательно протоптывает сапожками вожаденные слова: «ДМБ — 8...». Под тонким снегом — асфальт платформы, и надпись получается четкой. Красивой.

От усердия Нищенкин взмок, даже шапку на затылок сбил. Он уже начал последнюю цифру, как перечеркнули его труд хромовые сапожки пожилого капитана, коменданта парка спецвагонов, и следом — яловые сержанта Жохина. Добротные сапоги у помощника начальника караула. До блеска начищенные, утюгом проглаженные.

Андрей с тоской перевел взгляд с обрешеченного окна на стриженный затылок Хаустова. Володька уже застелил нижнюю полку и теперь неумело отбивал толстенной книгой кромку одеяла.

— Почему не приветствуете старшего по званию? — В узком дверном проеме купе стоял сержант Жохин. За ним маячил Нищенкин.

— Виноваты, товарищ сержант, не заметили, — сказал Андрей. — Извините.

Жохин смотрел на растерявшихся солдат, заложив руки за спину и чуть поигрывая напряженными скулами.

— Болт они на службу забили, — просунул в купе свое округло-пухлое лицо Артурчик. — Сачки!

Жохин покосился на него через плечо, привычно насупил брови.

— Сержант, — нетерпеливо позвал из коридора капитан.

— Закончите здесь, приборете в купе начальника караула, — приказал Жохин и пошел, цокая подковками. Широкоплечий, стройный, в ладно пригнанной и щегольски заглаженной шинели.

— Встречусь я с ним как-нибудь на гражданке, — пообещал Хаустов, яростно взбивая подушку. — Начальник охрененный!

Артурчик услышал.

— Что, салабоны, оборзели? Служба медом показалась?

На него уставились — откровенно, с едкой насмешливостью.

— Ну, чего смотрите? — закричал Нищенкин, переводя тревожный взгляд с одного на другого и нервно притоптывая ногой. — Чего пялитесь? Первый раз видите, да?

Поворотясь всем телом и пригорбя тяжелые плечи, Хаустов угрожающе шагнул к двери.

Нищенкин отшатнулся, беззвучно шевеля губами.

— Вот видишь, какая ты стерва, Артурчик, — произнес Андрей со вкусом и смаком. Нищенкин ошеломленно заморгал, губы задрожали. Силы явно были неравны, и он поспешил в коридор — к сержанту. Но, не утерпев, обернулся:

— Ну, сучки, подождите! Скоро я буду с вами разговаривать без улыбок и рукопожатий.

...Сержант Жохин дотошно осматривал первую камеру.

— Краской пахнет,— втянул он воздух. Капитан зевнул.

— Гадость всякую нацарапали. Замазали. — Свежая,— показал грязный палец сержант.

— Времени не было. Со сквозного караула вагон, на двое суток задержался.

С серым одутловатым лицом, огрузневший капитан скучал от этой привычной канители приема-сдачи.

— Одного бачка не хватает,— шепнул сержанту Нищенкин.

Капитан услышал.

— Поднесут,— заверил он и отодвинул решетчатую дверь следующей камеры.

Вагонзак вздрогнул, скрипнули колеса, и маневровый тепловоз потянул вагон на станцию посадки. Остались за окном, забранной решеткой, капитан... следы на снегу... загаженная платформа... подменные вагоны на путях отстоя...

От толчка Хаустова Андрей обернулся. В купе сидел сержант. Рядом присел на краешек полки Нищенкин.

— Почему не приветствуете старшего по званию? — Лицо сержанта было строгим.

— Виноваты, товарищ сержант, не заметили,— сказал Андрей.— Извините.

— Юлят, салабоны,— хихикнул Нищенкин.

Хаустов сжал кулачищи. Артурчик пере-двинулся к сержанту.

— Почему до сих пор не в купе начкара? — продолжал допытываться тот у молодых солдат.

— Извините, товарищ сержант.

Когда Иверень с Хаустовым вышли, сержант Жохин расстегнул шинель и облокотился на подушку.

— Ты кем на гражданке был, Артурчик?

— Товарищ сержант...

— Не слышу.

— П-пердуном домашним, товарищ сержант,— заерзав, выдал смешок Нищенкин.

— Почаще вспоминай об этом. Поможет тебе найти верный подход к молодым воинам.

— Есть почаще вспоминать, товарищ сержант.

— А теперь иди, милый. Свободен.

Выйдя из купе, Нищенкин аккуратно и плотно задвинул за собой дверь.

Коля Мазур проснулся. Поезд сбавлял скорость, вот качнуло на стрелках, шипение тормозов — остановились. Мазур бережно протер кулачками глазки, потянулся. Наша-

рив босыми ногами тапки, встал. Был он невысокого росточка, худенький, с остренькими черточками узенького личика.

Собирался Коля нехотя — заленился. Наллил в стакан из титана водички, сладко попил. Яблоко со стола взял. Осмотрелся. В кухне — чистота и порядок. Глянул в за-решеченное окно.

Стояли на дальних путях — уже прицепленные к составу.

— Мой милый друг, не надо грусти,— замурыкал Мазур, заправляя застиранную тельняшку в спортивные шаровары с широкими белыми полосами.— Придет весна — нас всех отпустят...

В коридоре послышались топот и громкие голоса. Мазур потянул дверь в сторону.

Решетка, отделявшая нерабочий тамбур от камер, была закрыта, около нее маялся на посту Нищенкин. Увидев повара, зауценно улыбнулся:

— Под завязку грузимся. Вспотеешь теперь на очко водить.

— Дрова сырые,— зевнул Мазур.— За ящиками, что ли, сгонять?

Но было видно — никуда он не побежит. Отвык, избаловался.

— Коль, дай куснуть,— показал Нищенкин на яблоко.

— Коле витамины самому нужны.

На это Артурчик лишь смиренно прохмыкал. А повар потянулся, зевнул и прошлепал в купе караула.

— Совсем оборзели салаги,— раздался там его голос.— Велел же мне застелить.

— Они застелят,— с готовностью поддакнул Нищенкин.— Салабоны ленивые.

Ворча и кряхтя, повар устраивался на своей полке.

Нищенкин отвернулся к забранному решеткой окну.

Автозак уже пришли, и временный караул собирался у хвостового вагона. Сюда же подошли и два инструктора с собаками.

Двойные стекла исказили заоконье. Нищенкин отыскал глазами своих и прищурился, слегка нагнув голову. Теперь искажение ложилось точно на лицо сержанта Жохина, деформируя его до неузнаваемости. Артурчик от удовольствия захлопал носом.

Хлопнула входная дверь нерабочего тамбура. От неожиданности Нищенкин отскочил от окна.

Проводники. Степко и Гусейнов. Пыхтя и отдуваясь, затаскивают в свое купе тяжеленные чемоданы.

А на улице все было готово к погрузке. Из кабины первой машины появились молодой лейтенант, начальник временного караула, и прапорщик Паромов. За ними, из других автозакон, показались угрюмый Цыкин и — со стопкой личных дел

осужденных — Корченюк, гибкий, поджарый и легкий на ногу ефрейтор.

— Привет, ребятишки! — раздался за спиной Нищенкина сладкий голосок. Степко.

Рядом — напарник его, долговязый и сутулый малый с сонным выражением смуглого лица. Оба в черных форменных шинелях, только Степко в шапке, а Гусейнов в железнодорожной фуражке.

— Николай, — ласково позвал повара Степко; юркие глаза его успели цепко охватить все купе. — Мы вот этот портфельчик к тебе поставим. Для общего котла.

— А, черт, — заворочался Мазур. — Только задремал.

Лицо Степко распустилось в улыбке.

— Портфельчик этот, говорю, оставим. — Он приподнял старенький портфель с впадыми дерматиновыми боками.

Мазур что-то пробурчал, поворачиваясь на другой бок. Степко глянул в обрешеченное окно:

— Стало быть, скоро покатим. Бархатных рельсов нам, как говорится.

— Жмоты хитрож..., — ругнулся Нищенкин, когда проводники скрылись в своем купе. — Привыкли на халяву.

Ответом ему было сладкое посапывание повара.

Первый автозак подогнали к этапному вагону, открылась дверца, и пошли пятерками серые ватники. Через зарешеченное окно Нищенкину видно, как щурятся на свету заключенные, жадно втягивают морозный воздух.

Имя, статья, срок...

Прапорщик Паромов сверяется с личной карточкой заключенного и передает запечатанный конверт дела ефрейтору Корченюку.

Сержант Жохин ведет осужденных в вагон, в ближнюю к Нищенкину камеру. Здесь их встречает Цыкин.

Погрузка проходит быстро. Привычная, будничная работа.

Имя, статья, срок...

Имя, статья, срок...

Опустевший автозак отъезжает, на его место припарковывается другой.

Имя, статья, срок...

Имя, статья, срок...

Имя, статья, срок...

Проснулся в проем двери заспанный Мазур. Нищенкин с готовностью улыбнулся. Но повар прошел мимо, отодвинул дверь в купе проводников. Те играли в нарды. Гусейнов при этом умудрялся читать газету. На столике — тонко нарезанное сало, яйца, маринованный чеснок.

— Вагон проверяли? — сказал повар. — Угля нет. — По-свойски взял проперченный ломтик сала, лениво зажевал.

— Есть уголек, — возразил Степко. — В тамбуре.

— Нет его там. — Мазур взял новый кусочек и расположился на откидном стуле.

— Есть у меня уголек, Николай, — улыбнулся Степко. — Есть.

На улице злобным лаем зашлись овчарки. Нищенкин на всякий случай расстегнул кобуру. Кого-то впихнули в вагон, проводокли по коридору и бросили в карцер.

А из купе проводников доносился голосок Мазура:

— ...Сейчас никто и не пользуется бесконтактной варкой, забыли. Условия плохие, а то бы я такое вам сотворил!..

Уже заполнялись ближние к рабочему тамбуру камеры — конец.

Нищенкин прислушался к служебному купе.

— ...водяная баня... — журчал голосок повара. — Отбить привкус сырого зерна...

— Николай, — не выдержал Степко. — Так сварганил бы? А? Мы отблагодарим, не думай. Вот Гусейнов не даст соврать.

— Дрова сырые, — с ленцой обронил Мазур.

— Так это мы организуем, — с готовностью отозвался Степко. — А, Гусейнов?

...Прапорщик Паромов расставил на полке в своем купе дела заключенных. Каждую стопку отделил картонкой с номером камеры — пять больших по двенадцать человек, четыре малых — по пять, в предпоследней, правда, всего двое. Итого — 77. Двойное счастье.

На соседней полке любовно положил несколько общих тетрадей в пластиковых обложках и, с уважением, три книги по философии: Н. Федоров, П. Чаадаев, И. Пнин.

В дверь коротко постучали, вошел сержант Жохин.

— Когда первая сдача?

— В двадцать три ноль восемь. — Паромов распаковывал дорожную сумку. — И принимаем восемь. Разбудишь меня в двадцать два тридцать.

— Сами будете принимать?

Паромов кивнул, продолжая копошиться в сумке. Сержант посмотрел в зарешеченное окно.

Мимо пробежали с тарными ящиками в руках запыхавшиеся проводники.

— Были сборы недолги, — посмотрел на часы Жохин. — Уже пятнадцать минут в пути.

— Куда спешить? — хмыкнул прапорщик. Взглянул на сержанта: — Леонид, приглядывай, пожалуйста, за молодыми. Все-таки для них это первый маршрут.

— Хорошо...

— И это... чтобы никакого неуставняка.

— Постараемся,— вздохнул сержант и отодвинул дверь.

Послышался гудок локомотива. Вагон дернулся, лязгнули буфера, и состав пошел. За обрешеченным окном потянулись пристанционные постройки и поплыла тусклая панорама зимнего города.

Паромов налил из термоса в изящную фаянсовую пиалу кофе, погладил коротко остриженную с залысинами голову и раскрыл книгу. Стал читать, время от времени делая в тетради пометки.

Вагон покачивало. Пол под ногами пружинил. Нищенкин из-за решетки наблюдал за Цыкиным: плотный и крепкий, он размеренно ходил в коридоре, тяжеловато, но твердо ставя ноги по полу.

У рабочего тамбура Цыкин развернулся, пошел обратно.

Нищенкин подтянулся. И, когда Цыкин дошел до него, заученно искривил пухлые губы в заискивающей улыбке.

Лицо Цыкина по обыкновению было угрюмым. Холодные серые глаза глянули на Артурчика исподлобья. Тот заулыбался еще шире, но Цыкин молча повернул обратно.

Нищенкин с облегчением перевел дух и стал разглядывать толстую решетку.

Поезд замедлил ход, колеса проворачивались со скрежетом и скоро остановились. За окном — до самого горизонта — поля и широкое водохранилище.

Послышался стремительно нарастающий гул.

Влекомый парой локомотивов в едином сцпе, раскачиваясь и дергаясь, мимо загрохотал воинский эшелон.

— Миру — мир, солдату — дембель! — помахал часовым на платформе Нищенкин.

Вагон за вагоном, платформа за платформой — и вот уже нет эшелона. И — тишина.

Вагон дрогнул и плавно сдвинулся с места.

— «Ах, вернисаж, ах, вернисаж...» — пел Андрей, сидя на нижней полке. А с верхней, перед ним, свешивался приколотый кнопками лист картона, изображающий телевизор с вырезанным экраном и надписью внизу: «ДМБ — ТВ — ДЕД».

У «телевизора» расположились зрители. Смотрели и слушали с удовольствием — балдели.

— Ужин приготовил? — взглянул сержант Жохин на повара.

Мазур кивнул, не отрываясь от «телевизора»:

— В термосе из части взял — горячий. Сержант поморщился, но промолчал.

Закончив петь, Андрей сделал строгое лицо и заговорил тоненьким голосочком:

— Продолжаем «Караульную почту». По многократным просьбам ефрейтора Корченюка звучит песня...

— Ты что, сынок, припух? — подал голос с верхней полки Корченюк. — Сколько можно учить, как положено дедушек звать?

— Простите, Борис Сергеевич, — с нарочитым смущением улынулся Андрей. — Запаятовал.

Он снова придал своему лицу строгое выражение:

— Приносим извинение за технические неполадки. Мы продолжаем наш концерт. По многократным просьбам ефрейтора Корченюка... Бориса Сергеевича передаем песню на стихи Сергея Есенина «Не жалею, не зову, не плачу». Исполняет рядовой Хаустов.

Дверь в купе отошла. Нищенкин:

— В туалет просят, товарищ сержант.

— Иверень, займись, — приказал Жохин Андрею.

Андрей дождался заключенного из туалета. Провел его к камере. Цыкин открыл замок и плавно откатил в сторону решетчатую дверь, пропуская серую фигурку.

С брезгливостью дернул Андрея за ремень:

— Беременный? Подтяни.

Из купе караула доносился неуверенный голос Хаустова:

— «Ты не так уж будешь биться, сердце, тронутое холодком...»

— «И страна безрезового ситца не заманит шляться босиком», — негромко, но легко и красиво подхватил кто-то в камере.

— Кончай базланить! — прикрикнул Цыкин.

— Канай, козел, не дергайся, — насмешливо отозвались в ответ.

Желваки на скулах Цыкина напряглись. Он подошел к решетке и глубоко посаженными глазами исподлобья оглядел камеру.

В нерабочем тамбуре Андрей обернулся. Цыкин спокойно ходил по коридору.

Когда Андрей вернулся в купе, то застал Корченюка возмущенным.

— Да ты хоть одну песню до конца знаешь? — наседал он на Хаустова.

— Н-ну... эту вроде: «Я на солнышке лежу, я на солнышко гляжу... А-а-а! А-а! Я на солнышко гляжу!»

— «А-а-а! А-а-а!» — беззлобно передразнил ефрейтор. Отодвинув Хаустова, сел на его место за экраном и заблажил, фальшиво, но — от души:

На плечи нам не надо
Тяжесть ваших погон,
И сапоги, и форму —
Все заберите вон!

Жохин взглянул на часы и вышел из купе.
А Корченюк еще громче проорал ему вслед:

И лычки, и значки —
Заберите все назад.

— Не надо нам, — подхватил Мазур, — не надо нам, не надо нам наград!

— Пустите к невесте, — продолжал один Корченюк, — я хочу домой.

— О, я хочу домой! — снова подхватил Мазур.

— Дембель даешь! — гаркнул Корченюк. — Сыны! Ну!

— Дембель даешь, — негромко выговорил Хаустов.

— Почему медленно отвечаем? — подступил к нему повар. — Охренел?

— Дембель даешь! — завопил Хаустов, глядя поверх головы низенького повара.

— Не ори, — отмахнулся Корченюк вполне добродушно.

Но Мазур разошелся уже вовсю.

— А ты что, припух? — смотрел он на Андрея.

Вместо ответа Андрей устался на мыски своих сапог.

Корченюк уже забрался на полку и, свесив голову, спросил добродушно:

— Вот скажи мне, сынок, какая между нами разница? А? Ты вроде бы человек, и я человек. А разница какая?

Андрей пожал плечами.

— А разница простая, — улыбался беззлобно Корченюк. — Ты — салага, а я — дед. И я вот сейчас прикажу тебе, например, туалет выдраить, и ты пойдешь.

Андрей улыбнулся почти радостно.

— Чего скалишься? — разозлился повар.

— Так точно, понял!

— Ну, значит, быстренько метнулся в туалет, — приказал Корченюк. — Через пять минут прихожу и удивляюсь — все сияет и блестит.

Андрей прищелкнул каблуками:

— Не могу отказать... Борис Сергеевич.

— Во-во! И не могли, — хохотнул повар.

А Корченюк улыбнулся:

— Вперед, сынок! Время пошло.

Пол влажно темнел. Андрей протирал зеркало.

— Ну как, сынок, пашем? — В дверном проеме стоял улыбающийся ефрейтор Корченюк. — Правильно! В армии пахарь — главная фигура. На нем все держится.

Андрей даже не посмотрел на ефрейтора.

— Обиделся, что ли? — искренне удивился Корченюк. — Ну и зря. Потом еще спасибо скажешь, что гоняли тебя.

Он прошел к унитазу, повернулся к Андрею спиной.

— Меня, знаешь, как сношали? — продолжал Корченюк не оборачиваясь. — И ничего, не сахарный — не растаял.

Поезд то набирал скорость, то притормаживал. Вздрагивал и качался вагон.

— Вот здесь подотри, — показал Корченюк, застегиваясь. — Как только вы, сыны, умудряетесь мимо такого большого очка лить?

— Практики не хватает, Борис Сергеевич, — посмотрел на него Андрей. — Вы бы показали, как это делается. Поделитесь опытом.

— Юморишь, сынок? — без обиды проговорил Корченюк, притягивая его за пуговицу. — Службу понял? Или гордый шибко?

— А тебе это не нравится?

— Нет, не нравится.

— Почему?

— Ты на гражданке с биксами кантовался, пирожки жевал, а я уже службу тянул.

— Разве я в этом виноват?

— Ты, может, и нет. А вот другой... такой же сынок... Глаза Корченюка вдруг стали недобрими. — Гандон штопаный! Пока я служу, мою девчонку трахает!

Андрей смотрел внимательно:

— Но скоро ты уйдешь на дембель и будешь трахать его девчонку.

В голосе Андрея Корченюк уловил насмешку, но не обиделся. Засмеялся одобрительно:

— Как с дедушкой разговариваешь?

— Извините, Борис Сергеевич, забылся. Легкий он человек — ефрейтор Корченюк. Незлобивый. Пошел из туалета, бросив напоследок:

— Ладно, сынок, паши. Труд из обезьяны человека сделал, а из салаги — солдата.

В ярко освещенном купе тепло, а за решетчатым окном — промозглая ночь, ветер студеный, мороз.

Корченюк развернул на столике портновский метр, бережно отрезал один сантиметр. Вздохнул — много еще было квадратов. Заметил взгляд Хаустова.

— Рано тебе заглядывать на дембельский метр. Для вас рулетку надо.

Сержант Жохин посмотрел на часы:

— Отбой.

— Хаустов, — позвал Корченюк.

— Я!

— Головка ты от полового члена. — Веселый был человек ефрейтор Корченюк. — Труби отбой, сынок.

— Давайте быстрее, — потянулся в постели разомлевший Мазур.

Дверь купе отодвинулась, вошел Андрей. Сержант встретил его строгим взглядом:

— Рядовой Иверень, почему опоздали на отбой?

— В туалете был, товарищ сержант.

— Я не спрашиваю, где вы были. Я вас спрашиваю: почему опоздали на отбой?

— Я думал...

Мазур хихикнул:

— Он думал. Мыслитель. Ты думай, что хочешь, но говори и делай, что надо. Здесь армия.

— Почему опоздали, рядовой Иверень? — не отставал сержант.

— Кончай, Жоха, — не выдержал Корченюк. — Хаустов, делай отбой!

— Отставить, Хаустов! — приказал сержант. — До конца караула отбивать будет рядовой Иверень.

Андрей вскинул на него глаза — и опустил. В купе наступила выжидательная тишина. В переменчивый рокот колес и поскрипывание купейных переборок назойливо вкрадывалось треньканье стаканов и кружек на столе.

Андрей сел за «экран». Проговорил негромкой скороговоркой:

Чик-чирик, чирик — ку-ку,

Скоро дембель старику.

Старики, спокойной ночи:

Дембель стал на день короче.

Спите, отсыпайтесь,

Дембель дожидайтесь.

За обрешеченным окном — непроглядно. Внезапно промелькнул огонек. Случайный, робкий. Мелькнул и — пропал.

Андрей опустил голову, сказал вялым голосом:

— Старики... День прошел...

— Нет, сынок, — проворчал Корченюк, — не слышно дембеля.

Андрей молчал. Жохин глянул на часы, поднялся и вышел.

— Давай, давай, не утомляй уговорами, — торопил Мазур. — Спать охота.

Но Андрей молчал. Притих в уголке Хаустов, положив на колени тяжелые ладони.

Мазур сел, недобро оглядывая Ивереня. Через тонкую переборку из купе проводников доносились негромкие голоса.

Отпихнув Хаустова, Мазур выглянул в тамбур. Затем подошел к Андрею:

— Что, шнурок драный, припух совсем?

— Старики! День! Прошел! — завопил Андрей, в глазах насмешка.

— Ну и хрен с ним, — довольные, с чувством выполненного долга, отозвались Корченюк с Мазуром.

— Старики! День! Прошел!

— Тебе же сказано, что хрен с ним, — приподнялся Корченюк.

— Старики! День! Прошел!

— Придунок, — Мазур кулачком постучал себя по голове. — Где только такого припадочного подобрала.

Заглянул Степко:

— Николай, чего шумим?

— День прошел, — сказал Андрей.

— А-а... — И Степко вернулся к другу Гусейнову, салу и экзотической игре в нарды.

— Мало тебя били, Иверень, — зевнул Мазур. — Ну да еще наверстаем.

Прапорщик Гавриил Паромов, тридцати трех лет, работал при свече. Он сидел за столиком и что-то задумчиво писал в тетради.

Поезд замедлял ход, все размереннее, все тише — поцокивал на стрелках.

В дверь постучали. Прапорщик взглянул на часы и с сожалением закрыл тетрадь.

— Время, Гавриил Александрович. — На пороге стоял сержант Жохин.

Затлели угольками рассыпанные в густой тьме огни, осталось в стороне вокзальное здание станции с певучим названием «Малиновка». Яркие фонари ее откатились назад, и начали надвигаться блеклые лампы пакгаузов.

В распахнутую дверь вагона задувал ветер, принося с улицы приглушенные голоса. Андрей стоял на посту у решетки рабочего тамбура.

Из четвертой камеры выводили заключенных, проверяли по личным делам и сдавали начальнику автокараула.

Имя, статья, срок...

Приняли дела новых осужденных.

Восемь человек.

В тамбуре ефрейтор Корченюк и Цыкин обыскивали поступивших. Спешили — время позднее.

Отвели заключенных в камеру. Закрыли решетчатую дверь. Корченюк сразу ушел в купе, Цыкин остановился рядом с Андреем. Смотрел исподлобья — пристально, угрюмо, бесцеремонно.

— Как служба, воин?

Андрей не ответил, глядел настороженно.

— Повторяю вопрос для дебилов, — с угрозой произнес Цыкин. — Как служба, воин?

Андрей заколебался, отвел глаза:

— Как у курицы. Где поймают, там и е..., трахают.

За спиной послышался шум: прапорщик Паромов закрывал вагонную дверь.

Миновав коридор, Цыкин вышел в нерабо-

чий тамбур. Скрылся в купе. Низкорослый. Крепкий.

Прапорщик задержался у окна.

Андрей стоял рядом в коридоре — решетка разделяла их.

Поезд с места набирал скорость. Колеса зарокотали на стыках. В зарешеченном окне промелькнули одиночные огоньки.

— Вот и еще один день прошел, Иверень, — доверительно проговорил прапорщик, глядя на Андрея.

— Слава богу, не убили — завтра снова в караул, — попытался улыбнуться солдат.

— Очень смешно, — поморщился прапорщик. Спросил, помолчав: — С кем у вас не сложились отношения?

— Что вы, товарищ прапорщик, — деланно удивился Андрей. — Со всеми у меня сложились отношения... неуставные.

Переменчивый перестук колес слился в ритмичный грохот. Поезд шел быстро. И качало, мотало прицепной вагон в хвосте состава.

— Солдату приходится преодолеть немало трудностей, прежде чем он получит то, что заслуживает, — медленно, подбирая слова, проговорил прапорщик после долгого молчания. — Да, это не легко... И есть ребята, воспринимающие все слишком болезненно. — Паромов покосился на солдата — слушает ли. — Чуть что, и они раскисли... сломались. А потом все видят в черном цвете. Таких солдат... с хилыми характеристиками... в армии не любят... не уважают...

— Так точно, товарищ прапорщик.

Паромов внимательно посмотрел на солдата, но лицо у того было серьезным.

— Гражданин начальник... — тихо позвали из ближней камеры. — По нужде бы, а?

— Я читал ваш рапорт о переводе в другое подразделение, — неожиданно сказал прапорщик.

Андрей взглянул с ожиданием.

— Решение вашего рапорта не в моей компетенции, — сухо сказал Паромов. — Проводите осужденного в туалет.

Андрей вывел заключенного. Когда проходили мимо прапорщика, Паромов встретился взглядом с сухими запавшими глазами ээка. Тот слегка повел головой.

— Оставайтесь, — велел Паромов солдату и прошел с заключенным в туалет.

В крошечной темноте внезапно засветилось окошко домика. Тотчас и пропало...

Когда Андрей снова запер осужденного в камере, прапорщик негромко приказал:

— Поднимайте сержанта.

Сержант Жохин открыл решетчатую дверь, осторожно вошел в камеру и, присмотрев-

шись, тронул за плечо спящего на нижней полке:

— Выходи.

Кряхтя и позевывая, заключенный встал. Привычно заложил руки за спину.

В рабочем тамбуре ждали прапорщик и ефрейтор Корченюк, всклокоченный со сна, злой.

— Осужденный Бесляков, девяносто первая, семь лет, — доложил ээк хриплым спороном голосом.

Быстро обыскали его. Ничего не нашли. — Сам отдашь? — сказал сержант.

— Не понимаю, гражданин начальник, — заключенный смотрел на прапорщика.

Паромов слегка кивнул, и сержант развернул ээка лицом к свету:

— Рот открой! Шире! Еще. — Внимательно осмотрел полость рта, даже пальцы запустил. Взглянул на прапорщика: «нет».

— Сесты! — приказал Паромов. — Встаты! Сесты! Встаты!

Бесляков присел, руками пытаясь удержать равновесие на зыбкой площадке.

— Сесты! Встаты! Снять штаны!

Бесляков замер. На него навалились, пригнули к полу, прижав подбородок к груди. Жгутом из полотенца стянули рот. Рванули брюки так, что посыпались пуговицы. Ловко подтянули ноги ээка к подбородку. Просунули под коленями ремень, концы застегнули на шее. Заключенный глухо мычал, пытаясь вырваться. Жохин сопел за его спиной. Наконец выпрямился и с брезгливой гримасой швырнул на пол тугой рулончик из белого непрозрачного целлофана.

— Иверень, обмой. — Сержант ногой подтолкнул рулончик к солдату. Брезгливо посмотрел на свои руки. — Чего стоишь?

Чувствуя тошноту, Андрей поднял рулончик.

— Хорошенько обмой, с мылом, — велел сержант.

Развязанный заключенный повалился навзничь, ноги его заелозили по полу.

— Менты поганые! — Бесляков завыл, забился затылком о металлическую решетку. — Мусора! Падлы легавые!

— Головку побереги, — посоветовал Корченюк. — Больно же.

На столике в купе прапорщика — еще хранящие форму рулона сотенные купюры.

— Подпиши, — протянул сержант Андрею листок акта.

Солдат взял, стал читать.

— Давай быстрее, Иверень, — подторопил сержант, — спать надо.

Андрей поставил аккуратную, еще совсем детскую подпись и спросил с наивным любопытством:

— Куда он их вез так много, а, товарищ прапорщик?

— Выяснят,— ответил за Паромова сержант.

Андрей ходил по коридору. Монотонный перестук колес и слабое покачивание вагона клонили в сон. Время от времени Андрей встряхивал головой, а то принимался до рези в глазах смотреть на потолочные плафоны в металлических оплетках.

Сквозь рокот колес прорывались храп, посвист и бормотание спящих эзков.

— Володька, разбуди Корченюка,— наконец не выдержав, попросил Андрей Хаустова, который стоял на посту у решетки, отделявшей нерабочий тамбур от камер.

Приятель неуверенно улыбнулся, пряча глаза:

— А как же пост?

Андрей согласно кивнул и опять зашагал по коридору — стараясь не останавливаться больше.

...Рассвет наступил внезапно, казалось, поезд просто въехал из темноты в неяркий утренний свет.

Наконец послышался долгожданный скрип открываемой решетки. Корченюк появился мятый, заспанный, но со своей обычной насмешкой — чувствовал власть.

— А ты ведь, сынок, должен был разбудить меня в три,— деланно удивился он. Андрей лишь слабо улыбнулся.

— Хороший ты парень, сынок,— ласково сказал Корченюк, похлопав его по плечу.— Если и дальше так пойдет, толк из тебя будет. Давай води теперь этих раздолбаев на очко.

Лязгнула дверь первой камеры.

Спина. Узкая, ломкая. Тонкие белые руки. Подергиваются нервно.

...У этого спина широкая, толстые багровые уши, мощная шея упирается в воротник телогрейки. Мускулистые, тяжелые руки с толстыми кистями.

Андрей даже приотстал немного.

Спуск воды заглушается перестуком колес...

...Корченюк отпирает дверь очередной камеры, откатывает в сторону.

Маленькая, как у подростка, фигура, одно плечо ниже другого, шаркающая походка. А руки крупные — сильные.

— Сменить воду в бачке? — веселый голос Корченюка, снова запирающего заключенного в камеру.— Может, тебе еще за пивом сбегать?

...Невысокий худощавый паренек.

— Воин! — голос Цыкина из нерабочего тамбура.— Этого мы сводим.

Паренек отшатывается, когда подходят Цыкин, повар и Нищенкин. На лице — страх.

— Канай, козел, не дергайся,— голос Цыкина спокоен, только напряглись желваки.

Из туалета паренек возвращается пошатываясь, руки прижаты к животу. Цыкин и повар о чем-то переговариваются негромко. Замыкающий группу Нищенкин не идет — шешивует. Важный, надутый.

— Не спи — замерзнешь,— небрежно толкает он Андрея.

...Этот мал и худ. Какой-то весь скособоленный, узкогрудый и сутулый. Оглядывается. Улыбается заискивающе, а взгляд — цепок, изучающ.

Дверь в туалете открыта. Заключенный стоит перед унитазом, настороженным взглядом шныряет по солдату, улыбочка какая-то нехорошая, блудливая. Глаза на мгновение соловеют, затем с прежним напряжением следят за конвоиром.

Андрей поспешно отвернулся к окну.

Поезд проскочил переезд со скопичем машин у шлагбаума.

Корченюк увидел, что Иверень стоит спиной к туалету. Прошел крадущимся шагом по коридору и шагнул в тамбур. И тотчас метнулся в туалет. Схватил эзку за шкирку — лбом о переборку. Вышвырнул в тамбур. Ногой поддел уже падающего: — Гнилушка!

Заключенный завозился на полу, шаря руками по мотне в попытке застегнуть ширинку.

— Встать! — Корченюк пнул лежащего.

— Не смей! — повис на ефрейторе Андрей.— Он же больной!

Отлетел к решетке.

— Большой! — разъярился Корченюк.— Салагу увидел, вот и решил кайф поймать! — Резким и сильным рывком поставил эзку на ноги: — В камеру, гнилье!

Заключенный криво усмехнулся, но без тени смущения.

— Спасибо... — негромко проговорил Андрей.

Корченюк посмотрел с удивлением. Хмыкнул:

— Я же говорю, сынок, что мы с тобой как-нибудь поладим.

Поезд то еле тянулся, то вдруг отчаянно раскачивался и гремел.

— Семнадцать... восемнадцать...— считал Нищенкин, глядя на покрасневшего от натуги Цыкина. Двухпудовка все медленнее и медленнее ходила вверх-вниз.— ...двадцать два...

Больше Цыкин выжать не смог, с грохотом опустил гирию на пол.

— А ну, теперь ты,— кивнул Мазур Андрею.

— У меня рука болит,— попытался отказать тот.

— Косишь? — ухмыльнулся Цыкин.— Не разжалобишь.

Андрей сумел донести двухпудовку только до плеча.

— Слабачок,— хихикнул Нищенкин от решетки, где он стоял на посту.— Такой сразу подведет своих товарищей, а что может быть хуже?

— Это уж точно,— сказал Мазур.— Понял, Иверень?

— Он только болтать может,— снова ухмыльнулся Цыкин.

— Что, не имею права? — попытался улынуться Андрей.

— Пока не имеешь!

Хаустов молча взял гирию. Рывок.

— Один, два, три, четыре, пять... — принялся считать Нищенкин.

Двухпудовка легко ходила вверх-вниз. Вверх-вниз. Вверх... вниз...

— ...двадцать... двадцать один...

— Давай, Володька, давай! — не выдержав, закричал Андрей.

Гирия пошла вверх. Хаустов скосил глаза на Цыкина и со стуком поставил двухпудовку. Все!

Хаустов старался не смотреть на Андрея.

Поезд притормозил и скоро остановился на разъезде. Стояли недолго: прогрохотал проходящий мимо товарняк — и снова закачался вагон.

Хаустов стоял на посту у решетки. Он казался подавленным.

— Я на самом деле не мог больше поднять,— говорил он, взглядывая на Андрея и быстро опуская глаза.— Ты не думай, я не прогибаюсь перед ними... на самом деле не мог. Очень хотел — но не мог.

За окном промелькнула безлюдная платформа.

— Никогда бы не подумал, что можешь так легко сломаться,— проговорил Андрей.

Хаустов ссутулился.

— Кому и чего докажешь? — прошептал он.— Все равно лбом стены не прошибешь.— Заговорил быстро, сбивчиво и тихо: — Выбора нет... Нас все имеют, как хотят. Что здесь, что на гражданке...

— Заткнись! — не выдержал Андрей.

— А что мы тут делаем? — Из кухни высунулся Мазур и уставился на Андрея.— Сачкуем?

Андрей мыл посуду. Мазур сидел за столом — уплетал шпроты.

— У тебя, Иверень, отсутствует здравый смысл,— поучал повар с набитым ртом.— Надо жить по обстоятельствам, а ты всегда на рожон лезешь. Принципиальный, что ли? Всем видом своим Андрей показывал, что занят работой.

— Принципиальным быть, конечно, красиво,— продолжал Мазур, не переставая жевать.— Но только это тебе еще рано. Вот станешь дедушкой, тогда и принципиальничай. Хочешь — салаг припахивай, а хочешь — сам паши.

Поезд начал сбавлять ход. Дорога здесь ремонтировалась. На обочине сгущились путевые рабочие в оранжевых стоп-жилетах. Женщины. Только женщины. Одни женщины.

Повар прикончил шпроты и прополоскал водой рот. Сплюнул в раковину с посудой.

Андрей держал в руках чистые ложки.

— Сюда ложь,— показал повар.

— Клади,— машинально поправил Андрей.

— Умный, что ли, до хрена? — сразу взерошился Мазур.

— Нет.

Какое-то время повар смотрел на него с недоверием.

— Коля Мазур вообще-то человек тихий и безвредный,— снова сел он за стол — пить компот.— И если ты будешь разговаривать с ним вежливо, он тебя, может быть, и поймет.

— Хорошо,— согласился Андрей,— я подумаю.

— Подумай,— кивнул повар.— А умному человеку всегда сладко. Усек? — Он вздохнул с завистью: — Есть же суки — умеют жить!

— Фанфары и литавры жуликам кончились,— усмехнулся Андрей.

— Кончились... — Мазур расхохотался от такой наивности. — Будет еще...

В коридоре послышалась какая-то суета: топот, громкие голоса.

Ждали, пока Хаустов откроет решетку нерабочего тамбура. Привлеченные шумом, появились из служебки проводники. Заметив их, прапорщик брезгливо поморщился.

— Чего шумим, Леонид? — полюбоствовал Степко у сержанта.

— Ты хоть бы в сторону, что ли, дышал,— отвернулся тот.

— Это можно,— не стал обижаться Степко.— Так ведь, Гусейнов? — И проводники ускользнули в свое купе.

Сержант откатил решетчатую дверь одной из камер.

В углу — исхудавший парень. Сидит на корточках, мерно покачиваясь.

Сержант ручным фонариком осветил ему в лицо: глаза у парня неподвижные, точно отсутствующий, бессмысленный взгляд.

Выволокли в коридор. Все попытки поставить зэка на ноги были безрезультатны.

— Где только взял, сволочь! — Цыкин встряхнул заключенного.

Потащили в карцер. Заперли.

Всех восьмерых из последнего поступления построили в коридоре — лицом к стене. Одежда сложена у ног.

Цыкин с Корченюком тщательно осматривали каждую вещь, простукивали подошвы обуви.

«Ничего», — показал прапорщику глазами Корченюк.

И Жохин, выйдя из камеры, мотнул головой: «нет».

— Если и было что, уже передали, — предположил сержант.

Прапорщик согласно кивнул.

Стукач мыл пол в туалете. Прапорщик наблюдал за ним от двери. Заключенный еще старательнее заработал тряпкой, на Паромова пытался не смотреть. Наконец все-таки не выдержал.

— Нет, начальник, — искривил он тонкие синюшные губы, — с наркотами я — атас. Пожить еще хочу.

Прапорщик выжидательно молчал.

Щеку стукача свело судорогой, и он, ощерясь, процедил зло и безысходно:

— Тебя бы, сука, в мою шкуру...

Дверь в купе караула полуприкрыта. С поста у решетки нерабочего тамбура Андрею хорошо виден Хаустов, подшивающий подворотничок к кителю Цыкина. Делал он это старательно, но еще неумело.

— Морщины видишь? — показал Цыкин. Хаустов виновато захлопал ресницами. — Перешей. — Цыкин оторвал уже пришитый подворотничок.

— Эх, сыны, — нарочито вздохнул Корченюк. — И ни в чем-то от вас толку нет. Как еще ты, Хаустов, с женой справлялся?

— Сосед помогал, — вставил Мазур.

На лице Хаустова появилась растерянная улыбка.

— Не надо, — попросил он.

— Смотрите-ка, как девочка: «Не надо», — посмеиваясь, глумился повар. — А с какой стати ей ждать тебя? Хрен, что ли, у тебя не такой, как у всех?

Андрей то смотрел в зарешеченное окно, то опять поворачивался к купе. Он сдерживал себя уже с трудом.

— Да подстилка она. Шлюха! — вовсю разошелся Мазур, посмеиваясь и поглядывая на приятелей.

Молчит Хаустов, лишь смотрит затравленно на глумителей, сжимая бесполезные кулачищи.

— Не понял вопроса, воин? — угрожающе привстал Цыкин. — Кто она? Дырка?

Андрей не выдержал, рывком отодвинул дверь и шагнул в купе.

— Почему оставил пост? — процедил Цыкин.

А Корченюк посоветовал миролюбиво:

— Свали, сынок. Свали, не зли меня.

И Мазур не остался в стороне.

— Иди, иди, встал чего?! — прикрикнул он.

Подскочив к Андрею, повар стал выталкивать его из купе. И в это время Хаустов прошептал: «Дырка...»

— Не слышу! — потребовал Цыкин.

— Дырка! — закричал Хаустов, закрывая глаза.

И больше Андрей не сопротивлялся. Он был в оцепенении. Позволил шуплому Мазуру вытолкнуть себя в тамбур и задвинуть дверь.

Андрей стоял у окна, но ничего не видел. Слезы бежали из глаз его. И он не стирал их.

За спиной послышался скрип отодвигаемой двери караульного купе. Андрей развернулся и, еще не видя, кто перед ним, шагнул навстречу.

— Ну ты, чмо ходячее! — взвизгнул повар. — Куда прешь? Дай пройти человеку!

— А где здесь человек? — деланно удивился Андрей. — Я вижу здесь кучку дерьма.

— Чего-о?! — ошел от подобной наглости Мазур. — Ты интеллигента-то из себя не изображай! Видали мы таких в белых тапочках.

Из купе показались Корченюк и Цыкин. Смотрели.

— Нет, не могу больше, — взвизгнул повар, ободренный их присутствием, — сейчас двину этому фраеру с гандонной фабрики по мордасам. У меня к нему давно нет симпатий. — И мазнул Андрея ладошкой по щеке. Легонько мазнул. Не больно.

Иверень рывком схватил Мазура за грудки, встряхнул тщедушное тельце.

— Рядовой Мазур! — Из купе прапорщика вышел сержант Жохин.

— Он меня ударить хотел! — отдувался повар. — Все видели...

— Отставить!

Рыжие бровки повара задергались.

— Ну, Жоха... Салага на старика рыпаются, а ты...

— Как стоите, рядовой Мазур! — рявкнул сержант.

— К-к-как стою? — опешил повар, оглядывая себя.

— Обратитесь, как положено!

— К-как п-положено? — повар со страхом смотрел на побелевшее лицо сержанта.

— Службу забыл? А это что такое? — ткнул Жохин в узенькую грудку, обтянутую засаленной тельняшкой.

— Да вы что? — только и смог вымолвить повар.

— Оденьтесь по форме, рядовой Мазур, — приказал от двери своего купе Паромов.

— Товарищ прапорщик! — обрадовался почему-то Мазур, показывая на Андрея. — Да он же сумасшедший, товарищ прапорщик. Посмотрите только на него. Сразу видно, что... — Повар вдруг осекся: прапорщик, не дослушав, ушел в купе.

Неприязненно смотрели на сержанта Корченюк и Цыкин. Молчали.

Андрей отвернулся к зарешеченному окну.

— Сука же ты, Жоха, — бросил за его спиной обозленный Цыкин.

Андрей поднял руки и замкнул ладонями уши.

Взъерошенный Мазур сидел в купе у проводников. Лицо злое, в глазах — слезы, вид загнанный.

— И завел: та-та-та да та-та-та! — рассказывал он, не забывая жевать сало. — Сержантик задрипанный! — Мазур даже поперхнулся от возмущения.

Степко сочувственно пододвинул к нему банку с грибами.

— Не бери в голову, Николай. Образуется.

— То замполит, то ротный, — не мог успокоиться Мазур, предварительно наколов вилкой грибок. — «Неуставные отношения, неуставные отношения...» А что бы они, отцы-командиры, без нас, стариков, делали? А? На нас армия держится!

Степко согласно покивал, Гусейнов же попрежнему читал газету.

— Обложили, паскуды, не продохнешь! — с обидой почти вскричал Мазур. — А салаги борзеют!

— Не говори, Николай, — поддакнул Степко. — Совсем пораспустился народец... никого не уважают. Обнаглели.

— Хозяина нет! — неожиданно сказал Гусейнов. У него оказался тонкий, пронзительный голосок.

На Гусейнова воззрились с удивлением. Но он молчал — читал газету. Помолчали и напарник с поваром.

— Да, — вздохнул Степко немного погодя, — тузов козырных много нынче развелось. А хозяина нету! — Посмотрел на Мазура: — С сержантом-то, Николай, мириться тебе

надобно. Какая-никакая, а властишка у него. Дадим мы с Гусейновым тебе для замирения.

Мазур подумал и покачал головой:

— Не поможет.

— Поможет, — веско возразил Степко. — Водка всегда поможет.

Поезд стоит на полустанке. Голый лес подступает к самому полотну железной дороги.

Андрей смотрит, как грузят заключенных в машину. В черноте ночи почти ничего не видно: какие-то смутные тени.

Прапорщик передал дела начальнику автокараула; охрана замкнула фургон автозака.

Паромов с сержантом зашли в вагон. Прошли по коридору. Жохин заглянул в обе опустевшие камеры.

— Во второй — перелимит. Может, переведем из второй в освободившиеся? — предложил он прапорщику.

— Зачем?

Сержант неопределенно пожал плечами. Паромов прошел мимо Андрея, не задержав на нем взгляда.

— Смени бачок с первой на четвертую, — велел Жохин солдату, — там течет.

Состав постепенно набирал скорость.

Андрей стал менять бачки. Нищенкин ходил по коридору мимо, демонстративно не замечая Ивереня.

Андрей прошел в свое купе. Раздевшись в темноте, забрался на полку. И — грохнулся вниз.

Тотчас зажегся свет. Старики не спали. Мазур сидел на постели Андрея, Корченюк и Цыкин расположились внизу.

— Не ушибся? — с деланным сочувствием поинтересовался Мазур.

Андрей поднялся на ноги, стоял, теребя подол нижней рубахи.

Цыкин неспешно расстегнул поясной ремень, ловко и привычно захлестнул его вокруг ладони.

Андрей подался назад.

И в это время отодвинулась дверь. Сержант Жохин:

— Иверень, к прапорщику.

В купе Паромова горела свеча. Прапорщик сидел отвалившись к стене.

— Рядовой Иверень по вашему...

— Читайте, — придвинул к нему тетрадь Паромов.

Андрей раскрыл ее.

— «Сущность...» — посмотрел на прапорщика.

— Читайте, — с закрытыми глазами едва слышно проговорил тот.

Андрей стал читать.

— Вслух читайте, — в голосе Паромова не было раздражения.

— «Все философские воззрения, которые существовали и существуют,— это попытка ответить на один единственный вопрос: как устроен этот мир? Сложность, которую человек испытывает при этом, заключена в активной его жизнедеятельности, в привычке рассматривать только окружающую его действительность, себя при этом не учитывающая. Мир существует только в его представлениях о нем. И получается, что, с одной стороны, существует бесконечно интересный, многообразный мир, а с другой — он, как бы из небытия, не из этого мира. А для того, чтобы рассматривать весь мир в целом, необходимо рассматривать человека как неотъемлемую часть его — материальное образование с присущими ему свойствами. И уже результатом действия этих свойств и будет являться его представление об окружающем мире. И это, казалось бы, незначительное замечание позволяет в дальнейшем понять многое из того, что происходит с ним на этом свете.

Говоря об окружающем мире, человек включает в него и похожих на него людей, веря, что они обладают таким же сознанием, как и он, инстинктивно проводя аналогии. Ведь никто не знает, что творится у каждого в голове, мы понимаем друг друга по словам, поступкам, поведению. Вместе с тем каждый человек отличает себя, отличая...»

— Отмечая,— поправил Паромов, оставаясь сидеть в прежнем положении.

— «...отмечая свою уникальность, неповторимость. Суждения с такой позиции являются субъективными, уникальными и выражают субъективный взгляд на мир.— Андрей перелистнул страницы, посмотрел — толстая тетрадь была исписана до конца.— Субъективный взгляд человека есть выражение того же закона природы, который отличает среди множества подобных предметов отдельную их неповторимость...»

— Вы понимаете то, что читаете? — неожиданно спросил Паромов.

— В общем-то...— замаялся Андрей, стараясь не смотреть на него.

— Продолжайте.— Паромов закрыл глаза.

— «Анализируя какой-либо процесс или предмет...»

В дверь постучали. Громко, настойчиво.

— Да? — отозвался Паромов.

Вошел сержант.

— Товарищ прапорщик,— обратился он официально при рядовом,— в третьей — цепе.

Состав прошел тихий перегон и стал набирать скорость. Вагон мотало, пол под ногами дрожал.

Прошли по коридору. Возле третьей камеры — Нищенкин.

— Там,— судорожно кивнул он на решетку.— И стонет, и стонет.

Решетчатую дверь — в сторону. Подсвечивая себе ручным фонариком, прапорщик прошел в камеру. На полу валялся заключенный; перевернул его. Фонарь высветил обезображенное побоями лицо стукача.

— Всем встать! — скомандовал зычно сержант.

Заключенные нехотя поднялись. Построились. Сержант и Корченюк осмотрели у всех руки. Не было ни ссадин, ни ушибов.

— Ты и ты,— приказал сержант двоим,— пострадавшего в свободную камеру.

Когда его поднимали, стукач зашелся в кашле, выхаркнул темный сгусток.

Андрей заметил, как переглянулись сержант с прапорщиком.

Внося пострадавшего в камеру, задели телом за решетку. Может быть, и не случайно.

— Старший по камере? — спросил сержант.

Вперед шагнул высокий седой заключенный с широкими, устало опущенными плечами:

— Осужденный Хальков, семьдесят девятая, четыре года.

— Пошли,— кивнул ему сержант.

Вывели в рабочий тамбур.

— Кто? — спросил прапорщик.

— С полки он упал, гражданин начальник.

Прапорщик ждал, смотрел с легкой усмешечкой.

— Сами шухерите! — не выдержал ээк.— Мне ваши проблемы до фени.

Прапорщик кивнул сержанту, заключенного повели в коридор. Здесь прапорщик громко приказал сержанту:

— Осужденного Халькова перевести во вторую камеру, третью — оставить без питания на сутки.

Сержант стал открывать дверь второй камеры.

— На понт берешь, начальник,— ухмыльнулся ээк бескровными губами.

Но когда сержант подтолкнул его к двери, осужденный вскинул голову — в расширенных глазах мелькнул страх.

— А-а...— обреченно выдохнул он и закричал, вытягивая шею: — Я! Я это сделал! Один! Один! Я! Я!

Он упирался, но сержант оказался сильнее. Закрыл за ним камеру. Посмотрел на прапорщика.

Лицо Паромова было непроницаемо.

Корченюк сидел в камере рядом с пострадавшим стукачом. На лице и на теле того множество ссадин и кровоподтеков.

— Каблуками били,— сказал ефрейтор

подошедшему прапорщику.

Иверень помогал Корченюку перевязывать избитого.

— Что он говорит? — спросил прапорщик.

— С полки, мол, упал,— хмыкнул Корченюк.— А что он еще скажет...

Нищенкин стоял в коридоре напротив, обеспокоенно переминался с ноги на ногу.

— Тихо было,— наконец решился сказать он.

— Одним словом, хреновы дела.— Корченюк встал с колен.

— Голова пробита, кровь горлом идет. Возможно, сотрясение, если не хуже.

Прапорщик молча вышел из камеры.

— Не было печали,— вздохнул сержант.

— Не говори, кума,— усмехнулся Корченюк, глядя на него.— Если уж не повезет, так на родной сестре триппер схватишь.

— Мужик без триппера, что шхуна без шкипера,— ляпнул Нищенкин.

Жохин только взглянул на него и быстро опустил глаза.

Потянулись неказистые домики окраины поселка. Поезд сбавлял скорость.

Стояли на площадке. Корченюк придерживал спиной тяжелую вагонную дверь.

— Стоим три минуты,— сказал прапорщик Жохину.— Если что, ждем тебя на следующей остановке.

Сержант кивнул и не стал дожидаться полной остановки поезда. Спрыгнул на землю — упруго и крепко.

Смотрели, как он, обгоняя состав, бежит к станционному зданию.

— Надо было отдать бумагу с текстом милиционеру,— сказал Корченюк,— вон он мается,— кивнул ефрейтор на милиционера, стоявшего на платформе.

Прицепной вагон остановился, не доезжая вокзальчика. Ждали. С нетерпением. Злясь. Жохина не было видно.

— Мне надо было,— вздохнул Корченюк.— Я бы успел.

Прапорщик только покосился на него. Ничего не сказал. Состав медленно тронулся. Наконец появился Жохин. Ринулся к убегющему ходу вагону.

— Дверь в рабочем открой,— приказал ефрейтору Паромов.

Корченюк бросился по коридору. Отомкнул первую решетку... вторую — в рабочий тамбур.

На площадке поднял трап-фартук, освобождая ступеньки лестницы.

Жохин поровнялся с задней площадкой. Ему кричали, подбадривая, поторапливая... Он уцепился за железную скобу высокого поручня, подтянулся. Ногами нащупал ступеньки. Стал на подножку. Корченюк помог ему ввалиться в тамбур.

Пробежали коридором.

— И в часть отбил,— тяжело дыша, доложил Жохин прапорщику,— и по линии успел позвонить. Будут встречать на узловой. В десять ноль-ноль. Долго стоять придется, пока не подцепят к попутному маршруту.

Завтракали. Андрей и Хаустов пили чай с хлебом. Старики чай пили со сгущенкой, хлеб ели с маслом.

— Вкусно? — посмотрел на молодых Мазур.

— Со сгущенкой вкуснее,— ответил Андрей.

Мазур хихикнул:

— Сгущенки ему. Не хило, да? Никто не виноват, что ваши пайки мыши съели.

— Крысы,— поправил Андрей.

— Что-о?! — взвился Мазур.— Это кто — крысы?! Ну ты меня заколебал, салага! Сейчас вот дам в пятак, живо четвереньки вспомнишь!

А между тем сам оставался на месте — помнил недавнюю стычку. И только его жуликоватые глазки тревожно следили за Андреем, и руки нервно теребили полу свежей, накрахмаленной куртки, в которую повар облачился вместо тельняшки.

Андрей не смотрел на стариков, сидел напряженный, с нарочитой невозмутимостью отхлебывая из кружки чай.

Цыкин оставил стакан, глянул на Хаустова:

— Дай ему в торец, воин.

Хаустов оставался недвижим.

— Еще раз говорю тебе, осип уже,— повторил Цыкин, не повышая голоса.

— Кому не ясно? Ну! — взвизгнул повар.

И Хаустов подчинился. Ударил. Не глядя. С закрытыми глазами.

С места взметнулся Андрей. На Цыкина прыгнул. Не думая о последствиях.

Цыкин не ожидал и растерялся. Но тотчас опомнился. Ударил. Сцепились. Мазур, изловчившись, пнул Андрея в бок.

— В чем дело?! — В дверном проеме стоял сержант Жохин.

— На людей бросается,— кивая на Андрея, заискивающе проговорил Мазур.— Придунок!

— Нелегко быть настоящим сержантом,— с напускной серьезностью прокомментировал появление Жохина Корченюк.— Принципиальность и решительность — вот что самое главное.

— Ты бы заткнулся, Борис,— посмотрел на него Жохин.— Иверень и Хаустов, выйдите.

Цыкин шагнул к сержанту, стал лицом к лицу. Проговорил, редко пропуская слова сквозь стиснутые зубы:

— Я так о тебе соображаю, Жохан, что ты много берешь на себя.

Сержант усмехнулся.

— А ты, если хочешь показать себя —

показывай, — невозмутимо произнес он. — Но не на чужих костях.

— А дадено мне это право! — вскричал Цыкин. И заговорил вздохом, распаясь все больше: — Понял? Дадено! Да! Добыл! Сам! Вот этим горбом! — задыхался он от ярости. — Да! Драл с них, салаг, три шкуры! И буду драть. И с меня драли!

Мазур наблюдал за происходящим, скромно забившись в уголок, — еще не решил, чью сторону принять.

Цыкин взял сержанта за грудки, притянул.

— С самого призывного пункта трахали, — заговорил он в лицо Жохину. — Я ведь все помню, Жоха! Такой же стукач в законе гонял! Деловой! И не смотри на меня так! Понял? Не на-а-ада...

— Хватит болтать! — прикрикнул сержант, отнимая от кителя чужие руки. Жестко добавил: — Если такой умный, вставай на мое место. Командуй!

В купе засмеялись. Откровенно. Обидно. И — с вызовом.

Корченюк переводил насмешливый взгляд с сержанта на лица приятелей. Сказал с усмешечкой:

— Чего ты добиваешься, Жоха?

— Порядка.

Снова засмеялись.

Мазур уже сделал свой выбор.

— А ты не пыжься, Жоха, не надо, — осклабил он, на всякий случай держась поближе к Цыкину. — Кто ты такой — права качать? Шишка? Или, может, совесть?

Жохин молчал. Трое смотрели на него. Трое — одного призыва с ним. И вроде — приятели. Были?..

Встречный поезд пошел за обрешеченным окном. Локомотивы традиционно приветствовали друг друга — короткими свистками.

Вагоны проносились один за другим. Мчались — на бешеной скорости.

Вот уже хвостовой промелькнул.

И — прощальные гудки локомотивов. Долгие. Тревожные.

Сержант отодвинул дверь.

— Смотри, Жоха, не лажанись, — бросил ему в спину Корченюк. — Один против нас идешь.

Носилки с избитым стукачом пронесли по коридору к выходу. У вагона пострадавшего ждала машина «Скорой помощи».

— Пока в больнице оформляют, пока в милиции... — говорил прапорщик сержанту, выходя с ним из нерабочего тамбура в коридор. — А еще телеграммы отбивать, на связь выходить... Так что вернись не скоро.

— Все равно до утра стоять, — сказал Жохин.

Прапорщик хмыкнул:

— Успеть бы до утра все оформить. А то проканителются...

Договорить ему не дал заунывный вой, донесшийся из карцера.

Зэк сидел на полу и, подвывая, раскачивался из стороны в сторону. Его кумарило. Иногда он замолкал и, стараясь поймать кайф, поспешно, с жадностью грыз какую-то тряпку.

— Переведите его во вторую, — приказал прапорщик. — Там успокоят.

Они пошли дальше — к выходу.

Цыкин, стоявший на посту в коридоре, проводил их взглядом и приблизился к решетке карцера.

— Кончай скулить, — с угрозой проговорил он.

Заключенный бессмысленно затарачился на него — завыл еще сильнее. Внезапно он скорчился и завалился набок.

Цыкин сплюнул и отошел от решетки.

...Стояли на дальних путях. Разносились гудки локомотивов, гремели по селектору команды.

Прапорщик спустился по ступенькам на землю и уже было пошел к санитарной машине, но остановился, словно вдруг что-то вспомнил. Вернулся к вагону. Сказал стоявшему в дверях сержанту:

— До моего возвращения Ивереня закройте в карцере. — Остро взглянул на Жохина: — Так лучше будет.

Сержант отвел глаза. И кивнул — соглашаясь.

Увидел, как отворилась вагонная дверь в нерабочем тамбуре, и показались проводники: Степко — налегке, напарник же тащил два тяжеленных баула.

Сделав вид, что не заметили прапорщика с сержантом, проводники юркнули за вагон.

— Махинаторы, — усмехнулся Жохин.

— Жулье! — брезгливо поморщился Пармов.

Сержант задвинул за Иверенем решетчатую дверь карцера. Запер. Но не уходил. Смотрел на Андрея из-за решетки. Лицо у Жохина открытое и приятное, а серые глаза смотрят пристально — изучающе. И — с сочувствием. Что-то сказать хотел сержант, но не сказал. Лишь мотнул головой. Пошел прочь.

Когда мимо Цыкина проходил, тот искоса резанул его ненавидящим взглядом и отвернулся.

Нищенкин открыл решетку нерабочего тамбура. Пропустил сержанта, заученно улыбаясь.

Громыхнула вагонная дверь. Степко влетел. Шмыгнул в служебку. Неспешно вошел Гусейнов.

А Степко уже выскочил из купе. И пятилитровую стеклянную банку к груди прижи-

мает. Сунул ее в руки напарнику и — к выходу. Гусейнов — следом.

Никто ничего не понял.

Опять громыхнула вагонная дверь. Степко вернулся.

— Вам брат? — спросил нетерпеливо.

— Что? — не понял сержант.

— Посуду давай! — горопился Степко. — Девяносто шесть градусов! Задарма дают! Цистерны тут — рядышком!

Понятливый Мазур уже тащил из кухни десятилитровую канистру. Степко откинул крышку, понюхал.

— Ох, Николай, — хмыкнул с одобрением.

А Корченюк достал из кармана смятые рубли и жестом предложил остальным присовкупить:

— Скорешимся?

Сержант медлил.

— Ну чего ты, Жоха? — смотрел на него Корченюк. — Все равно Гаврила еще не скоро будет.

— Леонид, ведь раздумают мужики! — топтался Степко в нетерпении. — А? Девяносто шесть градусов! Задарма! Как слезиночка!

— Уговорили, — решился наконец сержант и смущенно улыбнулся: — Все равно мне сегодня день рождения...

— Точно! — завопил Корченюк. — Двадцать лет! Как же я забыл? Прости, Жоха, каюсь!

Он бросился к сержанту, начал тереть его за уши. С другой стороны подскочил Мазур. Толкали, отпихивали друг друга. Жохин шутивно сопротивлялся и был доволен восстановленными отношениями.

— Мазур! — закричал Корченюк, хотя повар был рядом. — Вари и жарь, старик. У начальника — круглая дата! Сыны, смена караула! Дедам — отдых!

Забегали. Засуетились, грохоча сапогами.

— «День рожденья только раз в году!» — фальшиво, но громко и с чувством пропел повар.

Из кухни доносились громкие голоса. Там веселились вовсю.

Из-за решетки нерабочего тамбура Андрей смотрел на Хаустова. Тот ходил по коридору размеренно. Как заведенный.

Дверь кухни отошла — вылетел под смех Нищенкин. Рванул в туалет, задевая стены.

Все так же размеренно ходил Хаустов по коридору. И ни разу не дошел до решетки, за которой стоял Андрей. Ни разу не взглянул на него.

— Очки! Очки, сучок, протри! — раздалось за спиной. Нищенкин. Пошатываясь. Позеленел.

— Н-ну? Как служба? — спросил запле-

тающимся языком. — Привыкаешь? — Он кивнул, соглашаясь с самим собой. — Главное — молчи. Понял? Молчи. Терпи и жди своего часа. Понял? Терпеть и ждать...

Покачнулся и, не поддержи его Андрей, грохнулся бы Артурчик со всего маху на железный пол, припечатавшись круглой физиономией.

— Еще бань сорок, и ты станешь дедом. Понял? — страстным шепотом продолжал Нищенкин. И заулыбался: — Хозяином жизни!

Андрей не стал слушать дальше. Молча взял его за шиворот, развернул и поддал ногой пониже спины. Легонько поддал, но Артурчик пробежал до кухни. Повернулся, руками держась за стену.

— Можно и так, — кивнул он без обиды. — Н-но... Понял? И не таких ломали. Только дожждаться своего часа. Терпеть и ждать. Понял? — Нищенкин снова покивал и ввалился в кухню.

Вечерело. Сумерки густели за обрешеченным окном.

С улицы раздался требовательный свист. В кухне разом все стихло. Свист повторился. Настойчивый. Уверенный. В кухне загалдели, зашумели.

Выскочил Корченюк, бросился к входной двери.

Андрею слышно, как возится он с замком. Вот наконец тяжелая вагонная дверь проскрипела. «Мадонна!» — удивленно-радостный вопль Корченюка. Чей-то голосок. Как будто женский. Хлопнула дверь. Смешок.

— Ой, а что это за вагон? — женский голосок. Кокетливо-наивный.

— Спецвагон! — голос Корченюка. Игривый. Возбужденный. — Генералов возим!

Вошли. Корченюк с неумелой галантностью пропустил даму вперед.

«Мадонна» была неопределенного возраста. Высока и стройна. Черная куртка и миниюбка. Красный берет сдвинут набок. (Эти «мадонны», «невесты», «мотыльки» изо дня в день мельтешат возле каждой воинской части. Круглый год. В любую погоду.) Оглядела с любопытством тамбур. Подошла к Андрею — улыбнулась. Но он отвернулся.

— Ой, какие мы серьезные, какие мы строгие, — произнесла нараспев, покачивая хозяйской сумкой.

Через решетку заглянула в коридор:

— А там что?

Корченюк хохотнул:

— Зверинец. — Потянул ее от решетки.

— Какие гости! — В проеме кухонной двери стоял Жохин. Красивый. Сильный. — Встать, гусары! Шампанское! Икру! Оркестр — марш! — Он был уже пьян.

Высыпали в тамбур остальные. Смотрели на гостью, изучали. Проводники многозначительно переглянулись и заспешили назад. Цыкин — за ними.

Приобняв «мадонну», Корченюк увлек ее в кухню. Жохин шагнул следом.

Дверь плотно задвинулась, но тут же отошла назад. Проводники. И сержант с ефрейтором. Заговорили оживленным шепотом.

Андрей хоть и близко стоял, но почти ничего не мог разобрать.

— Митрич... Митрич... — беспрестанно повторял Корченюк, пытаясь что-то втолковать Степко.

— Не... не, ребяташки, — вырывался тот из дружеских объятий ефрейтора. — Как хотите, а не могу. У меня и сменного белья нет. На чем потом спать буду?

— Ну, Митрич... Митрич...

А сержант наседал с другой стороны, шептал что-то в самое ухо Степко. Гусейнов, по обыкновению, молчал и безмятежно смотрел на них.

Из кухни почти выпал Нищенкин. Торкнулся в закрытую дверь тамбура. Развернулся по-установному.

— Товарищ проводник, остановка скоро? — было непонятно, на кого он смотрит.

— А тебе где сходить? — спросил Степко.

— Спасибо. — Нищенкин попытался вернуться, но на этот раз упал.

— Не наливайте ему больше, — покачал головой Степко. — А то и до дембеля не отойдет.

Сержант посмотрел на Андрея:

— Спать уложи, — и опять что-то зашептал проводнику.

— Да уважаю я тебя, Леонид, — Степко даже руку к груди приложил. — Гусейнов вот не даст соврать. Уважаю. Всех я вас уважаю, ребяташки. Но вы ее и у себя можете. Или в туалете...

Жохин и Корченюк зашептали вперебой — еще оживленнее.

Андрей втащил Нищенкина в купе, уложил на полку. Вышел, задвинув дверь за собой.

В тамбуре уже никого не было. В кухне пели.

Отодвинулась дверь кухни — выбрались из тесного удущья проводники. Гусейнов с канистрой в руках. За проводниками рвался Цыкин, сержант с ефрейтором с трудом удерживали его.

— С ними я, с ними, — пытался стряхнуть их с себя Цыкин.

— Не дури, Вадик, пить по уставу не положено, — пытался урезонить его сержант.

— Дама ждет, Вадик, дама! — соблазнял приятеля Корченюк.

— Дама! — Цыкина даже передернуло. — На нее противогаз надо одевать.

— Оденем! — пообещал Корченюк. — Пря-

мо сейчас и оденем. Еще оценишь, Вадик, эту биксу!

— Развезло, — вздохнул Степко и направился к выходу. Приостановился. — Мы, Леонид, утречком будем, — предупредил Жохина. — К отбытию.

И ушли проводники. И канистру с собой унесли.

Рванулся за ними Цыкин, но удержали его приятели. В кухню увели.

Ночь за решетчатым окном. Гудки локомотивов.

Компания вышла из кухни, направилась в служебку.

Почти сразу выскочил оттуда Мазур. Глаза выпучены, ничего не видят. Залетел в купе караула; выбежал уже с ворохом одеял в руках и — опять в служебку.

Хаустов ходил с опущенной головой, ссутулился еще больше. Приблизился к решетке нерабочего тамбура. Что-то замылся, медлил разворачиваться.

Во взгляде его была такая тоска, что Андрей испугался и тихонько позвал:

— Володька...

Но Хаустов словно не слышал, даже не глянул. Повернул обратно. Ушел в другой конец коридора.

Из темной служебки появился сержант Жохин, направился в туалет. Сбросив китель, стал умываться. Глянул на солдата:

— Мыло и полотенце! Живо! В аптечке марганцовка, на кухне — кружка! Время пошло, Иверень!

В кухне — объедки, окурки. На полу, на столе.

Взял первую подвернувшуюся под руки кружку.

У раскрытой двери туалета стоял Мазур и о чем-то настойчиво уговаривал сержанта, поглядывая на приближающегося Андрея.

— Пускай и они... — донеслись до Ивереня его слова. — Всем — так уж всем... за твой день рождения...

— Нету же больше, — слабо возражал Жохин. — Проводники унесли.

— Найду, — пообещал Мазур.

Сержант раздумывал недолго.

— Ну, найди, — пьяно согласился он.

Андрей отдал Жохину кружку и пузырек марганцовки.

— Чего смотришь, Иверень? — Сержант возился у раковины.

— Виновать, товарищ сержант. Извините. — Андрей отошел к решетке.

Лилась вода, постукивала кружка, в нетвердых руках задевая о раковину.

— Я все время присматриваюсь к тебе, Иверень, — раздался из туалета голос сержанта. — Ты неплохой парень... толковый.

Добросовестный... Не шестеришь. Это учитывается. Я уверен, ты сможешь чего-нибудь добиться. Надо только доказать ребятам, что ты не чмошник.

Жохин вышел из туалета, смотрел на Андрея, застегивая китель.

— Ты понял меня, Иверень?

— Так точно, товарищ сержант.

Жохин помолчал. Затем проговорил:

— Наверное, считаешь для себя унижением их методы воспитания твоего армейского достоинства?

Андрей невольно усмехнулся:

— Да, считаю. Достоинство унижением не воспитаешь.

Жохин кивнул и тоже усмехнулся. Проговорил с неожиданной злостью:

— Моего самолюбия, Иверень, в свое время тоже не щадили... Но ты должен понять, что это — армия, а ты — солдат. И ты не первый. Не последний. Все через это проходили.

Из кухни с кружкой в руке выскочил Мазур, довольный. Хитрый.

— Выпей, Иверень, за здоровье командира. За его день рождения.

Андрей отвел его руку:

— Я не пью.

Сержант взял у повара кружку, властным жестом протянул ее солдату:

— Выпей.

Андрей старался, чтобы голос его не дрогнул:

— Товарищ сержант, я поздравляю вас с днем рождения, но я, правда, не пью.— Он пытался спокойно произносить слова.— И я — на посту.

— Позвать наших? — предложил повар сержанту.

Не глядя на Андрея, Жохин согласно кивнул.

На суматошный стук в дверь из служебки выглянул полуголый Корченюк в противогазе. Что-то говорил, мотал головой. Не поняли, пока не снял противогаз:

— Чего вы?

— Вот,— кивнул на Андрея повар,— командира не уважает. Пить за его здоровье не хочет. Салага!

— Ну и хрен с ним! — Корченюк выскочил из служебки, на ходу натягивая штаны.— Давай лучше я выпью, чего добро на сынков переводить.

Он потянулся за кружкой, но Жохин убрал руку:

— Это его доля.

Срывая противогаз, вышел в тамбур Цыкин:

— Ну и кайф, мужики! Полный отпад!

В сапогах, в майке и трусах стоял, щурился и пошатывался. Догадался сразу:

— Что, опять этот залупается?

— Пить отказывается,— с наигранной обидой пожаловался Мазур.

— Поддержите его,— сказал Цыкин, недобро щурясь.

Ефрейтор с поваром схватили Андрея, заломили руки, прижали спиной к решетке.

— Не можешь — научим,— прихихикивал при этом Мазур,— не хочешь — заставим. В армии так.

Сержант безропотно отдал Цыкину кружку; тот вплотную поднес ее к лицу Андрея:

— На, воин, причастись.

Андрей совсем близко увидел его холодные глаза. Безжалостные. Жестокие.

Он дернул головой, кружка полетела на пол. И тотчас Цыкин кулаком ткнул парня в живот. И еще раз. И еще.

Андрей скорчился, прижимая руки к животу. Хватал воздух раскрытым ртом — и не мог вздохнуть.

— Присягу дать салаге! — замельтешил Мазур.— Присягу ему!

На Андрея навалились. Он попытался сопротивляться. Их трое, здоровенных лютующих парней. Силы неравны.

Свалили Андрея на пол, стянули бриджи. Ловко. Умело. Быстро.

Сержант стоял в стороне — не вмешивался. Хаустов забился в дальний угол коридора, смотрел с ужасом.

К решеткам прилипли лица заключенных. Невольные зрители.

Корченюк сидел на распластанном Андрее. Били Цыкин и Мазур. Били пряжками — с оттяжкой. Так, чтобы на ягодицах оставались звезды. Били методично. Били — и приговаривали назидательно:

— Дедушек не уважаешь, с-салага! Умнее всех хочешь быть!

Сержант не выдержал, подал голос:

— Кончайте, что ли. Ну вас!

— И правда, придем еще,— согласился Корченюк.

Истязуемый лежал неподвижно. С закрытыми глазами.

— Ну что, говнюк, будешь дедушек уважать? — тронул его мыском сапога Цыкин.

Нет ответа. Молчание. Даже не шелохнется лежащий.

— А может, он умер? — хихикнул Мазур и, нагнувшись, шлепнул его ладошкой по щеке. Легонько шлепнул. Не больно.

Андрей ударил повара. Обеими ногами поддел.

Корченюк прыгнул сверху — сильный! ловкий!

Головою, резко привстав, Андрей ударил его в живот.

Ефрейтор икнул, выдохнул. И тут же ткнул Андрея кулаком.

Жохин метнулся в купе караула.

Цыкин рванулся к Ивереню — наткнулся на удар. Присел в изумлении.

А уже бежал с одеялами сержант. Набросил одно за другим на Андрея. Прыгнул Мазур — замолотил кулачками по барахтающемуся под одеялами.

Глухой звук.

Мазур вздрагивает всем телом. Откатывается. Мешковатый. Безжизненный.

Разлетаются одеяла. Иверень встает. Утирает кровь с разбитого лица. В руке — пистолет.

— Старики! День! Прошел!

Падает на колени Цыкин. Безумные, жаждущие жизни глаза.

— Не убивай! — сипит и не стыдится слез. — Мамочка моя... Мамушка одна!..

Но стреляет Иверень. И заваливается Цыкин — затылком ударяется о пол.

— Хаустов! — кричит Жохин и пятится, отступая к купе. — Стреляй! Вовка, стреляй!

— Старики! День! Прошел!

Пуля Ивереня разворачивает Жохина, бросает на пол.

Хаустов неловко бежит по коридору. Спотыкается. Падает. Встает.

Иверень натягивает бриджи — прыгает на одной ноге. Оступается. Падает на колени.

— Хаустов... — стонет Жохин, отползая к купе и оставляя за собой по полу кровавую полосу.

— Руки вверх! — сорванно кричит Хаустов, пистолет в руке ходит ходуном. — Стрелять буду!

— Володька! — вопит Иверень.

Хаустов стреляет. Пуля визжит над плечом.

Иверень на коленях — поводит стволом. Корченюк пятится к туалету — руки перед собой выставил.

— Для твоей же пользы старались, сынок... — шепчет удивленно. — Сам бы потом спасибо сказал...

Выстрел из коридора. Пуля рикошетит о прутья решетки.

Корченюк юркает в туалет.

Оставаясь на коленях, Иверень оборачивается.

Хаустов приближается, идет неловко — спотыкаясь, левая рука отставлена назад, точно в поисках опоры, правая держит пистолет перед лицом. Что-то шепчут губы.

— Володька... — бормочет Иверень и встает.

Стреляет Хаустов. Два раза подряд. Один выстрел за другим.

И — Иверень отвечает.

Падает Хаустов. Лежит недвижим.

— Володька... — едва слышным шепотом. — Володька...

Бросается к купе караула.

— Жохин! Где ты?! Жохин!

Дверь купе плотно задвинута. Резкий рывок — с грохотом отодвигает дверь.

В полутьме стоит Жохин, в опущенной

руке — пистолет. Смотрит, кажется, на Ивереня. Вдруг он наклоняется вперед и медленно, безжизненно заваливается на правый бок.

На верхней полке спит Нищенкин. Посапывает. Лежит, разметав одеяло.

Плотно задвигает Иверень дверь.

Проходит к туалету. Дергает ручку. Не поддается дверь. Стреляет в нее.

— Старики! День! Прошел!

Кричит безумно. Не кричит — орет. Вопит. Стонет.

И стреляет. Еще. Еще. И еще. Пока не кончаются патроны.

Меняет опустевший магазин на запасную обойму.

Вскрик за спиной.

Стремительный поворот.

«Мадонна». Зябко передергивает плечами.

— Зачем ты с ними так? — спрашивает неожиданно.

Хлопает Андрей глазами — не понимает.

Сейчас она не та кокетливо-наивная, какой пришла в вагонзак, — деловая, собранная. Жесткая. Вздернула уголки губ.

— Влип ты, парень. — Ни сочувствия, ни сожаления в голосе. Просто констатирует факт.

Ловким движением откидывает за плечо густые волосы, подкалывает заколками.

— Выпусти. Меня здесь не было.

Пошла к выходу. Прямая спина, тонкая талия, сильные ноги. Рукой придерживает ремни холщовой сумки, перекинутой через плечо.

Из камер пытались дотянуться до пистолета Хаустова; пальцы царапают, скребут пол — совсем рядом с оружием.

Андрей выстрелил. Промахнулся. Подбежал к решетке. Снова выстрелил. На этот раз пуля отбила пистолет к стене.

— Как в кино, — голос у «мадонны» ровный. Без интонаций.

Секунды — открыть решетку. Еще секунды — добежать до пистолета. Схватил.

Лежит Володька Хаустов. Руки нелепо раскинул, лицом в пол уткнулся. Не дышит. «Мой дружок... неживой лежит», — вспомнилось вдруг.

Склонился над ним. Дрожащими пальцами прикоснулся.

— Володька...

И отшатнулся к решетке камеры.

Сзади вцепились, обхватили. Кто душит, кто пыгается пистолет вырвать.

Торцом ствола ударил по чьей-то кисти, бил по пальцам рукояткой. Руками, ногами, но — отбил.

— Выпусти нас, — кричали вслед, — все равно тебе вышка.

Входная дверь вагона была заперта на ключ.

Долго искал трехгранник: в служебке, в

кухне. Обнаружил на столике в купе караула.

— Зря все-таки ты с ними так, — говорила «мадонна», пока возился с замком. — Хорошие ребята были. Один пятерых стройбатовцев стоил.

Без насмешки говорила. Не ёрничала.

Отворил тяжелую входную дверь вагона. Ночь.

И свежий морозный воздух.

Станционные фонари горят тусклым оранжевым светом. Пути забиты составами. Смутно виднеются за ними служебные здания с темными окнами.

Напротив, через пути, занятые каким-то эшелонном, стоит товарняк — раскатывается вдоль состава звонкий перелязг брукс.

Хрумякая щебенкой, Андрей пробежал межпутье и поднырнул под вагон эшелона. Выскокил на другой стороне. Взобрался на платформу, на ней громоздились автобусы.

Андрей проснулся от холода. Открыл глаза. Он лежал на заднем сиденье автобуса. На улице светло. В разбитое окно задувает ветер, заметает снежинки.

Андрей сжался в комочек и закрыл глаза.

...Когда он снова проснулся, уже смеркалось. Лежал неподвижно, уставясь в потолок. Ритмично стучали на стыках колеса состава. Этот перестук неожиданно стал напоминать выстрелы.

И вспомнилось... И осозналось.

Андрея скрутило, скорчило. Он едва успел вскочить, как его начало рвать. Долго. Болезненно. Наконец отпустило.

Промелькнула за окном автобуса станция. Андрей успел разглядеть певучее название: «Малиновка». Яркие фонари станции откатились к хвосту состава — пропали.

Андрей рванулся к разбитому окну. Полез, обдираясь, наружу. Вывалился на платформу. Встать уже не было сил, пополз к низкому бортику, перевалился через него.

Его отбросило от полотна. Долго кувыркался по откосу, расшибаясь и обдираясь о щебенку, едва присыпанную снегом.

Лежал — обессиленный.

Катились, стучали, грохотали колеса. Мимо-мимо-мимо.

Промчались.

И — тишина. Только повизгивание поземки.

Замусоренный перрон провинциальной станции. Малюсенький вокзальчик из темного камня. Безлюдно.

В здании вокзала томятся ожиданием несколько человек.

Андрей прошел мимо касс, миновал скудный буфет. В узеньком коридорчике не-

сколько дверей. Прочитал надпись на каждой и отворил одну.

— В чем дело?! — раздраженно заорал сидевший за столом сержант. — Чего тебе, боец? Вызывали? Нет? Ну и давай отсюда — не мешай.

По всему было видно, что Андрей пришел не вовремя. Перед сержантом стоял невзрачный мужичонка, а в углу милицейской комнаты, за высокой решеткой, расположились дородная женщина и коренастый парень лет тридцати с прилизанными светлыми волосами. Вертлявый паренек, но жилистый.

Андрей переминался с ноги на ногу и медлил — не уходил.

— Ты слышал, чего тебе сказал товарищ сержант? — подал голос мужичонка и хихикнул, заискивающе взглядывая на младший милицейский чин: — Во тупые солдаты пошли.

Сержант оставил его слова без внимания, снова взял шариковую ручку:

— Так кто же все-таки берет? Конкретно?

— Все берут, — загнусавил мужичонка, сразу сникая. — Лежит и лежит сколько лет. Не пропадать же добру. Все и берут...

Андрей вышел, тихонько прикрыв за собой дверь.

Зарешеченное окно, единственное в комнате, выходило на перрон. Из своего угла парень увидел Андрея. Встал.

— Куда?! — рявкнул младший милицейский чин с привычной угрозой в голосе.

— Курнуть.

— Не вздумай смуться.

— Ну чо ты, Серега, в натуре, меньшаешь, — тягуче проговорил парень, на блатной манер растягивая гласные.

На пустынном перроне Андрей посмотрел на вокзальные часы и подошел к расписанию поездов. Задрав голову, стал искать на табло ближайшую по времени электричку.

— Начальник, огоньку не найдешь? — Вихляющей походкой, приволакивая тощий зад, к нему подходил парень из милицейской комнаты.

Андрей машинально похлопал по карманам шинели и мотнул головой:

— Не курю.

Парень уставился с наглостью, с усмешечкой.

— Чо ж это ты, ментяра, не научился до сих пор? — Он воровато зыркнул по сторонам и взмахнул рукой.

Андрей не ожидал удара. Даже прикрыться не успел.

Парень пнул пытающегося подняться солдата: «Легаш вонючий!» — и пошел своей вихляющей походкой обратно в милицейскую комнату.

Окно в зале ожидания доходило почти до пола. Андрей смотрел на подошедший поезд. Одинокие пассажиры торопились по перрону на посадку.

Яркий свет горел в окнах вагона напротив. Были видны купе, люди в них. Они готовились ко сну, они пили чай, они вели дорожные необязательные беседы. Сейчас беззаботные, сейчас беспечные...

Из купе вышел генерал. В форме, как положено. Встал у окна.

Андрей козырнул — как учили.

Генерал покивал, принимая приветствие, и жестом показал, что надо привести себя в порядок.

Андрей поспешно одернул шинель, поправил ушанку.

— Разрешите идти? — спросил, хотя и не могли его услышать.

Но генерал понял и кивнул, разрешая...

Пришла электричка. Андрей побежал к ней, ввалился в тамбур. Двери захлопнулись, качнулся перрон за грязными окнами, и электричка тронулась.

Измученный, он прикорнул в уголке. В обшарпанном вагоне было сумеречно и малоллюдно.

Напротив сидел лохматый парень, читал затрепанную книжку. Рядом с ним, у окна, пристроился узколицый мужчина в очках.

Ему было тягостно молчать, хотелось беседы, общения. Он взглядывал то на парня, то на Андрея, вздыхал сокрушенно, но первым начать разговор не решался.

За окном мелькали огоньки селений, с шумом проносились встречные поезда.

— Сколько земли, сколько простора, — глядя в окно, негромко произнес узколицый, а человеку всё равно чего-то недостает.

— Свободы, — буркнул парень, не отрываясь от книжки.

Узколицый даже вздрогнул от подобного ответа, опасливо заозирался, заерзал, косясь на парня. И пересел на соседнюю, через проход, скамью. Забился в угол, затих.

...На остановке в вагон вошла дородная женщина, в руках — хозяйственная сумка, из которой свисали по бокам свиные хвосты.

Женщина села рядом с Андреем, сумку поставила на массивные колени. Оглядела соседей. Ни солдат, ни лохматый парень не задержали ее взгляда.

А вот узколицего она заметила. Долго и бесцеремонно разглядывала его. Видно, чем-то он ей глянулся.

— Погода сегодня хорошая, — улыбулась женщина узколицему. — А я в магазине была, хвосты достала. Праздник скоро, вы как от-

мечать собираетесь? Я буду варить холодец. Хотите, один дам? Давайте, я вам дам хвостик? Посмотрите, какой! Потрогайте... Да трогайте вы, трогайте, не стесняйтесь. Поноухайте — свеженький... Возьми, я бесплатно. Ну, давай два дам? На, не жалко... Нет, вы подумайте!.. Хвостов не хочет. Очки надел. Нет, ты подумай! Одедся!

Благо — остановка. Узколицый ринулся к выходу.

Увидела его уже на перроне. Выхватила из сумки хвост.

— Вот тебе! Вот тебе! — тычет им в стекло. — Одедся!

Электричка тронулась.

Жирные пятна на оконном стекле.

В телефонной будке Андрей снял трубку и стал набирать номер. Передумал. Повесил трубку на рычажок.

...Он стоял у витрины универмага, рассматривая манекены.

Задник витрины выкрашен голубой краской. И манекены, застывшие в разных позах, — голубые. Голые черепа их голубели в неоновом свете. И лишь ткань, имитирующая одежду, — пестрая. Да еще противогазы на «лицах» — защитного цвета.

...Он шел пустынной улицей ночного города. Один. Продрогший. Измученный. Ни души вокруг. Ни звука, только скрип снега под его сапогами.

Неожиданно где-то неподалеку взвыла сирена: то ли милицeйская машина, то ли санитарная.

Андрей метнулся в первую попавшуюся дверь.

В подъезде было темно. Он стоял, задрав голову, и прислушивался. Тихо в спящем доме. Решившись, Андрей взялся за перила и, осторожно ступая на цыпочках по тускло освещенной лестнице, поднялся на один пролет. Потом кинулся наверх, стараясь как можно тише ступать по выщербленным ступеням. Так он пробежал этажа четыре, пока не задохнулся. Остановился, переводя дыхание, прислушался. И дальше пошел уже спокойнее.

Зарешеченный вход на чердак был закрыт на громадный висячий замок.

Андрей сел на корточки возле батареи, прислонившись к ней спиной. Глаза слипались, и он заснул.

Снег падал мокрый, тяжелый. На асфальте перемешивался в жидкую грязь.

Улица была перекрыта милицией. Вдоль тротуаров застыли автомобили, автобусы, троллейбусы; у перехода сгрудились пешеходы. Ждали давно. Нервничали. Злились. Возмущались.

Милиционеры стояли по обе стороны пере-

хода. В глазах у каждого — жадное желание обнаружить злоумышленника.

Завыли сирены. Ближе-ближе-ближе.

Помчалась на бешеннейшей скорости вереница черных лакированных лимузинов с темными, зашторенными окнами.

В телефонной будке Андрей набирал номер. И снова не решился позвонить.

По тротуарам двигались прохожие. Не шли — спешили. Замкнутые, озабоченные. Не замечающие друг друга.

Навстречу шел военный патруль. Андрей вскинул руку к шапке — четко, по-уставному.

Старший, майор, с привычной подозрительностью оглядел солдата, но цепляться не стал.

Подойдя к приземистому зданию из красного кирпича, Андрей свернул за угол.

Во дворе курили распаренные голые мужики.

Андрей прошел мимо них — в тупичок. Здесь громоздились горы тарных ящиков. Быстро разделся и затолкал одежду за ящики. Подумав, присыпал ее снежком. Обернул вокруг бедер нижнюю рубашку и, дрожа от холода, потрусил в баню. Внимания на него никто не обратил.

...Сидел в парилке с закрытыми глазами, привалясь к стене.

— Паренек, а, паренек, — потрепали его за плечо. — Тебе что, плохо? Угорел?

Не открывая глаз, Андрей мотнул головой: — Хорошо... хорошо...

...В мыльном зале он нашел на скамье обмылок и свободную шайку.

Под каменным потолком гулко разносились среди банного тумана побрякивание, постанывание, аханье, уханье, сопение блаженствующих людей.

...В тихом и прохладном предбаннике Андрей полулежал на лавке — расслабленный.

Какие-то юнцы шныряли по предбаннику, предлагая пиво по рублю за бутылку. Мужики ворчали, поругивались, но брали.

По соседству с Андреем раздевались два парня.

— Ну как же ты не будешь с этого иметь? — уловил он сквозь полудрему обрывок их разговора. — Ты же им будешь прислуживать.

Раздевшись, парни ушли в банный зал.

Андрей осмотрелся. Поблизости никого не было. Андрей пересел к шкафчику парней. Стал неторопливо одеваться. Брюки оказались коротковаты. Поменял их. Прихватил спортивную сумку и неспешно направился к гардеробу.

Подавал номерок — получил куртку с шапкой. Посмотрелся в зеркало: лицо изможденное, чужое. Шапка оказалась ему велика, он надвинул ее на уши.

...Достал из-за ящиков свою одежду. Из сумки вывалил прямо на снег содержимое и запихал в нее шинель с кителем. Сумка еле закрылась. Помешкав, заткнул за пояс пистолет.

К полудню толпы на улицах поредели и в автобусе не было давки. Даже места свободные оставались. Андрей сидел у окна.

...Этот дом, в который Андрей стремился попасть и куда не решался позвонить, ничем не отличался от таких же безликих собратьев. Многоэтажный, крупнопанельный, он стоял несколько на отшибе. Перед ним — небольшая площадка, забитая автомобилями и мусорными баками.

Родные окна на четвертом этаже были зашторены. На скамье у подъезда сидели парень с девушкой. Мало говорили, больше разглядывали прохожих.

Все это Андрей успел увидеть, пока автобус подъезжал к остановке.

Еще он заметил милицейскую машину, скромно приткнувшуюся к стене за углом овощного магазина.

Рослый, плечистый мужчина стоял на остановке среди прочих пассажиров. Хотя и старался он сделать безразличный вид, все равно не умел скрыть своего напряженного внимания.

Все это Андрей увидел и понял: ждут его. И остался в автобусе.

На железнодорожном вокзале он отстоял очередь в кассу и купил билет.

Посмотрел на часы. Время в запасе было.

...Он шел тихой улочкой. Навстречу ему неторопливой походкой шел плечистый верзила.

Когда они поровнялись, тот, не поворачивая головы, плечом толкнул Андрея.

— Есть что мне сказать? — ухмыльнулся парень.

И увидел у своей груди ствол пистолета. В глазах его появился ужас, губы и щеки затряслись. Он дернулся и потерял сознание.

На первом же углу Андрей свернул в переулок. Посмотрел на руку, сжимавшую оружие. Пальцы намертво вцепились в рукоятку. Пистолет стоял на боевом взводе.

Впереди темнела подворотня. Бросился к ней. Спугнув котов, вбежал в мрачный колодец глухого дворика.

Вмерзла в грязный лед огромной лужи голая кула с наивными голубыми глазами и улыбающимся ярко крашенным чувствен-

ным ротиком. Андрей осторожно обошел ее и бросился к подъезду громоздкого безжизненного здания с серыми обшарпанными стенами и выбитыми окнами.

Метнулась из-под ног драная кошка — напугала. Отшатнулся к стене. Перевел дыхание.

Проскрипела ржавыми петлями дверь, пропуская Андрея.

Он стал подниматься по старым выщербленным ступеням узкой каменной лестницы.

Прошел один пролет... другой. На площадке толкнул дверь и вышел в пустой и гулкой коридор. Хрустели под ногами осколки стекла. Повсюду — проржавевшие балки и блоки, обрывки проводов свисают с потолка и стен.

Коридор был длинный. Андрей вытащил из пистолета магазин. Шел по коридору и твердыми пальцами вылущивал из магазина патрон за патроном, пока не разбросал всю обойму; а потом зашвырнул и пустой магазин.

В патроннике был патрон. Вытащил его. Выбросил.

Поставил пистолет на предохранитель. Помедлил, заткнул его за пояс брюк.

Выход из коридора загораживала решетка. За ней — глыбы разрушенной стены.

Повернул назад. Зашагал быстрее. Побежал.

Внезапно снизу донесся невнятный шорох, словно кто-то пробирался в темноте по лестнице, осторожно ощупывая ногами ступени. Потом Андрей услышал сдавленный смех вперемешку с шепотом:

— Смотри, не сделай меня мамочкой.

— Нищету плодить?..

На цыпочках Андрей попытался по коридору. Толкнулся в какую-то дверь. За ней — новый коридор, такой же узкий и мрачный.

Побежал. Быстро. Задыхаясь.

Коридоры - двери - комнаты - тупики - коридоры...

И бежал, бежал... бежал...

Метнулась какая-то фигура.

Успел ударом ноги встретить ее. Посыпалось разбитое стекло. Зеркало.

Андрей бессмысленно уставился на осколки, и смех начал разбирать его. Хихикнул. Громче. Хохотнул. Засмеялся, содрогаясь всем телом.

Плечи его тряслись, дергались. Он вдруг всхлипнул. Еще. И — заплакал...

В телефонной будке Андрей набрал номер. На этот раз — полностью. Решился.

Долгие гудки. И — родной голос. Что-то говорит, спрашивает.

Андрей повесил трубку.

Выйдя из будки, достал из кармана железнодорожный билет и медленно-медленно, как

бы еще раздумывая, порвал его на мелкие клочки.

На автобусе он доехал до знакомой остановки. Рослый, плечистый мужчина по-прежнему топтался здесь.

Выходя из автобуса, Андрей быстро метнул взгляд влево-вправо.

Его заметили.

Опознали.

Андрей неспешно пошел к дому.

Рослый направился следом. Держался в отдалении. Осторожничал.

Поднялись со скамьи у подъезда парень с девушкой, неумело разыгрывавшие влюбленных.

Андрей по-прежнему не торопился: беспечный, не знающий о засаде преступник.

Двое мужчин шли к нему, держа руки в карманах.

И — рванул Андрей пистолет из-под куртки. Вскинул руку.

Выстрела он не слышал. Пуля ударила его в переносицу. Стрелял профессионал.

Расплескивая синее пламя и завывая сиреной, подлетела милицейская машина.

Выскочили из нее майор и — Корченюк. Андрей лежал в жидкой грязи. Все лицо его было мокро от слез и снега.

— Он? — посмотрел на Корченюка майор.

— Сынок... — выдохнул ефрейтор. И заголосил: — Сука! Таких ребят угробил! С-сынок!..

И отшатнулся.

Бросился вон, неловко вскидывая ноги... Споткнулся. Шапка слетела с головы.

И обнажились совершенно седые волосы Корченюка.

В зарешеченное окно купе видно, как Артурчик Нищенкин старательно протоптывает сапожищами вожделенные слова: «ДМБ—8...». Под тонким снегом — асфальт платформы, и надпись получается четкой. Красивой.

Андрей с тоской перевел взгляд с обрешеченного окна на стриженный загылок Хаустова. Володька уже застелил нижнюю полку и теперь неумело отбивал толстенной книгой кромку одеяла.

Андрей отодвинул дверь и вышел из купе.

В нерабочем тамбуре — четверо.

Леонид Жохин.

Борис Корченюк.

Коля Мазур.

Вадик Цыкин.

Старики.

Цыкин смотрит исподлобья — пристально, угрюмо, бесцеремонно:

— Как служба, воин?

Улыбка — счастливой не бывает:

— Как у курицы! Где поймают, там и е..., трахают!

Посмеялись одобрительно.

— Я всегда верил, сынок, что из тебя будет толк,— покровительственно похлопал Андрея по плечу Корченюк.

Пошли. Коридором. Мимо камер.

Решетка отделяет нерабочий тамбур от коридора. Андрея — от них.

Крикнул — в спины:

— Старики! День! Прошел!

Обернулись — довольные. Гаркнули разом. С чувством. Со вкусом и смаком:

— Ну и хрен с ним!

1988 г.

ИНФОРМАЦИЯ

Гильдия

В ноябре 1988 г была образована гильдия кинодраматургов. Её президентом был выбран сценарист Эдуард Акопов. Вот, что он рассказал о создании и первых шагах Всесоюзной гильдии:

— Потребность в своей собственной организации, независимой, самоуправляющейся, полномочной и полнокровной, сплачивающей людей нашей профессии, сценаристы ощущали давно. И вот материализовалась одна из важнейших идей V съезда СК СССР — сценаристы образовали свою гильдию. Создание гильдий — показатель демократизации Союза, его, с одной стороны, децентрализации, а с другой — усиления и укрепления, ибо сильна только та организация, в которой каждый ее член чувствует себя сильным, уверенным в себе и своих правах. А ведь только при таких условиях он будет уважать права других и, заботясь об успехе своего дела, совместно с другими идти к решению общих задач. Итак, сила каждой гильдии — залог силы всего Союза: так понимают основные принципы деятельности своей гильдии сценаристы. Избранное правление гильдии, имея в виду возможно более полное и серьезное обеспечение творческих, профессиональных и социальных прав сценаристов, начало интенсивную разработку проблем, которые жизненно важны для нас.

Сейчас в гильдии ведется работа по разным направлениям. Работа эта — большая, глубоко профессиональная, сценаристы разрабатывают проблемы с квалифицированными экспертами — юристами, социологами, экономистами. Защита интересов членов гильдии, взаимопомощь, поддержка молодых, отпор посягательствам на профессиональные и социальные права членов гильдии — все будет поставлено на серьезный уровень. Членство в гильдии — платное, взносы идут на покрытие расходов по защите интере-

сов сценаристов, оплату труда экспертов и социальное обеспечение. Совет гильдии стремится делать все, чтобы каждый сценарист чувствовал: это — его организация, его опора, он дает ей много, но и вправе быть уверенным, что в нужный момент гильдия не подведет.

Семинар

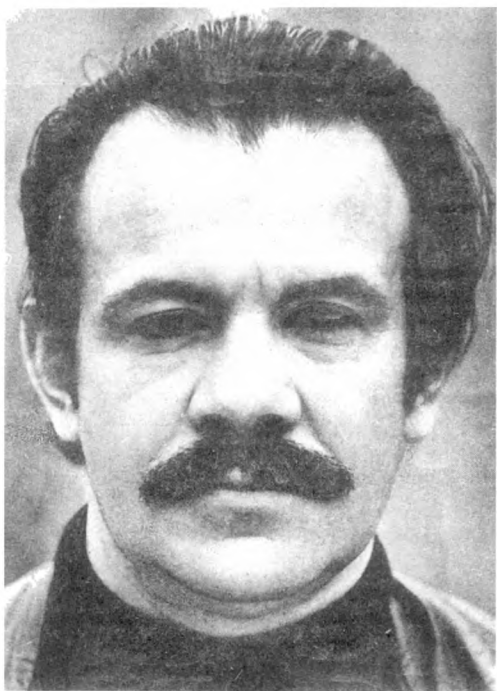
В ноябре-декабре 1988 г. в доме творчества «Болшево» проходил традиционный семинар кинодраматургов. Семинаром руководили драматурги старшего поколения В. Фрид, С. Лунгин, Л. Агранович и драматурги среднего и молодого возраста: Л. Голубкина, Н. Рязанцева, Э. Володарский, С. Бодров, В. Залотуха, М. Шептунова. Участники семинара, сценаристы — а их было около 50 — представляли разные возрастные группы и регионы страны. Всех прибывших на семинар разбили на 5 групп, и каждую группу вели один-два мастера.

Этот семинар был необычный. Он был задуман как рабочий, по принципу писательских, на которых участники не столько представляют свои готовые работы на суд, сколько работают, пишут и тут же обсуждают. Он продолжался почти месяц — с тем, чтобы у сценаристов была реальная возможность написать сценарий. Предполагалось, что каждый участник придет со своим замыслом и под руководством мастера доведет свою работу до конца. Намеренно не устраивались встречи с некоторыми людьми, широкие просмотры и долгие обсуждения, как это было принято раньше. Все было нацелено на работу.

Помимо новых моментов семинар выполнял и традиционные задачи. В силу своей профессии драматурги оторваны от каждодневной кинематографической жизни. Поэтому на семинаре они с удовольствием общались, делились новостями, планами, идеями.

О результатах семинара пока судить преждевременно. Но они неизбежно скажутся на творческих портфелях студий.





**ЕВГЕНИЙ
ГРИГОРЬЕВ**

МАЛЬЧИШКИ И ДЕВЧОНКИ

**Легкая комедия
из пятнадцати главок
с комментариями героя**

*«...Я люблю тебя, жизнь,
что само по себе...»*

(Из популярной песни)

Глава первая: прелюды

— Как сейчас помню, только закрой глаза,
протяни руку...

Желтое... желтое... Все — желтое. Это —
арена в цирке. Песок.

А потом только красное. На весь экран
ровный красный цвет. Это цвет крови. Вроде,
царапина, а все равно, во все глаза — красная.

Много-много людей. Нарядных. Торопя-
щихся. Перерыв. Все в буфет устремляются.
Конфеты разворачивают.

Бутерброды жуют. Белое с желтым — это
с сыром.

Лимонад из бутылки выпрыгивает, нагрел-
ся, воли захотелось.

И опять цирк — арена, оркестр, праздник!
Бегут лошади по кругу, нарядные, такие
только в цирке.

И женщина, дрессировщица, красивая-кра-
сивая, как волшебница из доброй сказки.

— Але,— кричит добрая волшебница и
бьет хлыстом.

И лошади начинают кружиться в танце.

Аплодисменты. Звучит оркестр.

Его зовут Витя. Он еще очень маленький,
еще ребенок, еще дошкольник. Но он не один,
рядом сидит отец, сильный, красивый, гордый
сыном, и поэтому Вите ничего не страшно,
и поэтому ему хорошо и он счастлив.

Смеется отец. Уверенно. Добродушно.
Витя смотрит на него и смеется также.
Ему все нравится.

Клоун на арену вышел. Смешной-смешной,
потому что грустный, неудачник и влюблен-
ный.

— Я люблю,— говорит клоун.— Я люблю.
И зрители смеются, он такой смешной,
такой доступный.

— Я люблю,— снова говорит клоун и идет
вдоль барьера.— Я люблю! — Он протягивает
руки к зрителям первого ряда. Он смотрит
на них вопросительно и с надеждой.

Но у него же не человеческое лицо —
клоунское. Значит, он все не всерьез, он
шутит.

Второй клоун. Такой же смешной. Да еще
с деревянной кувалдой. Стал подкрадываться.

— Я люблю! Я люблю!..

Общий смех. Воскресный вечер, отдых,
цирк — одни улыбки.

И одинокий крик Вити:

— Сзади!.. Сзади!..

Но, видно, не услышали. Или на захотели.
Деревянную кувалдой ударили по голове, и из
глаз влюбленного клоуна полились фонтаны
слез.

И он, Витя, маленький, несмышлениш, рас-
плакался на весь цирк.

Общий смех, фокус хоть старый, но все
равно смешной — веселит. И только Витя
плачет. Он не понимает. Сжал кулаки. И губы
дрожат. А слезы катятся по лицу.

Он повернулся к своему отцу, к своему са-

мому сильному, доброму, к своей гордости.

Отец смеется. Потом он увидел слезы сына. Удивился.

И Витя запомнил: это странное лицо отца, как на рапиде, как будто кто-то другой посмотрел на него.

— Ты что? — спросил отец. — Это же шутка. Перестань. — Но глаза его стали серьезными.

И Витя запомнил эти глаза, этот взгляд. Кто-то из взрослых потрепал мальчика по плечу, кто-то сунул конфету.

И отовсюду — снизу, сверху, слева и справа — смотрели на Витю ласковые, добрые лица.

— Ну что ты, миленький, — сказала взрослая, полная тетя. — Ишь ты, какой душевный. Москва слезам не верит.

— Что? — спросил мальчик. — Это как?

— Да так, — засмеялся дядя рядом и протянул Вите конфету. — Ты улыбайся!.. Радуйся... Еще львы будут. — И он засмеялся еще громче и еще веселее.

Смеялись. Все. И отец.

Витя посмотрел на взрослых, глянул на арену и попытался улыбнуться тоже.

Глава вторая: предки

Ровное, ухоженное пшеничное поле. За полем — река. За рекой — деревня. Тихо, спокойно. Мотоциклист проехал, и опять тихо.

— *Здесь родился мой дед и моя бабушка. Деда я не помню, а бабушку — хорошо...*

Комната, наполненная скорбно молчащими людьми. Все в темном. Зеркало завешано.

В комнату вводят детей. Среди них Витя. Дети ведут себя тихо, но не могут скрыть своего любопытства к необычайной обстановке. Взрослые проявляют к ним повышенное внимание. Женщины всхлипывают.

Детей проводят в соседнюю комнату.

У Вити расширяются глаза. Он видит на столе гроб, а рядом — покорных и притихших родных.

Детей проводят к гробу. Они смотрят. Им страшно. Старшая из девочек начинает плакать. Детей уводят.

Задерживается Витя. Он оборачивается: — Она спит?

Раздается стон. Взрослые глядят на него с ужасом и состраданием.

Мальчик что-то понимает, кидается обратно к гробу, дотрагивается до покойницы.

— Бабуля, — говорит он. — Это я с тобой.

Его хватают за плечи. Разворачивают. Проводят через одни двери, другие... Приводят на кухню.

Он видит, как открывают бутылку с водой. Наливают стакан.

— Пей, — говорят ему, — пей.

Он трясется. У него стучат зубы о стакан. — Мне не страшно, — говорит он. — Мне

не страшно. Я люблю бабулю. — И стучат зубы о стакан...

— *Мой дед.*

Фотография деда.

Еще одна фотография деда.

— *Родственники.*

Фотографии.

Фотографии.

Фотографии.

— *А этих я не увидел. Дядя Коля погиб на войне...*

Фотографии.

— *И этих.*

Фотографии.

— *Мама и папа, когда он за ней еще ухаживал. Они ведь тоже были молодыми, такими же, как мы. Только время, конечно, было другое... Мой папа перед войной.*

Молодой комсомолец в футболке.

— *А это война.*

Хроника.

Зимняя Москва сорок первого. Парад на Красной.

Героический Севастополь.

Гордый Ленинград.

Обожженный Сталинград.

Освобожденный Киев.

И вот уже Берлин.

Вот уже рейхстаг виден.

Вот уже пошла вперед с Красным знаменем автоматчики.

Все ближе и ближе.

И вот уже вьется победное знамя над поверженной фашистской столицей.

И стоят солдаты.

И салют всех родов войск.

И объятия.

И надписи на колоннах рейхстага.

— *Не все расписались на этих стенах, но все дошли до Победы: и те, которые погибли, и те, которые остались живы.*

Изображение застывает и превращается в фотографию.

Фотографии сменяют друг друга.

Много фотографий. Один... два... три семейных альбома.

За фотографиями слышен голос Виктора:

— *Жив. Погиб. Погиб. Умер после войны. Живы...*

Хроника. Встреча фронтовиков-ветеранов у Большого театра. Ордена. Много орденов. Улыбки. Немного опьяневшие от встречи, от воспоминаний. Морщины на лицах. Люди, прожившие жизнь, делавшие ее.

Хроника. Сорок пятый. Белорусский вокзал. Возвращение.

Хроника. Встреча ветеранов у Большого театра.

И неожиданно другие улыбки. Взрослая «молодежь», уже сами папы, уже сами родители, под тридцать, но все равно — дети, которые родились во время войны и которые

с удивлением смотрят на ожившую историю своих родителей.

Отец Вити, бывший фронтовик, сидит за семейным столом с сигарой в руке. Праздник — Девятое мая.

Витя смотрит на отца.

Отец веселый, легкий, домашний, и ордена висят.

— «Темная ночь...» — поет отец и моргает смеющимся глазом, — только пули свистят по ступи...»

Он замолкает, и только гитара продолжает мелодию.

— Папа, страшно было? — спрашивает сын.

Отец смотрит на сына и улыбается, и подмаргивает, и вдруг стискивает зубы.

— «Темная ночь...» — и снова набирает воздух, — темная ночь...»

Деревня, откуда дед и бабушка. Церковь, превращенная в склад. Рядом скромный гипсовый памятник.

— Погибшим...

Другая деревня, и такой же памятник.

— Погибшим...

Минск. Обелиск.

— Погибшим...

Пискаревское кладбище.

— Погибшим...

Памятник в Берлине.

— Погибшим...

Памятник в Праге.

В Бухаресте.

В Белграде.

В Вене.

— «Темная ночь...» — поет отец и улыбается. — Видел кино?

Взрослые за столом смеются, но смех у них другой, и они какие-то другие.

Потом Витя с отцом идут по Александровскому саду. Здесь в этот день у «Неизвестного» много людей. Много цветов. Молчание.

— Неизвестный.

Памятник Пушкину в Москве.

Памятник Пушкину в Ленинграде.

— Пушкин.

Памятник Толстому.

— Толстой.

Памятник Лермонтову.

— Лермонтов.

Мавзолей.

— Ленин. Мои соотечественники.

Общий план Москвы.

— Город, в котором я вырос.

Коллективная фотография: здание средней школы, перед ней группа выпускников.

— Моя школа. Мой класс. И — я. Меня зовут Виктор Зорин. В классе — Зоря. Биография самая обычная. Главный принцип — не жалиться, как говорила наша школьная уборщица тетя Тоня, и...

— И... — хором подхватывает ожившая коллективная фотография, — улыбаться!

И они улыбаются — лыбятся кто как может.

— Поскольку Москва слезам не верит! Нет, не должна, дорогая моя столица, золотая моя... Не должна!

И вновь крупный план нашего героя.

— А если что в моей биографии не поправится, так вы не очень, не обращайтесь внимания, не переживайте!.. Всякое может случиться. Главное, чтоб у вас все было хорошо, как надо. Лады?..

— Лады! — хором повторяет коллективная фотография. — И только вперед!

Глава третья: начало

— Ура! — кричат солдаты.

Хроника. Победа. Сорок пятый.

Уже ветераны войны, но еще молодые люди. Улыбаются. Обнимаются. Расписываются на рейхстаге.

— Где-то здесь и автограф моего отца, лейтенанта Зорина. Было ему почти столько же, сколько мне сейчас, чуть постарше. Вся эта пленка была порезана, все пошло на исторические документы. Я смотрю на эти фотографии: да, богатыри — не мы, это уж точно. А потом герои вернулись. Надо было жить, работать, учиться.

Фотографии для документа, очень серьезные и строгие.

— Папа служил.

Любительские, застольные.

— Потом папа встретил маму.

Мамина фотография.

Папина фотография.

Парная фотография.

Еще одна.

Еще.

— Вот какая она была, мама! Как она улыбалась! Они поженились.

Целый набор свадебных фотографий.

— Да, и вот где-то через полтора года...

Слышится плач младенца.

— Да, это я. Вот так оно все и началось!..

«Летят перелетные птицы в осенней дали голубой...» — играет старый патефон.

Родственники, торжественные и раскрашенные, сидят за праздничным столом. Периодически хлопает вспышка, запечатлевая на память исторический момент, и вместе с тем замирают в мгновении фотографии.

Накрытый стол. Все стоят торжественно и смотрят в объектив.

— Видите, как гуляем. Назвали меня Витей, Витенькой. Фамилию дали по папе — Зорин... А это я.

Стоит папа с младенцем. Довольный, глупый, счастливый:

— Сыночек мой.

— Это папа.

Мама улыбается:

— Лапочка моя...

— Это мама.

Играет патефон: «На позицию девушка...»

Стоит дядя Толя и держит на руках племянника. Рядом с ним его милая жена, тетя Муся.

— Пусть он будет пианистом,— говорит тетя Муся.— За границу поедет.

— Или спортсменом,— добавляет дядя Толя.— Тоже за границу поедет, папе рубашку привезет, а маме... белье.

— Анатолий...— смущается молодая симпатичная мама.

— «На позицию девушка...» — запевают кто-то из гостей.

А это уже другой родственник, другой. Он долго всматривается в лицо младенца, и голову отводит, и наклоняется, и, наконец, ставит диагноз:

— Дантистом. Хорошо будет зарабатывать!

— «На позицию девушка...»

— Пиротехником,— кричит другой эмоциональный родственник,— не соскучится!

— «На позицию девушка...»

— А это тетя Тамара. Она очень серьезная и интеллигентная.

— Киноартистом,— говорит тетя Тамара.

— Милая тетя Тамара, сама мечтала быть артисткой, видите, какая симпатичная, а стала учителем химии. У самой не получилось, и вот, значит, я должен восполнить... Хорошая тетя, добрая.

— «На позицию девушка...»

— Столько мне нажелали, что я уже тогда понял, что не потяну, не оправдаю надежд. Родили они, выполнять мне. Уже тогда мне захотелось начать жизнь сначала. Но увы... дело было сделано, надо было жить и выполнять свои обязанности...

— Ничего, обойдется. Главное, чтобы повезло,— и дядя Боря задумчиво, глубоко и душевно вздыхает.

— Дядя Боря. Он не желал мне профессии, а сказал по существу.

— Главное,— повторяет дядя Боря, разглядывая младенца,— чтобы повезло. Не родись красивым, а родись счастливым!

— Сам-то он был заведующим гастрономом и знал, чего желает. Посадили его уже в мое юношество. Эх, дядя Боря, спасибо за доброе слово!

— Чтобы повезло,— подтверждает дядя Боря серьезно.— Эх! — кричит он, показывая душу.— Эх! — Он хватает трофейный аккордеон, растягивает меха и запекает: — «Где ж вы, где ж вы, где ж вы, очи карие...»

Родственники и гости идут вокруг него хороводом, подпевая и хлопая в такт.

— «Где ж ты мой родимый край?..»

— И тут я начал плакать. Вообще-то я не плакал, я тоже подпевал, но решили, что я плачу.

— Не плачь! — кричит весело дядя Бо-

ря.— Еще наплачешься. Не плачь! Все впереди! Эх! — кричит он и пристукивает каблуками.— «Хороша страна Болгария, а Россия лучше всех!..»

— Эх! — охваченный общим порывом, кричит хоровод, и все это эмоциональное действо схватывается и замирает на фотографии, на добрую память потомкам, чтоб знали, помнили и ценили.

— Так я родился. Пошли годы.

И вот герой таращится на мир.

Лежит на пузе.

Стоит в манеже. И рядом — счастливые родители.

— Потом мной занялся коллектив: ясли, детский сад...

Пошли коллективные фотографии.

— Не все было гладко, были и накладки.

Глава четвертая:

Дед Мороз, Снегурочка и Серый Волк

Праздники. Новый год. Много музыки. Елка, и под елкой, как и полагается,— Дед Мороз, Снегурочка, два Зайца-подхалима и Серый Волк для противопоставления. Вокруг — дети.

— А что я вам покажу...— разводит руками Дед Мороз.— Что я вам расскажу... Что?!

— Что? — спрашивают заинтригованные дети.

— Что? — спрашивает мальчик Витя, он стоит в первом ряду.

— Ой, как интересно! — подпрыгивает Снегурочка.— Расскажи нам, дедушка, расскажи!

— Ой,— подхихикивают Зайцы,— очень интересно!

— Интересно,— с мрачным сарказмом повторяет Серый Волк.— Очень интересно.

Снегурочка сразу же замахала на него руками:

— А ну, пошел вон, Серый! Дети, разом: «Пошел вон!» Все вместе.

— Пошел вон,— загалдели вразнобой дети.

Побежденный Волк, захватив под локоть хвост, послушно пошел за елку.

— Что ты нам расскажешь, дедушка?! — Снегурочка вновь прошла по кругу.— Что?! — спросила она у детей.

— Что?! — вразнобой повторили дети.— Что?

И задумались.

— Ну, мальчик, ты,— сказала Снегурочка потянувшемуся Вите.

Витя сразу стал центром внимания. Все смотрели на него, и даже Волк высунулся из-за елки и скептически зевнул — что он может сказать?

Витя посмотрел на Волка, глянул на добрую улыбку Снегурочки и, оставившись в бороду Деда Мороза, спросил:

— А почему от Деда Мороза пивом пахнет?

Все так ничего даже не поняли, только Волк хмыкнул из-за елки и удовлетворенно потер лапы:

— Ха-ха! А ничего!

— Каким пивом? — растерялась Снегурочка.

— «Жигулевским», — объяснил Витя, — как от дяди Бори.

— «Жигулевским» пахнет... как от дяди Бори... — пронеслось по детской аудитории.

— Тише ты, — сказал Дед Мороз без сказочной интонации. — Чего раскричался?

И тут Витю осенило.

— Дед Мороз ненастоящий! — крикнул он.

Что тут началось! Дети, указывая пальцами на растерявшегося Деда Мороза, роптали:

— Дед Мороз — ненастоящий!..

Снегурочка растерялась.

Зайцы просто испугались.

Один Волк потирал от удовольствия лапы и мотал мордой:

— Во дают, а? Во дают, ни-че-го!

— Коля! Вася! — прокричал Дед Мороз. — Зайцы! Уберите его.

Зайцы кинулись к Вите.

Витя пытался скрыться, но Зайцы выловили его и потянули за собой, схватив за руки.

— Пойдем, мальчик, пойдем, — приговаривали они, стараясь быть ласковыми, но держали накрепко.

— И Зайцы ненастоящие! — выкрикнул прозревший Витя.

— И Зайцы!.. — откликнулся зал.

— И Снегурочка!

— И Снегурочка!

Его уводили через пустую половину зала, к буфету-костюмерной.

В дверях Витя обернулся в последний раз: — Нас обманули!

Но тут же Зайцы затолкали его в комнату, и дверь за ними захлопнулась.

— В круг! В круг, дети! — кричала Снегурочка. — Оркестр, музыку!

Оркестр начал играть.

Дети еще шумели, повторяя: «Нас обманули!»

— В круг! — перекрывая их галдеж, командовала Снегурочка. — Раз, два! Пошли по кругу! «В лесу родилась елочка...» Раз, два, вокруг елки... Веселее! Веселее!.. Вот так.

Снегурочка вбежала в комнату, крикнула с раздражением Зайцам:

— Уже расселись! Скорее в зал!

Зайцы только что присели на столах и закурили. Они тут же соскочили со столов и погасили сигареты.

— Гоняйте Волка! — распорядилась Снегурочка. — Отвлекайте детей!

— Ясно! — сказал один Заяц свирепо, и они кинулись в зал.

Витя сидел в углу. Смотрел.

— Смотришь? — сказала Снегурочка со злостью, отчего ее красивое лицо стало жестким и некрасивым. — Дать бы тебе хорошенько!

Она тоже присела на стол и закурила.

— Ты понимаешь, Мура, — сказала она полной спокойной буфетчице, — назвать Деда Мороза ненастоящим! И сказать, что их обманули! Ты понимаешь?!

Буфетчица Мура шумно вздохнула.

— Разве мог он сам до этого додуматься? Откуда у него это? — не успокаивалась Снегурочка.

— Ясно, не мог, — подтвердила, опять вздохнув, Мура.

— Сейчас родительница придет, я ей дам. Пораспустили детей, а нам расхлебывай.

— Дед Мороз ненастоящий, — твердо, из своего угла, сказал Витя.

— Дрянь какая! — окрысилась Снегурочка. — Подожди, мы тебе покажем, как сомневаться.

Вбежал Волк:

— Кажется, успокоились. Пришлось мне побегать...

— Дед Мороз ненастоящий.

— Ничего! — сказал Волк и потер лапы. — Ничего растет поколение! — Он тоже закурил и выпустил из пасти дым.

— Просто страшно, — подтвердила буфетчица. — Мой такой же. И откуда они все берут? При них стараемся не говорить, молчим. Иногда и надо сказать, объяснить, но сдерживаемся, молчим... И все равно: задают вопросы.

— Ничего, родители придут, — мстительно сказала Снегурочка, — мы узнаем, откуда у него эти мотивы.

— Да ладно, мать, — сказал Волк. — Чего ты навалилась на парня? Парень-то хороший!.. Хочешь хвост потрогать? — спросил он у Вити.

Витя облизнул пересохшие губы и опять твердо выговорил:

— Дед Мороз ненастоящий.

Снегурочку аж всю передернуло, а буфетчица опять шумно и густо вздохнула.

— Тихо ты, тихо, парень, — оглянулся и сказал Волк. — Чего расшумелся? Ишь ты, правдолюбец. Мода, брат, приходит и уходит, а жить надо.

— И ты тоже хорош! — опять взвилась Снегурочка. — Он ляпнул, а ты и рад, смеешься.

— Так я ж в образе. Что мне делать? — Он даже приосанился: — Я — Волк!

— Мог бы и промолчать.

Волк загасил сигарету. Его прорвало:

— А я и так молчу. Все время! Сделаю из меня посмешище. Слово сказать нельзя. Тогда Волка не заводите, сделайте всех Заяцями. Я говорил на собрании! Я вам не

шестерка — Волк! Волк! — повторил он с достоинством.

— А если бы кто из роно был! — выкрикнула Снегурочка.

— Ну,— согласился Волк.— Ну, ты, мать, все равно близко к сердцу не принимай! Я вон с субботы прошу хвост пришить как следует, им ведь только и работаю, дергают все время, до сих пор не собрались, и то на стену не лезу!

Вошел Дед Мороз. Еще от двери простонал:

— Му-ура!

Буфетчица тут же выставила рюмку.

Дед Мороз крупными шагами подошел к стойке. Протянул руку. И замер. Оглянулся. Витя смотрел на него из своего угла.

Дед Мороз посмотрел на рюмку, шумно вздохнул, махнул рукой и такими же крупными шагами пошел обратно.

В дверях он обернулся.

— Брошу! — сказал он с угрозой.— Хватит! Я жить хочу. Среди людей! Как живой с живыми!

Он шагнул в зал, и оттуда донесся его мощный голос:

— Ну что, Зайцы? Все ли в порядке? Все ли на месте, всем ли весело на нашей елке?!

— Всем! Всем! — раздался голоса.

— А где Волк? Где Серый? Где злодей?

— Где? Где? — повторили наивные дети.

— Соскучились? Здесь я! Здесь! — Второй раз «здесь» Волк повторил уже в образе. Он сделал несколько волчьих кровожадных движений по комнате и выскочил за дверь.

— А где подарки? — занудил он отвратительным голосом.— Хочу подарков!..— Остального не было слышно.

В комнату вошла Витина мама, и Снегурочка напустилась на нее:

— Вы родительница ребенка?

— Я,— без большого восторга созналась мама.

И Снегурочку прорвало:

— Следить надо за своими детьми! Если ваш ребенок непроверенный, нечего его водить на коллективные праздники! Мы девятый день справляем! По два раза, между прочим! У нас нервы не выдерживают! Мы тоже не из железа!.. А тут придет такой, непроверенный, и испортит всем праздник! А праздник, между прочим, общий! Всенародный!

Мама пыталась было оправдываться и защищать, но после последнего аргумента окончательно сдала свои позиции. Она держала сына за руку и во время всего разговора дергала его в такт восклицаниям, будто хотела выдернуть руку, так что сын придерживал эту руку другой.

— Так он же ребенок... — пролепетала мама логичный вроде аргумент.

— Ребенок? А другие что — не ребенок? — Снегурочка подперла бока.— Скажи-

те — влияние не то! Говорить такие гадости при всех! Я этого так не оставлю! — замахала она руками.— Я этого так не оставлю! Вы из какой организации? Из какого сада? Приходят, понимаешь,— апеллировала она к Муре,— и срывают нам праздники. Мы-то их в год имеем — раз, два и обчелся, так и тот сорвать норовят!

После этой речи мама струхнула окончательно. Подготовленные аргументы и доводы рассыпались в ее голове, а придумать другие она не смогла.

— Я с ним дома поговорю,— только и повторяла она.— Я с ним дома поговорю!.. Я с ним дома поговорю!..— Наконец она немного овладела собой, взглянула на сына, увидела, что он еще смеет поддерживать «дерганную» руку другой, пришла в ярость, ибо цинизм сына был слишком явным, здесь любой бы не выдержал. Она ударила сына по руке и потребовала сурово:

— Проси прощения! Я ему дома покажу. Проси прощения! Скажи: «Я больше не буду!»

Витя посмотрел на них, закрыл глаза, он уже начинал понимать, что путь к истине труден. Открыл глаза снова и, как положено герою, выговорил:

— Дед Мороз ненастоящий.

— Так-так,— сказала Снегурочка неожиданно спокойно и хлопнула ладонью: — Вот оно что, оказывается. Ясно.

Мама совсем растерялась.

— Сейчас же прекрати! — крикнула мама.— Проси у тети Снегурочки прощение! Дед Мороз настоящий! И тетя Снегурочка настоящая! Все настоящие.

Снегурочка уже успокоилась.

— Нет, это уже просто интересно. «Нас обманули», — процитировала она.— Это уже просто интересно.

— Да вы не подумайте,— оправдывалась мама.— У нас приличная интеллигентная семья.

— Я вижу, что интеллигентная.

— Муж воевал на фронте.

— Все воевали. Нет, но уже в таком возрасте сомневаться!.. Это же надо знать!

— Сне-гу-роч-ка! Сне-гу-роч-ка! — звали из зала.

Снегурочкино лицо снова стало ласковым и сладким.

— Иду! Иду! — пропела она.

— Сейчас же скажи: «Дед Мороз — настоящий». Слышишь?

— Сне-гу-роч-ка!

Мама смотрела в зрачки сына. Тетя Снегурочка тоже ожидала ответа и поправляла волосы перед выходом.

Сын молчал. Смотрел на маму и молчал.

— Слышишь, настоящий! — Мать зло и больно дернула руку.— Тебе сколько раз говорить. На-сто-я-щий!

— Сне-гу-роч-ка!

Сын вздохнул и сказал тихо и безнадежно:
— Ненастоящий.

— Ах ты! — мать ударила его по щеке. И тут мальчик не выдержал: слезы покапались из глаз. Он стоял и плакал.

А два взрослых человека стояли перед ним и не знали, что делать и говорить дальше.
— Сне-гу-роч-ка!..

— Пойду я, — сказала Снегурочка как-то смущенно. — Бить нельзя. Непедагогично.

И тут тетя Мура, которая тоже присутствовала все время, поддерживая разговор своими вздохами, решила вставить золотое словечко:

— Ну и полоротая ты, Зойка! Ребенка до слез довела. Что значит своих нет.

— А ты не лезь!

— Ну как же! Ты над ним издеваться будешь, а я делаю вид, что ничего не вижу.

— Не лезь!

— А еще сознательная! Еще Снегурочка! Не стыдно? Стыдно должно быть! Нервы не выдерживают, в Снегурочки не ходи.

— Сне-гу-роч-ка!..

Снегурочка Зоя хотела что-то сказать, неопределенно мотнула головой, сделала выражение на лице и вышла за дверь. Из зала донесся восторженный рев.

Тетя Мура взяла Витю на руки и понесла к себе, за стойку.

— И мать тоже хороша, — выговаривала она слова своим ровным спокойным голосом. — Как будто языка или рук нет. Ребенка не может защитить! Да ты не плачь, ты мой болезный, не плачь: Москва слезам не верит. Не плачь! Вот возьми мандаринку, у Снегурочки я отнял. Ишь ты, какой душевный! Господи! И чего привязались к ребенку. Ведь ребенок еще, что думает, то и говорит. Откуда ж ему знать, как надо... И ты? Зачем дедушку обидел? Он же для вас старается. У вас праздник.

— Пиво «Жигулевское», как у дяди Бори.

— Что же делать, если завоз такой.

У Вити высохли слезы.

— Чего? Какой завоз?

— Праздничный. Ну, иди, иди к елке, прыгай с ребяташками.

Она опустила его на пол и подтолкнула к дверям.

— Вы понимаете... — стала приходиться в себя мама.

— Понимаю... И вы не переживайте, у всех сейчас нервы. Она уже забыла, и вы забудете.

— Нет, но какая грубость. Какая бестактность! Это же все-таки дети!

— А вы в Снегурочках когда-нибудь вертелись?

— Мне не приходилось, но я пела...

— Не вертелись, значит. А я вам так скажу, это хуже, чем в буфете: и там и там люди, но у нее еще дети.

— Да, — сказала мама неопределенно. —

Ну, мы пойдем. До свидания. Витя, скажи тете «до свидания».

— До свидания, — сказал Витя. Он прислушивался к праздничному шуму, доносившемуся из зала.

— До свидания, — кивнула буфетчица Мура. — Всего хорошего. С Новым годом, как говорится. С новым счастьем!

— И вас, и вас!

Витя с мамой вышли.

Буфетчица опять вздохнула:

— И где он настоящий? И зачем он тебе нужен? Войны нет, и слава богу! Эх! — не выдержала она и сама опрокинула рюмочку.

И вот фотографии.

Мальчик Витя в общем хороводе вокруг елки. Счастливый. Довольный. Ребенок как ребенок.

Наедине с Дедом Морозом. И оба рассматривают друг друга с апробированным чувством взаимного уважения.

Вот Снегурочка беседует с мамой. И обе улыбаются друг другу.

Вот и елочка зажглась.

И вручение новогодних подарков.

И расплутые глаза детей.

— *Этот случай научил меня многому, из детства я уже вышел человеком, вполне сформировавшимся. И когда пошел в школу, уже не задавал дурацких вопросов...*

Глава пятая: школьные годы

Детский хор старательно запекает тоненькими пронзительными голосами популярную, волнующую песню «Школьные годы».

Идут, сменяя друг друга, фотографии школьных лет.

Вот первый раз в первый класс: взволнованные учителя, цветы, неорганизованные первоклассники, родители с загадочными улыбками.

Второй класс.

Октябрята!

Пионеры!

Первые сборы.

Первые общественные нагузки.

— *Школьные годы! Все первое! Все только начинается! Конечно, все это время меня учили и воспитывали...*

...В классе. Учитель географии задушевно рассказывает и показывает на карте:

— Наша страна — самая большая в мире. Она занимает шестую часть... — и он наглядно демонстрирует это на карте.

Дети с гордостью следят за указкой.

...Во дворе. Здесь, в углу двора, семиклассники стравливают мелюзгу. Мелюзга драться не хочет. Молчит, сопит.

— Ну, ты начни!..

— Ну, ты... —

Семиклассники подталкивают их друг к другу:

— Чего? Боишься? Боишься?..

— А еще в кино ходишь, ах ты, трус!

— А ну, дай ему! Врежь!

Их сталкивают лбами, они отталкиваются друг от друга и драка закипает.

«Старшее поколение» смотрит на них снисходительно.

«Молодежь» дерется неумело, но с чувством, а потом, ведь это еще начало, научатся, еще успеет: Москва тоже не сразу строилась, постепенно!

Тут же какой-то третьеклассник, уже грамотный, уже подкованный, старательно царапает стену гвоздем. Первую букву он уже процарапал. Пот усердия заливают его лицо, но в глазах подлинный огонь творчества.

Один из семиклассников смотрит на него и говорит презрительно:

— Чего это ты пишешь-то? Не надоело?

— А чего?

— А ты не видишь, что кругом написано? — И семиклассник кивает на противоположный дом, где большими буквами установлена светящаяся надпись: «Миру — мир».

Третьеклассник обалдело смотрит на нее, а «старшее поколение» довольно смеется.

— А-а-а... — наконец соображает третьеклассник и приходит в восторг: — Я это в школе напишу.

...В кино. Фильм — «Великолепная семерка».

— Дай ему! Дай ему, Крисс! — кричит детская аудитория.

И Крисс не заставляет себя долго упрашивать.

— А-а-а!.. — раздается по рядам. — Давай! Еще!..

...И радио тоже, когда герой сидит за завтраком, торопясь в школу, и проглатывает очередное радиосообщение:

— На полях Кубани развернулась битва за урожай!..

...И телевидение — «Голубой огонек».

Вся семья — папа, мама, сын — вечером сидит перед «ящиком».

...А это — тетя. Какое-то празднество у Зориных. Гости. Суета. И тетя, та самая, которая хотела быть артисткой и стала химиком, воспитывает Витю. Детей у нее самой нет, но есть желание помочь.

— Помни, ты учишься не только для себя, но и для всех, для Родины.

В дверях останавливается дядя Боря. Прислушивается к разговору. При слове «Родина» он вздрагивает и смотрит на Витю.

— Это точно, — говорит он. — Тамара, где штопор? Чем бутылки открывать?

— Я знаю, — срывается Витя, — вон там, в шкафу. — И объясняет, извиняясь, тетушке: — Это мы на сборе проходили. Война, да? И всякое такое...

...Уже другие времена, другой возраст, две-

5 «Киносценарии» № 1

надцать лет, уже все про всё знаем — взрослые люди.

Идут трое — Витя и два приятеля. Кирпичные стены. Мусорные баки. Из-за поворота сразу выскочила компания, много, человек восемь, видно, поджидали.

Троица разом приостановилась. Потом один сорвался и побежал, быстро-быстро. Двое проводили его тоскливым взглядом. Их обступили.

— Ну, — сказал самый низенький и самый активный. — Что, Зоря, попался?

— Попался, — сказал двенадцатилетний Витя Зорин и заулыбался. — И ты, Филя, тоже потом попадешься, больно тебе будет. Ты, — сказал он своему приятелю, — не лезь, мы не отобьемся.

Приятель вздрогнул, напрягся, тоже заулыбался.

— А!.. — закричал приятель и ударил первый.

Их сбили, опрокинули.

Потом подняли. Держали крепко за руки.

— К тебе, — сказал, обращаясь к приятелю, низенький злой Филя, — мы ничего не имеем. Можешь идти.

— Гад, — сказал приятель. Он еще дергался и не мог успокоиться. — Я тебя достану.

— Ладно, — сказал Филя. — С тобой после. Он подошел к Вите.

Витя стоял спокойно, не вырывался.

— Ну что? — спросил Филя.

— Ничего, смотрю на тебя.

— Проси, — сказал Филя.

— У тебя? — засмеялся Витя.

Филя ударил.

Витя дернулся, но снова заулыбался.

— Проси, — Филя ударил еще раз.

Витя улыбался.

Еще раз по лицу.

Витя сплюнул кровь с разбитых губ. Улыбался.

— Проси.

Зорин согнулся от удара.

— Ах, ты... Я же тебя потом... И тебя... и тебя... — кивал приятель на держащих.

Появился еще один персонаж, старшеклассник. Остановился около них.

— Ну, ты получил с него? — он закурил.

— Получил, — сказал Филя и ударил еще раз. — Молчит.

— Ну, Филя, — Зорин еще улыбался. — Я не молчу: гнида ты, Филя. Таракан... Один на один боишься?

Старшеклассник с интересом посмотрел на Витю.

Филя ударил еще раз. Он сопел и старался.

— Проси, — просил Филя.

— Нет.

— А ты чего, действительно, — вмешалось «старшее поколение», — смахнитесь один на один, веселей будет.

— Давай? — улыбался Витя.
Филя сопел.
— Ты чего же? — старшекласник хлопнул Филю по спине.— Будешь?
Филя молчал.
— Ну, гаденыш,— засмеялось «старшее поколение». И потрепало Филю по плечу.— За брата прячешься? Подломают тебя как-нибудь. Отпустите их. Чего смотришь? Отпусти, скажи.
Витю и его приятеля отпустили. Они независимо постояли. Переминались.
— Идите, идите,— махнул рукой старшекласник.— Мало, что ли? Еще можно добавить.
Ребята повернулись и пошли, не очень быстро, но и не очень медленно.
— Смотри, Зоря,— кричал Филя вслед,— мы еще встретимся!
Его старший брат смеялся.
У раскрытого окна, на пятом этаже, стоял пожилой мужчина, плотный, круглый, с ежиком волос, в подтяжках. И он смеялся тоже.
— Ну что? — крикнул он.— Схлопотали? Приятель Вити ощерился:
— Смотри, ты не схлопочи.
А Витя вежливо улыбнулся:
— Схлопотали, схлопотали...
— Мало! — кричал из окна, веселился мужчина, смачно и со вкусом выговаривая слова: — Вас, дураков, учить надо! Спасибо же скажете!
— Гад,— процедил Витин приятель.
— Спасибо, спасибо...— раскланялся Витя.
...Квартира однокласника. Просторная, удобная. В большой комнате Витя с приятелем склеивают макет самолета. Деталей много. Работа кропотливая. Оба стараются.
Тут же, в комнате, работает телевизор. Показывают хронику из Вьетнама. Самосожжение буддийского монаха.
Ребята отвлеклись. Посмотрели. Переглянулись.
Потом появилась дикторша, важная дама с капризным голосом. Ребята послушали. Опять переглянулись. Посмеялись.
— Включить что-нибудь веселенькое? — сказал хозяин.
— Включи,— согласился Витя.
Хозяин подошел к телевизору, стал щелкать переключателем.
Здесь говорили про забастовку во Франции. Здесь рассказывали про успехи сельского хозяйства.
Кто-то куда-то к кому-то приехал. Правительственная делегация. Поцеловались. Пожали руки. Исполнили гимн. Промаршировал почетный караул.
Здесь танцевали народный танец.
Приятель посмотрел на Витю. Улыбнулся. Витя тоже улыбнулся.
— Выключить? — и защелкал обратно.

— Оставь,— сказал Витя.— Пусть... интересно.

— Я только звук выключю.
— Давай.
Продолжали собирать самолет.

Экран светился. Беззвучно шевелил губами диктор.

...Ночь. Отец входит в комнату сына и зажигает свет.

Сын лежит, накрывшись одеялом. С головой. Начинает ворочаться и затихает в странной позе.

Отец подходит и стаскивает одеяло.

Происходит короткая борьба. Сын что-то прячет под подушкой. Папа извлекает фонарик и книгу.

Смотрит на обложку — «Спартак».

— Я же тебе говорил,— произносит папа.— Сколько можно?

Он садится на кровать рядом с сыном и начинает просматривать книгу.

— Да,— говорит папа,— хорошая книга. Давно я ее читал. А вот эта куртизанка его продаст.

— А кто такая куртизанка? — невинно спрашивает сын.

— Куртизанка? — папа продолжает просматривать книгу.— Ну, эти... что пляшут и поют...

— Из ансамбля?

— Да нет,— начинает сердиться папа.— Это раньше было. Давно. Очень давно! Сейчас нет.

— А почему сейчас нет?

— Потому нет... Нет, и все,— сердится папа.

— А дядя Боря говорит — есть, но по-другому называется.

— Я ему дам, дяде Боре. Тебе сколько лет-то? Книгу кто тебе дал?

— Двенадцать.

— А-а-а...— говорит папа и удивленно рассматривает своего сына.— Двенадцать. В двенадцать лет я...— И папа качает головой и улыбается воспоминаниям.— Ты «Белый клык» достань. Вот книжка! Что-то я ее давно не вижу.

На пороге появляется мама.

— Что происходит, Саша? — говорит мама.— Ночью, голоса?..

— Иду,— говорит папа.— Книгу я заберу. Спи. Спокойной ночи.

Папа гасит свет, и они с мамой уходят.

— Что произошло? — спрашивает жена.

— Ты знаешь, сколько ему лет?

— Кому? Витеньке? Что с тобой?

— Двенадцать лет,— говорит папа.—

А в двенадцать лет я...— Он качает головой: — Эх, годы, годы! — проходит через комнату и гасит свет.

— Я жил хорошо, но в шестом классе случился прокол. Нам приказали всем остричься: была такая кампания. Никто и не подумал. Учителя попротестовали и успокоились. Но дух их был угнетен. Мне стало жаль своих старших товарищей — наших наставников: я решил проявить индивидуальность и был строго наказан за свой наивный и безграмотный конформизм.

Детский хор выводит детскую песню «Чибис».

Лохматые затылки, косички, и вдруг среди этого однообразия блеснула стриженная под ноль голова. К этому несчастному стриженному затылку на наших глазах приклеиваются бумажные шарики, выстреленные из трубок.

Урок пения продолжается. Настает время соло.

— «Ах, скажите, чьи вы...» — выводит одиноко герой.

Поет он прекрасно, вкладывая всю душу. Это очевидно и наглядно. И видно, как он сотрясается от душевного волнения и как по той же причине ползет по его щеке слеза подлинного чувства.

Если же быть занудливо дотошным и чуть опустить глаза с прекрасного взволнованного лица, мы увидим, что на ботинках певца топчутся десятки каблучков, что ноги его щиплют десятки рук, и, что самое трагическое, это не мальчишки-хулиганы, а милые, чистоглазые девочки, наши будущие красавицы, и делают они это, что называется, на голубом глазу.

Голова Зорина вся оплевана и заплевана. Спина превратилась в доску объявлений райцентра: «Предатель Зорин», «Пой-пой, вечером допоешься», «Пусть всегда будет солнце!», «Нет места бритоголовым».

А ниже спины два мстителя, согнувшись, в такт песне покалывали солиста, потому-то, видать, и дрожала трагическая нота, окрашивая песню в неподдельное чувство.

А трогательная певичка кивала в такт песне и была счастлива, как все творческие люди в момент божественного свершения.

Песня продолжается, но уже наступил вечер, на дворе зима, и падает добрый рождественский снег.

Школьная дворничиха, тетя Тоня, широкой фанерной лопатой очищает снег. И вдруг!..

Вдруг своим опытным, профессиональным глазом она увидела, что ожидаются события. Она оставила снег в покое, потому что любила жизнь и любила наблюдать ее в подлинном состоянии.

Вот вышли из школы шестиклассники, и мальчишки сбились в кучу за углом, а девочки столпились на возвышении. Ждут. Наблюдают.

И тетя Тоня тоже ждет. Наблюдает. Подперлась лопатой.

А хор выводит. Поет:

— «У дороги чибис... У дороги чибис...»

И вот Витя Зорин появился на крыльце. Не спешил, не торопился, видать, чувствовала кошка, чье мясо съела.

Витя посмотрел на снег, на небо, на тетю Тоню.

— Здравсьте, тетя Тоня!

— Здравствуй, здравствуй,— зашевелилась тетя Тоня.— Ишь ты, какой вежливый.

Один стоял Зорин на крыльце. Один-одиношенек, а одному плохо! Нельзя одному. Даже окна в школе за ним погасли, как по команде, одно за другим. Темнота. Тишина.

Постоял Витя. Снял шапку и рванул речь, обращаясь к женской и вроде самой милосердной аудитории:

— Товарищи пионеры! Как перед знаменем клянусь, не для того, чтоб предать и обнажить наши ряды, подстриг я свою позорную голову, а просто так, для эксперимента... для интереса,— и он нагло и цинично заулыбался. Интерес, очевидно, был сугубо его личным делом.

Но девочки не вняли его словам, они уже начали мерзнуть и переступали с ноги на ногу.

— Иди, иди,— сказали девочки.

Тетя Тоня поддержала их, хотя знала и считала, что «двое дерутся — третий не лезь», но время шло, а дело стояло, и она тоже поддала свой голос:

— Иди уж, действительно, чего ждешь у моря погоды... Узнаешь интерес.

Против народной мудрости ученик Зорин пойти не мог. Он, не надевая шапки, пошел через двор, вдоль стены, где за углом ждали его товарищи.

Следом за ним, на некотором расстоянии, двигалась тетя Тоня, чтобы увидеть события из первых рук — трепачей и непроверенные слухи тетя Тоня не любила.

Товарищи Вити Зорина стояли за углом и изнывали от предвкушения возмездия. Сейчас из-за угла должен был появиться ОН и тогда... Но вдруг из-за угла высунулась стриженная голова, только голова, наглая в своем обритом бесстыдстве. Ребята всхрипнули и, потеряв душевное равновесие, кинулись за угол. Образовалась куча-мала, из-под которой с криком «Наших бьют!», что было более чем оскорбительно, выскочил Зорин и, продолжая держать шапку в руке и раздражая всех своей донельзя сияющей головой, преувеличенно смешно и дурашливо побежал через двор.

Коллектив при этой страшной, унижительной картине потерял совсем голову. И не удивительно! Коллектив кинулся за одноклассником.

Опять все перемахнули через упавшего

Зорина. И опять Зорин, на позор всему классу, всем шестым классам, всей школе, которая воспитала и вырастила в своих стенах столько хороших людей, на позор всем поколениям, бежал целый и непобитый.

Девочки ломали пальцы, беззвучные слезы катились из их прекрасных глаз. Им было стыдно! Им хотелось умереть!

— Мальчики,— шептали девочки.— Мальчишки!.. Ничтожество!..

Тетя Тоня тоже устала гоняться за «событием», к тому же она еще и хромала. И возраст... Она стояла на снегу и тяжело дышала:

— Шестиклассники, называется! Побить даже не умеют! Берутся, а не могут, шпана несчастная! Сколько на них государство денег затратило!.. Ты куда бежишь? — крикнула она сердито пробегающему Зорину.— Ты чего весь класс мучаешь? Ты что — особенный?

Витя тоже задыхался, тоже притомился.
— А без труда,— он тяжело дышал,— не вытащишь и рыбку из пруда.— И побежал дальше.

Молча и свирепо сопя, пробежала мужская половина шестого «Б». И тут самая красивая девочка шестого «Б», Света Кузнецова, не выдержала.

— Алик! — крикнула она.— Ну что же ты!

Алик, рыцарь без страха и упрека, надежда всех шестых классов, взял себя в руки и решил действовать хладнокровнее.

Зорин остановился, а одноклассники остановились тоже. Медленно стали надвигаться. Мальчишки тяжело дышали.

— Ну, погоди, солнышко! — дышал Алик.

— Погожу...— тяжело дышал Зорин.— Видели? — И он снова обнажил голову.— Красиво?

И опять шестой «Б» потерял рассудок. На этот раз тетя Тоня не выдержала.
— Ты что же делаешь?! — крикнула она.
— Я один, а их много,— ответил Зорин.— Сегодня побьют, а завтра что делать будут?! Тетя Тоня растерялась:

— Верно, одним днем живем... Имеем — не ценим...

Дорога была свободна, и Зорин мог бы убежать. Но он все останавливался, все оглядывался, видимо, совесть окончательно не покинула его.

И опять раздался призывный клич Светы:
— Зорин!.. Как тебе не стыдно? До каких пор это будет продолжаться? Сколько ты еще будешь себя противопоставлять?

И Витя Зорин понял, что зашел слишком далеко. Что зарвался. Он остановился, развернулся к погоне, обнажил голову:

— Вот я.

— Солнышко! Солнышко!.. — запели друзья-одноклассники, одновременно наказывая грешную голову снежками.

Потом пошла экзекуция.

Наконец подросла измученная неопыт-

ностью молодого поколения тетя Тоня. Она тяжело дышала, облокотясь на лопату.

— Наконец-таки,— сказала она и глянула на часы.— Сколько времени проваландали. Далекий хор где-то продолжал грустную песню про чибиса.

Тетя Тоня еще раз взглянула на часы.

— А ну,— сказала она и взмахнула лопатой,— вы что это все на одного? Хулиганье несчастное! А ну, пошли, окаянные, роздыху от вас нет!

Куча-мала рассосалась. На снегу остался один Зорин.

— «Пусть всегда будет солнце, пусть всегда будет небо»...— со злорадным намеком пропел в отдалении жизнерадостный шестой «Б».

Тетя Тоня склонилась над Зориним.

— Ой, что же это делается, что же это творится на свете? — Вздыхая и причитая, она помогла Вите встать, očистила его голову от снега.— Не плачь, не плачь... Что же это ты наделал против товарищей? Больно, небось, побили? Ах они хулиганы...

— А я и не плачу,— раздался спокойный голос Вити.— Чего плакать-то? Москва слезам не верит.

Тетя Тоня так и присела от растерянности. Она заглянула в лицо Зорина и всплеснула руками.

— Правда, не плачет! — сказала тетя Тоня в отчаянии.— Господи! И побить-то не сумели. Что же это такое происходит? Шестые классы! И на кого страну оставлять будем?!

— Найдем,— обнадежил Зорин.— Отыщем. Должны отыскать.

Тут и у тети Тоня кончилось терпение.

— Фулиганье! — прокричала она и больно ткнула Витю Зорина лопатой.

Зорин срочно ретировался.

— Я вам покажу,— кричала дворничиха,— как представления устраивать! Завтра же все директору расскажу, как вы меня от работы отвлекаете.

И она сердито ткнула снег широкой фанерной лопатой.

— До свидания, тетя Тоня! До завтра! Извините за беспокойство!

И по-прежнему держа шапку в руке, Витя пошел по заснеженному двору школы.

— Я вам покажу «беспокойство».

— С тех пор я не противопоставлял себя коллективу. Меня вовремя поправили, и я понял, что это не только морально тяжело, но и физически опасно. Да, «мы диалектику учили не по Гегелю!» Это уж точно! И я не отрывался от коллектива и не забегал вперед.

Коллективная фотография шестого класса.

Глава седьмая: история увлечения

— Еще раз удар по моей индивидуальности был нанесен, когда я увлеклся музы-

кой и чуть не остался на второй год...

Школьный оркестр «выдает» программу. Играют с энтузиазмом. Громко. От души. Витя Зорин рвет гитарные струны.

— Ля-ля-ля-ля...— подпевают оркестранты согласно моде.

— В тот год мы «раскрывали таланты». Я раскрыл в себе музыканта. Искусство, конечно, требует жертв, и я их принес.

Звенит оборванная струна, и разрывается пополам, как фотография, жизнерадостное изображение оркестра.

...Зорин-отец стоит посреди комнаты. Не сидит, стоит. И стоя листает дневник.

— Так,— говорит он.— Иди сюда.

Сын появляется рядом.

— Я не желаю,— говорит папа Зорин ровным голосом, на аудиторию, так что сын оглядывается.— Я тебе говорю, тебе,— чуть повышает тембр папа.— Я не желаю,— спускается он на прежнюю волну,— видеть в своем доме оболтуса...

Сын сосредоточенно смотрит на палец отца, который в такт речи стучит по дневнику.

— Саша,— просительно говорит от дверей мама.

Папа только метнул на нее пару молний.

— ...который должен понять,— продолжает папа,— что он должен трудиться.— Голос папы звякнул и запел, как труба.— Мы родили тебя...

Мама как-то хотела всплеснуть руками, а сын изобразил смущение и даже шмыкнул носом.

— ...не для того,— продолжает папа,— чтоб ты принесил в дом двойки, тройки, двойки, тройки...

— А для чего?

Папа поднял взор на сына.

— Для чего вы меня родили?

— Не задавай глупых вопросов. Ты же знаешь... мы хотели... мы надеялись... мы думали... что ты будешь...

— Нет, папа, а зачем вы меня родили?

— Зачем? — спросил папа и посмотрел на маму.

— Затем,— сказала мама неопределенно.

— Затем,— сказал папа,— чтоб ты ценил своих родителей. Ценил их внимание... и любовь. Заботу. И слушал, когда они тебе говорят. Теперь — ясно?

— Теперь ясно.

Мы скромные, обыкновенные люди. И тебе надо сосредоточиться на одном: на среднем образовании, потому что среднего положения в жизни ты добьешься только с высшим образованием. Что это за увлечение? Что это за исключительность? Твои родители всегда были скромными тружениками!

Сын заслушался родителя.

Речь отца текла великолепно. И вот уже под нее легла музыка, пропела труба.

Ты должен...— пропела труба.

Ты должен...— вступил оркестр.

— Ты должен... Ты должен сначала стать средним человеком,— пропел папа.

— Ты должен стать...— поддержала его мама как верная жена.

— Ты должен стать сначала средним...— пропел хор родственников.

— Стать средним, стать средним...— пропела женская часть родственников.

Витя улыбался. Он заслушался. Он был увлечен и поглощен бескрайними возможностями музыкального величия.

— Ты должен... Ты должен...— забасили занудливо родственники-мужчины.

И Витя не выдержал.

— Я буду... Я буду...— откликнулся Витя с родственной отзывчивостью. И тут же был наказан. Ария оборвалась. Оркестр замолк. Настали будни.

— Так,— сказал папа.— Я вижу, что ты плохо понимаешь, что за ошибки надо отвечать!

Папа шагнул к книжному шкафу, на котором стояли гипсовые фигурки Горького и Маяковского, снял с гвоздя гитару, сжал гриф и медленно поднял над головой, значительно посмотрев на сына.

— Саша! — ахнула мама.

Сын только удивился.

— Ну что? — сказал папа с усталой досадой.— Что «Саша»? Если он варвар и не понимает своих обязанностей, при чем тут инструмент?

Папа взял гитару, тронул струну.

— Расстроил,— и стал настраивать.— Пойми, Витя, почему я и мать должны читать тебе нотации? стыдно и нам и тебе. Ты же взрослый человек. И должен понять, что сначала обязанности, а потом уже развлечения — хобби. Нам же хочется гордиться тобой. «Поэтом можешь ты не быть», но нормальным порядочным человеком должен стать. Или нам с матерью, как Тарасу Бульбе, своими руками, чтобы перед людьми не было стыдно?

Папа никак не мог настроить гитару.

— Саша! — подала голос мама.

— Что? Принеси мою,— сказал папа сыну.

— Ты же хотел с ним поговорить,— сказала мама.

— А я поговорил,— сказал папа. Он взял свою гитару и, потряхивая для звука, повел вальс.— Та-ра-ра-ра...— запел папа.— «Я встретил вас, и все былое...»

Сын взял гитару и подстроился.

— «В душе моей...» — подхватил сын.

Мама смотрела на них полная отчаяния.

— У него же успеваемость,— сказала мама,— а ты с ним на гитаре играешь. Взрослый человек. Я возмущена. Я очень возмущена! До глубины души!

— А что, взрослые не люди? Исправит

успеваемость,— сказал папа благодушно.— Та-ра-ра-ра... Витя, исправишь?

— Ага,— откликнулся счастливо сын,— ту-ру-ру-ру... Папа, здесь врешь.

— Она мне мешает,— пожаловался папа на маму.— Садись,— сказал он жене,— чего ты суетишься. Беседу провели.

Мама махнула рукой.

— Обедать будете?

— Можно,— кивнул папа.— Ты как? — спросил он у сына.

— Поддержу,— поддержал сын.

— Давай,— подвел итог папа.

И мама вышла. Готовить обед.

— Та-ра-ра-ра...— нежно глядя на партнера, пел папа.

— Ту-ру-ру-ру...— также нежно подпевал сын.

— «Я вспомнил время, время золотое...» — в один голос.

— Вить,— вдруг сказал папа,— ты не то-ропись хоббить. Сначала дело, а потом — отдых. Та-ра-ра-ра...

— Ага... Ту-ру-ру-ру...

Папа отложил гитару. Остановил сына: положил руку на струны.

— «Поэтом можешь ты не быть», но чтоб на работе и в жизни никто тебя упрекнуть не смог. Ни за чей счет... Чтоб вот так глядеть на людей...— И показал, как: — Мы с мамой так смотрим.

Сын молчал. Потом посмотрел отцу прямо в глаза.

— Я понимаю,— сказал сын.— Вот так.

— Ну и замetano,— тронул отец сына за плечо.— Меньше слов, больше дела.— Он снова взялся за гитару и снова запел свой вечный вальс: — Та-ра-ра-ра...

Сын только подыгрывал, не подпевал.

— И мать переживает,— сказал папа.— Возьми Толика, он все успевает.

При упоминании этого имени сын перестал играть, а лицо его исказила гримаса муки. Стоп-кадр.

Фотография аккуратного смышленного мальчика, интеллигентного сына интеллигентных родителей. Ироническая складка рта.

— *Мой двоюродный брат Толик. Известная шестерка, молчун, тихарь, отличник, собирается стать физиком.*

Еще одна фотография. Взрослый тридцатилетний мужчина. Все та же холодная, вежливая усмешка.

— *Представляю, что он может там наизобретать: у него ведь ничего святого нет! Посмотрите на него! И на пианино играет! Талант! Вундеркинд! Надежда! Честолюбец!*

Во весь экран — экран телевизора. Двоюродный брат Толя играет на рояле «Сольва», и солистка старательно и не без успеха выводит ругаду.

Слышится зубовой скрежет. Экран переключается.

Глава восьмая:

«Гори, гори, моя звезда!...»

Маленький отъезд от телевизора.

На экране радость Первого мая. Демонстрация. Портреты и плакаты. Флаги и шары. Веселые лица трудящихся столицы и оркестр, играющий марш «Пусть всегда будет солнце!»

Это документальные кадры праздника, выдумывать здесь нечего: все равно жизнь богаче вымысла!

— *Окончательно я закалился в восьмом классе на Первое мая.*

В празднично убранной, уютной квартире Зориных гости. Сидят за накрытым столом, как и положено в праздники. Здесь все те, кто стоял у колыбели героя, кто помогал ему на жизненном пути. Они почти не изменились, только возмужали, повзрослели, но тот же жизнерадостный блеск в глазах!

Открывается дверь, и входит Витя. Как на заказ! И у него тоже прекрасное настроение. — С праздником! — говорит Витя вежливо и приветливо.

Все кивают ему, как имениннику.

— С праздником, Витя! С праздником!

— На демонстрации был?

— На демонстрации.

— Это хорошо.

— Это правильно. Я тоже в твоём возрасте...

— Это нужно.

Витя тоже улыбается им в ответ, тоже радуется.

И тут он замечает тетрадь, общую тетрадь, в руках своей мамы, которая, видимо, только что зачитывала по ней что-то.

А теперь лицо героя, Вити Зорина.

Сначала ничего, нормальное лицо нормального праздничного человека.

Затем — изумление.

Растерянность.

Даже боль... но так, на мгновение.

А потом опять улыбка.

Простоудушно так улыбается и по-новому. И долго теперь шагать ему с этой улыбкой по жизни. Долго теперь так улыбаться.

Он проходит к столу и обходит родственников.

— С праздником! — жмет им руки.

— С праздником! — целует их в щеку.

— С праздником! — свою подставляет.

— С праздником!

— С праздником!

Подходит к маме, спрашивает ласково:

— Что это у тебя, мама?

Мама засмушалась:

— Твой дневник, сынок.

— Очень интересно,— сказала тетя-химик, которая мечтала стать актрисой.

Витя взял в руки дневник. Перелистал.

— Интересно? Правда?

— Интересно! Интересно! — зашумели родственники поощрительно.

А тетя Тамара, актриса-химик, особенно душевная, добавила:

— Очень интересно. Ты молодец.

— Но тут вот ошибки,— смутился Витя.— Непроверенные мысли. Как-то неудобно.

— А мы, сынок, не все подряд,— ободрила мама.— Что ж я, не понимаю? Я отдельные места.

— Значит, выборочно?

— А как же, сынок, без этого. Мне же интересно, о чем ты думаешь.

— Да,— сказал сын.— И ты давно его... это... просматриваешь?

Мать опять засмушалась:

— С месяц. Ты не обижайся на мать. Что ж у тебя, тайны от матери?

— Что ты, мама. Я же понимаю. Ты от чистого сердца. И папа тоже смотрел?

— Смотрел,— сказал папа.— Мне не все нравится, и потом, действительно, много ошибок, неряшливо написано, наспех. Надо поаккуратнее. Переписать красивым почерком. И уж больно...— папа поболтал пальцами в воздухе,— очень уж откровенно. В плохом смысле слова. В худшем. Раздевание. Стриптизм. Нескромно.

— Если бы я знал,— сказал Витя,— что вы интересуетесь. Я бы постарался. И не был бы таким откровенным, «в плохом смысле слова».

Родственники заступились:

— Это ты, Саша, напрасно.

— Это же дневник.

— Пусть будут откровенными, пусть. Молодежь должна быть откровенной. А почему нет? Пусть помечтает.

Витя внимательно выслушал их мнения, кивком поблагодарил за моральную поддержку.

— Ну что? Почитаем дальше?

— Давай, Витя! Давай!

— «Давай»? Хорошо. Сейчас дадим.

Он полистал страницы тетради.

Ему освободили место за столом:

— Ты садись, садись.

Он сел. Что-то просмотрел, поднял голову, мило улыбнулся родственникам:

— Эту запись я сделал две недели назад. Я тут влюбился...

Родственники затаили дыхание: откровение их смутило.

А дядя Боря сделал бутерброд и впился в него зубами. Это у него было нервное.

— Ты читай, читай...— сказал он Вите.— Это у меня нервное, как перед ревизией.

— Mam, как ты считаешь, можно читать? Удобно?

— Смотри, сынок, сам,— сказала мама осторожно.

— Сам? Ну ладно. Я думаю, здесь все свои, родственники. Чего ж скрывать?

— Правильно, правильно,— поддержали за столом.

Читать было трудно, но Витя собрался с силами.

— «В субботу, когда мы ехали вместе в автобусе, была обычная толкучка, и так получилось, что я коснулся ее...»

Он запнулся, ему было все же трудно читать.

Посмотрел на мать:

— Ты это не зачитывала?

Мать перевела дыхание:

— Нет, я дальше.

— Тогда я прочитаю. Любопытная история.

Он опять уткнулся в тетрадь. За столом затихли.

— «...Я проводил ее вчера снова. Я все время молчал, а она говорила. Она боится молчать и боится смотреть прямо в глаза. Смотрит мимо, а я только прямо. Третий день чищу туфли. Она сидит впереди, и я вижу ее шею и плечи. Сегодня в туфлях и в «мини». Ноги длинные. Делает вид, что меня не замечает. Ладно. Юбка у нее из красного велюра, сама сшила. Она сегодня после уроков стояла с Тумановой и Кузнецовой и все чему-то смеялась. Я подождал и ушел. Ладно... Зиновьева острила. А в общем, мне все это надоело. Уйду-ка я в другую школу. Или в техникум. Или перебраться?... Двадцать четвертое апреля. Отчесал по географии. Отличился, пересказал все, что вычитал у Даниельсона. Таисия Алексеевна похвалила... Она сделала вид, что ей все равно. Второй день не разговариваем. Читаю Шекспира. Ничего! Сегодня она стояла с ребятами из десятого «А»... Двадцать шестое. Закончил «Гамлет». Все точно, у каждого из нас есть свое датское королевство, и не знаешь, что с ним делать. Переколоть всех, как принц. А потом появится Фортинбрас. Перевоспитывать? Они тебя сами перевоспитают. Лучше всего быть клоуном: и им веселее, и тебе спокойнее. И сам по себе и среди них. А среди них — обязательно».

Витя перевел дыхание:

— В горле пересохло. Я же с демонстрации. Накричались. Пить хочется.

— Попей. Попей.

— Как в романе, молодец, Витя. Может, писателем будешь, в «Вечернюю Москву» писать будешь. Я люблю «Вечерку».

Дядя Боря ожесточенно грыз хлеб с колбасой.

— Для «Вечерки» он слабоват, конечно. Там кругозор особый надо. Там за других надо выдумывать и понимать, а не только о себе. Например: иду вечером...— И дядя Боря стал придумывать рассказ «за других». — ...Один, с работы. Пивка, конечно, пропустил. Настроение хорошее. Вижу, стоит одна. Вроде

ничего, подходящая. Прошелся. Она ничего. Говорю: «Может, в кино сходим?» Она так, для начала, молчит гордо, порядочная. Правильно, так и надо, чтобы не приставали посторонние.

Родственники сосредоточенно слушали.

Дядя Боря распалился:

— ...Постояли. Помолчали. Я не пристаю, значит... Она — не уходит. Спрашиваю: фильм такой-то видели? Что за картина, спрашиваю. Отвечает: «Стоящая, пойдете, не пожалеете. Я весь фильм проплакала. Про любовь». «Ах,— говорю,— это по мне: про любовь и поплакать. Составить компанию не хотите?» «А я, говорит, замужем». «Да и я,— говорю,— двоих детей имею...»

— Что ты, Боря, рассказываешь? — пришла в себя мама.

Дядя Боря тоже опомнился:

— Где-то читал. А где — не помню. Но такая история, похожая на жизнь... А что за «Гамлет»? Из армян, что ли? Или фильм?

— И фильм,— подтвердила эрудированная тетя-химик.— Прекрасное произведение. Витя, тебе понравилось?

— Очень,— сказал Витя с ее интонацией.

— Да видел я его,— сказал дядя Боря.— Мать спуталась, а сын стихи сочиняет на две серии. Никакой жизненной правды. Не знаю, может, раньше так было.

— А вы, дядя Боря, дневник ведете?

— Я? — Дядя Боря развеселился, отложив даже бутерброд.— Я на особом положении. Я раздеваться не могу. Не имею права!.. Он пошутил и засмеялся своей шутке и предложил посмеяться всем.— Если я буду вести дневник... Хе-хе-хе... — И он представил и засмеялся еще больше.— Мне скромно надо жить. Тихо. Скромность, она украшает.

— А вы, тетя?

— У меня нет, Витя. Я все собиралась в детстве. Даже начинала... Потом война началась, дела, заботы... Не собралась.

— А я думаю,— сказал Витя,— и, видимо, будет такая реформа. Каждый учащийся должен будет вести дневник и давать его просматривать учителям и родителям. И на производстве так же...

Все задумались. Прикинули.

— Ничего не получится,— засомневалась первая мама.— Не выйдет. Такое напишут! — Искренности не будет,— поддержала тетя-химик.— Формализм один.

— То, что ты обувь наконец стал чистить, это хорошо,— сказал отец.— А что за девушка?

— Из хорошей семьи,— сказала мама.— Я проверяла.

— А документация какая! — ахнул дядя Боря.— Нет, я не смог бы.

— И я бы не смог.

— И я!

— И я не смогла б!

— Зря все это.

— И опасно. А вдруг непроверенная мысль?

— Это — точно. Или случайная.

— Это хуже анонимки,— подытожил дядя Боря.— Точно говорю: хуже!

— Сравнить нельзя.

— Это ж на себя писать! Как же можно жить после этого? Я бы сжег, и все.

— Не рой яму себе, сам же попадешь!

— Точно? — спросил Витя.

— Точно, тебе говорю. Как на духу. Проверено жизнью!

— Детям-то можно,— вмешалась тетя-химик.

— А если в привычку войдет! — обрушился дядя Боря.— Нельзя! Мы здесь сидим говорим, а он записывает. Нельзя себя распускать! Мы не на необитаемом острове живем, а среди людей. Помнить надо. И уважать! — Ты не совсем прав,— возразил папа.

— Чего?! — прорычал дядя Боря.— Робинзоны Крузо! Или этот, который по деревьям прыгал... Как его?.. Тарзан! Вот им и писать. Все равно никто не прочтает.

— Ясно,— сказал Витя.— Сжечь! — Он зажег спичку, взял тетрадь за обложку и поднес огонь. Бумага запылала...

— Витя! — ахнула мама.

— А чего? — удивился Витя.

— Что за idiotские шутки? — закричал папа.— Сейчас же прекрати!

— Давай, давай! — подбадривал дядя Боря.

— Окно, окно надо открыть!

— Скатерть, скатерть!..

— Воду давайте!

Дядя Боря подсовывал глубокую тарелку:

— Скатерть может сгореть. Я новую куплю. Польскую — на память. Давай, правильно, следов не будет. И в унитаз спусти. Я — так. Чтоб — ни-ни!

— Что за idiotские шутки?! — кричит папа и застывает в стоп-кадре.

— Что за idiotские шутки?! — повторяет мама и тоже застывает.

— Что за idiotские шутки?! — кричат все родственники хором и замирают.

— Идиотские шутки,— кивает дядя Боря.— Разберемся. «Гори, гори, моя звезда!..» — запеваёт он яростно.

— Я больше никогда не видел дядю Борю таким удивительно вдохновенным и прекрасным.

— «Звезда любви вечерняя...» — подхватывает Витя.

— Что за idiotские шутки?! — восклицают все хором.

— Что за idiotские шутки?! — восклицает Витя, не удержавшись от общего порыва.

— Что за idiotские шутки? — повторяет

со вкусом дядя Боря. И продолжает петь про звезду: — «Ты у меня одна, заветная... — И уже с племянником, в два голоса, влюбленно: — ...другой не будет никогда»...

— Папа очень ругался на меня. Очень!

Опять прошедший эпизод повторяется в фотографиях, под монолог папы и комментарии сына.

— Папа очень ругался на меня.

— Что за idiotские шутки?! — кричит папа.

— Что за idiotские шутки?! — кричит папа еще раз.

— Что за idiotские шутки?! — приходит на помощь сын.

— «Что за idiotские шутки?!» Так, я считал восемь раз. А чего тут шуточного? Сказали: сжечь! Сжег. Никаких шуток. Шутки в сторону! Дневник после этого я перестал вести. Поигрались, и хватит. Любовь тоже сгорела вместе с ним. Зато я здорово научился улыбаться и шутить. И меня даже в классе прозвали: Зорин-шутник.

Глава девятая: битва за гармонию

— В девятом классе у нас пошла мода на «гармонистов», от слова «гармония»: надо было читать книги, знать записи и одновременно качать мышцы. Я, как положено, старался не отставать, но ничего не получалось. Была во мне такая черта-черточка. Откуда она во мне взялась? Не понимаю! Вроде из нормальной семьи! Но я никак не мог ударить человека по лицу. Товарищи начинали на меня коситься. Мне было неудобно. Просто неловко. Стыдно! Я решил избавиться от дурной привычки и записался в секцию бокса.

Спортивный зал. Грохот ударов. На ринге — Зорин с соперником.

Тренер — с перепитым носом, завернутым на сторону, с обтрепанными ушами, с квадратной фигурой — наблюдал из-за канатов.

Рядом толпились молодые члены секции.

Соперник Зорина преследовал его по всему рингу, стараясь нанести удар сильнее. Но Зорин уклонялся, удары шли мимо, и получалось так, что соперник старался зря.

Соперник весь взмок и выбился из сил от страсти и бесперспективности. Зорин, напротив, — выглядел совсем свежим. Получалось, что ему все равно!

Это-то тренеру не нравилось, это и заставляло его хмуриться.

— Брэк, — остановил он бой. — Степанов, — сказал он напарнику Зорина, — плохо работаешь, горячишься. Нет выдержки! Где выдержка?! — закричал он.

— Нет, — прошептал Степанов виновато и опустил голову. — Нет.

— Нет выдержки! — эхом-хором отозвались будущие чемпионы.

— Зорин, о тебе разговор особый. Техника

на высоте, удар прекрасный, но это уж от бога... Хотя бога нет!.. А советский спорт есть! Выдержка — просто удивительная. Я не боюсь это сказать, удивительная выдержка! Откуда она у тебя?

— Не знаю, — застенчиво улыбнулся Витя. — Стараюсь, но не знаю.

— Удивительная выдержка, — повторил тренер.

Юные боксеры повторили крикливыми голосами:

— У него сильная выдержка, сильная!..

— У него такая!

Зорин стоял и счастливо улыбался. Как все, он хотел быть любимым.

— Но объясни мне, — продолжал тренер, — почему ты никогда не бьешь по лицу? Только по корпусу работаешь? И у товарища комплекс вызываешь.

— Точно, точно, — подтвердили будущие чемпионы. — Никогда не бьет, только по корпусу!

Зорин опустил голову. Опустил плечи. Опустил руки.

Товарищи ждали.

— Зорин, — обратились товарищи.

— Не могу, — сказал он виновато.

— Что значит «не могу»? — спросил тренер и потер свернутый нос. — Жалко, что ли? — И он саркастически усмехнулся.

Зорин, не поднимая виноватых глаз, скорбно кивнул головой.

— Почему? — грозно переспросил тренер.

— Не могу, — выговорил Витя Зорин.

— Злости нет, — подсказали юные боксеры.

— Что за чушь, — возмутился тренер. — Это же спорт, а не мордобой. Это же так ясно!

Зорин поднял виноватые глаза:

— Мне самому стыдно, Владимир Михайлович, что я не могу. Я хочу, стараюсь, а ничего не получается.

Юные спортсмены обступили его и старались ободрить своего товарища.

— Витек, раз плюнуть!

— Бей — и все!

— Во, смотри как, во!..

Они уговаривали, убеждали своего товарища и показывали ему, как надо это делать, а он стоял среди них пришибленный и одинокий.

Тренер был взрослый человек и с жизненным опытом. Он вмешался.

— По местам! — хлопнул он в ладоши на весь зал. — А ну, пошли по залу! Раз, два, три!.. Раз, два, три!.. Вдох! Выдох! Вдох! Выдох! Присели! Еще раз присели! Два хлопка над головой! Два — за спиной! Попрыгали... попрыгали... Продолжать без меня!

Мальчишки вереницей пошли вдоль зала, подпрыгивая и прихлопывая. А тренер взял за плечо Витю Зорина, подвел к окну и загля-

нул ему в глаза.

Витя не отвел взгляда.

— А!..— сказал тренер.— Вот в чем дело. Помолчали.

— Я тебя понимаю,— сказал тренер.— Я ведь кем был? Вовочкой, интеллигентным мальчиком, в музыкальную школу ходил, на скрипке играл. Мама и папа — музыканты.— Он обернулся на зал.— До сих пор простить не могут. Я тебя понимаю. То, что ты не можешь ударить по лицу,— это уже сигнал! Это — серьезно! Значит, ты о другом думаешь. А это, Зорин, спорт, я и родителям своим пытался это доказать. Шире шаг! — крикнул он мальчишкам.— Резче! Резче! Витя! Жизнь такая! Ничего!.. Это — спорт, и мешать сюда личное не надо. Жизнь у тебя будет нелегкая, и ты должен быть готов к этому.— Он глянул орлиным взглядом на мальчишек.— Резче! Резче, ребята! Я тебя понимаю, Витя. Вот так понимаю.

Мальчишки шли по залу. Гибкие. Юные. Красивые.

— Какие! — гордо сказал тренер.— То, что ты не можешь ударить,— это уже сигнал! А надо, Витя, надо! И делать нечего, любовь — один раз! Я тебя понимаю. Я и сам люблю музыку, а ничего не поделаешь...

Витя понимающе покивал головой.

Мальчишки продолжали разминаться, косясь в их сторону.

— Бокс тебе, конечно, придется бросить, без любви нельзя. Бьешь — так с любовью! Придется тебе сменить «профессию», поискать другую. Без мордобития. Займись штангой, это тоже интересно — поднимешь, опускаешь, опять поднимешь... Нет, в этом что-то есть. Интересно! Не огорчайся! Ничего!

— Да,— согласился Витя.— Москва слезам не верит.

— Что?.. Как?.. Верно. Так и улыбайся. Ну, Витя...

Обнялись.

— Спасибо, Владимир Михайлович!..

— Трудности не сломили меня. Я верил, что все идет к лучшему, и понимал, что трудности носят временный характер. Я верил в свой внутренний голос и знал, что неудачи только закаляют человека: за одного битого — двух небитых дают... К десятому классу за меня можно было дать троих!..

Глава десятая: трали-вали

Идет пленка школьного любительского фильма.

— Это продукция нашей школьной киностудии «Синяя птица». Новогодний вечер десятых классов.

Актовый зал школы.

Директор.

— Наш директор.

Директор накрылся носовым платком и сморкается.

Его подтолкнули, намекнули...

— Извините... Сейчас...

Учителя. Больше — учительницы.

— Учитель. Наставники.

Ряды отличников. Они сидят спокойно и солидно, они знают: больше стране надеяться не на кого.

— Наша надежда!

Комсомольский актив.

— Руководство.

Предки и родственники.

— Предки.

Тучные ряды троечников: веселых, беззаботных и демократичных.

— Серая масса.

Четверочники.

— Прослойка тружеников.

Безрадостные задние скамьи двоечников и второгодников с унылыми и наглыми физиономиями.

— А с этими неясно, что будем делать в великом будущем.

Теперь сцена.

Девушка-старшеклассница, с романтичными наклонностями, романтично читает стихи. Она серьезна и взволнована. И, хотя фильм немой и стихов не слышно, ясно, что они чистые и светлые.

Девушка заканчивает стихи. Кланяется. Несколько снисходительно улыбается.

Зал долго аплодирует.

Мальчики встают с мест.

Старшие подносят платочки к глазам.

И вот занавес раздвигается.

Поперек сцены — проволока. Достаточно высоко! С правой стороны появляется Витя Зорин в костюме клоуна.

Витя улыбается по-клоунски.

Зал с готовностью смеется.

— А это я. В десятом классе мы должны были серьезно задуматься о будущем. Мы задумались. Я — тоже. И я решил стать клоуном.

Витя Зорин балансирует на проволоке. Помахивая рукой, приветствует зал.

Зал отвечает смехом и аплодисментами.

— Чтобы стать клоуном, надо все время смеяться и смешить других. Среди клоунов пессимистов не бывает. И еще: клоун должен ходить по проволоке...

Витя делает несколько шагов по проволоке. Трудно.

— Трудно!

Витя озабоченно смотрит назад, туда, где осталась стойка.

Пианистка-школьница выбивает чарльстон и внимательно следит за каждым шагом Зорина.

Витя делает еще несколько шагов вперед, затем пятится назад, его заносит влево, вправо, наконец он теряет равновесие и начинает

судорожно размахивать руками.

Пианистка невозмутимо играет.

Зал ревет от восторга.

А Вите — не до смеха, он потерял окончательно равновесие и уже цепляется за проволоку четырьмя конечностями.

— Я думал о мужестве. Я думал о героях. И держался. Меня любили учителя и одноклассники. Я должен был...

Витя задрожал на проволоке.

Перевернулся, как мешок.

И повис.

Зал заходится от смеха.

Учителя утирают слезы.

На мгновение школьный оператор выхватил крупным планом Зорина, как он тоскливо висит на проволоке и смотрит грустно на рыдающий от смеха зал.

— Мне было тяжело. Но я хотел ободрить зал. Как они останутся без меня?.. Я держался.

Пианистка, вытянув шею, следила за Витей и перебирала руками. Лицо ее было невозмутимым.

Витя посмотрел вниз...

...и закрыл глаза.

И крупно была снята рука, разжавшая трос.

Из зала было видно, как Зорин ударился об пол, так что подскочил стул.

Он упал и не вставал, несмотря на бурные аплодисменты.

Пианистка, вытянув к нему голову, продолжала играть.

В зале радовались: шутка понравилась всем.

Зорин приподнял голову...

...и улыбнулся.

И поднял руку с двумя пальцами: виктория — победа!

Пошел занавес...

Потом его потащили на носилках.

— Опять, скажете, я виноват?..

К зданию школы подъехала машина «Скорой помощи».

— Меня обвинили в срыве праздничного настроения аудитории. К счастью, я сломал руку, а лежачего не бьют, так что обошлось. Полмесяца я лежал в больнице, потом — дома, а потом догонял класс, затем были экзамены и...

Глава одиннадцатая: большой вальс

Идут милые, трогательные фотографии выпускников.

— ...И школа была окончена. И вот — последний вальс!

Последний вальс.

Выступления.

Приветствия и благодарность родителей.

Напутствие директора.

«Спасибо» выпускников.

Объятия.

Клятвы.

Тосты за праздничным столом.

Улыбки.

Стихи.

Твист, конечно.

Тронутые благородной усталостью лица учителей.

Глуповатые и самонадеянные лица учеников.

— Отгремели оркестры, отзвучали речи, мы объяснились в любви к школе, и здесь мне хочется сказать высоким стилем от имени всех «трудных учеников», от имени всех балбесов: спасибо, тебе, школа, спасибо! Спасибо, Людмила Николаевна! Израиль Михайлович! Таисия Алексеевна, спасибо!

Спасибо, что вы так настойчиво вдували в нас божью искру, что вы так старались, — хотели сделать из нас людей!

Что вы хотели, чтобы мы были добрыми и справедливыми!

И похожими на вас!

Простите нас все, простите, нянечки, гардеробщицы, завхоз дядя Вася, простите нас! Простите, стены и окна!

Прощайте все! И не поминайте лихом!

Нас — оболтусов, мерзавцев и негодяев!

Прощайте!

Прощай, детство, мы уходим в большую жизнь!

И фотографии.

Пустые классы.

Автографы класса на черной доске, а внизу — и рисунок, коллективный портрет.

Пустой актовый зал со сдвинутыми, сбившимися стульями.

Одинокие воздушные шарик под потолком.

Покинутый праздничный стол. И чья-то одинокая бабушка.

И двор, заполненный уходящими выпускниками. Молодыми, красивыми, начинающими новую большую жизнь.

Совсем печальный план — затаившиеся у окна учителя. О чем они грустят? А может, они знают, что все только начинается, только не предупредили.

И вот уже пуст школьный двор.

И старая уборщица крестит на дорогу — уходящих в жизнь.

Глава двенадцатая: время больших надежд

— О чем речь? Мы и наши отцы. Они хотят, чтобы мы были похожи на них и даже лучше! А мы? Мы — их дети!

И грянул оркестр, и голоса молодые, здоровые, горлопанистые запели про жизнь.

И опять задвигалось в кадре, продолжилось кино.

И Москва — шумная, ослепительная, наполненная.

И машины, машины.

И пешеходы.

И бульвары.

И озабоченные абитуриенты.

Университет.

И тот, на Ленинских.

Экзамены.

Кто-то плачет.

Кто-то счастлив.

Кто-то задумчив.

Списки поступивших.

И другие списки.

Разные лица разных молодых людей.

И ритм, ритм большой жизни.

И уходят поезда.

И улетают самолеты.

И уезжают друзья...

И Москва пустеет на глазах, и на глазах становится другим городом, уже без друзей.

— Быстро прошел июль, затем август. В институт я не попал, не успел: долго не мог понять, зачем и куда я хочу поступить, потом болел за наших ребят, которые поступали, долго устраивали Ларису Васильченко, проводил Алика Прокопенко в Киев. Кое-кто решил поехать в Сибирь искать романтики. Я было собрался с ними, но родственники запротестовали, да и рука у меня не зажила как следует... и специальности — никакой!..

Зорин, с чемоданом и вещевым мешком, тяжело бежит по перрону. Рядом — товарищ.

Поезд на глазах медленно трогается.

Товарищ вскочил на первую попавшуюся подножку, Зорин забросил чемодан и после, на бегу, — вещевой мешок. Поезд уже набирал скорость, и Виктор приотстал: бежать рядом было тяжело.

Товарищ высунулся в окно:

— До свидания, Зоря!

— Что ты говоришь?

— До свидания, старик!

— До свидания! — крикнул Зорин. Он остановился, и поезд сразу стремительно ушел вперед.

— До свидания! — повторил Зорин. — До скорого!

Поезд ушел, а он остался и, повернувшись, пошел по пустому перрону.

— Потом я проводил в Оренбург Колю Воропаева. Он ехал в летное училище. Все наши к тому времени были устроены, можно было подумать и о себе.

Глава тринадцатая: отцы и дети

Витя Зорин идет по улице.

Уже сентябрь, уже осень, уже идут в школу другие дети.

Витя постоял перед своей школой, постоял — посмотрел, как захлопнулась дверь

за последним учеником. Улыбнулся.

— Уже была осень. Было шестое сентября. Дети шли в школу, надо было и мне устроиться куда-нибудь, чтобы ходить туда каждый день.

Около своего дома Витя останавливается, вздыхает и нехотя открывает дверь.

Крупным планом Зорин-старший. Он язвительно усмехается, но молчит, старается быть спокойным.

— Ну как наши дела?

— Вот, Колю проводил.

— Колю проводил. Очень хорошо. А как твои дела? Твои? Или ты все за чужими будешь прятаться?

— Мои? Да ничего. Пока без изменений.

— А что ж ты делал до сих пор?

— Ты же знаешь: надо было поддержать Ларису, она в себя не верила, Алику помочь...

— А кто ты такой, чтобы помогать?! Ты что, министр или начальник отдела? Что у тебя есть за душой? Ты сам еще никто, ноль без палочки! Помощник нашелся! Ты себе помоги сначала, они все устроились, а ты на бабах. Тебе кто будет помогать? За тебя кто будет беспокоиться? Помощник выискался! — Папу просто прорвало почему-то от чувств. Он прокричал: — Ты себе! Себе помоги!

— Папа прав, — сказала мама, она тоже здесь оказалась. — Ты все о друзьях-товарищах беспокоиться, а они и рады, что дурачка нашли. Все устроились, а ты теперь пойдешь на производство.

— Что ты говоришь, мама? А когда я лежал в больнице, кто ко мне приходил?

Мама неохотно согласилась.

— Приходили два-три человека, им бы и помогал. А где ж они теперь, сами по институтам устроились, а про тебя забыли.

— Так я сам не поступал. Сам! Почему они обо мне должны беспокоиться, когда я сам справлюсь. Вы что — в дружбу не верите?

— В дружбу мы верим, — сказала мама. — Это все хорошо: братство, товарищество. Мы за это всю жизнь боремся, и дай бог... дай бог! чтобы у тебя были такие товарищи, как у нас с отцом. Дай бог! Что-то их пока не видно.

Папа поддержал:

— То, что ты хороший товарищ и не думаешь только о себе, это хорошо и в жизни пригодится, но все надо делать в меру, не увлекаться. Чтобы всем было хорошо: и тебе и другим. Про себя не надо забывать! Когда у человека в кармане один рубль, как он его может отдать? С чем сам останется? А когда сто, пожалуйста, можно дать.

— И то не каждому, — вставила мама.

— Вот именно. Ты вот мне помоги, отцу своему!

— Чем же я тебе могу помочь?

— Помоги.

— Морально?

— «Морально». Демагог какой нашелся. Ты работать собираешься или на шее родителей будешь сидеть?

— Я же хотел поехать на стройку, вы сами были против.

— А что б ты там делал без специальности? Клоуном работал?

— Как все. Делал трудовые подвиги, совершал поступки. А клоуны в нашей стране — уважаемая специальность.

— «Подвиги». Я еще не дорос до них, я, хотя всю жизнь тружусь и работаю, поэтому сижу в Москве и никуда не уезжаю. Ты дозрей сначала! — Папа отошел к столу, взял какую-то бумажку и потряс ею в воздухе: — Завтра же по этому телефону скажешь: от Василия Ивановича. Помощник!.. Пойдешь в лабораторию. Может, сделают из тебя человека.

Глава четырнадцатая:

«Ворон ворону глаз не выклюет»

На дверях висела табличка «Буженинов И. В.»

Зорин-младший прочел ее и постучался.

— Кто там стучит? — раздалось из-за двери пение. — Зачем? И для чего?

Зорин удивился, но толкнул дверь и вошел в комнату: юмористы, по-видимому, были и здесь.

— Здравствуйте, Иван Васильевич, — произнес Витя, с ужасом чувствуя, что песенная стихия затягивает и его: последнее слово он произнес нараспев.

— Здравствуй, здравствуй, — певуче отозвался Иван Васильевич. — Что скажешь, дорогой?

— Я, — начал Витя и схватился за горло, чтобы удержать себя. — Я от Василия Ивановича. Зорин моя фамилия. А это анкета и документы.

— Оставь бумажки, дай сначала на человека посмотреть, — так же весело пропел Иван Васильевич.

Витя решил, что удивляться пора прекратить.

— Так, — зорко вглядываясь, сказал Иван Васильевич и понюхал воздух. — Зорин? Садись, дружок.

Виктор скромно и чинно сел.

Иван Васильевич долго смотрел на него и странно улыбался.

Виктор покосился через плечо, за спиной никого не было.

Он еще раз удивился, но на всякий случай улыбнулся начальству.

— Москва слезам... что? — спросило начальство.

— Не верит, — уверенно отчеканил Витя.

— Молодец! Умница! Из какой школы? — Начальство было счастливо. — Я начальник, а ты?..

— Я? Не начальник.

— Неплохо, — одобрил Иван Васильевич. — А точнее? Я начальник, ты?..

— Я...

— Ну, ну... Должен знать, должен. Ну?..

— Я — Зорин.

— Это в анкете написано. Соберись! Я — начальник, ты... Думай, думай. Сердце должно подсказать!

— Не знаю, — чистосердечно признался Витя.

Иван Васильевич почти обиделся.

— «Не знаю» — не по правилам отвечаешь! Должен чувствовать! Должен!.. Сердцем! Второй закон жизни! Я начальник — ты дурак! Ты начальник и тэдэ... Не проходил разве? Из какой школы?..

Начальство понюхало воздух:

— Чем пахнет? Кем?

Витя тоже понюхал:

— Не знаю... Кем? Чем?

Тогда начальство рассмеялось чему-то своему.

Витя вежливо поулыбался тоже.

Начальство опять понюхало воздух:

— Зорин?

Виктор тоже дернул ноздрей:

— Зорин.

— По отцу или по матери? — И опять принюхался.

— По отцу.

— А по матери как?

— По матери тоже Зорин.

— Хе-хе.

— Хе-хе, — воспитанно поддержал Витя.

Иван Васильевич вышел из-за стола, подошел поближе, обнюхал Зорина с одной стороны, потом — с другой.

— А девичья какая? — шепнул он на ушко.

— Чернышева, — шепнул в ушко Витя.

— Чернышева? — понюхал воздух, подумал.

Витя тоже понюхал.

— Хе-хе.

— Хе-хе.

— А раньше мать замужем была? — спросил лукаво Иван Васильевич.

— Раньше?.. Не была. Хе-хе.

— Так?

— Так.

Иван Васильевич снял очки и близорукими глазами уставился на Витю.

Витя отшатнулся: глаза были страшные. Но овладел собой: улыбнулся, чтобы не быть невежей.

Иван Васильевич покружил вокруг Зорина, обнюхал его: понюхал голову, затылок, приподнял брюки, пощупал пиджак, заглянул в уши.

Витя слегка дрогнул, но для компании тоже дернул ноздрей и стал принюхиваться.

— Ну, как дела? — доверительно спросил Иван Васильевич. И все нюхал, нюхал.

— Ничего, — неуверенно сказал Витя и тоже заработал носом.

Иван Васильевич вдруг замер, сделал стойку и шепотом, интимно спросил:

— Василий Иванович кем приходится?

— Дядей, — также интимно, шепотом сообщил Витя.

— Ага, — радостно заулыбался Иван Васильевич. — Очень хорошо, — пропел он. — О-о-очень хорошо-о-о! — вдруг заспешил и стал обшаривать Витю.

Витя радушно расстегнул пиджак, поднял руки.

— Это что такое? — Иван Васильевич достал платок.

— Платок, — радостно объяснил Зорин.

— А это что такое? Это? — вытащил содержимое карманов.

Витя четко, как на экзаменах, отвечал:

— Ключи.

— Это? Это?..

— Расческа.

— Это?!

— Билет от автобуса.

— Это что, это?! — Иван Васильевич вошел в экстаз.

— Монета.

— Монета? Деньги?!

Иван Васильевич вдруг замер, обхватил голову руками, надолго задумался.

Витя тоже повесил голову за компанию.

Иван Васильевич поднял свои громадные близорукие глаза.

— А ты ведь прав, есть в этом что-то...

На этот раз Витя не нашелся.

— Мюу, — вдруг сказал Иван Васильевич.

— Гав-гав, — с дружелюбной готовностью отозвался Витя.

Ивана Васильевича будто ударило. Он отшатнулся. Стал пятиться на свое место. Даже надел очки.

— Гав-гав, — вновь весело приветствовал его Зорин.

Иван Васильевич загородился рукой:

— Не надо, не надо, только не это, прошу вас!

— Не надо — так не надо, — с галантной готовностью отозвался Зорин.

— Идите, идите. Вы свободны.

— Иду, — неволью пропел Витя. — Иду. До встречи.

Глава последняя:

«Всегда и до победы!»

Теперь — папа. (В кадре только он один) Папа неподвижен и непроницаем, как гипсовый римский полководец.

Потом он идет налево, идет направо, опять

возвращается. Останавливается.

Глаза у папы — тоже гипсовые.

Папа поднимает руки, пожимает плечами, и руки бессильно опадают.

Папа чему-то удивляется, потом начинает смеяться нервно и тонко, будто его щекочит.

— Я не понимаю, — говорит он глубоко усталым голосом и даже безразлично-спокойным.

Смешок опять завладевает им. Папа задыхается. Отходит. Достает платок, сморкается. Он начинает приходить в себя. Вот и глаза засверкали праведным гневом. Легкие наполняются воздухом.

— Я не понимаю, — говорит папа твердо, и грудь его ходит ходуном. — Я не понимаю! — кричит он в полную силу своего сердца. — Что ты наделал? Какое ты имел право оскорбить ценного незапятнанного работника? Ты понимаешь, что ты наделал?

— Но, папа, — слышится голос сына. — Он же бюрократ! Бюрократ: он мяучит!

— А-га-га, — папе очень смешно. — Ой, как смешно! Где ты об этом читал? В «Правде», в «Известиях»? Постановление об этом читал? Во-первых, он — наш бюрократ, во-вторых, не разоблаченный, и пока об этом не сказано, ты не имеешь, слышишь, ты, циник, не имеешь права оскорблять человека.

— Но я же — комсомолец, я должен...

— Комсомолец, но не «Комсомольская правда».

— Но мы же должны, я должен бороться против недостатков, и в газетах об этом пишут, и по радио я вчера слышал.

У папы закатываются глаза, он похож на умирающего лебедя из известного балета в известном исполнении. Но праведное чувство возвращает его на землю.

— Кто должен? Ты ничего не должен! Ты должен только слушать, что тебе говорят! — Я и слушаю.

— Ты не имеешь права, ты, дырка без буллика. Мы боремся с бюрократизмом. Мы ведем кровавую и непримиримую борьбу! И мы одолеем его! Обязательно! Но борется партия, комсомол, маяки, наша советская пресса, баснописцы и искусство! Начальство, в конце концов, со своими подчиненными бюрократами. Подчиненными, понял? А у тебя никого нет в подчинении, ты нуль без палочки. Индивидуалист-одиночка!

— Но я же — советский человек!

Папа подпрыгивает.

— Не смей пошлить, — и глаза папы наполняются молниями. — Ты! Скептик несчастный! Отщепенец! Нигилист! Тебе никогда не понять, какой ценой мы добыли это светлое имя! Никогда! — И папа опять заходил по комнате. — У тебя нет ни собственного достоинства, ни уважения к другим. Ничего! Мне стыдно, что у меня такой сын. Стыдно! Твой отец всегда был дисциплини-

рованным интеллигентом. И я никогда, ни разу в жизни, ни разу не ошибался сам! Если и заблуждался, то всегда вместе со всеми и на ошибках учился! Но чтоб ошибаться в одиночку?! Никогда! — теперь папа стал развивать аргументы: — Ты же с самого начала выпячиваешь свое «Я», которое гроша ломаного не стоит. Ты должен зарубить раз и навсегда у себя, на своем носу, что ты не Робинзон Крузо! Что ты живешь в обществе, в общете! И ты обязан подчиняться законам этого общества, которое тебя кормит, поит, одевает, бесплатно учит и лечит!

— Я и подчиняюсь. А зачем он задавал мне оскорбительные вопросы?

— А не хочешь слушать вопросы, иди становись к станку, иди в токаря, в слесаря, езжай со своими приятелями на стройку, там конкурса нет, вопросов задавать никто не будет. Езжай, пусть тебя мороз жгет, пусть тебя комары кусают! — Папа снова взял себя в руки. — Запомни, Витя, в жизни все очень сложно. Чем выше человек, тем больше он должен быть на виду, тем больше с него требования, и мы должны знать его подноготную, мы не должны повторить повторения... И поэтому есть условности и нечего на них обижаться. Ты пойми, сынок, я же тебе добра хочу. Я же не хочу, чтобы ты начал изобретать велосипед. А мой жизненный опыт для чего тогда? А он у меня — будь здоров какой! У всех нас! Зачем же забывать? Твоего отца всю жизнь проверяли, потому что ценят место, которое я занимаю. И я понимаю, я даже горжусь! Что же — раз надо, значит, надо! А ты думаешь только о себе, о своем ма-аленьком, — папа показал даже кончик пальца, — самолюбию. Ты ни о ком не подумал, ни об Иване Васильевиче... Допускаю, может быть, он хам и бюрократ или просто сволочь, но раз он там сидит, значит, так надо! Ведь ты не его оскорбил, он лицо официальное, на службе, ты целый коллектив оскорбил, а это восемьсот человек. Восемистам человекам ты плюнул в лицо, не подумав! И не только им!.. Не только... Ты многое оскорбил, многое... — Папа подумал и снова взорвался: — А как я теперь буду смотреть в глаза Василию Ивановичу? Что я ему скажу? Почему ты сказал, что он твой дядя?

— Но он же мой дядя.

— А я тебя как учил?

— Но я же не мог отказаться от собственного дяди.

— Он не мог! Демагог! Я понимаю, был бы отец или мать, а то дядя. Как я теперь буду смотреть ему в глаза?

— Но ты же не при чем.

— Я — твой отец! Я тебя воспитал.

Сын решил успокоить и утешить отца:

— Не только ты один — и мама, и школа, и комсомол, книги, кино, «Пионерская зорька»...

Отец внимательно выслушал.

— Это так, если бы ты сделал подвиг. А сейчас «Пионерская зорька» откажется и спрашивать будут с меня. Только с меня. — Он еще раз подумал: — Вот что, иди-ка ты в люди!

— Куда!..

— В люди, говорю, иди! В люди! Хватит на шею болтаться. Пусть за тебя коллектив теперь отвечает! Миша, вся надежда на тебя!

В комнате, кроме отца и сына, находился еще Миша, самый молодой, тридцатилетний дядя. Он был спокоен и листал журнал мод, разглядывая девчочек.

— Ясно, — сказал он. — В общем, сделаем. Только предупреждаю, старик, — обратился он к Зорину-младшему, — оставь все хохмы и разговоры для шашлыка. На работе чтоб было чисто и гладко. Начальство все понимает, все видит, не глупее нас, но не любит, понял?! Это первое правило жизни.

— Вот именно! Вот именно! — возопил папа. — Миша, у меня голова кругом ходит. Я не понимаю, что происходит? Что они с нами делают? Мне страшно, Миша! Страшно! На кого, на кого мы все оставим? Страну?

— За это не волнуйся, — сказал безоблачно Миша. — Люди найдутся!

— Найдем, — поддержал Зорин-младший. — Толик, например.

Папа даже подскочил.

— Да, Толику я оставлю, — заговорил он прямо в лицо. — Потому что он не огорчает родителей, он не огорчает своих учителей. Толик уже институт заканчивает. Пусть он жадный, пусть он не душевный, но он целеустремленный и надежный гражданин, он уже побывал за границей, а тебя... за границу никогда не пустят. Никогда!.. Запомни, — папа мстительно усмехнулся. — Будешь здесь жить. Всегда! Вот так!..

— Обойдется, — дядя Миша перевернул страницу журнала и взгляделся. — Обойдется. Перебесится, поймет. Про меня тоже охали. Ничего: жив, работаю, премии получаю, в начальство вышел.

— Миша, только на тебя надежда!

— Ладно. — Дядя Миша встал. — Пошли, — и взял племянника за плечо. — Пошли.

Они пошли к двери. Сын обернулся, кинул последний взгляд на комнату, на отца.

— Прощай, папа! — сказал сын.

Отец стремительно шагнул к нему.

— Прощай, сын, — сказал отец просто и с ясной любовью. — Не сердись на отца. Я люблю тебя! — и он посмотрел влюбленными отцовскими глазами. — Ты — наша надежда! — Он ласково тронул сына за волосы и за щеку. — Не сердись на нас с матерью! Мы хотим, чтоб тебе было лучше! Чтобы ты не страдал в жизни! Чтобы тебе жилось

хорошо и весело среди людей! Будь сильным и мудрым! Будь счастливым. Помни, что в мире есть два человека, которые любят и будут любить тебя всю твою жизнь,— твой отец и твоя мать! Не сердись, если мы не поняли... Мы хотели только хорошего для тебя!

Они обнялись нежно и расцеловались, и отец прижался к своему взрослому сыну, будто хотел передать ему все-все, и слушал своим сердцем его сердце, и благословлял его, и молился за него.

И где-то играла скрипка.

Выбежала мать из другой комнаты, тоже обняла сына, расцеловала, тоже гладила его и приговаривала, и заглядывала в глаза — своими, материнскими.

И сын улыбнулся им и пообещал:

— Я сделаю все, как вы хотите. Я буду счастливым!

Они спускались по лестнице: Витя и Миша, его дядя.

Родители, папа и мама, стояли в дверях и махали им на счастье!

И играла скрипка.

...Они вышли на улицу. В городе была осень.

Витя посмотрел вокруг.

— Осень! — сказал Витя.

— Что? — дядя Миша засмотрелся на проходящую девушку.— Осень, говоришь? Осень-то осень, да сегодня — понедельник.

— И что?

— Значит, до субботы пять дней.

Витя улыбнулся:

— И что?

— А то: подрастешь — поймешь! От субботы — до субботы! От отпуска — до отпуска! Так вот. Второй закон.

— А первый?

— Москва слезам не верит.

— Ты начальник — ты дурак, я начальник — ты дурак,— процитировал Витя.

Дядя новыми глазами посмотрел на племянника.

— Так ты уже курсы повышения окончил! — сказал он с восторгом.— Ты уже первый замзава второго завзама... Пошли, пошли...

Они вышли на бульвар и зашагали по главной аллее. Бульвар был весь пронизан осенью. Листья опадали. Тихая мелодия скрипки разливалась вокруг.

Это старый романтик, тренер по боксу, играл на своей скрипке. Он стоял среди деревьев, среди осени, играл и слушал свою скрипку. Он улыбался, и улыбка его была ясной и спокойной. Он был счастливым человеком.

Витя Зорин остановился. Оглянулся.

— Пошли,— потянул его дядя Миша.

— Я хочу попрощаться с детством!

— Чего? — дядя Миша удивился, усмехнулся, ему стало интересно.— Прощайся,—

сказал он.— Смотри ты, какой романтичный! А все говорят, молодежь у нас плохая. Это хорошо, что ты веришь. Хорошо, что такой искренний, пригодится! Главное, чтоб к месту было. Третий закон.

Виктор Зорин не слушал его. Он сделал шаг назад, туда, где играла скрипка, сказал:

— Прощай, детство! Спасибо, что ты было! Спасибо вам, капитан Немо, Аркадий Гайдар, Пушкин, Швейк, Павка, Дон-Кихот и Три мушкетера! Все, все!.. Спасибо!.. Я не забуду! Я не предаю вас никогда, не сделаю вас книжными! До свидания! Я уйду в Большую Жизнь!

И старый романтик, тренер по боксу, шагнул к Вите и пожал руку.

А за ним — остальные. Один за другим.

Вот отец, молодой, веселый, из сорок пятого. И мама, тоже молодая... И школьные товарищи. И Дед Мороз со Снегурочкой. И родственники. И учителя.

И опять отец и мать, уже пожилые, с морщинами, но такие же дорогие и любимые.

И они все обнимают Витю. И желают...

И он идет — кивает, кивает...

— Я люблю вас!..

Вдоль круга. Желтого-желтого. Он на арене. Она желтая. А он, Витя, клоун.

— Я люблю вас!— кричит он залу.

И смеющиеся лица.

И сзади бежит-подкрадывается другой клоун, тоже он, Витя, с деревянной кувалдой.

И мальчик Витя кричит сверху:

— Сзади, сзади...

И оба клоуна Вити разом выхватили взглядом мальчика из общей праздничной публики. И оба кивнули ему.

— Я люблю!..

И удар — сзади!

И что-то летится... Красное!

И влюбленный клоун Витя поднимает голову. Улыбается. Идет вдоль рядов, чтоб они видели его улыбку.

— Я люблю вас! Я жив и я люблю!

Он прижимает рукой сердце. Оно бьется громко-громко.

— Ну и что ж, что больно. Плакать нельзя, не надо: Москва слезам не верит! Сожми зубы и улыбайся! Вот так!..

Он улыбается и застывает в стоп-кадре. Но сердце, оно живое, оно бьется.

Стоп-кадр весь красный.

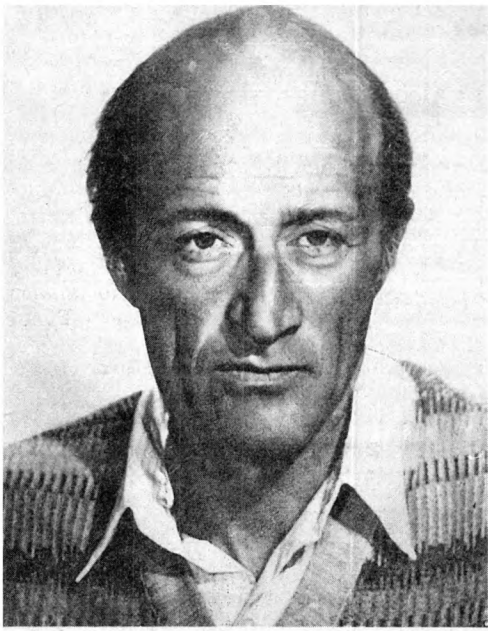
Улыбка. Сердце.

Зеленый... Синий... Черный...

Спектр — белый.

Но жива улыбка. И слышно сердце.

— И что бы ни произошло. Что бы ни случилось. И какой бы цвет ни был! Какой бы ни был... Всегда — люблю! «Всегда и до победы!»



Давид ЧУБИНИШВИЛИ

ЖЕРТВА

Старая грузовая машина тряслась по аллее высоких тополей и вздымала августовскую пыль.

Изнуренный ревом двигателя, худой, небритый водитель тупо глядел на дорогу, пестрившую кружевными тенями деревьев. Временами посматривал на пассажира в военной форме. Фронтоник — вся грудь в медалях — возвращался после войны домой. Ему было тридцать семь. Уставший от долгой дороги, он дремал.

Аллея кончилась. Вдалеке, у подножья горы, появилась маленькая деревня.

Машину сильно тряхнуло — она с грохотом переехала каменную насыпь.

Фронтоник очнулся. Увидел деревню, которая возникла впереди. Посмотрел направо — лес начинался. Налево — в поле виднелось кладбище с маленькой часовней. И вновь уставился на дорогу, которая вела в деревню и там исчезала. Его словно что-то кольнуло, и он крикнул:

— Останови!

Перепуганный водитель резко затормозил.

— Я здесь выйду! — коротко бросил фронтоник.

— Что случилось?

— Сам пойду.— Открыл дверь.

— Чего тут осталось... все равно туда еду... доведу...

Фронтоник сошел, вытянул за собой рюкзак.

— Ты езжай, я сам. Спасибо тебе,— он улыбнулся.

Водитель пожал плечами. Завел двигатель и тронул машину, глядя в зеркало на

фронтоника, который, набросив на плечи рюкзак, направлялся к лесу.

Густая прохлада леса его тут же освежила. Прошел немного вглубь. Остановился, осмотрелся, выбрал большое дерево и под ним бросил вещи. Глазами что-то искал, на родник наткнулся, который слабо поднимался из земли и прозрачной лужицей застывал. Опустился на колени, оперся на руки и губами осторожно коснулся воды. Освежил лицо. Вернулся к дереву, к своим вещам. Прилег. Удобно прилажился к земле. Жадно вдохнул воздух и устремил взор на огромные деревья, через которые с трудом пробивались лучи солнца. Закрыв глаза.

Внезапно вскинулся, присел, оглянулся. Встал и, захватив вещи, пошел из леса.

Дорога была пустая, ни души. Фронтоник решительным шагом направлялся к кладбищу.

Одним духом перебежал большую поляну, будто прятался от кого-то, и укрылся в тени полуразрушенной часовни. Дышал тяжело. Посмотрел на дерево дикой груши, одиноко стоящее неподалеку и обвешанное разноцветными лоскутками.

Жара знойно гудела, жужжала.

Он расстегнул воротник, рюкзак опустил на землю и направился к могилам.

Задумчиво блуждал между надгробными камнями. Что-то искал. Новых могил было мало. Некоторые были без надписей. Старые поросли бурьяном.

Ему послышался шорох. Он посмотрел в сторону часовни. Из-за угла, опустив

морды, появились овцы. Их было пять. Они мирно паслись. Скоро и человек появился. Пожилой, высохший, в теплой овчинной шапке.

Заметив незнакомого на кладбище, застыл: — Ты чей?.. Не признаю,— опершись на длинную палку, прищурившись, спросил издали.

— Сын Сэте... Шалико я, дядя Бесо.

— Вернулся, сынок? Слава тебе, наш победитель, дай бог тебе здоровья!

— Которая могила отца, дядя Бесо?

— Твоего отца? — задумался на секунду.— Хорошо стоишь, чуть левее пройди. Вон там ищи.

Могильный холм был неухожен. Шалико опустился на колени, двумя руками вцепился в сорняк, начал вырывать его с корнями.

Мужской пиджак заменял пальто большеглазой девочке. И теплые чулки, натянутые на худые ножки, были не ее размера.

Она стояла в проеме двери и, застыв, следила за пожилой женщиной, которая в темном хлеву доила исхудавшую корову.

Дно ведра ритмично пело под белой струей. Только две банки заполнились парным молоком. Девочка вошла в хлев и взяла одну банку. Вторую банку забрала женщина.

Вместе вышли со двора. Безмолвно разошлись в разные стороны.

Была середина осени. Погода пасмурная, тихая.

Осторожно несла банку с молоком женщина. Несмотря на возраст, шаг ее был легкий.

Зазвенел колокольчик.

Через щель в заборе вылез белый козел. Гордо пересек дорогу, вспрыгнул на каменную ограду двора и оттуда, свысока, проводив взглядом женщину, спрыгнул и скрылся во дворе.

Дорогу развезло, и в одном месте для переправы через грязь были брошены большие камни.

Деревенский почтальон, широкоплечий, чуть сутулый пожилой мужчина, опираясь на палку, осторожно принаравливался к камням. Заметил женщину. Она ждала, пока освободится дорога по камням. Глазами спросила почтальона о своем.

— Ни хорошего, ни плохого... только газеты и два журнала,— ответил он и хлопнул по большой сумке, висящей через плечо.

Подождал к забору и начал освобождать обувь от тяжелой вязкой грязи.

Женщина на миг задумалась и ступила на первый камень.

Ни разу не покачнувшись, ловко перешла на другую сторону и пошла пустынными 146

узкими деревенскими улочками. Остановилась у калитки небольшого дома.

У входа хлопотала женщина лет тридцати. Звали ее Марго.

— Мало надоилась,— как бы оправдывалась пожилая гостья, заходя во двор и протягивая хозяйке банку. Голос у нее был тихий и деликатный.

— Спасибо, дорогая Марта, спасибо.— Хозяйка взяла банку и, благодарная за внимание соседки, застенчиво улыбнулась.

— Войду, повидею... Не спит?

— Заходите, будет рада,— звонкий голос был у Марго.

По обветшалой лестнице поднялась на балкон женщина, сняла калоши у дверей и осталась в носках.

Толкнула дверь. Прошла темную кухню, затем столовую и, прежде чем войти в другую комнату, заглянула с почтением и замерла у дверей.

На кровати лежала седая женщина. Повернув голову к окну, смотрела во двор.

Комод и низкая тахта стояли в комнате. По всей ширине стены висел полосатый ковер. Фотография пожилого человека в черной рамочке висела напротив.

Марта вошла. Взяла низкий стул и села возле кровати.

Больная на шум повернула голову и улыбнулась пришедшей.

— Цвет лица прекрасный... хорошо выглядишь... молодцом,— говорила гостья.

Левая рука женщины безжизненно лежала поверх одеяла, а правую она медленно протянула Марте. Марта погладила ее:

— Не смогла тебя навестить. Знаешь ведь, сколько дел накапливается у человека...

Больная улыбнулась. Все понимала, но говорить не могла.

Марта посмотрела в окно.

Мужчина и мальчик пилили большое бревно.

— И сын вернулся... и внук подрастает. Все будет хорошо. Счастливым ты человек, дорогая Като... Вот уже сколько месяцев, как война кончилась, а от моего Коста ничего не слышно,— вздохнула и снова на них посмотрела, на мужчин — малого и большого, которые во дворе увлеченно работали.

— Еще... давай... сильнее... ого!..— выкрикивал Шалико, с трудом сдерживая смех, подбадривал сына.

А тот, сцепив зубы и собрав последние силы, упрямо глядел в распил бревна, где остервенело выла пила.

Пила изменила голос, рассекла воздух, и бревно провалилось.

Обессиленный мальчик сделал несколько шагов назад и тут же осел на пеня,

уставясь в одну точку и тяжело дыша.

— Молодец. Вот так... до конца надо выдерживать,— похвалил его отец.— Устал? — И подошел поближе. Присел на корточки и обнял сына.

Ираклий кивнул.

Шалико от души рассмеялся. Встал. Взглядом отыскал топор, прислоненный к амбару.

Ираклий постепенно приходил в себя.

Пестрая курица осторожно шла по двору. Глазами шарила в поисках пищи. Вдруг остановилась и с недоверием уставилась на Ираклия. Ираклий посмотрел на нее. Затем, не отводя глаз, рукой нащупал полено и бросил в нее. Попал в бок. Переполошенная птица, с возмущением, негодующим кудахтаньем, обежав двор, скрылась в кустах.

— Чем не угодила? — хохотал Шалико.

— Такой вредный глаз бывает, когда сбоку смотрит,— сердито сказал.— Не люблю...

— Вредный?

— Конечно...

— А ее яйца охотно лопаешь?

— Ираклий,— слышался женский голос.

— Иди узнай, что надо,— сказал отец.

Мальчик нехотя поднялся и медленно направился к дому. С улыбкой смотрел на сына Шалико, который, засунув руки в карманы, вразвалочку, как взрослый, шел по двору. Шалико взял топор и начал рубить дрова. Легкими и точными движениями рассекал распиленные бревна...

Появился Ираклий. Нес банку. На ходу отпивал молоко короткими глотками.

— Вкусно! — И отцу протянул.

— Не хочу.

— Глоток тебе, глоток мне,— настаивал мальчик.

— Тогда ты начинай.— С любовью смотрел на сына. Ираклий сделал глоток и передал банку отцу.

Отец коснулся губами и вернул сыну.

В большой комнате над добротным сколоченным столом горела лампочка. Ираклий доедал ужин. Вокруг тарелки лучами были разложены ордена отца. Внимательно всматривался то в один, то в другой.

— Ложись, пора спать,— слышался голос матери.

— Пока не хочу, отца дождусь,— твердо сказал Ираклий.

Встал. Поочередно собрал ордена на ладонь и вошел в комнату бабушки.

Увидев внука, старуха улыбнулась.

Ираклий подошел к ней и на ее покрывале начал раскладывать ордена, старательно, аккуратно, с ровными интервала-

ми, одновременно говорил:

— Дядя Павле четыре привез, дядя Вахтанг три... Отец Ани два... Больше всех орденов папа имеет...— гордо сказал и устоялся на бабушку. Она ласково улыбнулась ему. А он продолжал: — Ачико сказал, что его отец пять штук имеет... Завтра пойду и проверю, каких пять он привез.

На кухне сноровисто хлопотала Марго. К концу дня каждой вещи находила место. Все блестело.

Распахнулась дверь. Вошел Шалико. Уставшим выглядел.

— Где ты до сих пор? — упрекнула жена.— Выкипел весь суп... уже пять раз подогревала.

— Луна вышла, я подумал, докончу-ка дело, и одним делом меньше станет.— Он был доволен. Подошел к умывальнику.— Где малыш, спит? — глядя в зеркало, спросил.

— Как же, спит... Тебя ждет. Скажи ему что-нибудь, может, тебя послушается...

Женщина сняла с крючка половник, взяла глубокую тарелку.

Шалико, вытирая лицо, пошел к матери.

Ираклий на покрывале одним орденом водил вокруг остальных и подражал звукам взрывов и выстрелов.

С улыбкой глядел на сына Шалико, стоя в проеме дверей.

— Чего ты бабушку, как елку, нарядил? — Вошел в комнату. Погладил по голове сына.— Спать пора! — И на мать взглянул, которая радостными глазами смотрела на них.

Ираклий собрал ордена, взял деревянную шкатулку и аккуратно положил их в нее. Вышел из комнаты.

Шалико сел на низкий стул. Полотенце перекинул через плечо. Погладил матери руку:

— Дрова готовы. Какой бы снег ни выпал, ничего с нами не поделает...

Марго поставила на стол тарелку с супом. Из комнаты доносился голос мужа:

— На днях и хлев почию, затем за балкон возьмусь... В воскресенье на рынок выйдем, корову купим, свиноматку на следующий год отложим. Согласна?

Накрыв ужин для мужа, Марго ждала его у стола.

— Спокойной ночи, мама,— донесся его голос.

Он погасил свет и вышел в столовую. Сел на свое место. Начал ужинать.

Стол был убран. Шалико острым ножом на тщательно отшлифованной дощечке вырезал: «Сэте... 1870—19...». Сейчас он стара-

тельно выводил цифру четыре. Буквы и числа получались красивые, одной величины.

— Может, лучше свиноматку купить, а, Шалико? — тихо спросила жена.

Она сидела перед ним.

— Выйдем на базар, там будет видно, — не поднимая головы, продолжал свое занятие.

Марго встала. Вошла в маленькую комнату, где они спали с мужем.

— Ты погляди на него, спать в твою постель залез! — донесся ее голос.

Шалико отложил работу и зашел в комнату.

Широко раскинувшись по всей постели, спал Иракий.

Шалико нагнулся над ним. Осторожно поднял ребенка. Обнял его, прижал и звонко поцеловал в щеку.

— Не царапай ребенка своей щетиной, — тихо пожурила жена, когда мальчик заворочался.

Шалико занес сына в комнату бабушки и уложил его на тахту. Перед тем как выйти, взглянул на мать.

Была глубокая ночь. Шалико и Марго не спали. Луна освещала окно, и ее холодный свет косо лежал на их кровати.

— Одно время я сильно перепугалась, — шепотом рассказывала она. — Друг за другом приходили плохие вести... Один погиб, другой, третий. И я сдалась. Все время тайком плакала, боялась, чтобы мальчик не увидел. А он все время в глаза смотрел и про тебя спрашивал, какой мой папа? Он самый сильный? Самый высокий? — На время задумалась, стало тихо. И продолжила: — Как тебе сказать, даже говорить трудно...

— Скажи, чего тебе от меня скрывать.

— Когда твой отец умер, тогда и успокоилась... — Воцарилась неловкая тишина. — Второй день был. Там, в большой комнате, лежал бедняга. Я и Мария остались в ту ночь...

Поговорили о том о сем... И тогда я подумала, вернется мой Шалико... Ведь забрала смерть одного из нашей семьи. В чем же мы повинны, чтобы она и за вторым пришла. И с той поры, с той секунды, у меня надежда появилась. Как только вечер, все время в зеркало смотрюсь, прихорашиваюсь. Вот-вот мой Шалико войдет. Ждала...

— Потому и пришел вечером, — Шалико тихо хохотнул.

— Чего смеешься?

— Не хотел... но, к черту, расскажу... Когда к деревне подъехал, когда тополя появились, день был. Я остановил машину и вышел. Ночи дождался. Темноты.

— Почему? — Марго повернула голову. — Как у тебя сердце вытерпело?

— Мелькнуло... Приду домой и вдруг никого нет?.. Себя представил в пустом дворе. Неприятно стало... и в лес пошел. Потом на кладбище. Там дождался вечера...

Стало тихо. Марго посмотрела в окно.

— Светает, — тихо пропела от удивления.

Тяжелое облако нехотя разошлось, и солнце резко засветило.

Шалико зажмурился. Сидя на корточках, спиной повернулся к солнцу, продолжая чинить стойку хлева.

Одним ударом забил гвоздь до шляпки.

— Я готов, — сын возник над ним. Горбушку хлеба аппетитно жевал.

Шалико встал. Собрал инструменты, направился к дому. Подошел к балкону. На перилах разложил рубанок, молоток, пилу, гвозди. Захватил с собой пиджак и направился к калитке.

Опять стало темно. Солнце скрылось за черным облаком. Шалико накинул пиджак.

Они шли по дороге. Шалико всматривался в дворы. В глубине одного двора парни рыли яму. В другом — женщина и мужчина укладывали дрова, где-то таскали сено. Пожилая женщина снимала яблоки с дерева.

С поднятой головой гордо шел по дороге Шалико и хмуро глядел на свою деревню, обветшавшую, потерявшую былой облик.

Полуразрушенные заборы, скрипящие от ветра калитки, нуждающиеся в починке кровли домов, потрескавшиеся стены...

— А это чья? — оглянулся Шалико, услышав тяжелое дыхание.

За ними молча и покорно семенила худая, облезлая собака.

— Тети Тасо, все время бродит, — разъяснил Иракий. Отломил кусочек хлеба и бросил собаке. Она понюхала и схватила зубами. — А так, хорошая, добрая... Прошлую зиму в нашем дворе провела, а потом к дяде Грише переселилась.

За ухоженным забором из прутьев в огороде копошился старик. Не торопясь, размеренно работал. В этом дворе была заметна рука хозяина.

— Чем-нибудь помочь, дядя Николоз? — окликнул его Шалико, когда подошел к забору.

Старик обернулся. Трудно было ему выпрямиться. Взглянул на гостя.

— Ты кто?

— Шалико.

— А! Нет, сынок. Слава богу, пока сил хватает... Вот погода и урожай подвели, а все остальное вроде в порядке.

— Столько пережили и это переживем...

— Да, верно. Надеждой и живем...

Собака шла за ними.

Ираклий тянул длинный шаг, подражая отцу. Развлекался. Затем ему наскучило, и он схватил отца за руку. Шалико взглянул на него, улыбнулся.

— Когда тебя ранили, больно было? — спросил сын, пройдя еще немного.

— Как тебе сказать... Да.

— А как больно было, очень?

— Как-то странно... — Задумался. Честно вспоминал.

— Закричал или заплакал?

— Вскрикнул.

— А плакал когда-нибудь? — не отставал Ираклий.

— Когда был маленьким.

— Как я?

— Ты уже не маленький, ты уже взрослый, — и внимательно посмотрел на сына.

Подошли к двору с каменной оградой. Низкий, старенький домик. Тропинка к нему тянулась между яблонь.

Юноша лет пятнадцати из колодца доставал воду.

— Папа дома? — спросил Шалико.

— Да, — басом ответил тот, когда они приблизились, и подмигнул Ираклию.

Ираклий тоже лукаво улыбнулся и остался с дружком у колодца.

Шалико направился к дому. Только он собрался войти, в дверях появился человек на костылях, одноногий. С сильным, мощным торсом, курчавыми каштановыми волосами, с чуть приплюснутой переносицей. Взгляд его бесстрашных и правдивых глаз располагал к доверию.

— Приветствую гостя, — тихо и тепло сказал он.

— Как поживаешь, Павле?

— Все хорошо, слава богу, — улыбнулся и руку протянул другу.

Вечер близился.

Павле сидел у стола и искусно резал лук. Временами поглядывал в окно. В глубине двора его сын, Шалико и Ираклий, распилив дрова, укладывали их у хлева в поленицу.

Нарезав лук, Павле встал. Оперся на костыли. Подошел к жестяной печке и на раскаленную сковородку бросил топленое масло и, когда оно зашипело, насыпал лук.

Во дворе уже было темно.

Павле, Шалико и их сыновья вместе ужинали.

— Хорошая у тебя рука, вкусно готовишь, — отметил Шалико и еще положил себе в тарелку.

— Ешьте на здоровье, — тихо сказал хозяин и улыбнулся. — И ты, сынок, поешь. — обратился он к Ираклию.

— Больше не могу.

— Из хорошей глины твой мужичок вылеплен, — кивнув на Ираклия, сказал Павле.

Шалико был польщен и взглянул на сына, который застенчиво опустил голову.

Открылась дверь. Женщина вошла.

— Какие хорошие гости, оказывается, нас посетили, — звонким высоким голосом приветствовала их хозяйка, жена Павле, тонкая, милостивая женщина.

Сняла пальто и осталась в белом халате. Взглянула на стол.

— Какой стыд, голодными вас оставил, — сказала она.

— Ты что говоришь, нас так угостил твой мужик! — искренне возразил Шалико.

Женщина посмотрела на Ираклия. Погладила по голове.

— На тебя начал походить... раньше на мать больше был похож...

— Где ты ходишь? — проворчал Павле.

— Застряла в больнице... Плохо себя чувствует бедняга, — приставила стул и села у края стола. — Женя поехала в город. За лекарствами. Говорит, новое. Беницилин или что-то похожее... Хвалят. Говорят, мертвого воскрешает.

— Пеницилин, — веско сказал Шалико. — Правду говорят. Многим помог...

— Дай бог, может, и ей поможет... Говорит, что должна туда поехать, найти его могилу и здесь похоронить... Вот так и причитает все время...

— Где она там найдет, — безнадежно сказал Шалико и горько усмехнулся.

Мальчики, затаив дыхание, слушали беседу взрослых.

— Ну и разрушило нас... Ну и проклятие... — проговорил Павле горестно.

Была ночь.

Отец и сын возвращались домой. Изредка появлялась сквозь тучи луна и ненадолго освещала дорогу.

Шли вдоль заборов. В домах уже не горел свет.

— Испортилась погода. Если так продолжится, дрова не успеют высохнуть, зимой замучают... и так опоздали. — И поднял воротник пиджака.

— Может, пятнистую корову купим, а, папа?

— Пусть так... Выйдем на рынок, выбор тебе доверю.

— А как назовем?

— Как скажешь.

— Как?... «Победа»...

— Хорошее имя, — и смех его разлился в темноте.

Откуда-то донесся плач. Голос был женский. Шалико остановился и прислушался. Ираклий напрягся и замер. У ног крутилась собака, сопровождавшая их все время.

Они направились туда, откуда был слышен голос. Прошли немного и у забора остановились. В одном окне горел свет.

— Жди! — сказал Шалико и вошел во двор.

Ираклий остался один. Опустив уши, собака всматривалась в непроглядную темноту. Ираклий тоже посмотрел туда.

В доме вскрикнул женский голос. Затем замолк. Стало тихо.

Собака залаяла.

— Заткнись, ты, проклятый... — рассердился Ираклий.

Собака оглянулась и виновато вильнула хвостом. Ираклий потрепал ее по спине.

Огромная птица безмолвно пролетела над ними, канула в темноту.

Заскрипела калитка. Появился Шалико и, не говоря ни слова, пошел по дороге. Ираклий тут же последовал за ним.

— Что случилось? — спросил Ираклий.

— У тети плохие вести. Сын погиб...

С утра моросил дождь.

Бабушка лежала в белоснежной постели и грустно глядела в окно.

В доме слышен был стук молотка.

На кухне хлопотала жена Шалико. Она подняла крышку ларя. Муки было на дне. Маленькой миской выскребла остатки и насыпала в деревянный лоток. Отряхнула руки и вышла в столовую. Там Шалико сколачивал низкий стол для сына.

— Мука кончилась, Шалва... Может, поедешь в магазин? Обещали привезти, а то плохи дела...

— Докончу и пойду. — Он был увлечен делом.

Открылась дверь, и ворвался Ираклий. Сумку швырнул в сторону и прыгнул отцу на спину. Крепко обнял его.

— Поттише, чертенок. Задушишь... Какие новости?

— Сегодня не вызвали.

— Сползай, хватит, и на стул садись. Проверь, не высоко тебе?

Шалико подставил стул.

— Хорошо, пап, хорошо...

— Почему ты рано вернулся? — спросила мать.

— Двух уроков не было, физкультуры и пеня.

— Магазин открыт?

— Не видел, мы другой дорогой пошли. Отец Залико вернулся.

— Когда? — обрадовался Шалико.

— Рано утром... потому Залико не пришел

в школу, и все к нему пошли, на его отца поглядеть.

— Это ты хорошую весть принес... Как он там?

— Когда пришли, спал. Сказали, очень устал... Я спросил, сколько орденов привез твой папа. Три, сказал Залико... На два меньше, чем у тебя.

— Это хорошая новость, сегодня же его поведу, — сказал Шалико.

— Давай переоденсь. Как ты намок! — пощупала одежду мать.

— Поешь и пойдем со мной за мукой. — Шалико начал собирать инструменты.

— Чего ему делать в такую сумасшедшую погоду. Пусть дома останется, — возразила Марго.

— Пойду, пойду... — заныл Ираклий.

Шалико из хлева вывел мула и запряг в арбу.

Мелко, назойливо моросил дождь. Небо безнадежно было затянуто.

Укрываясь от дождя под зонтом, Ираклий держал ворота, пропуская арбу...

Ехали по безлюдной деревне. И дворы пустовали. Стояла тишина. Только был слышен скрип колес, которые тяжело катились по глубокой грязи.

Стук копыт послышался, когда въехали на маленький деревянный мостик, перекинутый через пруд.

У каменного здания остановились.

«Магазин» — блекло было написано на вывеске. На дверях висел большой замок. И ставни были заперты. Кусочек картона торчал в дверях.

Шалико спрыгнул с арбы и подошел ближе.

«Муки нет» — было написано карандашом на картоне.

Настроение испортилось. Тихо выругался, взглянул на сына, съездившегося от холода.

— Где ж он шляется... может, чего надо человеку... — раздраженно пробормотал и еще раз безнадежно посмотрел на выложенную камнями угрюмую стену магазина.

Непроизвольно медленно двинулся вдоль стены. Обогнул угол и зашел за дом... Там застыл.

К зданию примыкала деревянная пристройка. Рядом стояла чем-то нагруженная арба, накрытая брезентом. Три мужика между собой о чем-то договаривались. Двое, высокие, рыжие, были похожи друг на друга, может, и близнецы. Третий, коренастый и черный, был продавец магазина.

Увидев Шалико, они опешили. Окаменели. Коренастый тут же положил что-то в карман и натянуто улыбнулся односельчанину.

— Шалико, ты чего в такую погоду... беспокоился? — с трудом находя слова, заискивающе спросил продавец.

Рыжие, внутренне напрягшись, ледяными голубыми глазами глядели на пришедшего, который медленно, раздражающе медленно, покачиваясь, шел на них.

Шалико встал у арбы. Посмотрел вниз. От деревянной пристройки до арбы по земле шли белые следы, которые от дождя постепенно теряли цвет.

Мигом сдернул брезент Шалико... Арба была полна мешками с мукой. Рыжие бросились к брезенту и тотчас же накрыли мешки. В панике усталились на коренастого, будто ждали от него приказа. Затем впились взглядом в незнакомца.

Шалико не удостоил их вниманием. Подошел к продавцу с перекошенным от злобы и отвращения лицом и сказал:

— Своих грабишь? Ах ты, бесстыжий...

— Это не совсем так, как ты думаешь, — начал оправдываться продавец. — Это для их деревни... У меня спрятали, их доля. Они сверху... — и рукой в сторону гор показал, — и пришли забрать. До них машина не добирается... Так вот.

— Верни деньги и муку занеси обратно, — прямо в лицо ему прошипел Шалико.

— Послушай, приятель. Это их мука. Нашу долю скоро привезут, на днях... Так распределили, поочередно... Не понял? — ему понравилась собственная выдумка, и он уже не сдавался.

— Верни деньги и муку занеси обратно, — повторил Шалико еще тише и беспощаднее.

Коренастый сделал шаг вперед, спиной вставая к рыжим, с трудом соорудил улыбку и начал:

— Мы тоже люди, Шалико, пойми... жить все хотим. Я тоже отсюда вернулся, откуда и ты... все хорошо понимаю... Даю тебе слово мужика, сегодня, ночью, своими руками привезу столько, сколько тебе надо. — И внимательно всмотрелся в глаза односельчанина. У Шалико не менялось выражение. — Скажи, сколько надо?.. И еще два мешка от меня в подарок прими... Ведь знаешь, как я люблю вашу семью... Твой дед был крестным моего отца... Это ведь немало значит. Родственниками считаемся...

— Сволочь!

— Парень, ты подбирай... ты не на фронте... может, наши правила забыл?

Оказывается, Ираклий, который неслышно вкатил арбу, стоял уже во дворе и из-под зонта, озябший, наблюдал за происходящим, ничего не понимая.

— Давай, быстро, — приказал Шалико продавцу, как пацана.

— Уйди от греха, Шали, отстань. Хорошее слово я тебе сказал. Подумай. Не советую

портить со мной отношения, — холодным стал глаз у коренастого.

Затаив дыхание, тревожно смотрел на мужчин Ираклий.

Вдруг Шалико сорвался с места, снова оказался у арбы и резко отбросил брезент. Вцепился в мешок, поднял. Мешок выскользнул из рук, ударился об острый камень и посыпалась мука.

Рыжие подлетели к мешку.

Продавец сзади налетел на Шалико, когда тот потянулся за вторым мешком.

— Отпусти ты, сукин сын! — тяжелым кулаком разъяренно ударил его в грудь.

Шалико резко вывернулся и врезал ему по челюсти.

Продавцу помогли рыжие. Шалико приперли к стене и безжалостно начали бить.

Вцепившись в уздечку, испуганный Ираклий со слезами на глазах беспомощно, тихо что-то прерывисто пришептывал. Смотрел на трех мужиков, которые безжалостно колотили свалившегося в грязь отца.

Мальчик скрючился, будто озяб, его перевернуло. Он сжал колени и от испуга описался.

В эту мрачную, черную погоду удары и выкрики людей глухо, тяжело прорывались сквозь вязкий воздух.

В окно было видно айвовое дерево.

Пока еще не созревшие плоды едва шевелились, раскачиваемые ветром.

В затемненной комнате опухший от побоев и изменившийся облик Шалико с тряпкой на лбу лежал на кровати.

В проеме дверей показалась голова Ираклия. Осторожно заглянул. Устался на отца. Тот с закрытыми глазами глухо стонал от боли.

Странное было выражение у мальчика — любопытства было больше, нежели сострадания или жалости к отцу.

Шалико медленно, тяжело открыл глаза, вспухшие веки будто сопротивлялись. Некоторое время тупо смотрел в одну точку. Затем с трудом перевел глаза в сторону окна. Тяжело было повернуть голову. Так он полежал немного, потом оглядел комнату и наткнулся на взгляд сына. Долго, молча смотрели друг на друга. Трудно было на разбитом лице Шалико прочитывать что-либо кроме боли. Потерявшие форму губы с трудом шевелились. Будто каждая мышца одеревенела. Что-то хотел сказать. Но не мог подать голоса. Послышались короткие, неразборчивые звуки.

Мальчик стоял окаменев.

Тяжело поднял руку Шалико и, еле шевеля пальцами, подозвал сына.

Ираклий спрятался за косяк. Виден был пустой проем.

Безнадежно упала кисть на постель. Желваки заходили на щеках, Шалико глухо простонал.

Была ночь. В столовой горел свет. Царила тишина.

Марго из кухни смотрела на Ираклия, который, подкравшись к дверям, следил за отцом.

Долго так стоял мальчик. Вдруг резко повернулся и отошел от дверей. Неловко покружил по комнате, несколько раз обошел стол и исчез в комнате бабушки. Там зажег свет. Опустился на колени у кровати старухи, локтями оперся на ее постель, ладони подставил под подбородок и стал смотреть на спящую бабушку. Тихо, невнятно бормотал, будто ей что-то рассказывал.

— Потуши свет, а то разбудишь, — цыкнула мать. Она стояла в дверях.

Мальчик поднялся, погасил свет.

В столовой Марго села так, чтобы видно было мужа в соседней комнате. Она надела на грибок для штопки носок и стала чинить его.

В комнате, где спал Ираклий, заскрипела тахта. Потом мальчик чихнул.

— Будь здоров! — тихо сказала она.

Было утро. Мальчик завтракал на кухне. Безрадостно смотрел перед собой...

— Сколько еще собираешься не ходить в школу, а, сынок? — спросила мать.

Мальчик не ответил. Заметно было, что делиться своей тайной он ни с кем не собирался.

Не доев кашу, отодвинул тарелку в сторону и откинулся на стуле.

— Скажи что-нибудь, чего ты онемел... Может, помочь чем смогу?

Ираклий не ответил. Встал и вышел во двор. Женщина проводила его взглядом. Была обескуражена поведением сына. Открылась дверь, и Ираклий вернулся. Захватил кепку.

Погода была облачная. Дул ветер. Он глупо надвинул кепку и оглядел двор.

Курица осторожно, крадучись, продвигалась вдоль забора и искала пищу.

Ираклий проследил за ней. Нашел камень и вяло, нехотя бросил в нее. Промахнулся.

Подошел к окну. Украдкой заглянул в комнату. Кепка помешала, и он повернул ее на бок.

Раны на лице Шалико стали заживать. Опухоль вокруг глаз спала. Но он был таким же вялым и обессиленным, как раньше. Пятерней провел по волосам и резко по-

вернул голову. За запотевшим стеклом увидел сына, который следил за ним.

Уставился на Ираклия. Рукой подозвал. Мальчик постоял чуть-чуть и, безразличный, отошел от окна.

Бессмысленно побродил по двору. Мулу подсыпал сено. Заглянул в виноградник. Кое-где стойки были новые, кое-где нуждались в замене. Пугало привлекло его внимание. От ветра оно сильно накренилось. Старое пальто съехало. Подошел. Выпрямил пугало, поправил пальто. Направился к дому. Проходя мимо айвового дерева, остановился. Наметил взглядом самый большой плод. Подпрыгнул и не достал. Больше не попытался. Засунул руки в карманы и не спеша, вразвалочку, пошел к калитке. Посмотрел на дорогу — никого. Ветер гнал и крутил сухие листья и пыль. То к одному забору швырял, то к другому.

— Марго! — послышался голос Шалико.

Марго вышла из кухни и заглянула в комнату мужа.

— Дай зеркало! — в его голосе был приказ.

Марго выдвинула ящик, поискала и нашла маленькое круглое зеркальце.

Поправила мужу подушку и подержала зеркальце перед его лицом.

— Чуть ниже опусти, — раздраженно сказал. Женщина исполнила его приказ. — Дай! — он резко отобрал зеркало.

Скулу рассматривал, треснувшую кожу на ней, глаза. Горько усмехнулся.

— Видишь, на кого я похож? Что он со мной сделал!.. — злобно выдохнул.

В окне вновь появился Ираклий. В комнату заглянул. Шалико подозвал его пальцем. Ираклий отошел от окна.

— Сына потерял из-за этого гада, — с досадой сказал он.

— Ты не накручивай. Видишь, на кого ты похож, даже я тебя не узнаю, будто другой... Не то что ребенок. Маленький он, боится...

— Не боится... веру потерял в меня, веру. Такими глазами смотрит, будто я ему чужой. Ни разу не подошел, — и глаз застыл в зеркале.

— Тоже скажешь... молится на тебя...

— Уже нет, — продолжал смотреть на себя в зеркало.

— Павле, Ване, председателю... хотят зайти, тебя навестить, — Марго перевела разговор.

— Никого не хочу видеть. — И опустил зеркало.

— А люди-то при чем... Все на твоей стороне... Так на него ополчились... Это дело просто не оставят.

Шалико отвел взгляд к окну. Было пасмурно.

В комнате бабушки копошился Ираклий. Подошел к комоду. Взял деревянную шкапулку. Внутри лежали ордена. Вынул один.

— Простудился, ничего страшного, скоро все пройдет... — Марго кормила свекровь супом.

Ираклий положил орден на место. Закрыв шкапулку и подошел к кровати. К никелированной решетке приложил щеку и посмотрел на женщин.

— Скоро встанет Шалико, Ираклий ему поможет, и балкон починят. Потом только от погоды и будем зависеть.— Марго протянула старушке последнюю ложку и салфеткой вытерла ей подбородок.

— Вынеси, сынок,— передала мальчику тарелку.

Ираклий взял посуду и вышел из комнаты.

Шалико выглядел окрепшим. Подложив руку под голову и прислонившись к спинке кровати, нахмутив брови, неподвижно смотрел в одну точку.

Кожа на скуле заживала. Многодневная щетина увеличивала окруженные синяками глаза, холодные и упрямые — прежнее тепло и мягкость исчезли...

Ираклий слонялся по столовой.

Шалико ловил мальчика взглядом, как только тот возникал в проеме дверей.

— Ираклий! — без надежды, скорее всего, для проверки, окликнул он сына.

Тот замер у стола, невидимый для Шалико.

— Знаю, что ты там,— слышался голос отца.— Войди, покажись, хоть раз поговорим... — последние слова произнес тихо.

Ответа не получил. Боль пробежала по лицу.

Послышался звук хлопнувшей двери. Шалико напрягся и посмотрел в сторону окна. Ждал появления сына, но мальчика не было.

Он вздохнул, что-то процедил сквозь зубы.

— Хочешь чего? — жена стояла в дверях. Вытирала руки о фартук.

Шалико мотнул головой и странно посмотрел на нее — и упрек был в его взгляде и горечь правоты.

— Теперь-то похож на себя? — и взглянул в зеркало, которое было запрято в ладони.— Все равно не подходит, — с досадой сказал и злобно ударил кулаком по матрасу.

Тревога появилась в глазах Марго.

К окну ночь подступила. Свет из столовой освещал часть кровати.

Присев на постели, напрягая слух, Шалико

вслушивался в беседу Марго и Ираклия, едва доносившуюся из кухни.

И чтобы лучше разобрать слова, наклонился в сторону дверей, перевалившись на бок, уперся в пол одной рукой, всей тяжестью тела налегая на нее, вытянул шею, как зверь, и застыл.

— Если мне не доверяешь, то кому же еще?... Я ведь мать тебе... — четче донесся голос Марго.

Шалико слушал напряженно.

— Скажи, сынок,— мольба была в ее голосе.

— Что сказать? — проворчал Ираклий.

На кухне у печки сидел Ираклий на коленях у Марго.

Они смотрели на колыханье пламени через окошечко печной дверцы.

— Ответь... сколько еще будешь сидеть дома взаперти... Неучем хочешь стать?

— Нет,— сердито ответил мальчик.

— По игре с ребятами не соскучился?

— Да.

— Что ж это обрушилось на мою несчастную голову,— поцеловала она его в щеку и еще крепче прижала.— Даю слово, только я и ты будем знать... скажи...

Ираклий резко повернул голову и посмотрел ей в глаза. Хотел удостовериться в правдивости сказанного. Убедившись, решил.

— То, что... — неожиданно начал. Полено щелкнуло, стрельнув угольком. Ираклий мигом ногой растер его на полу.— То, что тогда, когда за мукой... и когда отца привезли домой,— рассказывал, совершая усилие над собой,— Самсон встретил меня у калитки, сын Иосифа, и спросил... ты что, описался?.. Я посмотрел на штаны, они были мокрые... Я не знал... Он смотрел на меня и смеялся, так противно, что... — от воспоминаний его передернуло.— Я ответил, что водой замочил, нечаянно ногой в лужу попал...

Опершись всем телом на руку, Шалико, не шевелясь, прислушивался к голосу сына, который едва доносился до него.

— На следующее утро,— сдвинув брови, продолжал Ираклий,— только вышел из калитки, из-за забора все мальчики высунулись, оказывается, поджидали, и все вместе начали: «Зассанец! Зассанец!» — последние слова он уже произносил, всхлипывая и кривя губы от обиды.

Неловко свесившись всем телом на пол, Шалико, потрясенный, глядел куда-то перед собой. Затем с трудом, медленно вернулся на постель, обессиленно привалился к спинке кровати. Уставился в темноту. Замер.

Прошло какое-то время. В столовой появился Ираклий. Приставил стул к стене и завел настенные часы. Вернул стул на место. Пошел в свою комнату.

Шалико не взглянул в его сторону.

— Спишь? — Марго стояла в дверях.
Шалико прикинулся спящим. Марго ушла.

Было еще темно.

Шалико не спал. Смотрел в окно.

Как только забрезжил свет, он приподнялся, посмотрел на спящую жену. Осторожно сел, спустил ноги на пол. Взял одежду со стула и вышел в соседнюю комнату на цыпочках.

Ослабевший от долгого лежания, качнулся и схватился за стол. Отдышался, переждал. И вышел на кухню. Зажег свет. Зажмурился и секунду постоял с закрытыми глазами.

Печка угасала. Два полена в нее подбросил. Опустился на низкий стул и начал одеваться.

Открыл буфет. Достал хлеб. Разрезал пополам, одну часть положил в буфет. Нашел чеснок и лук. Взял маленький мешок и все туда побросал.

Поднял крышку сундука. Пошарив рукой, нащупал кинжал и тоже в мешок засунул. Действовал медленно, не торопясь. Точными и скупыми были его движения.

Временами делал передышки.

Со шкафа торчал приклад ружья. Он дотянулся до него, снял ружье.

Согнул приклад и дунул в ствол.

Выдвинул ящик шкафа и нашел пули. Четыре штуки сунул в карман пиджака. Остальные завернул в тряпочку и затянул ее узлом. Снял с гвоздя шинель. Аккуратно и умело сложил и поместил в мешок. Последними положил пули. Посмотрел в темноту столовой.

Ружье, мешок, сапоги поднял с пола. Отодвинул задвижку. Вышел на балкон. Жадно глотнул свежий воздух. Натянул сапоги. Сунул руку в карман пиджака, звякнул пулями и подхватил ружье...

Ночь неторопливо покидала небо.

Шалико подошел к калитке. Открыл и вышел на дорогу. Пошел вдоль заборов. В густом тумане соседние дома едва были видны. Постепенно прибавил шагу. Освоился, приноровился к дороге. Пройшел еще немного, стаю дроздов напугал, вспорхнувших с огромного куста. Перепуганные птицы с шумом исчезли в тумане.

На краю деревни стоял двухэтажный дом. Не спуская с него глаз, Шалико приблизился к забору. Остановился. Во дворе туман окутывал яблони.

Шалико присел у большого куста. Мешок положил рядом.

Отсюда дом был виден хорошо. Взгляд его остановился на переспелых ягодах ежевики. Он было потянулся, но переду-

мал. Замер с ружьем наизготовку, не спуская глаз с лестницы дома.

Уже совсем рассвело.

Встревожился, согнул ружье. Засунул руку в карман, достал патрон и вложил в ствол.

Во взгляде Шалико читались полное спокойствие и решимость.

Туман нехотя расходилсЯ. Из леса громче доносились голоса птиц.

Тяжелое дыхание послышалось ему сзади. Он вздрогнул, обернулся. Из тумана появились два пса. Собаки поздно заметили Шалико — почти уткнулись в него носом.

Шалико раздраженно цыкнул на них, замахнулся.

Собаки отскочили в разные стороны. Так бежали недолго, потом вновь соединились. Семенили, вывернув морды, и удивленно смотрели на человека, прятавшегося в кустах. Скоро исчезли из виду.

Шалико взглянул на ружье. Рукавом пиджака протер ствол.

Послышался звук — дверь скрипнула на втором этаже и тяжело открылась. Из полумрака комнаты вышел человек в белом белье. Коренастый, широкоплечий. Это был продавец. Еще сонный, он осторожно ступал по лестнице босыми ногами — деревянные ступеньки под ним пели.

Спустился во двор, пошел по тропинке. Тут же у угла дома остановился. Оглянулся и начал мочиться.

Послышался выстрел. Коренастый на миг застыл. Повернул голову и, не издав ни звука, как подкошенный упал.

Шалико опустил ружье. Смотрел недолго на распластанное тело в белом, которое не шевелилось.

Рукой нащупал мешок, поднялся и вдоль забора, пригнувшись, побежал в сторону леса.

С грохотом распахнулась дверь. Ошалело вылетел на балкон в одном белье хорошо сложенный, гибкий молодой блондин. Выглянул во двор и словно пролетел над лестницами. Вмиг очутился у безжизненно распластанного тела. Опустился на колени. Прислушался к дыханию. И вдруг голову запрокинул назад и нечеловеческим голосом, отчаянно взвыл:

— Ма-ма...

Огромное стадо горных свиной жадно рыскало по лесу в поисках пищи. Пройдя дубовую рощу, свиньи вышли на лужайку, где стояло несколько покинутых домов, заросших бурьяном и колочками.

Крепкий мужчина с седой щетиной волос бодро погонял свиной, повсвистывая и временами пробовал ягоды, оставшиеся на кустах.

Уткнувшись рылами в землю, животные шумно двигались вперед. Наткнулись на ноги человека. Окружили, продолжая искать пищу.

Худой человек, заросший неопрятной бородой, с мрачным, тяжелым взглядом сидел на пне и, не шевелясь, смотрел на горных свиней, обступивших его со всех сторон.

Это был Шалико. У его ног лежало ружье. Некоторое время он следил за животными. Увидел свинопаса, который, выйдя из кустов, застыл в изумлении.

Недоверчиво всматривались друг в друга. Свинопас стоял растерянный. Разглядел ружье, кинжал, висевший сбоку. В глазах появился страх.

Свиньи будто нарочно топтались на одном месте, не шли вперед и не давали возможности мужчинам ближе подойти друг к другу.

— Курить не найдется? — бросил Шалико.

— Нет, не курю, ей-богу, — извинился свинопас и близко посаженные глаза стали еще меньше.

Наступило молчание.

— Хлеб у меня, чуть и поесть найдется, — суетливо снял с плеча маленький мешок.

— Откуда ты? — прервал Шалико.

— Из Меджврисхеви, — ответил с готовностью, неловко улыбаясь.

— Свиньи твои?

— Нет... — он растерялся, забеспокоился, — некоторые деревне принадлежат, некоторые колхозу...

— Твоих сколько?

— Только... десять штук. — Трудно было понять, лгал или от страха сказал правду.

— Внизу какая погода? — Шалико смотрел в упор.

— Частые дожди... холодно... хорошо, что снег запоздал...

Свиньи уже ушли дальше, кружились вокруг домов, некоторые вошли во внутрь дома. Шалико недовольно взглянул на непрошенных гостей, затем на свинопаса.

— Из Меджврисхеви, значит?

— Точно.

— Лексо знаешь?

— Которого, Батиашвили?

— Да.

— Конечно... А ты откуда его знаешь? — Приходил в себя свинопас.

— Вместе были на фронте.

— Ну и...?

Вопрос смутил Шалико. Он задумался.

— Вернулся? Чего от него слышно?

— Вернулся, конечно... хорошо себя чувствует.

— Привет передай!

— А от кого, если спросит? — просьба

этого странного человека развеселила свинопаса.

— Догадается! — отрезал Шалико.

Гость снова напрягся, насторожился.

Шалико встал. Взял ружье. У свинопаса перехватило дыхание. Шалико это заметил и спокойно сказал:

— Войдем в дом! — И пошел вперед.

Гость не мог сделать ни шагу. Шалико повернулся:

— Как тебя звать?

— Отар.

— Отар, войдем в дом, — сказал даже мягко.

Обогнули заросли и оказались у дома. В маленькую комнату зашли. Свинопас осмотрелся. Вьюны извивались, как змеи, по стене. Небольшой куст пророс в полу. Часть стены обвалилась, и там виднелось небо.

Шалико подошел к самодельной полке и начал что-то искать.

— Присяды! — не оглядываясь, сказал он гостю.

Гость, продолжая озираясь, присел на низкий лежак из жердей, перетянутых корой и устланный сеном.

Один угол комнаты до самого верха был закоптившийся. Там лежали вязанки дров и хворост.

Шалико заполнил самодельные деревянные миски дикой грушей, орехами и каштанами. Взял пенек и на него поставил угощение.

— Попробуй, вкусные орешки, — предложил гостю.

— В этом доме, уж очень тут все изменилось, до войны один хороший человек жил, — сказал свинопас.

— До войны?

— Да, до войны...

— Я-то думал, сто лет назад покинули это место...

— Что дому зачахнуть? Два-три года без хозяина оставить, и все, сам умирает.

Шалико грыз орешки.

— Попробуй! — вновь предложил.

Свинопас взял и громко разломал орех зубами.

— Вкусно! — сказал он.

Он не сводил с хозяина глаз. Затем придвинул мешок. Вынул завтрак, открыл. Несколько головок лука, чеснока, полбуханки хлеба и кусок вареного мяса. Вывернул мешок и встряхнул, показывая, что больше ничего нет.

Шалико продолжал щелкать орешки. Гость толстыми кусками нарезал мясо.

— Почему мясо не ешь? Вкусное, домашнее! Не соскучился по-домашнему? — И сам взял большой кусок.

Шалико усмехнулся и после молчания сказал:

— Дай руку...

Тот растерялся и осторожно протянул ее. Шалико пожал его руку.

— Вот, по этому соскучился,— и в глаза долго посмотрел.— Понял?

— Да, да... — свинопас совсем ничего не понимал. Он прямо куском проглотил мясо.— Давно здесь? — решил он на вопрос и потянулся за вторым куском.

Шалико не ответил. Затем сказал:

— Грушу попробуй, сладкая.

Гость несколько штук положил на ладонь, одну надкусил.

Шалико что-то собрался сказать, но воздержался.

— Сколько тебе лет? — спросил осмелевший гость.

— Тридцать семь.

— Ого! — откинулся назад от удивления.— Я-то думал, больше пятидесяти,— и засмеялся.

Шалико задумался. Затем корочку отломал от хлеба. Понюхал и неторопливо попробовал на вкус.

Свинопас смотрел на него, мялся, ерзал, видно было, что хотел что-то выяснить, но не решался.

— Человека убил! — помог ему Шалико. Гость опешил. Не по себе стало. Страх и подозрения вновь овладели им.

— Ну ладно, мне пора,— его подбросило с места.— Разбегутся и трудно будет их собрать.

Шалико взглянул, лениво приподнялся.

— Воля твоя,— спокойно ответил.

Гость вышел наружу. Торопился. Шалико взял ружье. Спокойно пошел за ним.

Свинопас тут же начал окликать животных. Вошли в лес.

Скоро настигли стадо.

— Погоню, а то опоздаю,— встревожен был свинопас.

Шалико не ответил, упрямо смотрел на него, может, обидно стало, что, соскучившись по человеку, так скоро лишился этой радости и вновь оставался один.

Гость сделал шаг, остановился, повернулся к Шалико.

— Выбери одну,— показал на свинью,— и оставь себе.— С трудом сказал, будто не было у него другого выхода.

Шалико не торопясь, спокойно поднял ружье, выбрал среднюю по размеру, прицелился и выстрелил. Животное беззвучно рухнуло.

— Ну, я пошел. Будь здоров! — Пройдя немного, повернулся и крикнул: — Мясо не испортить, закопти!

Шалико впервые усмехнулся. Долго следил, как он размахивал палкой, загоняя стадо в глубь леса.

Когда свинопас скрылся из виду, Шалико резко развернулся и быстрым деловым шагом

направился к дому.

К стене подошел. Медленно начал обходить. Смотрел вниз. Колючие кусты осторожно раздвигал и у основания стены что-то искал. Остановился, нагнулся. Раздвинул сухие травы и вытащил осколок стекла величиною в ладонь.

Вошел в комнату. Очистил стекло от грязи рукавом пиджака, приложил к стене. Заглянул, себя увидел. Долго всматривался в отражение — впалые щеки, неопрятная щетина...

Была ночь. Шалико смотрел на угли. На веточке жарилось мясо. Вблизи ухнула лесная птица.

Начинало светать.

В старом лесу появились три всадника. Ехали осторожно, мягко ступая на опавшие листья. Двое, одетые в милицейскую форму, были молодые. Третий, в гражданском был постарше.

Покачиваясь в седлах, с оружием наготове, озирались по сторонам.

Когда вдаль заметили скрытый в зарослях дом, остановились. Спешились. Привязали коней. Разошлись и, хоронясь за деревьями, короткими перебежками приблизились к дому. Окружили. Грузный проверил оружие и, прячась за деревом, крикнул:

— Шалико!

На лежанке, скрючившись, завернувшись в шинель, спал Шалико.

В углу, на земляном полу, тлели угольки. Услышав крик, Шалико вскочил.

Вновь донесся голос:

— Выходи, сдавайся! — Это был другой, молодой голос.

Шалико крепче вцепился в ружье.

— Это я, Гаиоз! Выходи! За тобой пришел!

Шалико задумался. Глазами нашел мешок. Взят. Затем раздраженно бросил в сторону. Схватил кинжал. Осмотрел комнату.

— Никуда не уйдешь, сдавайся! — послышался третий голос.

Он усмехнулся с досадой и грустью. К дверям подошел. Открыл, выглянул наружу. Никого не было видно. Сделал шаг, вышел. Себя показал не скрываясь. Вздохнул. Будто от тяжести освободился.

Из-за дерева за ним следил Гаиоз. Увидев Шалико, спрятал оружие в кобуру, вышел.

— Здравствуй, Шалико,— крикнул изда-лека.

Шалико медленно направился к нему с едва заметной улыбкой.

Двое молодых сразу появились из укрытия, прямо направив на него ружья.

Увидев их, Шалико резко остановился.

Затем подошел к Гаиозу.

— Здравствуй! — сказал Шалико, протянул ему ружье и кинжал.

— Здравствуй,— ответил тепло, руку протянул.

Поздоровались. Затем Гаиоз на своих посмотрел.

— Опустите ружья,— приказал раздраженно.

Шалико все еще смотрел на Гаиоза: — Свинопас сказал?

— Не знаю. Из района получили приказ. Сегодня должен тебя в город доставить...

Шалико кивнул головой.

— Курить найдется?

— Я ведь не курю,— напомнил Гаиоз.

— Да, правда, забыл...

— Приведите лошадей,— распорядился Гаиоз, даже не взглянув на молодых.

Когда остались одни, Шалико спросил: — Как мои? — Весь напрягся в ожидании вестей.

— Ничего... На той неделе заходил...— уклончиво ответил он.— С мамой поговорили...

— А эти кто? — на молодых кивнул, которые уже вели лошадей.

— Из района прислали... На кой черт они мне нужны.

Те подошли. Удивленные, смотрели то на Гаиоза, то на Шалико.

Гаиоз взял своего коня за уздечку. Молодые вскочили в седла. Гаиоз поставил ногу в стремя, только приготовился сесть, передумал.

— Возьмите,— протянул уздечку одному.— Мы пешком пойдем.

Те не шевелились.

— Не поняли?! — рявкнул на них.

Молодые спохватились, взяли коня и направились по тропинке.

Гаиоз и Шалико пошли следом. Скоро наездники исчезли, их не было видно.

Шаг у Шалико был легкий, свободный. Сухие листья нарочно ворошил ногами. Гаиоз временами поглядывал на него.

— Хорошо, что снег опоздал, а то измучился бы здесь...

Шалико кивнул головой в знак согласия.

— Трудно было?

— Да, очень.

Некоторое время шли по сухому оврагу.

— Жора вернулся, Ника вернулся... От Васо, Коли и Евгения плохие вести.

Шалико внимательно слушал. Видно было, вспоминал каждого.

В лесу у родника остановились.

В одном месте умело была сложена запруда из камней.

— Давно я тут не был,— преклонил колено и жадно начал пить воду Гаиоз.

Напившись, тяжело поднялся, с шумом вздохнул.

Шалико наклонился. Попил немного. От холодной воды свело зубы.

На секунду выглянуло солнце и вновь скрылось за облаками.

— Вкусная вода,— сказал Гаиоз и посмотрел на Шалико.

— Сколько мне присудят? — неожиданно спросил Шалико.

Гаиоз не ждал вопроса, задумался.

— Как тебе сказать... Ты убийца... наверное, много...

Шалико вздрогнул. Отвернул голову в сторону. Взгляд стал тяжелым, мрачным.

Лес кончился. Склон спокойно катился вниз, и далеко на равнине деревня показалась, за которой серебристой змеей текла река.

Высокие тополя от ветра бесшумно качались.

Кое-где уже проснулись, и трубы домов густо дымили.

Шалико смотрел на деревню, безлюдную, холодную, будто озябшую в это декабрьское утро. Далеко в горах лежал снег.

Лошади были привязаны к огромному дубу. Милиционеры в ожидании убивали время игрой в ножички.

— Вон появились,— издали завидев Гаиоза и Шалико, сказал один. Он почистил нож, вяло закрыл и положил в карман. Затем встал и оправил форменный пояс.— Как он не побоялся остаться с ним наедине?

— Чего ему бояться, двоюродные братья,— ответил второй.

— С такими людьми эти родственные игры не проходят,— строго сказал первый и фуражку приладил. Подошел к дереву, где ружья были приставлены.— Думал, такая пальба начнется, сопротивляться будет... И нам спасибо сказали бы,— с досадой произнес.— А ничего и не было.— Вдруг вскинул ружье и на мушку поймал пролетевшую над ним ворону. Затем опустил ружье вниз.

— Я думал, он страшнее,— сказал первый.

— Один был у нас — летящего воробья из винтовки снимал...

— Сноровка нужна... Тоже мне дело!..

Гаиоз и Шалико остановились неподалеку от них. О чем-то поговорили. И разошлись. Гаиоз направился к дереву. Шалико быстрым шагом, почти бегом, стал спускаться по склону к деревне.

Молодые изумленно смотрели на Гаиоза.

Тот подошел. Не взглянув на них, взялся за уздечку.

— Куда его отпустили?! — вырвалось у одного.

— С деревней попрашивается... один час попросил.

Тишина воцарилась. Молодые посмотрели друг на друга. Гаиоз сел на коня.

— И что, так разве можно?

— Можно... по-человечески все можно... — без особого желания ответил Гаиоз.

— А если не вернется?

— Вернется! — твердо сказал Гаиоз.

— А почему должен попрашаться? — все не мог успокоиться один из них.

— Не видишь, что с человеком?! Он уже с жизнью распрощался... Сам сдался, — яростью налились глаза у Гаиоза. — Потому и должен попрашаться, что надолго уходит. Может, вернется, а может, и нет... Если вернется, еще вопрос, кого живым застанет... Так жизнь устроена, сегодня тебе хорошо, а завтра, может, умрешь...

Молодые потрясенно смотрели на него.

— Чего устались, как ослы? — огрызнулся Гаиоз и прищипил коня.

Дул пронзительный ветер.

Шалико наглухо застегнул шинель, глубже натянул кепку и, засунув руки в карманы, уверенным шагом вошел в деревню.

Дворы были пустые. И на дороге никого. Даже собаки скрылись — так было холодно. Слышен был только вой ветра.

Шалико подошел к парикмахерской. Внутри горел свет. Он заглянул в окно маленькой комнаты, где только один стул стоял перед зеркалом.

Лысый парикмахер вяло передвигался по комнате. Собрал инструменты в одном месте. Затем подошел к репродуктору, который висел в углу, прибавил звук.

Шалико оглянулся и толкнул дверь.

— Побреешь, дружок? — сказал и начал раздвигаться.

В зеркало парикмахер увидел спину вошедшего.

— Заходи.

Шалико повесил кепку, сел на стул и очень внимательно начал рассматривать себя в зеркале.

Парикмахер подошел к керосинке, снял чайник, залил горячую воду в миску и в высокий металлический стакан.

Даже не посмотрел на клиента. Потянул прикрепленный к гвоздю широкий ремень и лениво начал точить бритву. Наточив, пальцем проверил остроту. Бросил равнодушный взгляд на пришедшего, увидел заросшие щеки.

Прислушиваясь к последним известиям по радио, положил горячую салфетку на лицо клиента. Затем кисточкой намылил бороду.

Вдруг с шумом, резко открылась дверь...

Шалико замер.

Парикмахер спокойно подошел, захлопнул дверь, закрыл на задвижку. Оказывается, ветер был виновен. Шалико облегченно вздохнул.

Парикмахер постепенно входил в рабочий раж.

— Сорок дней носил? — спросил нежданно. Высокий у него был голос.

Шалико кивнул.

— Ближкого потерял?

Шалико снова кивнул.

— Целый год носил, когда у меня мать умерла... А вообще, не люблю бороду... Одну щеку докончил. Вторую подновил пеной.

Кто-то постучал в окно. Шалико бросил взгляд в зеркало.

Тепло укутанный старый почтальон стоял у окна и размахивал сложенной бумагой. Парикмахер подошел вплотную.

— Чего?

С улицы слабо доносился голос мужчины.

Парикмахер убавил звук в репродукторе.

— Хорошие вести, хорошие! — Глаза сверкали радостью у старика.

— Кому? — спросил парикмахер.

Тот не расслышал и ухо приложил к стеклу.

— Кому, кому же?! — громко повторил, почти закричал.

— От сына Нины, Нины! — смеялся беззубым ртом старик.

— Да, хорошие дела, — улыбнулся. — Давай, давай! Увидишь, как угостят, может, два дня не поднимешься...

Старик, не дослушав, помахал рукой и отошел от окна.

Парикмахер продолжил работу.

Шалико смотрел на себя, помолодевшего, сильно изменившегося. Глаза стали более спокойными, исчезли недоверие и тревога, которые завладели им в последнее время.

Парикмахер снова налил в миску горячую воду, разбавил холодной. Мизинцем попробовал. Намочил салфетку, отжал и приложил к выбритому лицу клиента. Снял салфетку и впервые внимательно посмотрел на сидящего перед зеркалом. От удивления остолбенел, не веря своим глазам.

— Да, Шалико я, Шалико... — спокойно сказал.

Тот стоял оцепенев.

— Чего напугался?! — И резко встал.

Сам побрызгался одеколоном. Взял расческу. Давно немые волосы сопротивлялись зубцам гребешка. Швырнул его на стол. Еще раз посмотрел на парикмахера, растерянного и перепуганного.

Быстро надел шинель. Натянул кепку.

— Денег нет... за мной будут. — И потянул к себе дверь.

Она не открывалась. Отбросил задвижку, вышел.

С мокрой салфеткой в руках парикмахер подошел к окну, прислонился лбом к стеклу и глядел до тех пор, пока односельчанин не скрылся.

Спрятав голову в высокий воротник шинели, Шалико быстро шагал по узкой дороге.

Две старухи показались навстречу. Двух коров вели и тихо беседовали.

Он скрылся за каменной изгородью. Женщины не спеша прошли мимо.

Шалико вышел на окраину деревни и направился в поле.

Появилось кладбище с часовней. Подошел близко. Посмотрел на оголенную дикую грушу, увешанную разноцветными ленточками, которыми играл холодный ветер. Пошел вдоль могил. Две новые заметил, совсем свежие. У одной — несколько цветов увядших лежали, у второй — опрокинутая пустая бутылка и стакан. Ни надписей, ни другого знака, означавшего, кто покоится под этими насыпями, не было.

У могилы отца остановился. «Сэте. 1870—1943». Хорошо, аккуратно выглядело. Обошел. Опустился на колени. От сухой травы и камешков освободил могилу. Затем к дереву подошел. Расстегнул шинель. Выпустил из-под пояса нижнюю рубаху. Оторвал подол белой лентой и привязал к ветке.

Обошел деревню вокруг, будто входа искал.

Подошел к дому своего друга узкими боковыми тропинками.

В глубине двора долговязый подросток хозяйничал. Сено таскал. В хлев зашел и долго оттуда не выходил.

Высунутая в окно труба дымила. Шалико открыл калитку и быстро пересек двор. Остановился у дверей дома. Прислушался. Был взволнован. Расстегнул воротник шинели. Снял кепку и рукой причесался. Открыл дверь. Осторожно вошел. Внутри было темно. Огляделся. Заглянул в маленькую комнату.

У окна сидел Павле. На подоконнике стояло зеркало и он, не торопясь, брился. Шалико видел его сильную спину, которую плотно облегла рубаха.

— Здравствуй, Павле! — голос его задрожал.

Павле повернулся. Наполовину был побрит и, увидев Шалико, тут же засуетился: бросил бритву, схватил костыли, приноровился к ним и встал.

По-мужски обнялись.

— Хотел выйти, поискать тебя... но с этой проклятой одной ногой много не шагаешь, — оправдывался Павле и, соскучившись по другу, жадно на него смотрел. — Сегодня утром пришли, и я сдался... Гаиоз был, — разъяснил ему Шалико.

— Правильно поступил... Хочешь поесть? — предложил.

— Нет... один час попросил, чтобы попрощаться со своими.

— Очень ты похудел, — заботливо сказал Павле, внимательно разглядывая его. — Прияды!

— Нет, времени мало... Но ненадолго можно... Устал...

Сел. Шинель расстегнул, локтями оперся на стол.

Дверь открылась. Сын Павле вошел, долговязый. За этот короткий срок будто возмужал и крепче стал.

Увидев гостя, напустился. Было видно, что недоволен его присутствием.

Павле забеспокоился.

— Поздоровайся... забыл, как это делается? — как можно мягче, но требовательно сказал Павле.

Мальчик что-то пробормотал. Затем разборчиво и внятно сказал:

— Пойду, скоро буду. — И вышел из комнаты.

Воцарилась тишина. Шалико глядел на стол. Павле неловко заерзал.

— Недоволен твой моим приходом, — с досадой произнес Шалико.

— Да... А как же, ты ведь человека убил, — с грустью сказал и посмотрел на друга.

— Что поделаешь, так сложилась моя жизнь... От такого ада спасся и где споткнулся! В своем доме, в своей деревне, — вздрогнул. — Ничего не могу понять в этой жизни.

Огляделся по сторонам, остановил взгляд на Павле, облокотившемся на костыли. Прочитал сочувствие в глазах друга, смирившегося с судьбой инвалида.

— Как же мой сын меня встретит? — тихо проговорил Шалико и встал.

— Кто-нибудь тебя видел? — спросил Павле.

— В парикмахерской был, побрился.

— Тех остерегайся... его брата... Они уже наверняка знают, что ты здесь, — посоветовал Павле.

Шалико о чем-то задумался.

Павле спросил:

— Понял?

— Знаю... Гаиоз предупредил, — безразлично сказал он и обнял друга. Приник к нему.

Он стоял жалкий, растерянный.

— Иди, не опоздай, — тихо сказал Павле.

Шалико очнулся. Надел кепку. Вышел на

крыльцо. Встряхнулся и быстрым шагом пересек двор.

Из хлева сын Павле показался. Проследил за гостем. Когда Шалико скрылся из виду, долговязый направился к дому.

Во дворе стоял низкий маленький дом, выложенный из камня. Шалико постучал в дверь.

Дверь медленно открылась. Появился высокий старик в очках. Увидев гостя, не удивился. Будто ждал.

Строгий, величественный взгляд.

— Войди, Шалико,— сдержанно сказал, уступил дорогу.

Шалико вошел в большую комнату. На столе книги, тетради, ручка в чернильнице и исписанный лист бумаги. Старик писал письмо.

— Садись! — пригласил.

Шалико неловко присел на край стула. Хозяин был свежевыбрит. Старый пиджак ладно сидел на нем.

— Пятое письмо пишу,— кивнул старик на стол.— Уже год ничего не знаю о моих мальчиках. Тяжело так жить...

Шалико внимательно, с почтением слушал. Старик не знал, что еще говорить. Помолчал, глядя в окно.

— Странная погода... Непонятная... Без конца идет дождь.— Снял очки, потер переносицу.— Перед Новым годом в это время снегу бывало достаточно... А теперь?

— Как мой сын себя ведет? — спросил Шалико.

— Хороший мальчик. Похож на тебя... Так же красиво пишет, как и ты... Хорошая рука...— Взял одну тетрадь, полистал и протянул ему.

Шалико прочитал несколько строчек. Улыбнулся. Закрыв тетрадку и положил на место.

— Я пошел! — И встал.

Старик тоже поднялся. Посмотрел на него холодно, осуждающе.

Шалико почувствовал этот взгляд, опустил голову и сказал:

— Одна просьба будет... за сыном посмотрите, чтобы не обижали.

— А для чего ж мы существуем,— с некоторым раздражением сказал старик.

— До свиданья.

— До свиданья... Ты об этом не беспокойся!

До дверей проводил гостя. С сочувствием смотрел вслед Шалико, одетому в длинную шинель.

Шалико прошел виноградник. Взглянул на пугало. Низкую калитку толкнул, которая отделяла двор от виноградника. С задней

стороны подобрался к своему владению. Обвел взглядом двор и почти бегом направился к дому. Остановился на веранде. Поправил шинель. Снял кепку. К дверям подошел, прислушался и осторожно открыл.

В кухне на низком стуле сидела Марго и изо всех сил терла песком кастрюлю. Занятая делом, даже голову не подняла.

Долго смотрел на нее Шалико. Марго чуть передохнула, рукой поправила косынку на голове и увидела Шалико в дверях и вздрогнула. Опустила кастрюлю и, не издав ни звука, сорвалась с места.

Обнялись. Так стояли долго. В глазах у женщины появились слезы. Беспомощно положил голову на ее плечо. Истосковавшись по ласке и теплу, вдруг остро ощутил свою беду.

Марго чуть шевельнулась, хотела взглянуть на мужа, но он еще крепче ее прижал к себе, боясь разрушить покой, право на который так ненадолго он получил. Погладил жену по волосам.

— Где сын? — шепотом спросил.

Марго очнулась.

— С детьми на речку пошел...

Друг на друга смотрели с тоской.

— Мало времени осталось... приведи, попрощаться должен.

Она не поняла и вопросительно посмотрела на него.

— В милиции ждут... в город меня везут,— разъяснил он.

Тревога вспыхнула на ее лице, и появилось выражение мучительной беззащитности. Забеспокоилась. Сняла передник, бросила в сторону.

— Может, поешь? — спросила.

— Ты иди, я сам...

Марго нашла шаль, быстро накинула, еще раз посмотрела на мужа и выскользнула за дверь.

Стало тихо. Слышен был только гул печки. Шалико открыл дверцу, поглядел в огонь, пока не ощутил жар на лице. Поленом разворошил угли и затолкал его поглубже.

Оглядел кухню, как всегда, чистую и прибранную. Вышел в столовую.

На часы взглянул, которые мерно тикали,— было десять часов с минутами. Перед тем как войти к матери, снял шинель. У дверей помедлил, затем вошел.

Мать смотрела в потолок. Постель ее была белоснежной. Увидела сына, от радости издала глухой звук и глаза засияли.

Шалико сел на кровать и обнял старушку. На грудь положил голову.

Мать здоровой рукой гладила сына по спине.

Шалико смотрел в глаза матери и, пересиливая себя, с улыбкой начал:

— Хорошо выглядишь, мама... молодец.

А ну-ка, подними руку.

Она медленно вытянула руку.

— Видишь, как хорошо получается... еще чуть-чуть и совсем выздоровеешь, все будет в порядке.

Комнату обвел взглядом. Посмотрел на кровать Ираклия.

— Мама, я опять должен уехать. Зовут бывших фронтовиков большой завод строить... Знаешь, ведь какое трудное время,— отвел глаза, на секунду замолк.— Письма буду присылать, Ираклий будет читать их тебе... Смогу вырваться, приеду. Хотя завод большой, времени много понадобится...

Она внимательно слушала, кивала головой.

Дул холодный ветер. Марго вышла за окраину деревни. С шалью в руках бежала по полю к речке.

На берегу резвилась стайка детей. Самый высокий с сеткой рыбачил. Как только он вытаскивал сетку на берег, ребятня дружно подбегала. Потом они вместе шли вдоль реки.

Марго передохнула. Ветер мешал дышать. Собрала силы, крикнула:

— Ираклий, Ираклий!

Никто не обернулся. Не расслышали. Продолжали рыбачить.

Марго еще немного прошла, снова крикнула.

Дети оглянулись. Марго помахала рукой.

Один из маленьких, лениво, нехотя, отделился от друзей и к ней направился. Вдруг остановился, опять вернулся к своим. Видимо, кто-то позвал. Потом не спеша пошел к матери.

— Что такое? — недоволен был, что оторвали от дела.

— Отец ждет... Быстро. Ненадолго пришел,— выпалила она без подготовки.

Осознав сказанное, Ираклий сорвался с места и помчался в сторону дома. Марго побежала за ним.

Мать Шалико спала.

Он смотрел в окно — было видно айвовое дерево. Созревшие плоды на серебристых веточках, как елочные игрушки, ярко светили в эту погасшую погоду. Ветер подул. Дерево шевельнулось. Один плод сорвался и бесшумно опустился за окном.

Шалико очнулся. Осторожно опустил на кровать руку матери, которую нежно держал в ладонях. Встал и на цыпочках вышел. Прошел столовую, в свою спальню заглянул. Выдвинул ящик, достал фотографии и письма, перетянутые бечевкой. Развязал.

Часы зазвенели. Он вздрогнул. Посмотрел на стрелки — было половина одиннадцатого.

6 «Киносценарии» № 1

Перебрал фотографии. Взял одну и положил во внутренний карман пиджака. Вышел из комнаты. Снял со стула шинель и надел.

На кухне открыл створку буфета. Нашел нож. Хлеб. Отрезал кусок. Есть не хотелось.

Взял кепку, которую при входе бросил на стол, и вышел на веранду. Деревянные половицы на веранде заскрипели. Нуждались в замене.

Многое оставалось недоделанным. Запущенным и осиротевшим выглядел двор. Холодный, со свистом пронесился ветер.

В хлев заглянул. Глаза сверкнули в темноте. Шалико подошел ближе, погладил мула, подбросил сена.

Свет проникал сквозь отверстие в перекрытии. Посмотрел вокруг. Кусок фанеры заметил, валявшийся в углу. Отряхнул, примерил к отверстию. Поплам переломил о колено. Между стропилами засунул одну половицу и закрыл дырку. Вышел из хлева.

Что-то вспомнил и прямо пошел к айвовому дереву. Вблизи рассмотрел спелые, гордо застывшие плоды. Под ноги взглянул. Нагнулся. Упавшую айву поднял. Она была большая. С любовью смотрел, стал жадно нюхать... Одурманило.

Об рукав шинели почистил, отлакировал бок, решил откусить, но передумал и положил в карман.

Вернулся на веранду. Снял кепку и пятерней несколько раз нервно провел по волосам.

Курицу проследил, которая в заборе искала щель.

Взбудораженный и запыхавшийся, выскочил из-за угла Ираклий, чуть не столкнулся с отцом.

Остановился как вкопанный. От бега лицо горело.

Шалико растерялся. Слышалось тягелое и частое дыхание сына. Рукой произвольно коснулся лица Ираклия.

— Мокрый,— вырвалось.

— Бежал,— оправдался сын.

Повисла тишина. Они молча смотрели друг на друга.

Вбежала Марго, еле переведя дух.

— Так далеко ушли, оказывается... Войдем в дом...

— Тороплюсь. Должен уходить,— очнулся Шалико.— Ждут. Проводишь? — с тревожным ожиданием спросил Ираклия, боясь отказа.

Тот покорно кивнул головой.

— Шнурок завяжи, наступишь и упадешь,— осмелел Шалико.

— Подожди, что-нибудь приготовлю,— засуетилась жена.

— Ничего не надо,— остановил Шалико.

— Тогда пальто одену.

— Ты здесь останься.

— Почему?

— Останься,— спокойно и твердо сказал.— Он проводит, нам поговорить надо.

Марго, потрясенная, смотрела на мужа. Шалико подошел близко, обнял ее. Она припала к нему.

— Ну, смотри!.. Прости...— с трудом выговорил он, встретившись со взглядом сына. Засмутился.

Отошли друг от друга, глазами попрощались.

— Войди в дом! — тепло попросил.

Встрепенувшаяся Марго попятилась назад и спиной открыла дверь.

Шалико смотрел на нее до тех пор, пока она не закрыла за собой дверь. Повернулся к Ираклию, который ждал его распоряжения.

Шалико пошел вперед. Сын последовал за ним.

Только спустились по лестнице, голос их догнал из дома, прямо в спину ударил — нечеловеческий крик — боли, отчаяния.

Шалико всем телом напрягся, замер, стал вслушиваться. Больше не слышалось ни звука. Просвистел ветер и по лицу ударил. Шалико решительно направился к калитке.

В надвинутой на глаза кепке, с поднятым воротником по дороге шел человек. Это был брат убитого, крепко сложенный блондин лет двадцати. Держась на небольшом расстоянии от Шалико, он преследовал его.

Ираклий шел так же нерешительно и неопределенно, как и отец. То вперед смотрел, то по сторонам, то на отца косился, на его сапоги. Наготове был — в любую секунду ждал разговора.

Блондин рукой нащупал охотничью одностволку, не сводил глаз с Шалико. Затем воровато огляделся и скрылся за забором.

Шалико смотрел на спину сына, покорно и молча шедшего перед ним.

Трудно было Шалико заговорить. Нахмурив брови, искал слова и не находил. На себя злился. Наконец решил. Хотел было поглядеть сына по голове, но отдернул руку. Колокольчик зазвенел, резко, совсем рядом, будто полоснул утреннюю тишину. Белый козел вылез в щель забора. С поднятой мордой равнодушно и гордо пересек дорогу, забрался на каменную ограду и спрыгнул в другой двор. Шалико зло проводил его взглядом.

Блондин уже в другом месте поджидал Шалико, следил за ним.

Медленно поднял ружье, прицелился... Вздрыгнул. За длинным стогом сена, воздвигнутого, как дом, скрылся Шалико, убийца его брата. Лицо перекосилось у блондина. Пробежав дальше, заметил старика-пастуха

с овцами, которые неторопливо двигались навстречу.

Юноша не задумываясь перепрыгнул, как кошка, через забор и скрылся.

Молча, склонив головы, на расстоянии шли по дороге Шалико и Ираклий.

Шалико засунул руку в карман.

— Айву хочешь? — как ребенок обрадовался, когда нашел что сказать.

Ираклий мотнул головой.

Блондин взглядом проследил за пастухом и вновь вышел на дорогу. Сделал короткую перебежку, у забора остановился. Поднял ружье и начал ждать появления Шалико на перекрестке. И оторопел, когда увидел Шалико вместе с сыном.

Ираклий шел рядом с отцом. Они прошли перекресток и скрылись за забором.

Блондин растерялся. Смотрел на Шалико, который постепенно удалялся от него.

Непроизвольно рванул с места, побежал соседней улочкой к другому перекрестку. Оттуда стал следить за Шалико.

Шалико приостановился. В конце дороги показался двухэтажный белый дом. Было очень тихо.

Мышцы дрогнули на скулах. Резко взглянул на сына. Тревога его охватила.

Снова ветер подул. От холода Ираклия передернуло.

Шалико обнял сына за плечи, притянул к себе.

Мальчик расслабился, прижался.

Блондин наблюдал за ними.

Шалико медленно опустился, присел, заглянул в глаза сыну. Крепко его прижал. Ираклий тоже обнял отца и горячим дыханием обдал его шею. Шалико застыл, от счастья закрыв глаза.

Во взгляде Ираклия появилась печаль.

— Все же я был не прав,— слышался ему голос отца, который шепотом посвящал его в тайну.— Не имел права убивать человека.

Ираклий напрягся.

Держа голову сына, заглянул ему в глаза.

— Понял? — спросил прямо.

Ираклий кивнул. Взгляд у него был искренний.

Шалико вновь обнял его, поцеловал и замер на некоторое мгновение. Затем медленно поднялся и строго сказал:

— Иди домой... давай... сам знаешь.

Ираклий не шелохнулся.

— Иди,— с мольбой вырвалось.

— Провожу...

— Беги и не оглядывайся,— шутя, весело сказал, как игру предложил.— Ну, давай же,— подбодрил сына.

Ираклий попятился, потом развернулся и побежал.

Улыбка застыла на лице Шалико, на сына

смотрел, опрометью бежавшего по дороге.

Шалико опустил голову. Задумался. Затем потянулся всем телом, словно освободившись от тяжести.

Блондин медленно поднимал ружье.

Шалико поправил кепку, посмотрел на белый дом и решительно пошел.

Дуло проследило за ним, и вдруг лицо блондина искривилось, его начало трясти. Будто неведомая сила тянула ружье вверх. И когда руки поднялись над головой, он отчаянно зарычал и дернул за курок.

Прогремел выстрел.

С диким лицом, сотрясаясь всем телом, смотрел он на Шалико, который, обернувшись, застыл в недоумении.

Беззвучно плакал юноша. Слезы наполнили большие голубые глаза. Улыбка или даже радость мелькнула на его детском лице.

Он повернулся и, всхлипывая, как младенец, волоча ноги, медленно пошел.

Шалико, оторопевший и потрясенный, следил за юношей, который свернул с дороги и побежал через вспаханное поле.

1988 г.



**Александр
МЕДВЕДКИН**

ДУРЕНЬ ТЫ, ДУРЕНЬ!

Сатирическая комедия

Стоит Дурень перед строящимся фабричным корпусом.

Стоит Дурень-инженер.

То глянет на чрезвычайно маленькую дверь уже выстроенного цеха, то на стоящую грандиозную, литую машину...

То на дверь,
то на машину.

И сразу, даже недалекому человеку должно быть ясно: выстроили цех, а о том, что нужно ставить в него машину, — просто забыли!

А Дурень-строитель все не верит этому. Все не поймет, что промахнулся.

Глядя — то на дверь,
то на машину —
мучается он в сомнениях, вспоминает что-то, что-то в уме прикидывает, что-то мысленно вымеряет, научно сравнивая маленькую-маленькую дверь и грандиозную машину...

И вдруг, стукнув ладонью по лбу, «Стойте!» — завопил Дурень кому-то навверх.

СТОЙТЕ!

И на неистовый крик этот бросили каменщики работать.

И спросили сверху: — «Чего там?»

А Дурень, нервно потроша свои карманы, кармашечки и карманищи, быстро выгружал

из них то, что заменяло ему план: листочки, блокнотики и просто клочочки исписанной, истертой бумаги...

Напряженнейше пытался Дурень поймать какую-то утерянную им мысль...

Очень ясно было, что не влезет в маленькую дверь грандиозная литая машина...

И Дурень, пропотев от внутреннего напряжения, прошептал, роясь в бумажках:
КАЖЕТСЯ...

Выпали и разлетелись по земле истертые и измятые бумажечки и блокнотики...

В порыве новых сомнений бросился Дурень на колени и, поднося к близоруким глазам все новые и новые бумажки, никак не мог рассеять своих сомнений несчастный спец...

А каменщики молча ждали.

И наконец, подняв голову вверх, на каменщиков, и все еще растерянно шаря в пустых карманах, заскулил Дурень:

**ОЙ, КАЖЕТСЯ НЕ ПРОЛЕЗЕТ!..
ОЙ, ЗАБЫЛИ Ж МАШИНУ!**

И взбузили каменщики: строили-строили, мучались-мучались, а тут... И заорали они спецу обидные всякие слова...

— «Цыц», — начальственно гаркнул Дурень и сурово приказал, указывая на стену:
ЛОМАЙ!

И каменщики, покоряясь начальственному окрику, стали ломать только что сложенную кирпичную стену...

Отдирая кирпичи, откалывая их ломами, крушили они новостройку...

А Дурень собрал в карманы почти всю свою странную документацию, когда подбежал к нему некий техник и, схватив за рукав, таинственно оглянулся и зашептал ему на ухо:

УБОРНЫЕ-ТО... ЗАБЫЛИ?!

— ударили во весь экран тревожные слова.

И совершенно уже обалдев, схватился Дурень за кармашечки.

Быстро выбрал среди истертых бумажек измятый эскизик.

Бросившись на землю, расправил его и, разглядывая, про себя прошептал:

КАЖЕТСЯ...

И вдруг, сорвавшись, вместе с техником, убегая, завопил:

ОЙ, ОЙ, ОЙ!..

...В какой-то конторе — дым коромыслом. Двадцать сотрудников выворачивали наизнанку папки, потрошили шкафы, искали что-то под столами, под креслами...

Почти по пояс засыпана сугробами бумага канцелярия.

Иные сотрудники с головой зарылись в вороха бумаг, иные, сидя на высоких шкафах и выбрасывая из папок бумаги, подняли снежный вихрь...

ЧЕГО ИЩЕТЕ?

На этот вопрос зрителья откуда-то из сугробов вынырнул совершенно запарившийся Управдел и, тяжело дыша, ответил:

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН И СМЕТУ ИЩЕМ!..

— и стерев пот, нырнул на новые поиски... И забушевало, разволновалось бумажное море.

Поплыли книжные шкафы, закачались на волнах столы начальников и подчиненных...

Тонули и вырывали сотрудники...

Терпел бедствие и Дурень...

ДА БЫЛ ЛИ ПЛАН-ТО?

— спросил его вынырнувший Управдел. Дурень вдруг даже дернулся, что-то вспомяная:

КАЖЕТСЯ...

И вдруг ужаснулся, вспомнив:

ОЙ, КАЖЕТСЯ, ЕГО И НЕ БЫЛО!..

И разом бросив поиски, полезли со шкафов измученные сотрудники...

...В газете, там, где обычно объявляют о покойниках, напечатаны одно под другим два объявления:

**КОЛЕНЬКА ГРОБ
ТИХО СКОНЧАЛСЯ.**

**ЦКК ПРОСИТ ДУРНЯ ИВ. ИВ.
ЗАЙТИ В КОМНАТУ № 133*.**

...Перед богатым подъездом ЦКК оставился фордик.

И вышел из фордика — ни жив ни мертв — Дурень Ив. Ив.

Хочет пойти — ноги не слушаются.

Идет вперед — спотыкается...

Усадили Дурня на круглый, неуютный стульчик.

С трех сторон уставились на него хмурые люди: рабочие, крестьяне, красноармейцы, комсомольцы и пионеры...

ДУРЕНЬ ТЫ, ДУРЕНЬ!

— сказали справа.

ГЛУПЫЙ ТЫ БАБЕНЬ!

— сказали слева.

ЧТО Ж ТЫ НАСТРОИЛ?

И завертелся Дурень на винтовом стуле. Справа — налево, слева — направо...

Вертится, вертится, вертится Дурень!.. Дым коромыслом!

И нажимают серьезные люди:

**А ТЫ БЫ, ДУРЕНЬ,
НАЧАЛ БЫ С ПЛАНОВ.
СОСТАВИЛ БЫ СМЕТЫ,
А ПОТОМ БЫ И СТРОИЛ!**

И вышел Дурень из бокового подъезда ни жив ни мертв.

К фонарю приткнулся...

Снял с него шофер пиджачишко, снял и сорочку.

Как безжизненную куклу, наклонил Дурня.

Бухнул ему на голову воды ведерко...

И усадил ожившего в машину.

И быстро тронул, подняв тучу пыли...

...В безводном районе три человека руют колодезь.

Измощены и потны. Голы по пояс. Умирают от жажды.

Бросили работать. Тяжело дышат.

И сказал один из них исхудалой бабенке, наклонившейся над ямой:

**НУ, ЧЕРЕЗ НЕДЕЛЬКУ И ВОДА
БУДЕТ...**

И вспомнив о воде, трое, поплевав на руки, с новой энергией принялись выбрасывать лопатами землю...

Стоит столб. На столбу — дощечка. На дощечке обозначено:

«ГОСРОЙЗЕМЛЮ»

У столба под дощечкой стоит Дурень — **НОВЫЙ НАЧАЛЬНИК**

* ЦКК — Центральная контрольная комиссия РКП(б) — в те годы жестоко карала головопатов и перерожденцев, выявляя чужаков, примазавшихся к партии, разыскивая их подчас и через объявления в газетах (Автор).

Мрачно насупившись, с огромным портфелем, шагнул он к работающим землекопам...

А трое работают. Молча наклонился над ними Дурень и вдруг спросил:

А СМЕТЫ?

Не бросая работать, спрошенный отрицательно мотнул головой: — «Нет смет!»

И зашел Дурень с другой стороны:

А ПЛАНЫ?

— «Какие тебе планы?!» — отмахнулся второй рабочий.

И рванулся Дурень:

А ЧЕРТЕЖИ?

— «Вот привязался! Нет чертежей!»

— «Стойте!» — заревел на них Дурень.

И бросив работать, удивленно замерли, а затем, поняв, что хотят, взроптали было рабочие.

— «Цыц!» — рявкнул на них Дурень.

И полезли из ямы рабочие, злобно побросав лопаты.

ДОЛГО ЛИ, КОРОТКО ЛИ, ПРОШЛО ДВА МЕСЯЦА...

Развернул Дурень вокруг колодца гигантское строительство.

Забором обнес он стройку.

Выстроил сторожевую будку.

Сквозь окна будки видно, что она битком набита вооруженными охранниками.

На контрольном посту, под вывеской — «ГОСРОЙЗЕМЛЮ», еще два охранника.

К ним и подошла толпа колхозников с ведрами.

Но наотрез отказались охранники пропустить их на стройку.

И взроптали колхозники:

**СКОТ КОЛХОЗНЫЙ БЕЗ ВОДЫ
ДОХНЕТ!.. ПУСКАЙ К ГЛАВНОМУ!**

Но не пустили их охранники.

И пошли, поплелись колхозники обратно.

Завернули за угол.

Поплелись восвояси.

Внезапно, на призыв одного, остановились и увидели, что забор здесь не достроен и проложена мимо последнего звена забора хорошо протоптанная дорога на стройку и что вся охрана ничего не стоит!..

Пошли по дорожке колхозники безо всяких пропусков.

А пятнадцать охранников сидели наготове в сторожевой будке, и два дежурных неумолимыми часовыми ходили у хорошо охраняемых ворот.

Идут колхозники среди удивительных учреждений стройки.

Мимо дома с вывеской — «ПЛАНОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ И СМЕТНЫЙ СЕКТОР».

Мимо второго дома — «СЕКТОР НЕЗА-

ВИСАЩИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ И ОЧЕРЕДНЫХ ЗАТРУДНЕНИЙ»...

Мимо дома с вывеской — «КОНСУЛЬТАЦИЯ ДЛЯ БЕРЕМЕННЫХ».

Остановились колхозники у дома с вывеской: «МОНТАЖНО-ПРОЕКТНЫЙ И ЧЕРТЕЖНЫЙ ЦЕХ»...

Там, с размахом, рыл Дурень Ив. Ив. колхозный колодезь.

Во всю громадную пустую комнату, во весь пол, был разложен генеральный чертеж будущего его колодца. Пять чертежников елозили по полу, отделявая чертеж в деталях.

Сам Дурень на высоком трехметровом тренажке длинной указкой отдавал распоряжения.

В эту странную комнату и вбухался в грязных сапогах колхозный делегат:

**ДОЛГО ЕЩЕ КОЛХОЗ СТРАДАТЬ
БУДЕТ?**

— закричал он Дурню.

А Я НЕ СТРАДАЮ?

ПОШЕЛ К ЧЕРТУ!

— взбеленился Дурень.

Постояли, постояли колхозники перед странным сооружением, и когда вышел их делегат, решили что-то, поплелись восвояси...

...И вот вышли два колхозника в поле.

Отмерили — два шага так и два шага этак...

Сняли рубашки.

Взяли лопаты.

Поплевали на руки.

И стали рыть колодезь...

И пока Дурень, вооруженный теодолитом, рейками и цепями, измерял по всем правилам техники место для будущего колодца,

двое в чистом поле уже исчезали под землей, набросав громадную кучу глины, а два плотника кончали делать новый сруб...

...На строительстве прокладывали узкоколейку.

И пыхтел паровоз с вагонетками...

...В поле колодезь был готов: красовался он дубовым срубом, новеньким вóртом, светлой крышей...

Даже резного конька из жести не забыли пристроить!

И группа колхозников, вытащив первое ведро с водой, ликуя, качала своих строителей...

...Но и в «ГОСРОЙЗЕМЛЮ» уже приступили к основной работе.

Специальным механизированным, карманчатым конвейером выбирали землю. Мудреными приспособлениями насыпали ее в вагонетки...

Узкоколейчатый паровозик давал свисток, и поезд, груженный выбранной глиной, трогался...

Вокруг этого хорошо налаженного дела гоголем похаживал Дурень, и по его гордой напыщенности, по туго набитому портфелю, по громадной трубке с чертежами можно было понять, что действительно человек этот счастлив...

В это время и подошли к нему колхозники со своими ведрами и цибарками...

И, увидев их, раскричался, расфыркался самодовольный Дурень:

**ЧЕГО МЕШАЕТЕ, А?
ЕЩЕ МЕСЯЦА ПОТЕРПЕТЬ
НЕ МОЖЕТЕ, А?
ВОН ОТСЮДА!**

И осуждающе помолчав, сказали Дурню из толпы:

ЗАКРЫВАЙ, ДЯДЯ, ЛАВОЧКУ!

Испугался Дурень.

Высунулся из окошка «СЕКТОРА НЕЗАВИСЯЩИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ» перепуганный, облысевший чиновник...

Слез с паровоза машинист...

...И снова, как первый раз, развернул шофер «Правду»...

В газете, на том месте, где объявляют о покойниках, значилось:

ДРУЗЬЯ И ЗНАКОМЫЕ ИЗВЕЩАЮТ, ЧТО НИКОЛАЙ УМНЫЙ ТИХО СКОНЧАЛСЯ. ЦКК ПРОСИТ ДУРНЯ ИВ. ИВ. ЗАЙТИ В КОМНАТУ № 133.

...И как раньше, остановился фордик у богатого подъезда.

С ворохом чертежей, смет, оправдательных документов вышел из фордика Ив. Ив. Дурень...

Стоит — ни жив ни мертв!

Хочет войти — ноги не слушаются.

Идет вперед, спотыкается...

ДУРЕНЬ ТЫ, ДУРЕНЬ!

Вертится Дурень!.. Вертится!.. Вертится!

ЧТО Ж ТЫ НАДЕЛАЛ?

Вертится Дурень на круглом стуле, а кругом строгие судьи...

ТЕБЕ БЫ, ДУРНЮ, МАССЫ ОБСЛУЖИВАТЬ!.. ЖИЗНЬ ИХ ПЕРЕСТРАИВАТЬ НА НОВЫХ НАЧАЛАХ!

И приготовил шофер ведро воды...

Приготовил полотенце...

Шатаясь, вышел Дурень из богатого подъезда...

Ни жив ни мертв! К фонарю прислонился.

И проделал с ним шофер то же, что и в первый раз.

Снял сорочку, выжал пот и окатил шефа холодной водой...

КАК УЖ ТАМ БЫЛО — НИКТО НЕ СКАЖЕТ, КТО НЕ ДОСМОТРЕЛ — НЕВЕДОМО! ТОЛЬКО НАЗНАЧИЛИ ДУРНЯ ЖИЗНЬ ПЕРЕСТРАИВАТЬ НА НОВЫХ НАЧАЛАХ...

Возле косой, в землю вплющенной хибарки — Комиссия во главе с Дурнем...

Хибарка стара. Хибарка удивительно растрепана и убога.

Но люди в ней еще живут. Да и жить в ней было вполне возможно!

Но взгрустивший Дурень, отломив кусок доски с крыши и бросив его, картинно пригорюнился...

И осенила тут Дурня гениальная мысль: поздрав секретаря, мгновенно продиктовал он ему приказание.

Рванулся секретарь исполнять.

И вот уже наклеивают где-то на ветхом заборе:

П Р И К А З

По случаю наступления социализма, перестраивая жизнь на новых началах, П Р И К А З Ы В А Ю :

§ 1.

Все старые, одноэтажные дома — немедленно сломать.

§ 2.

Жителей выселить на площадь.

§ 3.

Создать Комиссию по разработке проекта нового социалистического города.

Рай. Нач. Соц.— Ив. Дурень.

...И полетели из окон хибарок — подушки, самовары, кастрюли...

Сорвали крышу, повалили трубу, разломали печку, выбили двери, окна...

Треск!.. Хаос!.. Пыль!

Жители едва успевали выскакивать на площадь...

На площади воздвиг Дурень огромный стенд — проект нового социалистического города: один общий дом на всех...

Это был чудовищный многоэтажный сундук с маленькими, тюремными окнами. Но если смотреть на него с птичьего полета, он выглядел как гигантский серп и молот...

Бездомные жители как умели, некоторые даже с уютом, устроились под этим стендом...

А догадливая старушонка-богомолочка пристроила даже к стендовому столбу чудотворную икону казанской божьей матери с неугасимой лампадой!..

О Б Ъ Я В Л Е Н И Е

С сего числа деньги — ОТМЕНЯЮТСЯ. Серебряные монеты подлежат передаче детям младшего возраста для производства игр*.

Рай. Нач. Соц.— Ив. Дурень

* В те годы экономисты троцкистского толка утверждали, что деньги — пережиток капиталистического строя. Они требовали немедленно их отменить и строить социализм чистыми руками, без денег! (Автор).

Стоит у объявления толпа людей. Читает. Жуликоватый поп, сообразив что-то, вынул из кармана кошелек. Демонстративно утерев слезу («вот ведь, дожили, сподобились»), вытряхнул содержимое кошелька на землю...

И полетели вниз бумажки, покатались в пыль монеты...

И глядя на жуликоватого попа, простакни полезли за кошельками...

И вытряхнули на землю свои денежки...

И прослезились простакни, расчувствовались!..

А когда ушли, жуликоватый поп нагреб здесь огромный ворох денег, такой огромный, что трудно ему было и сосчитать свою добычу.

...И снова шофер разворачивает газету «Правда»:

**ДРУЗЬЯ ИЗВЕЩАЮТ:
НИКОЛАЙ ПРЕМУДРЫЙ
ТИХО ПОЧИЛ В БОЗЕ.**

И еще объявление:

**ЦКК ПРОСИТ ТОВ. ДУРНЯ ИВ. ИВ.
ЗАГЛЯНУТЬ В КОМНАТУ № 133.**

...И вот, как и раньше, стоит у подъезда фордик.

Возле фордика — ведро с водою... И полотенце!

И шофер дремлет в ожидании хозяина.

ОПЯТЬ ТЫ, БОЛЕЗНЫЙ!

— всплеснули руками в ЦКК. И завертелся Дурень... И сказали судьи:

**А ТЫ БЫ, ДУРЕНЬ,
НЕ ЛОМАЛ БЫ ДОМОВ-ТО!**

Вертится Дурень!..

НЕ ОТМЕНЯЛ БЫ И ДЕНЕГ!

Надулся Дурень, насупился...

**ТЕБЕ БЫ, ГЛУПЫЙ,
ХОЗРАСЧЕТ НАЛАДИТЬ!**

А ТЫ ЧТО НАДЕЛАЛ?

И надулся Дурень, насупился.

ИДИ РАБОТАЙ!

ЗАЙМИСЬ ХОЗРАСЧЕТОМ!

РУБЛЕМ ПРОВЕРЯЙ

КАЖДЫЙ ШАГ СВОЙ!

И вот где-то, а где — неизвестно, стоят громадные бензиновые баки. «БЕНЗИН» — написано на баках.

Мимо одного из таких баков, во главе с Дурнем (видимо, получившим новое назначение) — двое рабочих катили железные бочки.

Дурень заходит в кабинет спеца и требует дать ему бензина.

НЕ ДАМ БЕНЗИНА БЕЗ ДОГОВОРА! У НАС — ХОЗРАСЧЕТ!

—сухо и жестко отрезал спец Дурню.

ДА ВЕДЬ С ОДНОГО Ж МЫ ЗАВОДА!

— удивился Дурень. А спец — свое:
НЕ ДАМ!.. ХОЗРАСЧЕТ!.. ЗАКЛЮЧИМ ДОГОВОР!

Подумал-подумал Дурень и согласился: — «Ладно! Договор так договор!»

Вызвал машинистку. Напечатала она договор.

Передала секретарю.

Секретарь отметил — передал деловоду. Деловод записал — передал регистратору.

Регистратор — счетоводу.

Счетовод — курьеру.

Курьер — деловоду.

Деловод — секретарю.

Секретарь — спецу.

Спец — Дурню...

А Дурень доволен. Жмет руку спецу.

БЛАГОДАРСТВУЮ ЗА НАУКУ! ТЕПЕРЬ Я, ДУРЕНЬ, НЕ ПРОМАХНУСЬ С ХОЗРАСЧЕТОМ!..

И налили в бочки бензина. Ликует Дурень.

...Шли по двору мимо бензинового бака двое рабочих.

Внезапно остановились, заметив что-то... От днища бака на метр поднималась вверх труба.

Кончалась труба вентилем. А из вентиля (видимо, испорченного) с силой били в стороны три тонких струи бензина.

Озабоченно переглянулись рабочие, и один из них шагнул к испорченному вентилю. Обследовал его, чуть подергал.

Внезапно — трах! — сдал гнилой вентиль и толстой струей вверх рванул бензин из бака...

Тогда рабочий, не долго думая, налег всем телом на струю и заткнул ее сиденьем...

И только несколько тонких струек вырвались из-под рабочего. И крикнул он товарищу:

БЕГИ ЗА ВЕНТИЛЕМ!

И второй рабочий побежал что есть силы.

А по измерительной стеклянной трубке уровень вытекающего бензина медленно пополз вниз.

И из-под сиденья, все увеличиваясь, с силой били вверх и в стороны тонкие струйки бензина...

Второй рабочий вбежал в какой-то складской двор.

Метнулся направо-налево, увидел вентиль, схватил, бросился к выходу.

Но какой-то кладовщик отобрал вентиль. И тогда зорал рабочий о катастрофе, а потом, почти плача, взмолился:

ДА ВЕДЬ С ОДНОГО Ж МЫ ЗАВОДА!

И сочувственно пожал плечами кладовщик:
ХОЗРАСЧЕТ!

И поняв, что кладовщика не переспоришь, сорвался бежать к начальству рабочий...

А стеклянная трубка измерителя показывала, как все ниже и ниже опускался уровень бензина в баке.

И вокруг заткнувшего струю рабочего острыми струйками бил бензин вверх и в сторону.

СЕЙЧАС!

— прокричал пробегающий рабочий.

Падает уровень бензина.

А рабочий уже бежал к месту аварии с тем спецом, что давал Дурню урок хозрасчета.

И ужаснувшись случившемуся и заорав:

СКОРЕЕ!..

— рванулся спец вместе с рабочим.

...На двери кабинета табличка:

**ЗАВ. СЕКТОРОМ ОБОРУДОВАНИЯ
ИВ. ИВ. ДУРЕНЬ**

Торопясь и перебивая друг друга, спец и рабочий рассказывают Дурню об аварии. Но покачал головой Дурень:

ХОЗРАСЧЕТ!

Тогда, схватив за руки, потащили его спец и рабочий к месту аварии...

Рвались из-под рабочего уже большие струи горячего.

Когда потащили сюда Дурня, он понял все:

СКОРЕЕ ЖЕ!

— закричал он и потащил спеца...

Он потащил его не за вентилем, а в контору, заключать договор:

**ХОЗРАСЧЕТ! ЗАКЛЮЧИМ ДОГОВОР!
СКОРЕЕ ЖЕ!**

Вызвал машинистку.

Приказал секретарю...

...А бензин из-под заткнувшего бьет струями!..

...И как вначале: машинистка передала договор секретарю.

Секретарь — деловоду.

Деловод — курьеру.

Курьер — Дурню.

Дурень — счетоводу.

Счетовод — регистратору.

Регистратор — спецу.

А спец с дьявольской улыбкой сказал Дурню:

**СУКИН ТЫ СЫН! ГОЛОВОТЯП
ПРОКЛЯТЫЙ!**

И рванулись все из кабинета к месту аварии...

Рвутся струйки из-под рабочего...

Бегут трое с вентилем. Бегут что есть силы.

Подбежали к баку.

Но бензин уже весь вытек.

Заткнувший вентиль рабочий, почесывая будто отшибленный зад, сокрушенно разглядывал место прорыва.

И, задыхаясь от быстрого бега, сказал Дурень:

АХ, КАКАЯ ЖАЛОСТЬ!

В это время шофер Дурня, привычно развернув газету, завел машину и тронул...

В газете снова то же:

ДОРОГОЙ ТОВАРИЩ! КОЛЯ МУДРЕЦОВ-СМЕКАЛКИН ТИХО СКОНЧАЛСЯ.

И, как всегда, рядом:

**ЦКК ПРОСИТ ДУРНЯ ИВ. ИВ.
В КОМ. № 133.**

На этот раз шофер уже не стал ждать, когда измочалят его в ком. № 133. Он снял с Ивана Ивановича рубашку.

Вынес из машины знакомое ведро с водой...

Дурень съежился, ожидая холодного душа.

Но шофер неожиданно вылил воду в кювет, сел за руль и уехал.

Дурень не сразу понял, что это — катастрофа. У него от страха отвалилась челюсть. Он сделал шаг-другой, крича замахал руками и бросился догонять фордик.

1931 г.

P.S. ...И очень хорошо, что не догнал его! На место фордика подъехала черная «Волга».

Огромный портфель был передан шоферу... В дверце застрял непомерно важный новый клиент ком. № 133.

Отпустив машину, он не мог одолеть страха.

И... бросился догонять черную «Волгу»...

И хорошо, что он не догнал ее!

1988 г.

ПОДВИГ МАСТЕРА



Кулешов уникален. Не только в том общегуманистическом смысле, что каждый художник неповторим и всякая личность незаменима. Уникальной была роль, предназначенная ему судьбой и достойно исполненная им в драме нашей киноистории.

Мне придется прибегнуть к сравнению, чтобы пояснить его исключительность.

Аналогичное место (конечно, не по всем, но по многим признакам) занимает в истории русской литературы Николай Михайлович Карамзин. Не Историк Государства Российского, заново читаемый и почитаемый ныне. Карамзин — прозаик, «сентименталист». Лингвист — экспериментатор, обновитель русского языка. Воспитатель Жуковского, Вяземского, Пушкина...

Можно проводить параллели между Карамзиным и Кулешовым по каждой из этих ипостасей. Некоторые из аналогий будут более очевидными или доказательными, некоторые — менее.

Мы все согласимся с сопоставлением учителей, воспитавших гениев. Среди прямых учеников Кулешова — не только Хлопова и Пудовкин, Барнет и Фогель, но

и Эйзенштейн, Вертов, Шуб.

Вероятно, не вызовет особых возражений попытка соотнести интерес обоих к языку (у одного — к словесному, у другого — к кинематографическому), к его грамматике и лексике, к его вынятности и ясности, к его психологической точности и композиционной стройности.

Случайно ли и то, что оба Учителя не гнушались становиться смиренными учениками (Карамзин — у европейских писателей, Кулешов — у американских коллег), чтобы извлечь необходимые родной культуре уроки? Но в смиренности обоих не было ни провинциальной ущербности, ни рабского эпитонства. «Американизм» Кулешова (фальсифицированный и оболганный арковцами, рапповцами и вульгарными социологами) был сродни просветительству Карамзина, введившего в новую русскую литературу понятия и чувствования, нравственные проблемы и стилистические открытия новейшей Европы, и эта отважная деятельность непосредственно готовила равноправное вхождение новой русской литературы (кинематографии) в европейскую и всемирную культуру.

Однако в уважении к иноземному опыту и укладу сохранялся трезвый критицизм, оба видели нередкое несовпадение провозглашаемых идеалов и жизненной практики: вспомним «Письма русского путешественника», вспомним «По закону» и «Великого утешителя». У обоих это рождало не столько обличение, сколько сострадание.

Следовало бы рассмотреть и кулешовские сюжеты в створе карамзинской традиции. Трагизм фильма «По закону» заключен вовсе не в неумолимости пуританской морали, но в том, что сама неумолимость царит в душах (чувствах и представлениях) людей. Совершенно необычен для нашего кино 20-х годов драматизм обычных человеческих чувств в «Вашей знакомой» — о смысле этого фильма можно было бы сказать почти карамзинской фразой, которая тогда, увы, прозвучала бы «крамольно», а не иронично: «И журналистки чувствовать умеют!» А «Два-Бульди-Два», или «Горизонт», без которого не было бы «Окраины» Барнета, или «Великий утешитель», само название которого указывает на «сентименталистскую» (совсем не сентиментальную!) проблематику тройственной фабулы фильма...

Впрочем, суть не в количестве или полноте аналогий — достаточно и одной.

«Мы делаем картины — Кулешов сделал кинематографию» — написали ученики в предисловии к книге учителя «Искусство кино (мой опыт)». В этом и была миссия Кулешова, аналогичная карамзинской. Не умаляя заслуг Ломоносова и Тредьяковского, Фонвизина и Радищева, ничего не отнимая от нашей любви к Пушкину, мы по справедливости должны признать, что у истоков «золотого века» русской литературы стоит Карамзин.

Не отбрасывая опыт Протазанова и Бауэра, ничуть не принижая значения открытий Эйзенштейна, Вертова и Пудовкина, историк может утверждать, что родоначальником «героической эпохи» русского кино был Кулешов. Он рано осознал свою роль и исполнял ее, как положено истинному интеллигенту: трудолюбиво и скромно, не требуя наград и привилегий, кроме права работать по-своему и говорить с публикой своим голосом. Он трудился с полной ответственностью за свои деяния и постоянной готовностью прийти на помощь ученику, коллеге, оппоненту. И он умел отойти во второй, в третий ряд, совсем в сторону, проторя новый путь и уступая прежний более удачливому, да еще стараясь скрыть свое страдание. Не прощались предательство, подлость, непорядочность в бытовом, социальном или профессиональном поведе-

нии. Несомненно, и в этом Лев Владимирович Кулешов был прямым наследником традиции Николая Михайловича Карамзина. Как и в своем «credo», четко высказанном в книге «50 лет в кино»: «Важна цель, а она для нас выражается в трех емких словах: видеть счастливых людей».

Помню, как впервые читая мемуары Кулешова и Хохловой, я задержался на их фразе об Эйзенштейне во ВГИКе: «Никто так много не давал студентам, как он — человек гениальный, блестяще эрудированный, великолепный педагог и человек с золотым сердцем, чистой совестью».

Эта фраза, как и многие страницы книги, излучала радость. Радость дружбы. Радость самоотвержения. И ту, знакомую его ученикам по вгиковским занятиям, радость Кулешова и Хохловой от встречи с другим талантом, которая сейчас непременно произойдет.

Золотое сердце. Чистая совесть. Вот чем никогда, даже в самые трудные годы, и ни при каких, даже трагических обстоятельствах, не поступался Кулешов.

Перечитывая воспоминания Кулешова, я, неожиданно для самого себя, вспомнил, как Пушкин назвал «Историю государства Российского» Карамзина, а по сути — его нравственную, гражданскую, творческую позицию: «ПОДВИГ ЧЕСТНОГО ЧЕЛОВЕКА».

Наум КЛЕЙМАН

Сегодня, когда мы по-новому переосмысливаем наше прошлое, невозможно обойти молчанием давно забытые или оставшиеся в тени страницы истории советского кино. Творческая судьба Льва Владимировича Кулешова — одна из самых трагических и малоизвестных в ней. Подтверждением тому служит публикуемое ниже письмо из архива выдающегося мастера.

В начале января 1934 года, через полтора месяца после выхода на экраны фильма «Великий утешитель», Л. В. Кулешов начал работу над сценарием «Кража зрения» по одноименному рассказу Л. А. Кассиля. В сценарии, как и в рассказе, речь шла о судьбе неграмотной крестьянской женщины, сбежавшей в город от преследований кулака и прозревающей по мере овладения грамотой. После долгих перипетий сценарий был утвержден к постановке с условием не снимать А. С. Хохлову — верного друга и жену, постоянную исполнительницу главных ролей в его фильмах. 16 апреля, в день, когда Кулешову было объявлено об этом решении, он написал письмо Якову Спиридоновичу Зайцеву, одному из руководителей фабрики «Межрабпомфильм».

Разрешение снимать А. С. Хохлову было дано только в середине июля. Фильм был снят с применением репетиционного метода к концу 1934 г., но затем запрещен и никогда в прокате не появлялся.

Яков Спиридонович,

Лет 8—9 тому назад Алейников¹ требовал, чтобы я не снимал Хохлову в ролях героинь, потому что она недостаточно красива. Я вынужден был уехать и прекра-

тить работу, потому что вопросом моей художественной совести было работать в искусстве честно.

Воспользовавшись моей безработицей, Алейников в момент моего безнадёжного

состояния вынудил меня снова поступить в «Межрабпом-Русь» и работать так, как он прикажет.

Мне нечего было есть, и я согласился. Хохлову я не снимал.

По предложению Алейникова, санкционированному партийным руководством, я снял «Веселую канарейку», «Два-Бульди-два» и «40 сердец»². За эти картины меня бесконечно и бесчеловечно прорабатывали и довели до иступленного состояния.

Максимум моральной подавленности у меня был при съемках картины «Горизонт»³, когда я был на грани самоубийства.

Но подавленное мое состояние не мешало мне всегда работать ударно и дисциплинированно, что доказывает мое честное отношение к революции, к партии, к Советской власти.

После 23-го апреля⁴ в моей жизни наступил перелом. Тов. Динамов⁵ говорил со мной, обещал помощь, говорил о несправедливом отношении к Хохловой и обещал спокойную и хорошую работу.

На этом основании я снял ударно, в два месяца (вместо года), на советской пленке картину «Великий утешитель».

Хохлова в нем играла, и, судя по отзывам прессы, хорошо.

В то же время я снял ее почти насильно, потому что директор студии требовал, чтобы я снимал другую актрису.

После «Утешителя», когда для меня не было приготовлено ни одного сценария и когда мне порекомендовали сценариста т. Платошкина⁶, обещавшего написать сценарий через год, я не считал возможным для себя, как для ударника, сидеть без работы. Я нашел рассказ Кассиля «Кража зрения»⁷ с замечательной ролью для Хохловой, ролью беспорной, потому что она там не должна была быть ни красивой, ни молодой, ни толстой.

Художественное качество работы Хохловой отмечалось и у нас, в СССР, и в Европе, и в Америке, этого, мне кажется, достаточно для того, чтобы я имел право ее снимать.

Но сдав дирекции сценарий и согласовав его и актрису, я не предвидел, какие начнутся для меня испытания.

Рассказ Кассиля получил первую премию на конкурсе предсъездовских рассказов и идеологически хотя бы на основании этого должен был быть безупречным.

Но по телефону т. Динамов мне заявил (правда, как личное мнение), что сценарий является поклепом на Советскую власть.

Далее начинается непонятное. Сценарий утверждается комиссией тов. Стецкого⁸ и утверждается как хороший.

Как может настолько расходиться мнение

комиссии и зав. сектором искусства культуры пропа ЦК ВКП(б)?

Я ничего не понимаю.

Далее оказывается, что в этом случае я не могу снимать Хохлову⁹. А где же обещания т. Динамова, данные им после 23-го апреля?

А зачем же меня и Хохлову обманывали?

Разве такая эмоциональная актриса может испортить специально сделанную для нее роль немолодой и некрасивой женщины?

Разве у нас в СССР необходимо снимать мармеладных, но бездарных красавиц?

Разве эмоциональное лицо, осмысленное и выразительное, не показательно для советской женщины?

А т. Хохлова, наверное, его имеет, потому что она образцовая работница и ударница, и в силу этого не может быть с лица кретинкой и идиоткой.

А творческие качества Хохловой отмечены прессой всего мира, может быть, в этом надо сомневаться?

Я ничего не понимаю.

Я вижу, что мне и Хохловой нельзя вместе работать.

А я считаю, что художник должен работать так, как он хочет, но так, чтобы его работа шла на пользу социалистическому строительству. Почему же мне и Хохловой затыкают рот? И что от нас хотят?

Некоторые уверяют, что если бы Хохлова не была моей женой, то все было бы иначе.

Но и это неправда.

Мои товарищеские отношения с Хохловой возникли на почве киноработы и киноидей.

И я, и Хохлова можем заработать себе кусок хлеба, но на что он нам, когда мы не в состоянии по приказу свыше работать в нашем ремесле для социализма?

Неужели нельзя надеяться после 23-го апреля на творческую свободу художникам, пытающимся энтузиастически идти в ногу со всеми строителями социализма?

Неужели нельзя нигде найти ни помощи, ни понимания, ни человеческого сердечного отношения?

Вне нашего общего дела, нашего ремесла и для меня, и для Хохловой нет жизни.

Поймите же Вы это.

Поймите, как большевик и как руководитель фабрики, работая в которой я с Хохловой были всегда примерами настоящего отношения к делу. Премируйте нас, помимо часов и денег, вниманием и пониманием. Постарайтесь понять, где находятся грани оскорблений и издевательства и не принимайте их за признаки разумного руководства.

А еще вспомните рассказ про цыгана, который приучал лошадь не есть — лошадь сдохла.

Человек тоже может устать, даже тогда, когда это ему совсем не хочется. У Джека Лондона есть место в каком-то рассказе о чрезвычайно тяжелом переходе через лед: «Собаки были другие — ведь надо отодвигать и собакам, а люди были те же».

Эта цитата была «путеводной звездой» — идеей моей и Хохловой жизни в революционной советской кинематографии. Но, кажется, мы не нужны больше. И наши идеи тоже — я толст, а Хохлова худая.

За собаками приходит наша очередь уставать. Ну, что ж, мы устали... Спасибо!

Еще одно напоследок: пойми необычайную оскорбительность твоего предложения: «Сними в «Краже зрения» другую актрису, а во втором сценарии напиши Хохловой роль».

Ни я, ни Хохлова не бляди, и я ее снимаю не ради съемок, а ради идейной работы. Больше мне писать нечего.

Р. С. Как всегда, забыл самое важное. «Кража зрения» для меня принципиальная и биографическая работа. Это работа, в которой я перехожу на новый для меня материал. В решительные моменты творческой жизни нельзя насиловать художника.

И в особенности тогда, когда мной применяется репетиционный метод. Т. е., когда ту же Хохлову вы все увидите на спектакле, прежде чем я ее начну снимать.

И тебе, и всем это хорошо известно. Но вы предрешили вопрос заранее, следовательно, это не ваша осторожность и предусмотрительность, а предубежденность, от которой до травли полшага.

Это не руководство, это убийство. Убийство потому что, я повторяю, — вне работы для нас с Хохловой жизни не будет, будет служба. Поэтому если мне не разрешат работать честно (я ни в коем случае не отказываюсь от партийного руководства и очень его прошу), я работать не буду.

Если мне этого не позволят, то увольняйте меня, прорабатывайте, ссылайте, сажайте в тюрьму — все равно против совести, против революции я не пойду.

Я знаю, что вы поймете рано или поздно вашу грубую ошибку.

Против совести меня заставлял работать бывший вредитель Алейников. Из-за него я вычеркнул из своей и хохловской жизни несколько самых дорогих лет нашей молодости.

Не могу я поверить, что алейниковская линия в советской кинематографии — линия Партии.

Лев КУЛЕШОВ
16 апреля 1934

Комментарии

Текст письма печатается по оригиналу, хранящемуся в ЦГАЛИ (ф. 2679, оп. 1, ед. хр. 499, л. 16-18).

¹ Алейников Моисей Никифорович (1885—1964) — русский советский деятель кинопроизводства, один из организаторов художественного коллектива «Русь», реорганизованного в акционерное общество «Межрабпом-Русь», в дальнейшем — «Межрабпомфильм».

² «Веселая канарейка» (1929, сц. Б. Гусмана, А. Мариенгофа), «Два-Бульди-два» (1929, вып. 1930, сц. О. Брик), «Сорок сердец» (1930, сц. А. Андриевского) — фильмы, поставленные Л. Кулешовым на «Межрабпомфильме».

³ «Горизонт» (сц. Г. Мунблита, В. Шкловского, Л. Кулешова) был снят в 1931—32 гг. на «Межрабпомфильме» и выпущен в 1933 г.

⁴ 23 апреля 1932 г. было принято постановление ЦК ВКП(б) «О перестройке литературно-художественных организаций».

⁵ Динамов Сергей Сергеевич (1901—1939) — литературовед, в тридцатые годы заведующий сектором искусств отдела культуры и пропаганды ленинизма ЦК ВКП(б).

⁶ Платошкин Михаил Николаевич (1904—1958) — русский советский писатель, автор книг «Новобытное», «В дороге» и др. В 30-е годы пробовал свои силы в кино.

⁷ Рассказ Льва Абрамовича Кассиля (1905—1970) «Кража зрения» был опубликован в газ. «Известия» 28 декабря 1933 г.

⁸ Стецкий Алексей Иванович (1896—1938) — партийный деятель, в 1930-38 гг. заведующий агитпропотделом ЦК ВКП(б), с 1933 г. возглавлял кинокомиссию Оргбюро ЦК ВКП(б).

⁹ Через несколько дней после получения письма Я. С. Зайцев объяснил Л. В. Кулешову, ссылаясь на разговор с С. С. Динамовым, что запрещение снимать А. С. Хохлову связано с «аналогичными случаями в театре — Райх, Коонен». Запись об этом разговоре была сделана А. С. Хохловой 21 апреля 1934 г.

Публикация и примечания Е. Хохловой

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Документальное кино и киноавангард...

Что между ними общего?

То, что первое называют сегодня «авангардом» советского киноискусства?

Или то, что киноавангард использует приемы кино неигрового?

Есть ли тут внутренние связи, лежащие, как говорил С. Эйзенштейн, «по ту сторону игрового и неигрового фильма»?

Может быть, «точку схода» этих полярных эстетических явлений искать там,

где формулируются коренные вопросы мировоззрения, ответственности современного художника?

Сергей Шумаков

ВЗРЫВ

I. В эпицентре

Первые сообщения о взрыве (случилось это ранним утром 4-го октября 1988 года на станции Свердловск-Сортировочная) газеты вынесли на первые полосы. Позже, когда напряжение в городе спало, эти материалы переместились на вторые, третьи и четвертые страницы, где, наконец, и встретились с отчетами о работе I Всесоюзного фестиваля неигрового кино. Он в это время проходил в Свердловске.

«Соседство» это должно было, видимо, навести читателя на мысль, что особых причин для волнений уже нет. Опасность позади. В самом деле — сорокаметровую воронку зарыли, магазины работают, фильмы идут строго по расписанию, кинематографисты продолжают спорить о чем-то очень важном в Доме кино. Словом, жизнь входит в свое нормальное русло...

Признаюсь, тогда подумал: если наша жизнь так бойко будет входить в нормальное русло, то через месяц мы просто забудем обо всем этом кошмаре.

Нечто в этом роде и случилось.

Прошел месяц, и, действительно, многое стерлось из памяти. Иногда даже кажется, что это было не с тобой. Усталость, фестивальная лихорадка, бесконечные разговоры — все это, как старые свердловские газеты, осталось брошенным в пустых номерах гостиницы. Сохранилось, пожалуй, лишь одно — ощущение значительности и неподдельности того, что пришлось пережить за те неполные десять дней. И чем дальше они уходят в прошлое, тем отчетливее я понимаю, что просто писать,

говорить об увиденных на фестивале фильмах я не могу. И вот почему.

В обычной обстановке мы любим поспорить о роли искусства в современной жизни, об отношении его к действительности. При этом, как правило, норвчим сломать разделяющие их границы. На фестивале это случилось помимо нашей воли. Документальное кино и та «новая реальность», которую оно пытается для себя открыть, оказались вдруг как бы втянутыми в эпицентр взрыва. Жизнь поставила очередной свой безумный эксперимент, в результате которого возникла ситуация «смятых границ» и «обнаженных смыслов». Погружаясь в нее, уже нельзя было миновать ряд принципиальных вопросов.

Острейший из них — вопрос об отношении бюрократии к документальному кино. С него и начнем.

Сегодня, кажется, уже всем понятно, что причины многочисленных катастроф связаны не только с усталостью металла, техники и системы в целом, но еще и с «усталостью» человека. Ясно также, что лучшие документальные картины не просто предупреждают нас о грозящей опасности, но и всеми силами стремятся вырвать нас из этого дремотного, болезненного состояния духа. Почему же тогда эти фильмы с таким трудом пробиваются к миллионному зрителю? Почему так бездарно, а точнее, преступно растрачивается заключенная в них энергия покаяния и протеста?

Именно поэтому! Документальный кинематограф обладает силой убеждения, с

которой не может сравниться никакая журнальная публицистика. Он всегда очень конкретен. Его объектив направлен на глаза людей. Тут некуда спрятаться. А бюрократ нынче, как известно, более всего обеспокоен своей судьбой. На отвлеченные разговоры о социализме, демократии, власти и свободе он пока смотрит сквозь пальцы. Если же режиссер вдруг решит обнаружить в деятельности ведомства, организации или конкретного чиновника то, что с легкой руки И. Рудермана стало называться «театром времен перестройки и гласности», иными словами, если он захочет показать бессмысленность и даже вредность такой деятельности, тут тогда уже пощады не жди!

На фестивальных дискуссиях участникам пришлось выслушать не одну горестную исповедь режиссеров, для которых съемки фильма превратились в сущий ад. Но к чести документалистов нужно сказать, что они не ограничивались жалобами, а настойчиво и последовательно искали выход из создавшейся ситуации. Их работа над итоговыми документами отмечена чувством реализма и ясным пониманием того, что борьба идет не на жизнь, а на смерть. И позиция тут предельно проста: или мы набираемся смелости и признаем, что документальное кино не «мутит воду» — как это думают в некоторых высоких кабинетах, — а готовит нас к жизни в экстремальной экологической и социальной ситуации, либо — трусливо соглашаемся с тем, что по-прежнему нас будут приводить в чувство чудовищные по своей разрушительной силе катаклизмы. Третьего не дано.

Мне кажется, что здравый смысл возьмет верх. И для начала нужно сделать первый шаг — изменить то абсурдное положение вещей, при котором правом закрывать фильм или задерживать его на пути к зрителю владеют именно те ведомства и организации (а им нет числа!), которые, как правило, и критикуются в этом фильме.

Добавить к этому больше ничего не могу. Поэтому перехожу к следующему вопросу, который, как мне представляется, имеет уже самое непосредственное отношение не только к документальному кино, но и к каждому из нас персонально.

Чтобы сразу было ясно, о чем пойдет речь, начну с того, что расскажу, как мне пришлось менять отношение к фильму А. Сокурова «Скорбное бесчувствие».

Хорошо помню, с каким брезгливым любопытством входил первый раз в эту картину, где люди рассматриваются, точно насекомые в стеклянной банке. Конечно, в ней чувствовалась какая-то незнакомая, властная сила. Она затягивала своим рит-

мом, дразнила надменностью мысли, забавляла этой двоячностью жизни различных миров. Но было невозможно и даже оскорбительно представить, что фильм этот имеет к тебе какое-то непосредственное отношение.

Взрыв в секунду разрушил эти самолюбленные претензии. Когда над миллионным городом вдруг сорвало гигантскую толщу морозного воздуха, когда над горизонтом поднялся засвеченный заревом пожаров гриб, когда полетели со звоном на асфальт осколки витрин, из памяти испарилась все литературные образы, метафоры и слова. Сознание оказалось во власти одного чувства: «Началось!»

Но вот что удивительно. Содрогнувшись всем своим существом, минут через десять я преспокойно отправился спать, а проснувшись утром, вздохнул с облегчением: «Свет горит, телевизор работает, вода из крана бежит, в буфете подают завтрак, а у подъезда ждет автобус, который в срок отвезет всех в кинотеатр».

Подобное бесчувствие мало кого может украсить. И хвастать тут нечем. Но ведь насколько я понимаю, дело тут не только во мне. Там, в Свердловске, я сделал одно печальное открытие: нас уже, пожалуй, ничем нельзя ни напугать, ни удивить. Мы ко всему привыкли. И теперь, кажется, начинаем привыкать даже к этим страшным, следующим один за другим с какой-то неумолимой очередностью, взрывам.

Нет, что там ни говори, а Сокуров поставил очень точный диагноз. Мы бесчувственны во всем. А в искусстве, так уж в первую очередь. Поэтому, наверное, так неловко выглядит эта отчаянная формулировка: «либо нас приводит в чувство документальное кино, либо — жизненные катастрофы». На самом-то деле вопрос надо ставить резче: а есть ли у нас вообще чувства?

Семь дней подряд, фактически по двенадцать часов в сутки, мы смотрели документальные фильмы. Картина, которая при этом складывалась, не поддается никакому описанию. Тысячи погибших деревень, запущенные поля, погребенные под песком рыбацкие поселки и шхуны Арала, отравленные озера и реки, брошенные старики и дети, одурманенные наркотиками подростки, невинно осужденные председатели колхозов, превращенные в крепостных сборщики хлопка, репрессированные, замученные и расстрелянные в сталинских застенках... Временами казалось, что экран расплывется от человеческих страданий, слез и отчаяния. Но он не расплывался. И не разорвалось человеческое сердце. И никто не побежал стреляться. Мы все

досмотрели до конца.

Правда, были и такие, кто признавался, что после всего этого кошмара подолгу не могли заснуть. Это состояние мне тоже знакомо. Но ему не следует особенно доверять. Оно очень обманчиво. Сперва картина тебя потрясает. Потом в душе какая-то затворка захлопывается, и для того, чтобы протаранить ее, требуются все более сильные и ошеломляющие факты. Но со временем и на них перестаешь реагировать. Наступает момент заторможенности, доходящий до полного безразличия. «Новая реальность», которую с таким трудом осваивает режиссер, начинает восприниматься уже скорее умом. Он-то и имитирует сострадание, гнев, протест, а сердце тем временем забивается под лопатку и тихо скулит, как побитый пес.

Где же тут чувство? Это, простите, все та же усталость...

«Хорошо, — скажете вы, — оставим в стороне нерешенные вопросы восприятия. Поговорим о самом феномене «Нового документального кино». Разве применимы к нему такие слова, как «бесчувствие», «усталость», «покорность»? Да кино это само по себе есть взрыв гражданской активности, стукот человеческих страстей...»

С этим неловко даже как-то спорить. Видимо, я неточно выразил свою мысль. Я ведь вовсе не ставлю под сомнение значение свердловского кинофестиваля, равно, как и не умаляю заслуг документального кино перед обществом. И уж тем более не хочу сказать что-то обидное в адрес самого Свердловска. В городе в те октябрьские дни сложилась совершенно уникальная ситуация. Само ощущение этой неповторимой атмосферы предельно точно и лаконично выразил Александр Егоров в своей статье в «Литературной газете»: «Открыто митингует экран. Открыто митингует город».

Но тут нужно сделать одно уточнение. Злоупотребляя такими понятиями, как «усталость», «бесчувствие», «сонливость», я все же имею в виду не столько психологическую сторону проблемы, сколько метафизическую. Это крайне важно сейчас уяснить, чтобы сделать следующий шаг и понять причину нашего общего недуга.

Когда мы говорим «чувство», как правило, имеем в виду пять органов чувств. И если случается так, что мы чего-то не видим или не слышим, то причину ищем в нарушении зрения и слуха. При этом как-то упускаем из виду, что важнейшим органом человеческого чувства была, есть и будет только культура. Нам только кажется, что наше зрение от рождения непо-

средственно. На самом деле на мир мы смотрим глазами художника, пророка, философа, моралиста. Этот взгляд отличается в формах материальной и духовной культуры. Прикасаясь к ним, мы узнаем Смыслы, Имена и Формы вещей. Мы начинаем ощущать себя частью какого-то грандиозного Целого.

Нетрудно теперь догадаться, что происходит с человеческими чувствами, когда культура начинает методично уничтожаться, когда разрушаются храмы, гибнут книги, пылятся в запасниках картины, молчат музыкальные инструменты... Человек дичает и слепнет.

Но и это еще не самое страшное. Действительный распад начинается с того момента, когда человек в своей душе утрачивает то, что Павел Флоренский называл «соборным началом». Все остальное мы уже знаем не по книгам. Это и взрыв эгоцентризма, и удушающий страх смерти, и непреодолимое желание раствориться в коллективном бессознательном...

Если попытаться коротко замкнуть круг мыслей и наблюдений, относящихся к той октябрьской ночи, то можно сказать следующее. Там с особой отчетливостью обозначились два полярных состояния сознания современного человека и две, соответственно, противоположные культурные ситуации.

Во-первых, состояние предельного эгоизма и бесчувствия. Оно получило свое законченное отображение и подверглось беспощадной критике в таких, например, фильмах, как «Сталкер» А. Тарковского и «Перемена участи» К. Муратовой. Пожалуй, впервые на экране мы столкнулись с миром, в котором слова окончательно отслоились от вещей, мысли сплелись, спутались в страшный клубок, а человеком завладело мстительное чувство своей безнаказанности. Это состояние омертвления самих основ классической гуманитарной культуры, всей системы ее нравственных ценностей и этических норм. Это состояние психологической усталости и духовной сонливости.

Во-вторых, это состояние «Взрыва», в самом широком смысле этого слова. Ему более всего отвечает эстетика такого, например, явления, как рок-культура. Совпадения тут возможны и по сути, и по форме. Это прежде всего ощущение лопнувших границ, смазанных, плазменных состояний сознания. Это полужас, полувосторг человека, почувствовавшего, что перестает принадлежать себе, уходящего во власть какой-то чудовищной анонимной силы. Но, может, самое существенное тут, это игра со Смертью, движение по проволоке, мощный взрыв диони-

сийского начала, который в любую секунду может закончиться ритуалом «раздирания козла».

Сейчас трудно сказать, отольется ли эта культурная ситуация в какую-то более строгую форму, родится ли из этой «комедии» возвышенная «трагедия». Помнить нужно только одно. В отличие от эпохи античности этой форме современного «язычества» противостоит мощная и по-прежнему очень авторитетная идеология христианства. И судя по всему, будущее нашей культуры в значительной мере зависит от того, как разрешится противоборство этих сил.

Но для нас ожидание этого будущего уже непозволительная роскошь. Проблема духовной немоты и бесчувствия давно уже перестала носить отвлеченный философский характер.

В конечном итоге — это проблема взаимопонимания людей, проблема общности, проблема диалога художника и зрителя. И ее нужно решать сейчас. Что как?

Рискну опереться на собственные и достаточно смутные ощущения. Мы говорили о двух полярных состояниях сознания и культуры. Но есть еще и «третье»...

За несколько минут до взрыва я вдруг проснулся и почему-то бросился к окну. Откуда-то снизу поднимался и нарастал зловещий гул. Он заполнял собой каждую клеточку пространства. Картина спящего города немо изнутри вздрагивала, разворачивалась, точно силилась что-то вытолкнуть из себя и обрести наконец голос. И когда стало ясно, что сейчас произойдет нечто неотвратимое, я вдруг почувствовал, как теряю ощущение собственных границ, как ломается корка бесчувствия, а душа возвращается из забытья.

В этом, наверно, было что-то от того бытийного ужаса, в который древних приводил гул надвигающегося землетрясения, сумрак солнечных затмений, когда по мерцанию звезд угадывались тайные знаки судьбы и прочерчивалась незримая связь космической и земной жизни. Но было в этом состоянии и нечто очень простое, знакомое с самого детства. И так же, как в детстве, хотелось почему-то расплакаться. Но в следующую секунду взрыв все разметал...

Глупо, да и как-то неловко искать этому достаточно интимному состоянию свое название. Скажу лишь одно: в нем было столько безотчетной вины, что отлиться оно могло только в одном молитвенном слове, которому в такие минуты лишь и дано право срываться с губ.

Но теперь я понял и нечто еще. В этом молитвенном слове, в этом невольном прикосновении к жизни высветилась

величественная традиция молитвенного искусства, которое испокон веку служило одной цели — спасению человека.

Современный художник слишком суетлив. Он пытается разрушить стены человеческого отчуждения и бесчувствия ядом иронии или прямым изображением насилия. Между тем ключ к душе человека лежит рядом. Но им нужно уметь пользоваться.

Выше вскользь я говорил, что классическая гуманитарная культура отмирает. Но это не совсем так. Мертва она там, где мы относимся к ней — по презрительному определению Ницше, — как «читающие бездельники». Но она мгновенно оживает, как только мы такие понятия, как «дух», выдергиваем из плоскости сухих, светских разговоров и погружаем в жизнь, где каждое слово обеспечено кровью, страданием и самортречением конкретных людей.

Давайте вспомним, разве все, что я пытался тут изложить, мы не найдем в возвышенной и глубокой по смыслу притче Андерсена о мальчике Кае, которому в глаз и в сердце попали осколки дьявольского зеркала? Разве не бесчувствием Идей и отвлеченностью мертвых Форм уязвлены души героев Ф. Достоевского, Т. Манна, А. Платонова? Разве не предчувствием грядущих катастроф, мировых пожаров и социальных взрывов вызваны они были к жизни?

Ответ напрашивается сам собой. Но нам важно увидеть в нем и нечто другое. Пути, на которых писатели ищут выход для человека из ситуации душевного смятения и «скорбного бесчувствия», как правило, пересекаются в одной точке.

Лед в сердце маленького Кая растапливают слезы Герды. Слезы раскаянья и молитвы возвращают из забытья души героев таких несопоставимых произведений, как «Кроткая» Достоевского, «Тихий Дон» Шолохова и «Жертвоприношение» Тарковского. Тот же духовный исход мы найдем в фильме Шукшина «Калина красная» и в романах «Жизнь и судьба» Гроссмана и «Плаха» Айтматова...

Великая загадка и великий урок! Почему же мы так беспечно мимо него проходим?..

II. Чем живы люди?

Над разрешением этого вопроса всю свою жизнь бился Л. Толстой. Но, видимо, окончательного ответа на него нет. Вопрос этот решается в жизненной практике

каждого нового поколения. С особой наглядностью подтверждают это фильмы свердловского кинофестиваля.

Надо сказать, что больше всего меня в них поразило одно странное обстоятельство. Смотрел я на экран и все не мог взять в толк — откуда, каким образом на этой истерзанной и вконец обескровленной земле появляются люди с такими сильными и яркими характерами? Откуда эта сила духа и жизнестойкость? И как надолго их еще хватит?

Обратите внимание, какой стандартный, отработанный десятилетиями сюжет предлагает жизнь авторам этих картин.

Рачительный хозяин, энергичный руководитель Калев Рааве из фильма эстонского режиссера М. Мююра «Помогите нам жить» попадает за решетку. Его коллегу, председателя колхоза Белоконя из фильма А. Арлаускаса «Неперсональное дело» снимают с работы, исключают из партии, он лишь чудом избегает скамьи подсудимых. Начальник крупного стройуправления Г. Н. Стремухов после многолетней переписки с руководителями министерств и хождениями по различным кабинетам оказывается без работы. Рассказывая о нем в своем фильме «Клад», свердловский режиссер В. Кузнецов все время дает нам понять, что калевек этот всю жизнь боролся не за какие-то там утопические идеи, а за вещи элементарные — например, за право нормально, честно и с головой работать. Всел.. Того же самого добивался главный инспектор архитектурно-строительного надзора Н. А. Клепачев — герой фильма «Такая долгая зима» того же режиссера. Но и он был уволен с работы. И уж совсем фантастически сложилась судьба у бывшего партийного работника А. Н. Николаева из фильма Б. Кустова «Леший». Он прошел фронт, боролся с «вейсманистами-морганистами», осуществлял «посевные кампании», а в конце жизни оказался на улице без работы и партбилета в кармане. Но это его не смутило. Он ушел в тайгу, построил там избу и назначил себя лесником на общественных началах...

Не буду дальше продолжать. Думаю, смысл ситуации уже ясен. Тут возникает другой вопрос. О том, что такое «административная система» и как она перемалывает людей неординарных, мы сегодня знаем уже хорошо. Так вот, не упрощают ли себе задачу авторы этих фильмов, когда всю вину и ответственность хотят переложить на плечи государства? Не сужают ли они тем самым сектор поиска возможных ответов? Ведь многое из того, о чем рассказали нам эти документальные фильмы, стало возможным благодаря тому, что

эта самая «административная система» прочно опиралась на психологию молчаливого большинства. Что это за люди? И чем живы они?

Я думаю, что упрек в адрес документалистов, что они сегодня застряли на уровне фиксации факта и не идут в глубь явления, не пытаются обобщить жизненный материал, не справедливы и бездоказательны по сути. Литература и искусство открывают сегодня для себя совершенно новую социальную и эстетическую реальность. К ней уже не применимы старые мерки, а новые еще не отработаны. Мне кажется, что достоинство документального кино как раз в том и состоит, что оно демонстрирует сейчас необычайное разнообразие и богатство приемов и возможных путей постижения социальной и духовной жизни современного человека. В отличие, скажем, от игрового кино, оно лишено возможности методичного, кабинетного «продумывания», «проработки» сюжета. Стремительно меняющаяся реальность заставляет его идти от факта к обобщению, а не наоборот. В этой стихийности поиска есть своя логика. И для того, чтобы верно судить сегодня о направлениях развития документального кино, необходимо эту логику выявить и общими усилиями понять.

Мне думается, что за точку отсчета тут нужно брать проблему человека. Именно по отношению к ней и происходит сегодня размежевание позиций. И в этом смысле все документальные картины делятся как бы на две неравноценные группы.

С одной стороны, фильмы, которые исследуют обстоятельства жизни человека, среду его обитания, уклад, мораль, нравы, обычаи и т. д. Тут фундаментальная проблема человека решается как бы от обратного. Не в рамках вопроса: что есть человек и какова его природа? А в пределах вопроса: почему не т человек? Откуда возникли эта пустота и зыбкость на том месте, где испокон веку утверждало себя личностное начало?

Прекрасной иллюстрацией к этому тезису может служить картина Л. Котлова «Конечная остановка». Ее автор провел тончайший анализ психологии обитателей Дома для престарелых, поэтому ему без особого напряжения удалось выйти на качественно новый уровень социального обобщения. В образе жизни своих героев режиссер сумел рассмотреть персонифицированную и чрезвычайно трагичную историю целого общества, в котором цель постоянно оправдывает средство. Старики эти, среди которых есть сталинисты, репрессированные, беспартийные, неграмот-

ные, больные, оказались заложниками истории. Они потерялись в ней. Все, что удерживает человека в этой жизни — дом, семья, близкие, — в силу тех или иных обстоятельств было отнято у них. Остался лишь этот скорбный путь к «конечной остановке», который им предстоит пройти в одиночку.

Качественно иное состояние жизни воссоздает в фильме «Прогулка в горы» ленинградский режиссер С. Скворцов. Он рисует картину вибрирующей, расхлябанной, нищей жизни российской глубинки, где человек задыхается от отсутствия элементарных представлений о порядке и норме поведения. Тут особенно ясно осознаешь, что расслабленность, аморфность социальных структур так же губительны для человека, как и их жесткая тоталитарность. Отсюда такая прозрачность метафор: паровоз без котла, опрокинутое в грязные лужи отражение церковных куполов, диковинные игры детей, которые забавляются тем, что втаскивают на ледяную гору тяжеленную ванну, а потом тупо и безразлично смотрят, как она с диким грохотом несется под откос. И венчает всю эту невеселую картину эпизод бани. Когда-то она была олицетворением здоровья, радости, праздничности мироощущения русского человека. В фильме же мы увидели полумрак парной, сквозь который резко и непривычно обнажено проступает образ физической немощи.

Если мы теперь попытаемся соединить впечатления от двух этих фильмов, то получим то самое состояние общей «усталости» и «бесчувствия», о котором я говорил в предыдущей главе. Теперь к этому следует добавить, что это состояние жизни и есть та питательная среда, та почва, на которой произрастает «полый человек».

В поле зрения современной документалистики попала и эта зловещая фигура. Фильм «Грех» белорусского режиссера В. Дашука рассказывает о совсем еще молодом парне, который занимается разорением старых могил и церквей.

Лет двадцать назад такого персонажа вряд ли стали бы снимать в кино, а прямым ходом отвезли бы на обследование. Сегодня это никому не приходит в голову. И не потому, что акты подобного вандализма перестали вызывать по отношению к себе возмущение, а потому, что врачей не хватит для такого рода экспертиз.

Самое ужасное состоит как раз в том, что это вполне нормальный юноша. Словно пытаюсь рассеять наши сомнения на этот счет, режиссер в финале показывает, как герой принимает воинскую присягу и торжественно клянется, в случае чего, защитить нас от агрессии. Хорошо бы было

теперь уяснить для себя, кто нас, в случае чего, защитит от таких «защитничков»...

Но это соображение по ходу. А меня интересуют мотивы. Что человека толкает в «яму»? Что он там хочет найти? Страшно ли ему?

Герой фильма на эти вопросы отвечает неторопливо и очень рассудительно. Он понимает, что его осуждают. Но ему на это глубоко наплевать. «Все дозволено!» И уже не в романах Достоевского, а в жизни. Здесь романов не читают. А о Страшном суде знают лишь то, что это «поповские байки». Но если вы решите, что имеете дело с человеком необразованным, то сильно ошибетесь. В школе этот юноша учился не зря. Логика его доводов проста. И пришла она к нему не из-за «бугра». Он впитывал ее с самого детства. «Церкви расхищай? Так вы сами этим семьдесят лет занимались!», «Могилы разрываю? Ну, это что-то вроде археологии!», «Оскорбляю религиозные чувства? Но, простите, религия — это опиум для народа!»...

Парень этот знает, что говорит. Не знает он, что с ним происходит. И не узнает никогда. Это соскальзывание в бездну не имеет границ. И в этом вся трагедия.

Трудно найти более наглядную иллюстрацию к тому, о чем в начале этих заметок шла речь. Омертвление культуры, и как неизбежное следствие — самоослепление и одичание человека. Герою не страшно в «яме» потому, что у него отсутствует человеческое чувство страха. На этом месте у него зияющая пуста...

Перейдем теперь ко второй группе фильмов. В них нам предлагают некую позитивную программу во взгляде на героя и задаются более жесткие нравственные требования относительно его личностных качеств. Выражается это прежде всего в том, что человек не отождествляет себя с государством, не поглощается обществом и оказывается способным противостоять рассеивающему воздействию внешней среды.

Я вижу тут три позиции, три ступени в сложнейшем процессе самопознания человека. Документалисты смело и решительно сегодня их осваивают. Именно этим и объясняются столь неожиданные прорывы неигрового кино в новое качество.

1. Социальная позиция. Здесь человек обретает точку опоры в ежечасной, непрекращающейся борьбе с абсурдными и противостоительными обстоятельствами жизни. Здесь же впервые он начинает себя осознавать гражданином собственной страны. В этом плане сегодня многое делается и средствами массовой информации и искусством, поэтому я не буду подробно останавливаться на самих фильмах.

2. Религиозная позиция. Для нашего искусства это достаточно новый взгляд, поэтому сразу поясню, что имеется в виду.

В конкурсной программе два момента обратили на себя внимание практически всех участников фестивальных дискуссий. Через очень многие картины сквозной линией проходит тема Смерти и Веры. Проявляется это, правда, в достаточно стандартной форме. Из фильма в фильм кочуют изображения ритуала похорон и разрушенных православных церквей.

Чем же объяснить это безмерное, раздражающее, а нередко и пугающее пристрастие режиссуры к подобного рода иконографии? Тут можно назвать несколько причин. Прежде всего это мироощущение современного человека, который живет с сознанием надвигающейся катастрофы. И этот глубинный страх перед будущим иногда прорывается в сценах бесконечных похорон. Но есть и другая, более существенная причина. Я бы связал ее с тем, что следовало бы назвать метафизическим голодом, потребностью в идеальной координате жизни.

Основной порок документального кино здесь проявляется в том, что оно пока еще не может глубоко осмыслить этот существенный момент. Взгляд режиссера постоянно упирается в вещественность, во внешние атрибуты ритуала. Его же смысл остается для нас нераскрытым. Отсюда невольные деформации в художественной и этической позиции документалиста. Стремясь нащупать некую трансцендентную, лежащую за пределами повседневного опыта духовную опору, режиссер нередко, сам того не желая, обнаруживает крайнюю степень своего бесчувствия. Я не знаю, как это объяснить, но мне кажется, есть вещи, которые не следует снимать в такой шокирующей приближенности. И к ним, в первую очередь, относится скорбный и достаточно интимный ритуал похорон.

Но на фестивале в Свердловске была картина, которая, на мой взгляд, без особых усилий отказалась от внешней религиозной атрибутики, но при этом смогла многое нам поведать о внутреннем мире человека в высшей степени неординарного.

Судьба героя фильма «Помогите нам жить» эстонского режиссера Мярта Мююра, как я уже выше говорил, достаточно типична для нашего времени. Калев Рааве должен был разделить участь тех наших талантливых руководителей, которые за строптивость свою расплачивались выговорами, исключением из партии, снятием с работы, а нередко и тюрь-

мой. Рааве, если мне не изменяет память, по приговору суда получил десять лет. Но то, что еще невысказано было вчера, сегодня стало возможным. Нашего героя оправдали. Но исход у этой истории оказался не таким, как это следовало ожидать.

Выйдя из тюрьмы, бывший председатель совхоза поступил учиться на... теологический факультет. А когда автор в духе нашего времени пытается выяснить, кто же виноват в том, что искалечена была судьба честного и совестливого человека, Калев с достоинством отвечает: «Никто!.. Я благодарен им за то, что попал в тюрьму. Ведь там я встретил Бога».

Кажется, с таким поворотом проблемы человека мы в нашем документальном кино еще не сталкивались. Но и это еще не все. На конкурсном просмотре была представлена картина, которая заставляет нас сегодня вести разговор о проблеме героя на качественно новом уровне.

3. Онтологическая позиция. Если во всех рассмотренных нами картинах идея человека основывается на более или менее известных нам положениях — активной гражданской позиция, вера, знание, опыт и т. д., то в фильме А. Арлаускаса «Прикосновение» мы видим нечто совершенно фантастическое. А именно человека, который выстроил себя над бездной.

Речь идет о выпускнике Загорского детского дома слепоглухонемых Александре Суворове. Он от рождения был лишен возможности испытывать на себе отрицательное воздействие внешней среды и возвышающее душу влияние религиозных идей. И все же он сделал невозможное — научился читать, писать, говорить и думать. Об уровне его самосознания говорит тот простой факт, что Саша принимал участие в написании сценария фильма и сам комментировал его на экране. А ведь это — вдумайтесь — голос из мира полного безмолвия и темноты. Это послание человеческого духа, перед которым бледнеют и рассыпаются в труху наши плаксивые речи об обреченности человека, о грядущем конце света и прочих, мелком услышанных и плохо переваренных истинах.

Когда-то Достоевский обмолвился, что если на Страшном суде человечество представит лишь «Дон-Кихота» Сервантеса, то уже оправдает свое существование. Я думаю, что в XX веке эту ответственную миссию можно было бы спокойно перепоручить Александру Суворову и всем тем, кто помогал ему выкарабкиваться из бездны отчаянья и одиночества.

А теперь попробуем замкнуть весь спектр подходов к проблеме человека в

документальном кино. Какая поразительная и трагическая по своему напряжению картина предстанет перед нашим взором! С одной стороны, «Грех» — фильм о совершенно извращенной духовной ситуации, в которой уже не держит ни одна христианская норма, и человек легко соскальзывает в мрак бесчувствия. С другой — «Прикосновение», где герой пробивает тьму врожденного бесчувствия и поднимается к свету практически из состояния животной отрешенности. Добавьте теперь к этой амплитуде смыслов постоянно разгоняющуюся энергию социального протеста и безудержного эскапизма, богоискательства и богоборчества, религиозного, идеологического, националистического фанатизма и вы ощутите всю мощь той человеческой магмы, что дышит, пульсирует, накаляется под нашими ногами.

Вот тут и встает со всей остротой главный вопрос, который бы мне хотелось затронуть в этих заметках. Это вопрос о роли и месте интеллигенции на нынешнем, очень непростом и достаточно драматичном этапе нашего общественного развития.

III. «...просить милости, а не правосудия»

Это опять из классики. И, кажется, некстати. Мы только начинаем учиться мыслить в категориях правосознания. При чем же здесь несчастная Маша Миронова из «Капитанской дочки»? А при том, что эта скромная девушка, которая имела самое смутное представление о таких вещах, как конституция, право, закон, и уж, конечно, не знала о существовании таких слов, как «Народный фронт», «Мемориал», «Демократический союз», «Память» и т. д., каким-то внутренним чувством могла безошибочно отличить «милость» от «правосудия».

Первое, согласно словарю Даля, индивидуально, всегда направлено на какого-то конкретного человека и выражает «желание кому-то добра на деле: прощение, пощаду». Второе, напротив, по определению безлично, имеет отношение ко всем, ибо по сути своей есть «правый суд, справедливый приговор, решение по закону».

К чему я клоню? Да к тому, что для нас, людей прогрессивных и свободомыслящих, это существенное различие давно уже стерлось. Мы путаем их в нашей повседневной жизни, постоянно меняем местами.

Вот, например, с некоторых пор в нашем лексиконе с легкой руки Абуладзе утвердилось и даже успело уже превратиться в расхожий термин такое понятие, как *покаяние*. Почему же вокруг него кипят такие страсти? Да потому, что в слове этом оказался упакован целый мир неотстоявшихся этических представлений. Давайте вспомним!

Если я не ошибаюсь, первый раз «заискрилось» в статье Ю. Бондарева о критике. Он отказался последовать призыву Д. С. Лихачева к всенародному покаянию. Потом как-то естественно в спорах вспомнилась история атаки на «Новый мир». Тоже каяться никто не захотел. Затем подоспела очередь Т. Хренникова. Из Союза композиторов в редакцию «Советской культуры» незамедлительно полетел гневный протест. А вот из последних новостей: очередной спор о покаянии среди участников печально известного собрания об исключении Б. Пастернака из Союза писателей.

Теперь отказался каяться Вл. Солоухин. Евг. Евтушенко, естественно, не пожелал отпускать своему собрату по перу его грехи.

Но на этот раз, признаюсь, это было уже как-то совсем неловко и даже стыдно. И дело тут не в том, что спорить уже не о чем — в той или иной мере виновны все, кто там присутствовал. Дело в общественном лице нашей творческой интеллигенции, которая в данном случае выглядит не лучшим образом. Почему?

Оба автора страстно пытаются убедить читателей «Советской культуры» в своей приверженности христианской морали. Они охотно и много рассуждают о добре и зле, о нечистой силе, грехах, евангелических заветах, кострах инквизиции и т. д. Но что-то тут все время смущает. Потом понимаешь — мотивы. Они существуют как бы независимо от этих возвышенных слов. И в основе своей удивительно просты. Ну в самом деле, чем можно раздражить либерально мыслящего поэта? Конечно же, намеком на его политический конформизм. И Вл. Солоухин не упускает своего шанса: «если у Е. Евтушенко хватило мужества промолчать,— пишет он,— то почему не хватило мужества выступить в защиту Пастернака? Не хотелось расставаться с обязанностями комсорга?»

Понятно, что не может остаться в долгу и Евг. Евтушенко. Он побивает своего противника образованностью и отточенностью стиля. «Солоухин,— как бы невзначай бросает он,— почему-то распятие Христа связывает только с Каифой и Пилатом, по зако-

ну Фрейда деликатно умалчивая о самом главном предателе — Иуде.

Яснее и не скажешь! Только при чем здесь возвышенные слова о христианском милосердии и отмщении? Это, простите, уже из области тех психологических поединков, зловещий смысл которых очень пронизательно угадал в рассказе «Срезал» В. М. Шукшин.

Вспоминаю его сейчас и думаю — а не заразил ли нас всех своим азартом мстительного самоутверждения деревенский мужик Глеб Капустин?

Не знаю? Во всяком случае, если бы это было не так, то мы довольно быстро бы сообразили, что жанр «публичного покалания» вошел в моду именно в 30-е годы. Возрождая его, мы боремся с предрассудками и мифами культового сознания культовыми средствами. Понятно, что выигрывает от этого авторитет лишь одного человека — Сталина.

В своих «Необязательных заметках» в журнале «Искусство кино» А. Тимофеевский обратил внимание на один любопытный парадокс: «Оказывается, некоторые наши «правые» в пылу спора становятся левее самых радикальных «левых».

Для полноты картины я бы это справедливое замечание дополнил другим — о наших «левых», которые в пылу спора становятся правее самых радикальных «правых».

Не надо тут искать игры слов. В конечном итоге речь идет, напомню, о характере и умонастроениях некоторой части нашей творческой интеллигенции, которая — позволю себе эту мысль высказать резко и определенно — занята исключительно собой.

Относительно последнего нам все очень хорошо разъяснил в «Огоньке» в своей статье «Гражданская война» в литературе» В. Вигилянский. Повозмущавшись вместе с автором размерами гонораров и астрономическими цифрами тиражей книг кормчих нашей литературы, я вдруг подумал о другом — а отдаем ли мы себе полный отчет, когда запускаем с такой легкостью в оборот такие понятия, как «гражданская война»? Ведь история обладает одной уникальной способностью. Она может без нашего ведома раскавычивать любые слова. Для этого нужно совсем немного — люди, для которых в словах этих заключен не метафорический, а конкретный, исторический смысл.

И люди эти сегодня появляются. Пока мы играем в «казаков-разбойников», забавляем друг друга своими познаниями в области богословия и юриспруденции, они на практике осваивают старую истину: только та идея чего-то стоит, которая

способна овладеть миллионами.

Хорошо помню то ощущение, когда в Свердловске, на одной из дискуссий, на сцену вышел молодой человек в черных очках и дрожащим голосом зачитал ленинские три признака революционной ситуации. Никто ничего не понял. Все как-то растерялись. Было страшно неловко и смешно. Но юноша не потерял нить мысли и вывод сделал просто убийственный. Оказывается, пора устанавливать диктатуру пролетариата и свергать власть «социалистической буржуазии».

Оратора освистали и прогнали со сцены. А мне вдруг подумалось: хорошо, тут это вульгарный «марксист» пришелся не ко двору, — все же худо-бедно чему-то мы в своих университетах научились, — а за пределами этого зала — на какую почву упадут его слова?..

Да на ту самую, изгаженную промышленными отходами, истерзанную многолетними экономическими экспериментами, напитанную кровью и ложью прошлых десятилетий и готовую в любую минуту взорваться, разрядиться во что угодно. А мы, как малые дети, играем со спичками, вместо того, чтобы ответить на простой вопрос, который, кстати, Л. Аннинскому ничего не помешало задать в период застоя: «Кто войдет в эту разогревающуюся массу, чтобы помочь ей осознать себя, кто внесет ощущение формы и меры в эту разгоняющуюся энергию, кто возвестит Слово Силе?..» И от себя добавлю — кто вернет Слово его изначальный нравственный смысл?

Ответ на эти вопросы нужно добывать каждодневной, настойчивой работой и в жизни и в искусстве. Другого пути нет. Все остальное мы уже, кажется, попробовали. Но урока из своего исторического опыта до сих пор, по-моему, не извлекли. Поэтому и продолжаем ходить по кругу. Впрочем, не все еще потеряно.

Вне конкурса на свердловском кинофестивале было показано несколько новых картин, которые произвели на меня очень сильное впечатление. Среди них — «Театральная площадь» Г. Арутюняна.

Поначалу меня поразил сам многотысячный митинг в Ереване. Это было что-то незнакомое и поэтому непонятное. Особенно в поведении людей. Они были сосредоточены и спокойны, но в то же время — необычайно взволнованны и чутки. Тут впервые я увидел человека, который вырвался из бесчувственного и бездумного существования. И еще лица. В них тоже угадывалось что-то незнакомое и сильное. Первое время я пытался прочитать в них молчаливый укор, затаенную угрозу. Но ничего, кроме достоинства и

надежды, их глаза не выражали.

И тогда я вдруг понял, что так притягивает меня к экрану. На Театральной площади я увидел не толпу, а народ. В этой колышущейся массе людей каким-то непонятным образом укладывалась общность. Она-то и удерживала ее в состоянии хрупкого равновесия. И можно было догадываться, какие усилия души, ума и воли требовались, чтобы не дать накопившейся тут энергии протеста вырваться на улицу.

Я понимаю, что фильм этот сделан человеком пристрастным. Естественно, многое из того, что не вписывалось в образный строй картины, осталось за кадром. Но когда я представляю стотысячный митинг в Москве — без милиции и оцепления солдат — мне становится не по себе. И это наводит меня на мысль, что в наших, российских представлениях об интеллигенции и народе много пока еще «кабинетного» и «салонного» блеска.

Я не буду сейчас вдаваться в тонкости национальных и экономических противоречий, которые вызвали к жизни феномен Карабаха. Это дело специалистов. Речь идет о другом — о моральном климате жизни, о нравственной основе правосознания, об этической платформе, на которой должны строиться отношения народа, интеллигенции и государства.

Сегодня, как очень точно заметил на одной из дискуссий эстонский режиссер М. Мююр, в обществе очень ощутимо воздействие центральных сил. Это неизбежно ведет к экстремистским вывихам. Поэтому такая ответственность лежит сейчас на плечах «говорящего», «думающего» и «пишущего». Поэтому так остро стоит вопрос о роли и месте интеллигенции в перестройке. В значительной степени ее будущее и будущее всей страны зависит от того, сможет ли она стать внутренним стержнем, духовной и интеллектуальной опорой народа и государства в таком непростом, и, судя по всему, достаточно длительном процессе выработки подлинно демократического и цивилизованного правосознания.

Свердловский кинофестиваль показал, что острее и глубже других это чувствуют документалисты. Поэтому, возвращаясь к началу этих заметок, я повторяю: мы не имеем сегодня права так преступно и безответственно растрчивать заключенную в их фильмах энергию протеста и покаяния. Ведь в картинах этих раскрывается не только трагический образ нашего времени, но и образ интеллигенции, которая мучительно пытается обрести свой голос и найти свое место в процессе оздоровления нашей жизни.

Александр Трошин,
кандидат искусствоведения

«АРСЕНАЛ» ТРОНУЛСЯ!

Ждали Жана-Люка Годара: обещал. Но пришла телеграмма, что-то вроде «Душою с вами!». Не знаю, кто тут больше потерял: устроители, надеявшиеся, что мэтр современного киноавангарда осенит присутствием выбивший-таки себе гражданские права Международный форум молодого кино «Арсенал», или Годар, не увидевший воочию, какой поистине пир кино закатили в сентябре под этой вывеской рижане. Они вытащили из фильмотек, из лабораторий, из квартир ленты, где все «не по правилам», и, как выразился один из кинематографических патронов молодой затеи, режиссер Сергей Соловьев, «тайную доселе жизнь этого кино сделала явной, превратили ее в предмет широкого и любовного обсуждения».

Кино эксперимента, поиска. Кино, нарушающее спокойствие в храме десятой музы, склонной, обленившись, жить на проценты с давних открытий. Кино, без усталости изобретающее средства для постижения еще неизведанного в человеке и в мире, обновляющее художественный язык и заглядывающее в завтрашний день экранного искусства... Такое кино, отечественное и мировое, нашло в Риге гостеприимный дом.

Идея фестиваля родилась в 1986 году, когда в столице Латвии проводились «Дни кино», ставшие смотром молодых творческих сил. И вот она уже афишами, фильмами, присланными с ответным энтузиазмом из разных стран, дискуссиями, очередями у кинотеатров, специальной газетой, выставками, эмблемой, растрированной на значках и полиэтиленовых пакетах, кружила по осенней Риге, городу детства Великого Нарушителя спокойствия в киноискусстве Сергея Эйзенштейна, и показывала, как много еще молодой энергии и запасов выразительности у без малого столетней музыки.

Афише «Арсенала» 1988 года мог позавидовать, право, любой, куда более «фирменный» смотр кино, ибо на ней сошлись имена, одно притягательнее другого: Жан-Люк Годар, Йос Стеллинг, Миклош Янчо, Милош Форман, Вера Хитилова, Рауль Руиз, Ян Шванкмайер. Это только те, чьи персональные ретроспективы были в программе. И рядом, представленные одной картиной, не менее известные: француз Жан-Мари Штрауб, болгарин Георгий

Дюлгеров, венгр Бела Тарр... А еще подборка, которую специально для «Арсенала» составил проникнувшийся увлеченностью его молодых устроителей Хуберт Балс, директор международного кинофестиваля в Роттердаме. Это едва ли не последнее, что он успел сделать, потому что незадолго до форума внезапно умер, и уже другие, выполняя его волю, пересылали в Ригу: «Деньги» Брессона, «Повелителя роз» Шретера, «Праздник огня» Янаги-махи... А еще панорама немецкого, французского и советского киноавангарда 20-х годов, чешского — 30-х, американского — 40—60-х, новейшего британского. А еще ретроспективы Краковской школы мультипликаторов и группы «Свободная польская камера». А еще... И еще... Одним словом, голова кружилась.

И конечно, были широко представлены наши — те, кто упорно работал и работает в киноискусстве «не по правилам», даже если эти правила они сами себе когда-то установили: Параджанов, Тарковский, Пелесян, Муратова, Герман, Норштейн, Сокуров, Франк. И те, кто сегодня идет за ними, не повторяя их, иногда даже с ними споря.

«Мы имеем дело с искусством открытия, принципиально не знаящим слов «так нельзя» и «так надо», — заявили в своем фестивальном манифесте устроители. — Именно поэтому первый рижский форум молодого кино «Арсенал», вопреки установившейся традиции, не выдвигает единой темы или единого девиза. Наше общество только-только открывается, и мы еще слишком плохо знаем ассортимент, чтобы позволить себе выбирать. «Арсенал» 1988 года может иметь только одно motto — разнообразие».

Конкурса не было — лишь «сверяли часы»: показывали друг другу, в каком направлении каждый идет. А один-единственный приз решили — в насмешку над фестивальными ритуалами — просто разыграть. Он достался молодому ленинградскому документалисту Виктору Семенюку, создателю ленты «Казенная дорога».

Разнообразие было на экране, и оно же выплескивалось за кромку кадра, окрашивало саму атмосферу фестиваля. Возникло то духовно-энергетическое поле, в котором и рождалось в разное время и в разных культурах это кино — «ненормальное», неудобное, некоммерческое, не приносящее его творцам, кажется, ничего, кроме расходов и проблем, и тем не менее упрямо собирающее под свои знамена то тут, то там новых фанатов.

«Арсенал» не был бы фестивалем нарушителей спокойствия, если бы его хозяева,

объявив (среди прочего) симпозиум, посвященный Великому Нарушителю спокойствия, пионеру киноавангарда, чье 90-летие — важнейшее событие минувшего киногода, сформулировали тему с привычно-юбилейным пиететом: «Сергей Эйзенштейн — на корабле современности». Но организаторы кинофорума не забыли, как современники юбиляра призывали в 20-е годы скинуть «с корабля современности» культуру, доставшуюся в наследство, и — то ли в дань этой авангардистской традиции, то ли решив спровоцировать современную киномысль — не преминули приписать к академически чинной формулировке вопросительный знак. Если это «провокация», то она удалась: все, кого собрал за «круглым столом» имя Эйзенштейна в окружении вопросительных знаков, с пол-оборота разговорились, хотя эти вопросительные знаки никто из участников всерьез не воспринял. А таинственные оппоненты на ринг не вышли.

На другой день за «круглый стол» сели те, кого волновала проблема звука в кино — аспекты психологические и эстетические. Потом их сменили исследователи и практики видео-арта — нового явления культуры, рождающегося на наших глазах. В общем, интеллектуальная жизнь «Арсенала» не знала пауз.

Главным ее инспиратором был, конечно, сам фестивальный экран, с любыми безумствами и... тупиками. Он бросал киномысли вызов, заострял вопросы, над которыми заставляют задумываться сегодняшние процессы в культуре. Не это ли испытание киномысли, не эти ли вопросы — существенное и ценное, что вправе записать себе в актив рижский кинофорум?

И вдруг с удивлением читаю о нем нечто кисло-сладкое: «Арсенал» тронулся!!! Признаться, я не могла отыскать более подходящего начала статьи, чем эта шокирующая цитата из фестивальной газеты «ARS» (Н. Лукиных, «Так что же в «Арсенале?» — «Комсомольская правда», 26 октября 1988 г.). Дело даже не в этой конкретной статье, ибо все, что в ней обижено выговаривается рижскому кинофоруму, можно найти и в некоторых других печатных и устных откликах. Дело в том, что главное оттеснено, а то даже подмечено в этих откликах второстепенным: оценкой «гарнира», так сказать. «Гарнир» кому-то оказался не по вкусу, кого-то задел. Ну и что?! Киноавангард «с удобствами», «с границами приличия», «с расшаркиванием перед авторитетами — нонсенс! «Арсенал» складывался, где рассчитанно, где стихийно, по образу и подобию того пласта кинокультуры, с которым себя

программно связал. Под статью своему предмету, он нарушал, разрушал, терял вкус, шокировал, дразнил, создавал неудобства (почему-то особенно ранило это некоторых самолюбивых московских критиков). Включив в себя театрализованные хепенинги с живыми цитатами из классики киноавангарда, он сам был большим хепенингом, и часть этого игрового пространства — газета. Она тоже — между умными текстами — дразнила, зпатировала, рискованно пересмешничала (кстати, нередко иронизировала и в свой адрес). Иной она и не могла быть.

А рождалась эта газета так. Был июльский день. Мы сидели тесным кружком в фойе Белого зала на Васильевской и набрасывали идеи, связанные с газетой. Собрала нас специально приехавшая из Риги обаятельная девушка, Сармите Элерте, которой предстояло эти идеи реализовать, так как она-то и была главным редактором будущего «ARSA».

Первую половину дня я провел на куда более «фирменном» заседании, где чуть ли не все, казалось, здравые научно-исследовательские и издательские идеи разбивались не столько даже об «это нельзя», сколько о «кому это сегодня нужно?», «кто это будет издавать?». Может быть, поэтому во второй половине дня на моем лице уже застыл молчаливый скептицизм. Я видел, как на каждую идею Сармите реагировала, как мне в тот час думалось, неосмотрительно-согласно. А предложения были одно другого соблазнительнее, но, казалось, не «газетные»: «Манифест футуристского кино» 1916 года, шестнадцатистраничное (!) интервью Годара из «Кайе дю синема», сценарий Антонена Арто «Раквина и священник», статья Сальватора Дали, написанная в 1927 году и посвященная Луису Бунюэлю, «фотогеническая» поэма Витезлава Незвала «Ракета», манифест французского художника Леопольда Сюрважа «Окрашенные ритмы», где он излагал в 1914 году идеи динамической живописи. И дальше в таком же духе... Сармите всякий раз одобрительно кивала головой и делала пометку в блокноте. Иногда пожимала плечами: мол, кто нам мешает? Или спрашивала того, кто предлагал: «Когда вы это пришлете?»

Я испытывал тогда тихое изумление, перемешанное с недоверием. Неужто, думал я, это все можно, это кому-то нужно? Ведь тираж газеты как-никак 20 тысяч!

Концепция «ARSA» простая и в определенном смысле смелая. Газета собиралась восстановить достоинство и самоценность киномысли как таковой, которая в наших более респектабельных кинематографических изданиях находится сегодня на

положении Золушки.

Рискнули. Киномысль отправилась в Ригу на свой бал.

Да, реальность над моими сомнениями посмеялась. Все, что я только что здесь называл, опубликовано. И не только это — уйма другого. Разного. Рецензионные эссе на фильмы фестивальной программы (не на все, конечно, ведь их было показано 280!). Статьи-путеводители по современному мировому андерграунду и видео-арту. Отвоевали газетную полосу для своего задиристого манифеста и отечественные кино — «неформалы» (по старому, — кинолюбители, по новому, по ихнему, — «параллельное кино»), которые группируются вокруг своего, покуда размножаемого ксероксом, теоретического органа «Сине-фантом». Стенограммы пресс-конференций: мультипликатора-сюрреалиста Яна Шванкмайера (он был на форуме вроде духовного лидера), Александра Сокурова, всех, кого собрал рижский смотр. Полосные беседы с зарубежными кинотеоретиками и творцами, сделанные уже непосредственно в дни форума...

Что-то в этих материалах можно не принимать, с чем-то решительно спорить. Но соображения, приглашавшие читателя «ARSA» к диалогу, даже в своих полемических крайностях были продуктивные. Например, это — одно принадлежит американке Аннет Майклсон, энтузиастке «крутого» авангарда: «Лично я настроена очень антиклерикально, хотя и признаю огромное значение религии для искусства. Но еще от Фрейда мы знаем, что то, что было подавлено, особенно насильственно, затем выходит наружу. Нечто подобное происходит сейчас с религией в вашей стране. Этот возврат к спиритуализму пронизывает и творчество Тарковского, ослабляя его, с моей точки зрения. Я понимаю значение этого явления для вашей страны и Тарковского, в том числе, но лично я жду, когда эта полоса минует...» Или другое соображение — сокуровское: «Фонограмма как бы выражает духовность картины, а духовность — она ведь не появляется сама по себе. Если иногда отказывают глаза и сердце в памяти на изображение, то душа никогда не забывает звуков. Это очевидно. Мы все в конечном итоге стремимся к какой-то большой свободе. А звук, он, конечно, свободен, он принципиально свободен по самой своей природе. Его никак нельзя спрятать, нельзя ограничивать. Фонограмма всегда вносит поправку в трагичную конкретность изображения. Я думаю, никому и никогда не придется увидеть Бога. Но кому-нибудь из нас когда-то придется услышать его голос. И это будет очень просто...»

Покажите мне годовую подборку наших уважаемых кинематографических журналов, где собралось бы разом такое количество интеллектуально обогащающих, провоцирующих сегодняшнюю киномысль старых и новых текстов, каким в дни кинофорума выстрелили десять номеров его газеты «ARS»!

В газете, как в зеркале, отражался сам фестиваль — его дух и стиль. Согласитесь, было бы, например, нелепо, если бы первый номер «ARSa» открывался ритуальным приветствием местного правительства фестивалю киноавангарда. Обложка первого номера предложила читателю другой ключ:

«Стиль «АРС» — это эклектика. Постараемся быть последовательными. Если вас раздражает кинематографическая суэта форума, то «ARS» предлагает вам упражнения для ума — историю Нового, параллельного, подпольного, авангардного кино, а также сражения на поле прошлых и сегодняшних эстетических битв.

Если вам набили оскомину некогда революционные, но за десятилетия порядком запывлившиеся и уже солидные манифесты, если вам наскучили теоретики с их ковырянием в структурах, «ARS» покажет вам не только сцену форума, но и приоткроет мир кулис.

«ARS» станет вашим путеводителем и партнером в игре. И вы можете диктовать ее условия...»

«Игра» удалась. Не знаю, как кредиторы (я слышал, что на «Арсенал» раскошелились два латвийских совхоза), а я уехал из Риги с крупным выигрышем: с десятками поразительнейших по языку, по образным открытиям картин в памяти и — с комплектом газеты, в котором любому человеку, занимающемуся кино, есть что читать, что держать под рукой, о чем думать.

Гарегин Закоян,
кандидат искусствоведения

АВАНГАРД. ОПЫТ ОСВОБОЖДЕНИЯ

Кинофорум «Арсенал» не имел девиза, не имел единой темы. Критерием отбора фильмов служила новизна их выразительных средств. В Ригу съехались представители самых разных направлений мирового кино. Но за форумом тем не менее прочно утвердилось, и не случайно, неофициальное название «Фестиваль авангардного кино».

Столь широко этот вид киноискусства ни разу не был представлен в нашей стране. Советский зритель имеет о нем самое приблизительное, к тому же еще и искаженное запретами и разносами официальной критики представление. Но времена меняются. Сегодня авангард восстанавливает утраченные некогда позиции, перестает быть художественным «дефицитом», и, что неизбежно в таких случаях — превращается в «моду». Поэтому хочется прежде всего спокойно и трезво разобраться в его истоках, понять и осмыслить природу этого, достаточно противоречивого явления современной культуры.

Итак, немного истории.

Внешне деятельность киноавангардистов, их манифесты и декларации мало чем отличались от деятельности художников-бунтарей из смежных искусств, однако по сути своей это было нечто принципиально иное. У кинематографистов не было собственного наследия, им практически не от чего было отмежевываться. И если на словах они присоединялись к общему хору ниспровергателей, то на деле они фактически созидали новый вид искусства и утверждали новое кинематографическое мышление. Конечно, киноавангард, как и весь авангард в целом, никогда не гнушался эпатажа, цинизма и кошунства, но не в этом была историческая миссия и внутренняя логика его существования. В этом воочию можно было убедиться и на «Арсенале», в программу которого были включены ретроспективы французского авангарда 20—30-х годов (Рене Клер, Фернан Леже, Марсель Дюшан, Ман Рей, Жермен Дюлак, Дмитрий Кирсанов, Жан Эпштейн, Луис Бунюэль, Жан Виго, Жан Ренуар, Альберто Кавальканти), немецкого (Ганс Рихтер, Вальтер Руттман, Ласло Моголи-Надь, Роберт Вине), чешского (Александр Хакеншмид, Отакар Вавра, Карел Плицка, Иржи Леговиц) и советского (Дзига Вертов, Михаил Кауфман, Михаил Калатозов, Александр Рустекис).

Язык кино, как и любой другой язык, не создается, не возникает однажды и навсегда. Это живой организм, который находится в постоянном процессе становления. Было бы наивно предполагать, что авангард в качестве лаборатории продуцировал новые средства выразительности, которыми массовое кино лишь пользовалось как потребитель. Достаточно вспомнить одного лишь Гриффита, чтобы понять, что в массовом кино поиски киноязыка шли не менее интенсивно. Но тут важно помнить, что поиски новых форм

для авангарда являются целью, тогда как для так называемого коммерческого кино это всего лишь средство. Вот почему авангард так чутко реагирует на всякого рода научные открытия и философские идеи и незамедлительно включает их в круг своих конкретных творческих задач.

Одна из них связана с идеей манипуляции сознанием человека. Поэтому, рассматривавшее себя до самого последнего времени как мощное средство воздействия на людей, киноискусство в полном соответствии с гуманитарными идеями наших дней вынуждено было взять под сомнение столь свойственный ему синдром «каллигаризма». Свобода воли отдельного человека несовместима с тем насилием, которое совершает кино над зрителем, навязывая ему свои образы, мысли, эмоции. Из этого исходят представители современного «авангардизма».

В этой связи вспоминается симпозиум «Сергей Эйзенштейн — на корабле современности?», проведенный в рамках «Арсенала». Бурную полемику на нем вызвала именно проблема запрограммированного волюнтаризма по отношению к зрителю. Было высказано много интересных соображений на этот счет, которые, однако же, как и сама постановка вопроса, отражали современное сознание и сегодняшние нравственные представления. В двадцатые же годы принцип воздействия входил в «правила игры», был канонизирован и воспринимался не иначе как важнейшая функция искусства. Например, коренное отличие между С. Эйзенштейном и А. Пелешяном, которых часто рассматривают в одной эстетической плоскости, исходя из внешнего сходства, как раз таки и состоит в их диаметрально противоположном отношении к зрителю. Пелешян, чуть ли не первым в современном кино, создал образы, способные быть автономно созерцаемыми, дав тем самым зрителю возможность самостоятельно осмыслить и хорошенько «пережевать» их.

Итак, авангардизм способен ставить и успешно решать не только формально-языковые, но и очень серьезные нравственные задачи. Стремление современного киноавангарда вывести зрителя из сомнамбулического состояния и дать ему возможность свободно реализовать собственную волю и сознание — это путь, обладающий высокой нравственной ценностью.

Но авангард никогда не был однородным, тем более не однороден он сегодня. Есть в современном авангардизме течения, также пытающиеся освободить человека, но уже не от авторского диктата, а от «уз» всякого рода моральных, нрав-

ственных и религиозных «предрассудков». Чтоб до конца понять всю серьезность той реальной опасности, которую несут с собой эти «освободители», нам надо хотя бы вскользь заглянуть в историю авангардизма.

«Авангардизм родился из критики настоящего и предвосхищения будущего», — писала Жермен Дюлак в 1932 году. Что же скрывается на самом деле под столь невинными словами, как «критика» и «предвосхищение». Заглянем в один из наиболее авторитетных авангардистских документов, в «Манифест футуристической кинематографии», датированный 11 сентября 1916 года.

«Книга, абсолютно пассивное средство хранения и передачи мысли, уже давно была обречена исчезнуть, как соборы, башни, потрескавшиеся стены, музеи и пацифистские идеалы. Книга — неподвижный спутник оседлых инвалидов, страдающих ностальгией и невмешательством, не может ни забавлять, ни вдохновлять новые футуристические поколения, опьяненные революционным и воинственным динамизмом. Нынешний мировой пожар все более обостряет чувственность европейца. Наше великое очистительное творение должно удовлетворить все национальные устремления, стократно умножить обновляющую силу итальянской расы». И еще: «Во имя умножения творческой мощи итальянского гения и его абсолютного господства в мире мы разлагаем и собираем заново мир по воле наших чудодейственных капризов». Вот типичный образец футуристической критики настоящего и предвосхищения будущего.

Радикально порвав с традиционной культурой, это направление авангардизма цинично игнорирует чувства миллионов людей, пренебрегает их духовными привязанностями. Как порождение технократического сознания, оно не только воспевае машину, но и видит в ней идеал будущего человека, а следовательно, приходит к политическому радикализму, к отрицанию живого, конкретного человека.

Непосредственно воспринимаемые образы, или образы, воспринимаемые благодаря культурному опыту, футуризм подменяет кодами, для понимания которых необходимо знание контекста и «правил игры», которые известны лишь узкому кругу посвященных. Там же, где текст доступен, авангардизм эпатирует, оскорбляет, шокирует. Но каким же образом, создавая метакультуру, доступную лишь немногим, он претендует на роль властителя умов и обновителя общества?..

Снобизм не только результат духовной и интеллектуальной ограниченности. Самый

опасный снобизм, смешивающий зерна с плевелами, — это научный снобизм, для которого абсолютно все равно, что препарировать — крысу или произведение искусства, ведь его не интересует содержание живого существа, его интересует строение тела. Один почтенный музыковед однажды так и объяснил свой «метод» восприятия музыки: «Мне надо полностью отключить чувства, эмоции — освободиться от них, чтобы проникнуться структурой вещи». Чтоб разобратся в структуре, видимо, только так и следует поступать, но не надо при этом выдавать структуру за музыку.

Подобных исследователей авангардизм одарил бесценными плодами. Им уже не надо отключать свои чувства и эмоции, художники сами изгнали их из собственных произведений. Что же, никто не мешает им наслаждаться объектами «самоценного восприятия», но зачем же требовать того же от человека, ищущего в музыке музыку. Стоит незадачливому обывателю по простоте душевной спросить — «что, мол, это значит?» — как научный снобизм тут же обвиняет его в том, что «для него не существует самоцельного восприятия», что «он предпочитает золоту кредитки, как более литературные (осмысленные) произведения». И никто не напominит ему, что тот же обыватель не задает подобных вопросов, а, напротив, наслаждается автономной ценностью и красотой произведений декоративного или орнаментального искусства.

В чем же вина-то зрителя? Ведь смещая установку, выставляя вещь, заведомо ничего не означающую, в функции вещи, нечто означающей, и делая это сознательно, дабы вызвать шок и недоумение у зрителя, авангардист сам провоцирует беднягу на естественно возникающий вопрос. Иначе говоря, обыватель приходит в заранее запрограммированное художником недоумение. Игра удалась, художник достиг своей цели (эпатаж — одно из основных свойств авангарда). Но для чего же продолжать игру по второму кругу, зачем вмешивать в дело знатока-ученого и обвинять зрителя, и без того уже смущенного, в глупости и недоразвитости эстетических чувств? Неужели, чтоб другим неповадно было, чтоб множилось снобы, чтоб глупенькая дама вместо того, чтоб отвернуться от ничего не говорящей ей картины, умильно всплеснула руками и, преданно улыбаясь, воскликнула: «как это мило!»

Все это не так безобидно, как может показаться на первый взгляд. Ситуация, при которой неограниченный произвол одних зиждется на слепом подчинении других,

одинаково характерна и для авангардизма и для тоталитаризма.

Разве не являются авангардисты прямыми предтечами тоталитарных режимов? Разве не их слова претворяли в жизнь фюреры, дуче и «отцы народов»? Кто требовал выбросить на помойку истории классиков и освободить человечество от пут «мещанского» искусства? Кто сжигал на кострах книги Льва Толстого, взрывал христианские храмы, о стены которых разбивались отбойные молотки? Кто очищал от скверны искусство, ратовал за обновляющую силу расы и абсолютное господство в мире, и кто, засучив рукава, занимался промывкой умов, очищением рас?

Нет ничего удивительного в том, что, придя к власти, тоталитарные режимы прежде всего покончили с авангардом и предпочли ему неоклассицизм, помпезность, монументализм. Тоталитаризму надо было утверждать культ физической силы и преданных улыбок, ему надо было придумывать себе более стабильную родословную, искать прародителей в седой старине, дабы скрыть собственную безродность.

Авангардистам пришлось выбирать, и они либо пали жертвой режимов, либо стали столпами новых культур.

Но эпатаж формой — самый невинный и безобидный для авангарда. Куда более серьезными нам представляются игры, плодящие снобов в сфере «сюжетного» авангарда. Освобождая людей от «уз» и «заблуждений», неся им «правду» (чаще всего в виде довольно примитивных иллюстраций к идеям, почерпнутым у Фрейда и его учеников), авангардисты, если это им удастся, разрушают человеческую душу и бросают свою жертву среди ее развалин.

Авангардизм всегда отличался цинизмом и кощунством. Но если в ранних работах Луиса Бунюэля или Жермена Дюлака снедаемые эротической лихорадкой священники вплетены в стилистически маркированный и условный, гротескно-сюрреалистический мир (что во многом облегчает участь зрителя и ответственность авторов), то современный авангард, например, в лице аргентинского режиссера Хорхе Полака подвергает испытанию своего зрителя фильмом абсолютно «реалистическим» по форме. На протяжении всей ленты мужчина лет пятидесяти и его престарелая мать занимают любовью. В финале герой убивает мать, кладет ее на кровать, натягивает балдахин так, чтоб не было щелей, и через верхнее отверстие опорожняет в него целый мешок кошек — жрите, мол, ее...

Подобно тому, как открытия физики в области пространства, времени, цвета и оптики щедро питали формальные эксперименты авангардистов, точно так же идеи Фрейда в области психоанализа, открывшие доступ в подсознание, развязали руки «сюжетным» авангардистам. Они жадно ринулись в подвалы человеческой души и все, что веками изживалось в человеке от животного и сбрасывалось на эту свалку, стали торопливо выскребать на свет божий и выкладывать перед человеком.

Показательно, что именно современный авангард претендует на «глубину» и «лидерство» в области современного аудиовизуального мышления. По крайней мере именно таковы претензии идеологов советского «параллельного кино».

В статье «Параллельное кино в СССР» (газета «АРС» № 6) И. Алейников подвергает советское кино (все не параллельное) серьезной и довольно справедливой критике. Но родовый признак воинствующего оппозиционера (или авангардиста) рубить с плеча, сваливать все в одну кучу, делить мир на своих и чужих сказался и здесь. Судите сами. «Официальный кинематограф весь отталкивается от темы, от сюжета. (От темы отталкиваются все «параллельные» фильмы, которые мне довелось увидеть, а «Трактор» прекрасно выстроен еще и сюжетно. — Г. З.) В лучшем случае — острый сюжет, ранее запретная тема. Художественное построение в луч-

шем случае на уровне, отработанном западной культурой 20—30 лет назад. Но чаще режиссер вообще не заглядывает в область структур, ведь соцреализм однороден, сер и пресен».

На кого рассчитана эта похожая на правду демагогия? Ведь каждому, кто хоть немного знаком с советской действительностью, хорошо известно, что соцреализм — уже давно лишь фикция, а если он и продолжал существовать на бумаге, то только для душевного спокойствия больших чинов (и малых тоже). Может, и впрямь Норштейна, Пелешяна, Тарковского и Параджанова надо считать «соцреалистами» или они относятся к тем, кто «никогда не заглядывал в область структур», а может, они-то и есть те самые эпигоны западной культуры, о которых говорится в статье?

Я не против авангарда, но я за плюрализм. Авангард же, если он не довольствуется эстетическим радикализмом и срastaется с радикализмом политическим, его не приемлет. Он слишком нарциссичен. Он жаждет всеобщей любви.

Авангардизм, быть может, самое преданное дитя нашего технократического века. Как и все, что порождено техникой, он многое дал душе, но еще больше отнял. Гипертрофированный материализм довел до критической точки саму материю. Чтобы спасти ее, надо вернуться к духовным и нравственным основам жизни..



НАШИ АВТОРЫ

АГИШЕВ ОДЕЛЬША АЛЕКСАНДРОВИЧ (род. в 1939 г.). Закончил сценарный факультет ВГИКа в 1962 г. (мастерская А. Каплера, К. Парамоновой, И. Вайсфельда). Автор сценариев документальных и художественных фильмов «Буря над Азией» (1965 г., в соавторстве с В. Алексеевым, К. Ярматовым, М. Мелкуловым, Н. Сафаровым, реж. К. Ярматов), «Белые, белые аисты» (1966 г., в соавторстве с реж. А. Хамраевым), «Нежность» (1967 г., реж. Э. Ишмухамедов), «Влюбленные» (1969 г., реж. Э. Ишмухамедов), «Чрезвычайные комиссары» (1970 г., реж. А. Хамраев), «Мой добрый человек» (1973 г., реж. Р. Батыров), «Встречи и расставания» (1973 г., реж. А. Хамраев), «Последняя встреча» (1976 г., реж. В. Бунеев), «Любовь и ярость» (1977 г., в соавторстве с Ж. Ристичем и реж. Р. Батыровым), «Какие наши годы» (1980 г., реж. Э. Ишмухамедов), «Юность гения» (1984 г., реж. Э. Ишмухамедов), «Зона вне критики» (1988 г., в соавторстве с Д. Исхаковым и Э. Ишмухамедовым) и др.

БАЛАЯН ВАЛЕРИЙ ВАЗГЕНОВИЧ (род. в 1960 г.). Член Союза писателей СССР. В 1982 г. закончил Ленинградский финансово-экономический институт и Высшие сценарные курсы Госкино СССР в 1986 г. (мастерская Л. Гуревича). Автор сценариев документальных фильмов «Земля и вода» (1986 г., в соавторстве с Т. Александровой, реж. Н. Макаров), «В поисках портрета (Память)» (1987 г., реж. Н. Обухович), «Образец почерка» (1987 г., реж. С. Бержинис), «Четвертый сон Анны Андреевны» (1988 г., в соавторстве с Н. Обуховичем, реж. Н. Обухович), «Жизнь по лимиту» (1988 г., в соавторстве с В. Суворовым, реж. Н. Обухович). Фильм «Раскинулось море широко...» ставит реж. Н. Макаров.

ГРИГОРЬЕВ ЕВГЕНИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ (род. в 1934 г.). Закончил сценарный факультет ВГИКа в 1963 г. (мастерская К. Виноградской и А. Соловьева). Автор сценариев художественных фильмов «Наш дом» (1963 г., реж. В. Пронин), «Три дня Виктора Чернышева» (1968 г., реж. М. Оsepьян), «Горячий снег» (1972 г., в соавторстве с Ю. Бондаревым и реж. Г. Егиазаровым), «Роман о влюбленных» (1974 г., реж. А. Михалков-Кончаловский), «Татьяна» (1980 г., реж. В. Бунеев), «Отцы и дети» (1984 г., экранизация одноименного романа И. С. Тургенева, в соавторстве с О. Никичем, реж. В. Никифоров), «Отряд» (1984 г., реж. А. Симонов), «Знак беды» (1986 г., экранизация одноименной повести В. Быкова, в соавторстве с О. Никичем, реж. М. Пташук), «Первый парень» (1986 г., в соавторстве с О. Никичем, реж. А. Сиренко), «Отцы» (1967 г., реж. А. Сиренко, 1988 г.), «Наш бронепоезд...» (1968 г., реж. М. Пташук, 1988 г., опубликован в альманахе «Киносценарии» № 2, 1987 г.) и др.

ЗАКОЯН ГАРЕГИН ВЛАДИМИРОВИЧ (род. в 1947 г.). Закончил филологический факультет Ереванского Государственного университета в 1970 г. Старший научный сотрудник Института искусств Академии наук Армянской ССР. Специа-

лизируется по проблемам национального кино. Автор книг «Армянское немое кино», «Кино как язык».

ЗАНУССИ КШИШТОФ (род. в 1939 г.). Изучал физику в Варшавском университете, философию в Краковском университете, режиссуру в Лодзинской киношколе. Автор сценариев и режиссер-постановщик художественных и документальных фильмов «Смерть провинциала» (1966 г.), «Структура кристалла» (1969 г.), «Семейная жизнь» (1971 г.), «Илломинация» (1973 г.), «Убийство в Катамаунт» (1974 г.), «Квартальный баланс» (1975 г.), «Защитные цвета» (1976 г.), «Спираль» (1978 г.), «Дороги среди ночи» (1979 г.), «Константа» (1980 г.), «Контракт» (1980 г.), «Из далекой страны: папа Иоанн Павел II» (1981 г.), «Императив» (1982 г.), «Синяя борода» (1983 г.), «Год спокойного солнца» (1984 г.), «Парадигма» (1985 г.), «Где бы ты ни была, если ты существуешь» (1987 г.) и др.

ИСХАКОВ ДЖАСУР ИЛЬХАМОВИЧ (род. в 1947 г.). Закончил режиссерский факультет Ташкентского театрально-художественного института в 1971 г., Высшие курсы сценаристов в 1975 г. (мастерская В. Соловьева). Автор сценариев документальных, мультипликационных и художественных фильмов «Ясные ключи» (1976 г., реж. А. Акбарходжаев), «Прощай, зелень лета» (1986 г., в соавторстве с реж. Э. Ишмухамедовым), «В стреминне бешеной реки» (1986 г., реж. З. Ройзман), «Зона вне критики» (1988 г., в соавторстве с О. Агишевым и реж. Э. Ишмухамедовым). Автор сценариев «Холодной весной двадцать седьмого года» (1984 г.), «Крыса» (1985 г.), «Дом продается на слом» (1986 г.) и др.

ИШМУХАМЕДОВ ЭЛЬЁР МУХИТДИНОВИЧ (род. в 1942 г.). Закончил режиссерский факультет ВГИКа в 1967 г. (мастерская Б. Долиннина и Ю. Геники). Постановщик художественных фильмов «Нежность», «Влюбленные», «Встречи и расставания», «Какие наши годы», «Юность гения» (1966 г., 1969 г., 1974 г., 1980 г., 1984 г., сцен. О. Агишева), «Прощай, зелень лета» (1985 г., сцен. в соавторстве с Д. Исхаковым), «Птицы наших надежд» (1976 г., сцен. в соавторстве с Р. Тюриным), «Зона вне критики» (1988 г., сцен. в соавторстве с О. Агишевым, Д. Исхаковым).

КЛЕЙМАН НАУМ ИХИЛЬЕВИЧ (род. в 1937 г.). Закончил киноведческий факультет ВГИКа в 1961 г. Исследователь жизни и творчества и хранитель музея-квартиры С. М. Эйзенштейна, автор ряда статей по теории и истории кино.

ЛОПУШАНСКИЙ КОНСТАНТИН СЕРГЕЕВИЧ (род. в 1947 г.). Закончил Казанскую консерваторию в 1970 г., Высшие режиссерские курсы при Госкино СССР в 1979 г. (мастерская Э. Лотяну). Кандидат искусствоведения. Постановщик художественных фильмов «Соло» (1979 г., сцен. в соавторстве с А. Шульгиной), «Письма мертвого человека» (1986 г., сцен. в соавторстве с К. Рыбаковым при участии Б. Стругацкого),

«На исходе ночи» опубликован в альманахе «Киносценарии» (№ 1, 1985 г.). Автор сценария фильма «Голый» (1987 г., в соавторстве с Г. Николаевым, реж. Г. Шигаев).

ЛОЩИЛИН ИВАН ВИКТОРОВИЧ (род. в 1952 г.). Закончил сценарный факультет ВГИКа в 1982 году (мастерская Е. Григорьева и В. Туляковой). Автор сценариев художественных фильмов «И будем жить» (1980 г., реж. Б. Галкин), «Хозяин» (1988 г., реж. А. Хван), сюжетов для киноальманаха «Ералаш» (реж. И. Магитон). Сценарий короткометражного фильма «Безымянное поле» напечатан в альманахе «Киносценарии» (№ 3, 1986 г.). Автор сценариев «Рассветы» (1980 г.), «Полещик» (1982 г.), «Пришлый дома» (1982 г.), «Победитель» (1982 г.), «День забот» и «Шапка Мономахова» (1983 г., в соавторстве с М. Евсеевым), «Лопух» (1983 г., в соавторстве с Б. Обозком), «Пустыня зеркал» (1984 г.), «Третья сторожа» (1985 г.), «Две женщины на вечер» и «Подаренный мир» (1986 г., в соавторстве с А. Рогожкиным), «Среди зелени и синевы» (1986 г.). Фильм по сценарию «Караул» ставит реж. А. Рогожкин.

МЕДВЕДКИН АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ (род. в 1900 г.). Сценарист и режиссер. Народный артист СССР. В 1932 г. возглавлял работу кинопоезда, участники которого вели документальные съемки на крупнейших стройках 1-й пятилетки. В годы Великой Отечественной войны руководил фронтовыми кинобригадами. В начале 70-х гг. во Франции, Чили, Алжире были созданы группы «Медведкино», объединившие прогрессивных кинематографистов, членов рабочих кино клубов. Автор сценариев и постановщик художественных фильмов «Полешко», «Держи вора» (оба 1930 г.), «Фрукты-овощи», «Дурень ты, дурень!», «Про белого бычка» (все 1931 г.), «Про любовь», «Дыра» и «Западня» (оба 1932 г.), «Тит» (1933 г.), «Счастье» (1935 г.), «Чудесница» (1937 г.), «Новая Москва» (1939 г.), «Беспокойная весна» (1956 г.), а также документальных лент «Разум против безумия» (1960 г.), «Закон под-

лости» (1962 г.), «Еще один памятник» (1964 г.), «Наш друг Сун Ятсен» (1966 г.), «Тень ефрейтора» (1967 г.), «Письмо к китайскому другу» (1969 г.), «Тревожная хроника» (1972 г.), «Правда и неправда» (1975 г.), «Безумие» (1980 г.) и др.

СУВОРОВ ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ (род. в 1955 г.). Закончил философский факультет Уральского государственного университета в 1978 г. и Высшие сценарные курсы Госкино СССР в 1986 г. (мастерская Л. Гуревича). Автор сценариев документальных фильмов «Июльский снег Уренгоя» (1986 г., реж. Б. Урицкий), «Возвращается боль» (1987 г., в соавторстве с Б. Евсеевым, реж. Б. Урицкий), «Жизнь по лимиту» (1988 г., в соавторстве с В. Балаяном, реж. Н. Обухович). Фильм по сценарию «Раскинулось море широко...» ставит реж. Н. Макаров.

ТРОШИН АЛЕКСАНДР СТЕПАНОВИЧ (род. в 1942 г.). Закончил киноведческий факультет ВГИКа в 1971 г. Кандидат искусствоведения. Старший научный сотрудник ВНИИ киноискусства. Специалист по проблемам современного венгерского кино. Автор книг «Кинорежиссер Андраш Ковач», «Поэзия плюс юмор плюс кино. О героях и сюжетах Резо Габриадзе», «Кино и телевидение», «Венгерское кино. 70—80-е годы».

ЧУБИНИШВИЛИ ДАВИД ТЕЙМУРАЗОВИЧ (род. в 1945 г.). Закончил факультет журналистики Тбилисского университета в 1967 г., Высшие сценарные курсы Госкино СССР в 1978 г. (мастерская С. Лунгина). Автор сценариев художественных фильмов «Зеленый остров надежды» (1977 г., в соавторстве с реж. В. Гигашвили), «Глиняные птицы» (1980 г., в соавторстве с Ю. Максименко и реж. Б. Садыковым), «Ступень» (1986 г., в соавторстве с реж. А. Рехвиашвили), «Жертва» (1988 г., реж. Г. Чкония).

ШУМАКОВ СЕРГЕЙ ЛЕОНИДОВИЧ (род. в 1951 г.). Закончил киноведческий факультет ВГИКа в 1979 г. Автор статей по проблемам современного советского кино.

**ЧИТАЙТЕ
В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ
СЦЕНАРИИ:**

И. АДАМАЦКИЙ, Е. ШМИДТ
«АРАБЕСК»

С. БОДРОВ, И. ВАСИЛЬЕВА
«ПРЕКРАСНЫЕ ВРЕМЕНА»

М. ЗВЕРЕВА
«УКРАДЕННОЕ СВИДАНИЕ»

Б. ДОБРОДЕЕВ
«ВОСПОМИНАНИЕ О ПАВЛОВСКЕ»

В. КОСТИН
«МАРИЯ»

В. МЕРЕЖКО
«СОБАЧИЙ ПИР»

ХУАН ШУЦИНЬ
«ЧЕЛОВЕК. ДЕМОН. СТРАСТЬ».

М. ШЕПТУНОВА
«ТОЛЬКО ДЛЯ СУМАСШЕДШИХ»

Ф. СОЛОГУБ
«БАРЫШНЯ ЛИЗА»

1р.20к.
70434

1

КИНОСЦЕНАРИИ

1989